ISSN 0130-6545

3.1992

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Есть многое на свете...»

Сверхъестественное, инфернальное и мистическое в литературе XX века

В номере:

Исповедь Лондонского Вампира

Э. ДЖОНГ
Ведьмы

М. ЭЛИАДЕ
Девица Кристина

Ж. РЭЙ
Черное зеркало

Х. ЭВЕРС
Паук

YULE
December 21
IMBOLC
February Eve
SPRING
March 21
BELTANE
May Eve
MIDSUMMER
June 21
LUGHNASADH
August 21
AUTUMN
September 21
SAMHAIN
November Eve

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

Да, прав был принц Датский: на свете действительно есть многое, что и не снилось мудрецам. Зато снится оно писателям, поэтам, художникам. Наш экспериментальный спецвыпуск посвящен тому, что находится за гранью яви, в завораживающем, волшебном зазеркалье мистического художественного воображения.

Дорогой читатель, Вы держите в руках необычный номер «Иностранной литературы»; все журнальные разделы подчинены в нем одной теме — Вы погрузитесь в мир «черной фантастики», сверхъестественных явлений и зловещих тайн, где порой властвует та сила, которая, как известно, «вечно хочет зла и вечно совершает благо». Этот почтенный, освященный многовековой традицией литературный жанр, восходящий к фольклору, средневековой мистической новелле и готическому роману, как это ни парадоксально, достиг расцвета именно в нашем технологическом, насквозь рационалистическом столетии. На этих страницах Вы встретите немало громких, иногда неожиданных имен — оказывается, страшные сказки любят даже самые серьезные писатели. Возможно, рассказанные ими истории Вас не очень напугают.

Но все-таки послушайтесь нашего доброго совета:

НЕ ЧИТАЙТЕ ЭТУ КНИЖКУ НА НОЧЬ!

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора,
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ — ответственный секретарь,
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы,
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА,
В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ,
В. В. ЕРОФЕЕВ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА,
Т. Э. ИВАНОВА, В. Б. ИОРДАНСКИЙ, А. В. КАРЕЛЬСКИЙ,
Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА,
А. С. МУЛЯРЧИК, В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК,
Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

3 март 1992

СОДЕРЖАНИЕ

ГУСТАВ МАЙРИНК — Майстер Леонгард (*Новелла. Перевод с немецкого В. Крюкова*) 5

МИРЧА ЭЛИАДЕ — Девица Кристина (*Роман. Перевод с румынского Анастасии Старостиной*) 32

ДЕТЛЕФ ФОН ЛИЛИЕНКРОН — Стихи (*Перевод с немецкого Евгр. Раевского*) 111

РИЧАРД ХЬЮЗ — Незнакомец (*Рассказ. Перевод с английского В. Голышева*) 113

ЭНН БРИДЖ — «Бьюик» (*Рассказ. Перевод с английского Ольги Варшавер*) 118

ЯН ЯКОБ СЛАУЭРХОФ — Корабль дураков (*Стихи. Перевод с нидерландского Евгения Витковского*) 129

ХАНС ХАЙНЦ ЭВЕРС — Паук (*Рассказ. Перевод с немецкого*) 132

ДЖОВАННИ ПАПИНИ — Невозвращенный день (*Рассказ. Перевод с итальянского Ю. Балтрушайтиса*) 146

ЭЙНО ЛЕЙНО — Синий крест (*Стихи. Перевод с финского Владислава Ходасевича. Вступление А. П.*) 150

СТЕФАН ГРАБИНЬСКИЙ — Месть огнедлаков (*Рассказ. Перевод с польского Л. Ермиловой*) 154

ДИДЕРИК ЙОХАННЕС ОППЕРМАН — Брандан (*Цикл сонетов. Перевод с африкаанс Евгения Витковского*) 163

ЖАН РЭЙ — Черное зеркало (*Рассказ. Перевод с французского С. Зенкина*) 166

ГОВАРД Ф. ЛАВКРАФТ — Болото Луны (*Рассказ. Перевод с английского В. Бернацкой*) 178

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС — There Are More Things... (*Рассказ. Перевод с испанского В. Левина*) 183.

Документальная проза

ЭРИКА ДЖОНГ — Ведьмы (*Перевод с английского О. Варшавер; вольный перевод стихов А. Харитоновой*) 187
ДЖОН ХЕЙГ — Моя исповедь (*Перевод с французского О. Ротенберг*) 216
РАМОН ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА — Чудища, призраки, колдуньи. Из книги «Гойя» (*Перевод с испанского Н. Малиновской*) 227

Критика

А. ЛУКИН, ВЛ. РЫНКЕВИЧ — В магическом лабиринте сознания. Литературный миф XX века 234

Интервью

Знакомьтесь: «Земля неведомая» (*Интервью подготовила А. Соколинская*) 250

У книжной витрины 252

Переводчики этого номера 255

© «Иностранная литература», 1992

На 1-й и 2-й страницах обложки — иллюстрации ДЖОЗЕФА А. СМИТА к книге Э. Джонг «Ведьмы».
На 4-й странице обложки — заставка ОДРИ БЕРДСЛЕЯ.
В оформлении номера использована графика О. БЕРДСЛЕЯ, К. БЛОМАЕРТА, Г. ДОРЕ.

По всем вопросам, связанным со сроками выхода и распространения журнала, а также по поводу полиграфического брака редакция просит обращаться в издательство «Известия».

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**
Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 02.01.92. Подписано в печать 10.02.92. Формат 70x108¹/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,4. Уч.-изд. 23,98. Зак. 2506.

Тираж 157 300 экз. Цена по подписке 3 р. 75 к.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика»
Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

ГУСТАВ МАЙРИНК

Майстер Леонгард

НОВЕЛЛА

Перевод с немецкого В. КРЮКОВА

ГУСТАВ МАЙРИНК (1868—1932) — австрийский писатель, переводчик, эссеист. Начало его литературной деятельности относится к 1903 г. Автор романов «Зеленый лик» (1916 г), «Белый доминиканец» (1921), «Ангел Западного окна» (1920), «Голем» (1915; рус. пер. опубликован в Библиотеке «ИЛ», 1991), сборника рассказов и новелл «Волшебный рог немецкого филистера» (1913).
Новелла «Майстер Леонгард» взята из сборника «Летучие мыши». (1916).

Недвижим в своем готическом кресле, майстер Леонгард широко открытыми, немигающими глазами смотрит прямо перед собой.

Потрескивая, горят в небольшом очаге толстые сучья, отблески пламени пляшут по грубой власянице майстера Леонгарда, но, как ни стараются суетные, неверные блики расшевелить суровые, словно окаменевшие складки аскетического одеяния, тщетны их усилия, и, устрашенные этим неприступным бесстрастием, соскальзывают они, охваченные трепетом, с длинной седой бороды, с изборожденного глубокими морщинами лица, с худых старческих пальцев, которые, кажется, навеки слились с золоченой резьбой потемневших от времени подлокотников.

Взгляд майстера Леонгарда направлен к почти занесенному снегом окну — глубокие, в человеческий рост сугробы окружают древнюю, полуразрушенную замковую часовню,— но мысленно видит он и то, что у него за спиной: голые, сырые стены, убогое ложе, распятие над источенной жучком дверью, а в угловой нише — кувшин с водой, ковригу грубого желудевого хлеба и нож с потрескавшимся костяным черенком.

За окном мороз, да такой, что даже гигантские стволы сосен жалобно постанывают, с заиндевелых ветвей свисают огромные, переливающиеся в ярком лунном свете сосульки. А вот и его собственная тень... На призрачно искрящемся снегу затеяла игру с темными, угрюмыми силуэтами сосен: вспыхнут в очаге поленья — и она вытягивается, непомерно удлиняя шею, а то вдруг разом сожмется и замрет, затаившись на мгновение, и вот уже снова два острых шишака, венчающих высокую спинку готического кресла, обратились в дьявольские рога, и тень — жуткий, инфернальный козел, восседающий на иссиня-черном троне.

А это кто там устало ковыляет через лес, волоча за собой салазки с хворостом?.. Ну конечно, вот и она — горбатая старуха из селения углекопов — это в часе пути отсюда, у подножия холма, сразу за торфяными болотами... Выходит на поляну — и застывает как вкопанная: остолбенело таращится на освещенное окно, силясь понять, куда это ее занесло. Заметив рогатую тень, тут только соображает, что забрела к той самой дьявольской часовне, в которой, по слухам, поселился последний,

заговоренный от смерти отпрыск про́клятого рода, в ужасе осеняет она себя крестным знаменьем и спешит, спотыкаясь, назад в лес.

Майстер Леонгард, полузакрыв глаза, некоторое время мысленно следует за ней, минует закопченные развалины замка... Здесь прошли его детство и юность, но по-прежнему бесстрастно его неподвижное лицо, ни малейших следов волнения, сколько ни вглядывайся: в том вечном настоящем, кото́рое царит в его душе, все — и прошлое, и будущее — не более чем зыбкий, обманчивый мираж. Он видит себя одновременно и ребенком, в тени юных березок играющим цветными камешками, и старцем, отрешенно созерцающим собственную тень.

Перед глазами возникает образ матери: худая, трепетная фигура, постоянно охваченная неуемным, суетливым беспокойством, нервное лицо, каждая черточка которого непрерывно дрожит в каком-то странном тике, и только лоб... Никогда не сложится он скорбной глубокой складкой, никогда не нахмурится тяжкой думой — гладкая, пергаментная кожа, без единой морщинки натянута на череп, идеально полированную, словно выточенную из слоновой кости сферу, в которой, как в темнице, яростно жужжит неугомонный рой эфемерных мыслей. Впрочем, есть маленькая деталь, которая сразу настораживает и даже вселяет какое-то тревожное чувство,— красное родимое пятно, зловеще тлеющее точно посреди лба...

Шелест... Непрерывный, ни на миг не затихающий шелест ее черного шелкового платья... Подобно нудному, изматывающему стрекоту несчетных мириадов вездесущих крылатых инсектов, он, проникая в любые, самые крошечные щели, зазоры, трещины в полу и стенах, заполняет замок, и нет от него покоя никому — ни животному, ни человеку. Даже вещи, благодаря кипучей, неуемной энергии матери, не чувствуют себя дома — съежились в паническом страхе, ежесекундно ожидая, что с тонких, бескровных губ сорвется новый приказ к какому-нибудь очередному марш-броску или срочной перегруппировке. О жизни за стенами замка она не знает ничего и судит о ней понаслышке; от одного только вида сидящего в задумчивости человека ей становится дурно, а всех, кто когда-либо пробовал размышлять о смысле бытия и о «всяких там высоких материях», безапелляционно зачисляет в праздные бездельники, которым лишь бы скрыть под величественными ризами философии свою природную лень; себя же относит к тем, кто честно, в поте лица, исполняет жизненный долг: с утра до поздней ночи в замке царит бестолковая муравьиная возня, бессмысленная, никому не нужная перестановка предметов продолжается круглые сутки; в этой-то лихорадочной, самозабвенной погоне за усталостью — загонять себя и всех домашних так, чтоб к концу дня свалиться с ног, и, как в омут, погрузиться в сон, больше похожий на забытье,— ее жизнь, видимо, и обретает какой-то другим неведомый смысл. Ее мозг не в состоянии додумать до конца ни одну мысль — едва зародившись, мысль уже выливается в сумбурное, безалаберное действо. Эта женщина словно суетливая секундная стрелка, вообразившая в своей карликовой ущербности, что мир обречен, если она не пробежит по циферблату двенадцать раз по три тысячи шестьсот кругов — как же, ведь без нее, без ее сомнамбулической одержимости, перемалывающей время в прах, флегматичная громада часовой стрелки никогда не сдвинется с места и торжественный перезвон курантов умолкнет навеки.

Даже среди ночи в припадке какого-то нервического нетерпения она вскакивает с постели и будит прислугу: цветы, необозримыми рядами стоящие в своих горшках по подоконникам, необходимо немедленно пересадить; «зачем?», «почему?» — она не ответит, так надо, и баста! Противоречить ей не осмеливались, слишком хорошо все знали, что доводы разума на нее не действуют: плетью обуха не перешибешь.

Домашние растения в замке и не пускают корни, ведь их едва ли не ежедневно пересаживают, вот и на птиц что-то нашло, стаями кружат в вышине, а вернуться в свои гнезда, свитые под крышей замка, не могут —

охвачены какой-то темной потребностью к перемене мест, но, не ведая маршрутов перелетных птиц, лишь понапрасну чертят небо из конца в конец, то превращаясь в едва различимые точки на горизонте, то снова обретая зловещее сходство с тревожно трепещущими ладонями.

Солнечный свет тоже залихорадило: постоянный, ни на миг не стихающий ветер гоняет облака с места на место и словно губкой стирает золотые лучи; от зари до зари качает ветер ветви деревьев, плоды не дозревают, а то их и вовсе нету — уже в мае цветы облетают. Замок заразил природу той же болезнью, которой поражен был сам, и теперь все окрест на грани нервного срыва.

Двенадцатилетний Леонгард, плотно зажав уши, сидит за грифельной доской, но напрасно пытается он сосредоточиться: стук дверей, непрерывная беготня каких-то мастеровых, снующие по лестнице служанки, пронзительный голос матери сбивают стройные ряды чисел в хаос злобных крошечных кобольдов, которые кишмя кишат у него в мозгу, назойливо зудят в ушах, мельтешат в глазах, щекочут в носу, заставляют бешено колотиться сердце, все тело горит, на коже высыпает отвратительная красноватая экзема... Берет в руки книгу — то же самое: буквы зыбким облаком мошкары роятся перед глазами. «Долго ты еще будешь делать свои уроки?» — и мать брезгливо поджимает свои страшные губы, ответа она не ждет, безумные, водянисто-голубые глаза уже бегают по углам, не видать ли где пыли... И вот уже все бросаются на поиски несуществующей паутины, перетаскивают с места на место мебель, вываливают наружу содержимое шкафов — не дай бог завелась моль! — отвинчивают и привинчивают ножки столов, стучат выдвижными ящиками, перевешивают картины, выдергивают из стен гвозди только для того, чтобы, отступив несколько сантиметров, забить их снова... Буйное помешательство охватывает вещи: молоток слетает со своей рукоятки, с треском ломаются ступеньки приставной лестницы, штукатурка сыплется с потолка — срочно каменщика сюда! — половая тряпка под комодом за что-то цепляется и наотрез отказывается вылезать наружу, булавки бросаются врассыпную и, оказавшись на полу, прячутся по щелям, старый сторожевой пес срывается с цепи, волоча за собой отвратительно гремящий обрывок, вбегает в дом и опрокидывает большие напольные часы. Маленький Леонгард, стиснув зубы, упорно пытается уловить хоть какой-нибудь смысл в сумасшедшем хороводе маленьких черных закорючек, беснующихся на страницах книги, но не проходит и пяти минут, как его снова сгоняют с места: «Господи, да это кресло лет сто не выбивали, в нем, должно быть, пуд пыли». Молча, стараясь не отвлекаться, он отступает к окну и, примостившись на подоконнике, раскрывает книгу — «Боже, какая грязь! Немедленно вымыть и покрасить подоконник! Леонгард, не вертись под ногами! Ты когда-нибудь кончишь свои уроки?» И тут же мать уносится прочь, служанки, побросав все, бегут следом, чтобы уже через несколько минут, вооружившись лопатами, топорами и мотыгами, в боевом порядке выступить в поход на решающее сражение с оккупировавшими подвал крысами.

Подоконник так и остается недокрашенным, от кресел — одни скелеты, мягких подушек — как не бывало, такое впечатление, будто комната пережила нашествие вражеских полчищ. Темная, затаенная ненависть к матери все глубже проникает в сердце мальчика. Целый день каждой клеточкой своей души жаждет он покоя, наступает ночь, но даже она не приносит облегчения: постоянные кошмары рассекают путаные клубки снов, удваивая, утраивая, учетверяя количество навязчивых фобий, уродливые обрубки мыслей устраивают погоню друг за другом — начало силится догнать свой конец, следствие — причину, но все их потуги, конечно же, обречены на провал... Так он и лежит всю ночь, обливаясь холодным потом, не в состоянии расслабить сведенное судорогой тело: надо быть начеку, ведь в любой момент его дорогую матушку может

осенить очередная не терпящая отлагательств идея, и весь дом будет немедленно поднят по тревоге...

Игры в саду проходят, разумеется, под присмотром бдительного ока матери, а потому не доставляют ни малейшей радости, «забавы» сменяются с калейдоскопической быстротой, больше напоминая какую-то идиотскую муштру: марш туда, бегом обратно, делай это, не делай то — и все надо исполнять быстро, не задумываясь, будто он — хорошо отлаженный механизм; любое, самое незначительное промедление вызывает ее гнев — паузы недопустимы, в них она видит своих личных врагов и считает себя обязанной бороться с ними не на жизнь, а насмерть. Мальчику категорически запрещено удаляться от замка, он должен все время оставаться в пределах слышимости; ускользнуть невозможно, это он усвоил хорошо, стоит только сделать один-единственный шаг за невидимую границу, как из открытого окна тебя уже настигает пронзительный окрик, от которого цепенеешь, вжимая голову в плечи.

Сабина — живущая вместе с прислугой маленькая, на год моложе его, девочка — видит Леонгарда лишь издали, а если и случается им сойтись на несколько коротких минут, то весь их разговор — это десяток отрывистых, скороговоркой брошенных фраз, так капитаны двух встретившихся в открытом море кораблей спешат обменяться только самыми необходимыми сведениями, ибо отлично знают, что времени на пустую болтовню у них нет: секунда, другая — и в ушах уже ничего, кроме шума волн и свиста ветра...

Старый граф, отец Леонгарда, парализованный на обе ноги, может передвигаться только в кресле на колесах; да он и не выбирается из библиотеки, дни напролет проводя за чтением, однако читать ему по большей части не удается, так как вездесущая мать постаралась, чтобы и из этих стен были изгнаны ненавистные ее сердцу тишина и покой: час за часом она своими нервно дрожащими руками перетаскивает фолианты, выбивает из них пыль, с размаху, плашмя, хлопая один о другой, закладки летят на пол, переплеты рвутся, тома, еще вчера стоявшие внизу, завтра могут оказаться где-нибудь на самой верхней полке или же в основании грандиозной пирамиды, из тех, которые сооружаются в период чистки висящих за стеллажами гобеленов. Ну а если графиня находится в других, пусть даже самых отдаленных помещениях замка, облегчения не жди, ибо сознание того, что в любую секунду она может появиться вновь, сея вокруг себя раздражение и злобу, только еще больше усугубляет ту изощренную пытку, которой подвергается человеческий дух, ввергнутый в этот абсурдный, рукотворный хаос.

Вечерами, когда зажигают свечи, маленький Леонгард пробирается к отцу, чтобы посидеть с ним рядом, а если получится, то и поговорить, но разговора не получается, словно толстая стеклянная стена непреодолимой преградой стоит между ними; иногда, склонившись над сыном, старик уже открывает рот — кажется, он решился наконец сказать мальчику нечто чрезвычайно важное, то, что может самым коренным образом повлиять на его жизнь,— но всякий раз слова застревают у него в горле, и граф вновь смыкает губы, лишь молча и нежно поглаживает пылающий детский лоб, не сводя печального взора с дверей, которые в любую секунду могут распахнуться.

Однако Леонгард догадывается, что отнюдь не скудость сердечная столь роковым образом налагает печать молчания на отцовские уста, напротив — от душевной полноты не решается граф посвятить сына в свои тайны, и вновь поднимается в мальчике ненависть к матери, горечью подступает к горлу: не ее ли заботами эта благородная голова лежит, обессиленная, на спинке кресла, не ее ли трудами праведными это усталое чело изборождено глубокими, похожими на шрамы морщинами? В одно из таких мгновений Леонгард вдруг представил свою матушку в постели мертвой, и зрелище это наполнило детскую душу чувством тайного жгучего

удовлетворения: видение мертвой матери все чаще посещает его, только этого ему уже мало — хочется, чтобы оно стало реальностью, и вскоре к повседневной домашней пытке добавляются еще муки адского ожидания: с надеждой вглядывается он в черты ее лица, не промелькнет ли в них хотя бы тень надвигающейся болезни, пристально изучает походку, стараясь уловить в ней признаки усталости и утомления. Однако эта женщина обладает несокрушимым здоровьем, чувство слабости ей неведомо, похоже, силы ее только прибывают при виде немощного, разбитого болезнью мужа.

От древнего как мир садовника Леонгарду становится известно, что его отец настоящий философ, весьма преуспевший в оккультных науках, и что в старинных манускриптах, которые хранятся на полках библиотеки, заключена мудрость, поистине неисчерпаемая; отныне мальчик преисполнен ребяческой решимостью постигнуть сию премудрость, ибо тогда, как ему кажется, падет невидимая стена, стоящая между ним и отцом, и вновь разгладятся глубокие шрамы морщин, и печальное старческое лицо просияет юношеской улыбкой...

Но никто не может ему объяснить, что есть мудрость, даже местный священник не нашел лучшего, как с пафосом провозгласить: «Страх пред Господом нашим — сие и есть высшая мудрость, сын мой»,— чем еще больше смутил Леонгарда.

И лишь одно не вызывает у мальчика никаких сомнений: мать и мудрость — несовместимы, вся ее жизнь, каждое слово, любой поступок прямо противоположны предвечному порядку.

Однажды, воспользовавшись мгновением тишины, Леонгард собрался с силами и спросил отца, что́ есть мудрость — вопрос вырвался внезапно, как крик о помощи, мальчик тут же покраснел до корней волос, такой нелепой показалась ему собственная несдержанность, но безбородое лицо графа напряглось, было видно, как мучительно подыскивает он единственно правильные слова для столь неистово жаждущего истины, но все еще детского ума. Леонгард, судорожно сцепив пальцы, ждал, но вот отец заговорил, и он вбирал в себя каждое слово, во что бы то ни стало стараясь уловить смысл сказанного, казалось, еще немного и его череп лопнет...

Фразы, исходящие из щербатого рта, быстры и отрывисты, но Леонгард понимает: это страх — страх, что их прервут, что сокровенные семена будут осквернены мертвенным, безнадежно холодным дыханием матери, и тогда он, его сын, неправильно истолкует их, и прорастут они ядовитыми всходами.

Поздно, уже стучит по коридору частая дробь ненавистных шагов, приказы летят направо и налево и шелест, кошмарный шелест черного шелка. Речь отца учащается с каждой секундой, слова, как опасно отточенные ножи, летят в сторону Леонгарда, и он пытается ловить их голыми руками — сейчас главное запомнить, ничего не упустить, а разобраться можно потом, позднее,— но нет, не удержать, со свистом проносятся они дальше, рассекая детскую память страшными кровоточащими ранами.

Отдельные, произнесенные на одном дыхании фразы: «Уже сама по себе жажда мудрости есть мудрость», «...во что бы то ни стало, сын мой, найди в себе точку опоры, над коей не властен внешний мир», «...и запомни, все, что вне тебя,— не более чем раскрашенная картинка, и какие бы страсти вокруг ни кипели, не поддавайся им»,— поразили Леонгарда в самое сердце, навеки оставив глубокие шрамы, но как по виду шрама определить лезвие, которое его нанесло, он не знал.

Дверь с треском распахнулась, последние слова «...и пусть время стекает с тебя, подобно потокам воды», еще висели в воздухе, когда в библиотеку влетела графиня, на пороге она споткнулась и выплеснула на сына содержимое какого-то чана... Леонгард стоял как громом пораженный, по его лицу стекали грязные потоки... «Вечно ты путаешься под ногами, бездельник! Подожди, я до тебя доберусь!» — неслось вслед ему, через три ступеньки в ужасе мчавшемуся вниз в свою комнату...

Картины детства померкли, и снова лунное сияние льется в окно часовни, и заснеженный лес, замерев на краю поляны, по-прежнему к чему-то настороженно прислушивается... И так же недвижим в своем кресле майстер Леонгард: пред духом его, этим чистейшей воды кристаллом, и действительность, и воспоминания равно живы и равно мертвы.

Вот гибкой, неуловимой тенью бесшумно скользит лиса; изумруды глаз, полыхнув на фоне темных стволов, исчезают в чаще, лишь облачко серебристого инея повисает над тем местом, где пушистый хвост коснулся снега.

Тощие, изможденные фигуры в поношенной одежде, лица, разные по возрасту и все же невероятно схожие меж собой скучной, унылой невыразительностью, возникают перед глазами майстера Леонгарда; слышны произнесенные шепотом имена, настолько ординарные, что с их помощью не отличишь друг от друга этих серых, невзрачных людишек. Это, разумеется, домашние учителя, они приходят и уходят, больше месяца не продержался ни один; чем они не угодили матери — неизвестно, она и сама толком не знает — впрочем, и не ищет — вразумительного ответа, да и с какой стати, ведь они как пузырьки в кипящей воде — вот они есть, а вот их уже нет. У Леонгарда на верхней губе пробивается первый пушок, и ростом он никак не ниже матери. Во всяком случае, ему теперь не надо смотреть на нее снизу вверх, глаза у них вровень, однако он все время отводит свой взгляд, не решается заглянуть в эту водянистую, рассеянную пустоту, чтобы перелить туда по капле свою раскаленную добела ненависть, заклясть ее, подчинить; желание это уже давно не дает ему покоя, комом стоит в горле, но каждый раз он отступает и покорно сглатывает его, и тотчас во рту делается горько и желчный яд растекается по кровотоку.

В чем причина его бессилия? Почему эта женщина с ее дерганым, зигзагообразным полетом летучей мыши всегда одерживает над ним верх? Едва не до умопомрачения вопрошает он себя, но ответа не находит.

В голове кружится какой-то дьявольский смерч, каждый удар сердца выбрасывает на отмель мозга все новые обломки воспоминаний, до неузнаваемости искалеченные трупы каких-то мыслей и тут же бесследно смывает назад...

Какие-то беспочвенные намерения, противоречивые идеи, бесцельные желания, слепые алчные страсти, напирая друг на друга и сталкиваясь, всплывают из водоворота и вновь тонут в пучине, крики захлебываются еще в груди, не прорываясь на поверхность.

Безысходное отчаянье, такое, что хоть волком вой, охватывает Леонгарда и день ото дня все туже затягивает свою удавку; в каждом углу ему мерещится искаженное злобой лицо матери, стоит открыть какую-нибудь книгу, и первое, что он видит,— это тонкие змеящиеся губы; перелистывать он уже не отваживается, так же как не смеет встретиться глазами с голубовато-водянистой пустотой. Любая случайная тень медленно сгущается в ненавистные чары, собственное дыхание шелестит, как черный шелк...

Он весь — обнаженный нерв: стоит лечь в постель, и он уже не отличает сон от яви, но если в конце концов действительно засыпает, то немедленно, как из-под земли, вырастает тощая фигура в белой ночной рубашке и пронзительно кричит в ухо: «Леонгард, ты уже спишь?»

А тут еще какое-то странное, доселе неведомое чувство вспыхивает в сердце и, стеснив грудь душным обручем, заставляет искать близости Сабины; он подолгу смотрит на нее издали, стремясь понять, что за сила тянет его к этой девушке. Сабина выросла, носит юбку, открывающую щиколотки, и шорох этой домотканой материи сводит его с ума больше, чем шелест черного шелка.

О том, чтобы поговорить с отцом, нечего теперь и думать: кромешная тьма окутала его дух; стоны лежащего при смерти графа с правильными интервалами прорываются сквозь какофонию обычного домашнего шабаша, на сей раз мать пробует себя в роли заботливой сиделки, не давая

несчастному старику даже умереть спокойно: каждый час ему обмывают лицо уксусом, терзают какими-то нелепыми процедурами, неизвестно зачем таскают из угла в угол его кресло, словом, издеваются, как могут...

Леонгард отворачивается, прячет голову под подушку — уснуть ему удалось уже на рассвете,— но слуга не отстает, трясет за руку, пытается сдернуть одеяло:

— Да проснитесь же, ради Бога... Беда!.. Господин граф, ваш отец, умирают!..

Все еще в полусне Леонгард отчаянно трет глаза, силясь понять, почему за окном светит солнце, но так и не решив, снится ему это или нет, бросается в комнату отца. Через все помещение, загроможденное какими-то коробками, из угла в угол протянуты веревки, увешанные мокрыми полотенцами и постельным бельем, окна не видно, но и так ясно, что оно распахнуто настежь — по комнате гуляет сквозняк, зловеще пузыря влажный саван полотняных стен.

Леонгард в нерешительности застывает на пороге, но тут из угла доносится сдавленный хрип, и юноша, срывая веревки — мокрое белье по-жабьи с чавканьем шлепается на пол — и опрокидывая неуклюжие короба, пробивается к уже угасающим глазам, которые стеклянным невидящим взглядом смотрят на него с подушек кресла. Он падает на колени, прижимает ко лбу бессильно свисающую, покрытую холодным смертельным потом руку; хочет что-то крикнуть, одно-единственное слово, и не может, и слово-то — вот оно, тут — вертится на языке, но как назло что-то случилось с памятью. Провал... Пустота... Он охвачен безумным ужасом, ему кажется, что умирающий больше не придет в себя, если он сейчас, немедленно не произнесет это заклинание — только оно еще способно на краткий миг вернуть угасающее сознание с порога смерти,— Леонгард готов рвать на себе волосы, биться головой об стену, лишь бы оно пришло, но оно не приходит: лавины самых умных, возвышенных и проникновенных слов обрушиваются на него, но того единственного, за которое он готов отдать полжизни, среди них нет. И хрип умирающего становится все тише и тише...

Смолкает...

Прорывается снова...

Опять смолкает...

Тишина...

Мертвая...

Рот приоткрывается...

Все.

— Отче! — кричит Леонгард явившееся из бездны слово, но поздно, тот, кому оно было так необходимо, уже не слышит его.

На лестнице гвалт, топот ног, истошные крики, какие-то люди носятся вверх и вниз, надрывный собачий лай, время от времени переходящий в заунывный вой... Но Леонгард ничего не замечает, он застыл, не сводя глаз с мертвого неподвижного лица; ему передается нечеловеческое спокойствие, которое исходит от этой величественной маски смерти, оно обволакивает его, заполняет комнату... Ни с чем не сравнимое чувство переполняет сердце, восхитительное ощущение остановившегося времени, вечного настоящего, что находится по ту сторону и прошлого, и будущего; душа юноши ликует: наконец-то, наконец его нога ступила на твердую почву, которая всюду и нигде, которая неподвластна никаким ураганам, бушующим в доме; отныне эта обретенная твердь станет ему прибежищем, сюда он сможет скрываться в трудную минуту.

Комната тонет в неземном сиянии.

Слезы счастья наворачиваются на глаза...

Оглушительный треск, дверь едва не соскакивает с петель, врывается мать:

— Хорош наследничек, нечего сказать!.. Нет, вы только посмотрите, столько дел, а он тут сидит и сырость разводит!

Слова эти обжигают Леонгарда, подобно удару хлыста. Дальнейшее как в страшном сне: приказ следует за приказом, один обгоняя другой; служанки рыдают, их гонят за дверь, лакеи с угодливой торопливостью выволакивают мебель в коридор, стеклянные дверцы дребезжат, пузырьки с микстурами летят на пол, отвратительный хруст битого стекла под ногами... надо послать за лекарем... нет, за священником... нет, нет, постойте, со священником успеем, гробовщика сюда... Да смотрите, чтоб он ничего не забыл, гроб, гвозди... Да, да, забить крышку... Все в замковую часовню — склеп открыть — немедленно, сейчас же... И чтоб сию же минуту горели свечи... А почему никто не выносит тело?.. Вам что, десять раз повторять?!

При виде того, как безумный ведьмовской шабаш жизни, не ставя ни во что даже смерть, шаг за шагом приближается к своему чудовищному апофеозу, Леонгарда охватывает отчаянье, и обретенный было покой рассеивается как утренняя дымка.

Угодливые лакейские руки уже хватаются за кресло, намереваясь выкатить беззащитное тело отца в коридор; юноша хочет встать на пути, раскинуть руки, однако они бессильно повисают. Он стискивает зубы и ищет глаза своей матери, быть может, в них обнаружится хоть легкая тень горя и печали, но этот суетливый, бегающий взгляд поистине неуловим: он шныряет из угла в угол, скачет вверх и вниз, носится вдоль стен, кружит под потолком, бросается на оконное стекло с какой-то сумасшедшей, остервенелой непредсказуемостью навозной мухи, которая с надсадным жужжанием мечется по комнате, пока ее не прибьют; этот взгляд выдает существо одержимое, начисто лишенное души, от которого и страдания, и восторги отскакивают, как стрелы от бешено вращающегося круга,— инсект, гигантский инсект в образе женщины, воплощающий в себе проклятье бессмысленной и бесцельной работы; Леонгард смотрит на мать, как будто видит ее впервые: да ведь в этом существе нет ничего человеческого, это какая-то дьявольская креатура — полукобольд, полугарпия, кошмарное порождение инфернального пандемониума.

Но эта адская бестия — его мать, значит... Юноша невольно ощупывает свое лицо, разглядывает руку, собственная плоть кажется ему теперь чем-то враждебным — волчья яма, на дне которой изнывает страждущая душа. Волосы встают у него дыбом от ужаса перед самим собой — прочь из дома, прочь, не важно куда, только подальше от нее, от этой чудовищной матрицы, отлившей его по своему образу и подобию; он бросается в парк, бежит, не разбирая дороги, спотыкается, падает навзничь и теряет сознание...

На глазах майстера Леонгарда с его часовней что-то происходит, кто-нибудь другой наверняка бы счел это дьявольским наваждением: теперь она освещена десятками свечей, в золотых окладах блистают изображения святых, у алтаря какой-то священник бормочет молитвы, грустный запах увядших венков, открытый гроб, мертвый отец в белоснежной рыцарской мантии, восковые руки сложены на груди... У гроба стоят мужчины в черном, образуя правильный полукруг, еле слышны шепчущие губы, из склепа проникает сырой земляной дух, огромная металлическая крышка люка со сверкающим медным крестом приоткрыта, черный квадрат забвения... Монотонные литании, солнечный свет, проходя сквозь розетку, трепещет в облаке ладана зыбкими косыми струями, окрашенными в зеленый, синий и кроваво-алый цвет, но вот сверху послышался серебряный перезвон, и все вдруг приходит в движение: рука священника в кружевной манжете взмахивает кропилом, двенадцать перчаток, вспорхнув белой дружной стайкой, споро и ловко подхватывают гроб, снимают с катафалка, накрывают крышкой, подводят канаты — и он исчезает в глубине; мужчины проворно

сбегают по каменным ступеням, из склепа доносятся глухие удары, скрип песка — и торжественная тишина. Бесшумно одно за другим всплывают на поверхность бледные, серьезные лица, массивная крышка люка медленно опускается, скорбно щелкает замок, пыль легким облачком повисает по периметру огромного квадрата, сверкающий крест лежит недвижим, лежит... Свечи потухают, вместо них на голых стенах, там, где только что блестели золотом изображения святых, пляшут отсветы пламени, в небольшом очаге, потрескивая, горят сосновые сучья, венки истлели, и их прах осыпался на каменные плиты, фигура священника растаяла в воздухе — и вот уже майстер Леонгард наедине с самим собой...

После смерти старого графа среди прислуги пошло брожение, люди отказывались выполнять бессмысленные распоряжения, увязывали котомки и отправлялись восвояси. А те немногие, которые почему-либо не покинули замок, стали строптивы и независимы, исполняли по дому лишь самое необходимое, а на хозяйский зов не считали нужным даже откликаться.

Графиня, стиснув в ниточку бескровные губы, носилась по комнатам и, напоминая полководца без армии, в слепой ярости сражалась в одиночку с тяжеленными шкафами, которые, несмотря на все ее старания, упорно не желали сдвигаться с места, огромные, пузатые комоды, казалось, поврастали в пол, даже выдвижные ящики взбунтовались, наотрез отказавшись двигаться в какую-либо сторону — все, за что она ни бралась, валилось у нее из рук, и некому было поднять с пола эти вещи, тысячи всевозможных предметов громоздились кругом, хлам собирался в гигантские кучи, загромождавшие собой проходы... Неравномерно расставленные на стеллажах книги непомерной тяжестью перекосили полки, крепления разошлись, лавина толстых фолиантов обрушилась вниз и завалила библиотеку, отрезав подступы к окну; природа, словно стремясь отомстить замку за прошлое, довершила начатое взбунтовавшимися вещами: ветер трепал неплотно закрытые оконные рамы до тех пор, пока не повылетали последние стекла, а осенью потоки дождя хлынули на завалы книг, на горы хлама, грязными ручейками побежали по полу, и скоро все вокруг было покрыто нежным, призрачным пушком плесени. В графиню словно бес вселился, она походила на буйнопомешанную, сбивая в кровь кулаки, колотила по стенам, истерично кричала, рвала в клочья все, что попадалось под руку. Никто ей больше не подчинялся, и это приводило ее в исступление, ведь даже сына, который после своего неудачного падения все еще ходил с палкой, прихрамывая, при всем желании на заставишь что-либо сделать. Бессильная ярость на весь мир лишила мать последних остатков разума: часами, понизив голос до шепота, разговаривала она сама с собой, время от времени зловеще скрипя зубами, а то вдруг вскакивала и с истошными воплями принималась носиться по коридору, как дикий, смертельно раненный зверь.

Однако постепенно с ней стала происходить странная метаморфоза, черты лица незаметно сложились в жуткую ведьмовскую гримасу, глаза тлели сумрачным зеленоватым свечением, она разговаривала с привидениями, подолгу прислушивалась, раскрыв рот, к их голосам и вдруг начинала частить сумасшедшей скороговоркой: «Что, что, что я должна?..»

Сидящий в ней демон исподволь приподнимал маску: деятельная беготня и хлопотливая бестолочь сменялись последовательным, хорошо рассчитанным вредительством. Замок, хозяйство, текущие дела — все было оставлено на произвол судьбы, она не прикасалась ни к чему; повсюду с катастрофической быстротой скапливались грязь и пыль, зеркала тускнели, в парке буйно разрастался сорняк, ни одна вещь не находилась на своем месте, самое необходимое невозможно было найти; в конце концов даже прислуга не выдержала и выказала желание разобрать этот кавардак, но она наотрез запретила, мол, пропади все пропадом, пусть себе черепица валится с крыши, гниют деревянные перекрытия и балки.

плесневеет полотно — ей все равно. Прежнее отравляющее жизнь мельтешение сменилось новой пыткой: царящий в доме бедлам вызывал у обитателей замка сначала досаду, потом раздражение, граничащее с отчаянием, а графине только того и надо, мстительным злорадством вспыхивают ее глаза, когда кто-нибудь, чертыхаясь, спотыкается о груды хлама. Теперь она молчит — никому ни полслова, никаких приказов и распоряжений, но все-все, что делает эта женщина, преследует одну коварную цель: денно и нощно держать прислугу в страхе и напряжении. По ночам, тайком прокравшись в спальню служанок, она вдруг с грохотом сваливает на пол горшки и, прикидываясь сумасшедшей, закатывается истеричным хохотом. Запираться бессмысленно, для нее все двери открыты, ключи она повынимала и куда-то спрятала. Теперь, когда у графини каждая минута на счету, ей некогда причесываться, на голове колтун, вдоль впалых щек свисают грязные сосульки волос, ест на ходу, да и спать она вроде не спит. Полуодетая — черное шелковое платье в целях конспирации (слишком громко шуршит) отложено до лучших времен,— бесшумно, подобно привидению, шныряет она в фетровых ботах по замку, возникая то здесь, то там.

Кто-то из слуг увидел эту призрачную фигуру в лунном свете неподалеку от замковой часовни, и сразу пошли слухи, что призрак графа бродит по ночам, взывая о мести.

Со всеми своими надобностями эта коварная женщина справляется сама — расчет верный: никто не может сказать, где в данный момент она находится, а ее всегда внезапные, как из-под земли появления наводят на суеверную челядь больше страху, чем если бы она величественно, как подобает хозяйке замка, обходила службы. После двух-трех таких явлений все разом, не сговариваясь, перешли на шепот, никто теперь не отваживался на громкое слово: бродят понуро, потупив глаза, будто у каждого на совести какой-нибудь тайных грех.

Ну а с сыном у нее счет особый. При каждом удобном случае она старается подавить его своим материнским авторитетом, навязать сознание подневольной зависимости, ни на миг не прекращающаяся слежка доводит Леонгарда до отчаянья, над ним все время довлеет кошмар какой-то неведомой вины, и этот постоянный страх в конце концов выливается в настоящую манию преследования.

Юноша чувствует себя преступником, изобличенным во всех смертных грехах, изгоем, порочность которого столь вопиюща, что он попросту лишен слова; и действительно, стоит ему только подойти к матери, открыть рот, как тонкие, бескровные губы кривятся в такой двусмысленной ухмылке, что заранее приготовленные фразы тут же застревают у него в горле, а под ее пронизывающим, инквизиторским взглядом смутные опасения, что она читает его мысли и прекрасно осведомлена о его отношениях с Сабиной, немедленно превращаются в ужасную уверенность; теперь при малейшем шорохе Леонгард вздрагивает и судорожно пытается придать своему лицу естественное, непринужденное выражение, но чем больше он старается, тем меньше это ему удается.

Леонгард влюблен в Сабину, и она отвечает ему взаимностью. Но в гнетущей, насыщенной подозрительностью атмосфере замка, искажающей любое, самое естественное чувство, даже те невинные записочки, которыми обмениваются несчастные влюбленные, представляются чем-то постыдным, запретным, достойным осуждения; очень скоро нежные чувства молодых людей увядают, отравленные ядовитыми водянистыми глазами графини, неотступно следящими за каждым их шагом, и самая необузданная страсть охватывает Сабину и Леонгарда. Встречаются они обычно на углу: прислонившись к стене, каждый в своем колене коридора, разговаривают, не видя друг друга, но и выслеживающая их графиня, с какой бы стороны ни подобралась, может заметить лишь кого-то одного, и доказать, что имело место преступное свидание, ей не удастся; страх, липкий, неот-

ступный страх разоблачения делает их речь предельно лаконичной и предельно откровенной, в ней нет ни изящных комплиментов, ни туманных намеков, ни пышных, романтических объяснений — доведенные до отчаяния дети называют вещи своими именами и этими бесстыдно обнаженными, отверженными словами распаляют свою кровь до полуобморочного состояния, когда от дикой звериной похоти у обоих темнеет в глазах.

Но петля стягивается все туже... Старуха в каком-то вещем предчувствии запирает сначала третий этаж, потом второй, на первом же уединиться невозможно — целый день здесь слоняется прислуга; удаляться от замка запрещено, а в парке ни одного укромного местечка: днем он весь просматривается из окна, а ночью или светит луна, или слишком уж велика опасность быть застигнутым врасплох.

Чем больше несчастные скрывают свою страсть, загоняя ее в тайники души, тем жарче она разгорается; однако о том, чтобы преступить запрет и открыто заявить о своей любви, у них и мысли не возникает, слишком глубоко пустила корень привитая с детства заповедь рабского, безропотного повиновения, буйно разрослась на этом корневище чужая демоническая воля; задушив слабые ростки непослушания, воцарилась она в юных душах и, жадно высасывая их жизненные силы, обескровила настолько, что бедные влюбленные в присутствии матери даже глаз поднять друг на друга не смеют...

Летним зноем опалило луга, земля рассохлась и потрескалась, трава пожухла, вечерами по небу полыхают тревожные зарницы. В гнетущем полуденном мареве зыбко дрожит раскаленный воздух, от запаха прелого сена голова идет кругом. Любовная страсть Сабины и Леонгарда достигла своего апогея, но, не имея возможности излиться, превратилась в мучительный, похотливый зуд; встречаясь взглядами, они с трудом сдерживают себя, чтобы тут же, средь бела дня, не наброситься друг на друга.

Бессонная лихорадочная ночь. Неотступный кошмар разнузданных сладострастных видений, но стоит открыть глаза — и где-нибудь у порога затаившаяся тень или вкрадчивый шорох осторожных шагов; ни Сабина, ни Леонгард уже не могут сказать наверняка, где кончается действительность и начинается навязчивый бред, но они об этом и не задумываются, ибо ни о чем другом, кроме как о предстоящем свидании, думать не в силах, в висках пульсирует одно: сегодня... днем... в замковой часовне... и... и будь что будет!

Все утро они не выходят из своих комнат и затаив дыхание прислушиваются у дверей, стараясь угадать, когда старуха удалится в другое крыло замка.

Час за часом проходит в томительном ожидании, бьет полдень, и вот где-то в глубине дома как будто звякнули ключи, теперь пора: мгновение — и они в парке, стремглав к часовне, двери настежь, пулей внутрь и сразу захлопнуть... Тяжелые створки с лязгом смыкаются, сухо щелкает замок...

Оглушенные счастьем влюбленные не видят того, что металлическая крышка люка, ведущего в склеп, поднята, подпертая деревянной распоркой, не замечают зияющей квадратной дыры в каменных плитах пола, не чувствуют ледяного могильного дыхания, проникающего из-под земли,— они замерли, пожирая друг друга глазами, как хищные звери; Сабина хочет что-то сказать, но лишь невразумительный похотливый лепет сходит с ее пересохших губ, Леонгард срывает с нее одежду, и они, задыхаясь, впиваются друг в друга...

Страсть ослепляет их, лишает рассудка: они слышат шорох вкрадчивых шагов, осторожно, ступень за ступенью всплывающий из глубины,— слышат, но это им сейчас так же безразлично, как шелест листвы.

Белые, почти нереальные, из черного квадрата появляются руки, сначала одна, потом другая, в поисках опоры худые пальцы начинают движение по периметру отверстия, чутко ощупывая каменный край... Медленно, в полной тишине, возникает из тьмы бледное лицо...

Из-под полуприкрытых век, словно в красном тумане, Сабина смотрит на это видение и не понимает... Реальность обрушивается как лавина: кошмарная старуха... воплощенное «всюду и нигде»!.. Душераздирающий женский вопль повисает под сводами часовни...

Леонгард в ужасе вскакивает, на мгновение замирает, парализованный злорадной гримасой матери, потом свет меркнет у него в глазах... Ярость вскипает с такой силой, что на сей раз переливается через край: пинок ноги — и распорка летит в сторону, массивная громада крышки, застыв на долю секунды, низвергается всей своей сокрушительной тяжестью вниз, на втянутую в плечи голову — жуткий хруст размозженного страшным ударом черепа и далекий приглушенный стук рухнувшего на дно тела...

Как громом пораженные, стоят двое преступников, молча глядя вылезшими из орбит глазами на сверкающий крест.

Чтобы не упасть, Сабина медленно опускается на пол и со стоном прячет лицо в ладонях; Леонгард на негнущихся ногах ковыляет к молитвенной скамье. В мертвой тишине слышно, как стучат его зубы...

Время идет... Ни один не решается пошевелиться, даже смотреть друг на друга избегают; потом, настигнутые одной и той же мыслью, бросаются к дверям и, выскочив на свободу, мчатся назад к замку — опрометью, не чуя под собой ног, как будто их по пятам преследуют разъяренные фурии...

Закат превратил воду источника в лужу крови, в оконных стеклах замка бушует неистовое пламя, тени деревьев подобно длинным черным рукам тянут через лужайку свои хищные цепкие пальцы, которые терпеливо, дюйм за дюймом перебирают складки газона, нашаривая в траве кузнечиков, до тех пор, пока не удушат стрекот последнего. Сумерки сгущаются в темную, непроницаемую синеву ночи.

Покачивая головами, гадает прислуга, куда подевалась графиня; спросили юного господина, тот только пожал плечами и отвернулся, скрывая свою мертвенную бледность.

При свете фонарей обыскали парк, тщательно обследовали берег пруда, даже в воду посветили — непроницаемо черная, она отражала свет, неподалеку плавал полумесяц, в камышах беспокойно били крыльями дикие утки.

Старик-садовник отвязал собаку и двинулся в лес, время от времени откуда-то издали доносилось его едва различимое ауканье, и каждый раз вскакивал в ужасе Леонгард: другой, окликающий из-под земли, голос мерещился ему.

На часах полночь. Садовника все еще нет, чувство неопределенной тревоги, неотвратимо надвигающегося несчастья свинцовым гнетом нависло над прислугой; притихшие, тесно прижавшись друг к другу, сидят они на кухне и шепотом рассказывают страшные истории о кровожадных оборотнях: днем они люди как люди, а по ночам превращаются в волков и убегают на кладбище пожирать мертвечину из разрытых могил...

Проходят дни, недели, а графини как не бывало, просили Леонгарда отслужить заупокойную мессу, но он наотрез отказался. Вместо этого велел вынести из замковой часовни и алтарь, и образа — не оставил ничего, кроме молитвенной скамьи, на которой и просиживал часами, погруженный в тяжелые думы; не терпел, когда к нему входили не спросясь. Говорят, кто-то видел в замочную скважину, как он лежал, простершись на полу, прижав ухо к металлическому люку, словно к чему-то прислушивался...

На ночь Сабина приходит к нему; прислуга провожает ее косыми взглядами: погрязшие в разврате прелюбодеи даже не считают нужным от людей скрываться.

Вскоре слух о таинственном исчезновении графини дошел до расположенного внизу селения углекопов, а оттуда и дальше. Однажды к замку подкатила желтая почтовая карета, из нее вышел тощий, как веретено, писец в парике, прибывший по поручению местного магистрата. Они с Ле-

онгардом надолго заперлись и тихо о чем-то беседовали, потом чиновник уехал. Прошло несколько месяцев, судейские о себе вестей не подавали, дело как будто замяли, однако зловещие слухи кружили по-прежнему.

Никто в замке уже не сомневался, что графиня мертва, но ее бесплотный призрак как бы продолжал жить, и его невидимое, наводящее ужас присутствие ощущалось всеми.

На Сабину смотрели исподлобья, приписывая вину за содеянное ей, да и в присутствии юного графа разговоры как-то сами собой иссякали, обрывались на полуслове.

Леонгард делал вид, что ничего не замечает, выказывая холодное, презрительное равнодушие.

Со смертью графини замок стал ветшать на глазах, запустение зашло слишком далеко, да никто и не думал бороться с ним; вьющиеся растения карабкались по стенам, нагло разгуливали мыши и крысы, в темных углах гнездились совы, крыша окончательно прохудилась, открытые дождю и снегу стропила гнили и понемногу обваливались..

Лишь в библиотеке еще сохранялась какая-то видимость порядка, хотя большая часть книг безнадежно истлела и ни на что уже не годилась.

Целыми днями Леонгард копался в старинных фолиантах, стараясь расшифровать попорченные влагой страницы, на полях которых еще сохранились пометки, сделанные резким, стремительным почерком отца; Сабину не отпускал от себя ни на шаг, а если ей все-таки случалось отлучиться по домашним делам, места себе не находил, охваченный неодолимой тревогой.

Часовню навещал теперь вместе с ней, однако днем они никогда не разговаривали и только ночью, когда лежали рядом, на него что-то находило, и его память начинала путаной монотонной скороговоркой извергать все, что он вычитал за день; Леонгард очень хорошо понимал, что это лишь защитная реакция мозга, который каждой своей клеточкой отчаянно сопротивляется, стараясь отгородиться частоколом слов от жуткого образа мертвой графини, готового в любую секунду соткаться из мрака, стараясь заглушить дробной словесной чечеткой жуткий хруст размозженного черепа, кошмарным эхом, даже если изо всех сил зажать уши руками, доносящимся со дна души. И хотя Сабина слушала, не прерывая, в каком-то неживом, деревянном оцепенении, но он все равно чувствовал, что смысл сказанного ускользает от нее; пустой, неподвижный взгляд — похоже, она всматривается в те же самые сумрачные глубины, откуда доносится сводящее его с ума эхо.

Пожатию руки ледяные пальцы Сабины отвечают лишь по прошествии долгих минут, сердце ее как омут, оттуда не исходит ничего; он пытается увлечь ее с собой в темный водоворот страсти, чтобы, захлебнувшись в его страшной воронке, обрести себя вновь по ту сторону преступления, в счастливых днях, когда над ними не тяготело проклятье, поистине такой день мог бы стать исходной точкой новой жизни. Однако Сабина даже в самых жарких объятиях лежит безучастная, к чему-то прислушиваясь, его самого пронзает ужас, когда он касается ее округлого чрева, в котором созревает невидимый свидетель кровавого преступления.

Сон глубокий, свинцовый, без сновидений, однако забыться все равно не удается; Леонгарда вбирает какая-то беспредельная пустота, лишенная даже преследующих его наяву страхов — ничего, только мучительно бесконечный спазм ожидания, внезапное помрачение чувств, черный провал, в который срывается, и летит, и никак не может достичь дна человек, уже положивший голову на плаху и с закрытыми глазами гадающий, что быстрее: следующий, последний удар пульса или топор заплечных дел мастера.

Каждое утро, просыпаясь, Леонгард пытается сконцентрировать свою волю и разорвать роковые оковы мучительных воспоминаний; призывает

на помощь отца, и сразу начинает кровоточить незаживающая рана, оставленная отточенным лезвием: «...во что бы то ни стало, сын мой, найди в себе точку опоры, над коей не властен внешний мир», кажется, еще немного, последняя капля и... и его взгляд падает на Сабину: он видит, как она судорожно, изо всех сил старается улыбнуться, и все — дальше снова отчаянное бегство от самого себя.

Он решает изменить свое окружение, отпускает прислугу, остается только старик садовник — одиночество с его изматывающим ожиданием становится еще более невыносимым, призрак прошлого — все ближе, все живее...

Не угрызения совести, не сознание вины мучают Леонгарда, нет, он ни на йоту не раскаивается в содеянном, ненависть к матери так же непомерна, как и в день смерти отца, но его сводит с ума собственная немощь: графиня встала невидимой преградой между ним и Сабиной, а он, бессильный что-либо предпринять, чтобы изгнать этот бесплотный призрак, вынужден покорно терпеть устремленный на него водянистый взгляд, от которого кровь стынет в жилах; видно уж, до конца его дней обречен он носить в себе кошмарный склеп с телом матери, разъедающий душу подобно страшной, злокачественной опухоли.

Вернуться в земную жизнь реально, во плоти, мертвые не могут, и Леонгард нисколько в этом не сомневается, но то, что они продолжают жить — еще более ужасным образом! — даже без телесной оболочки, являясь проводниками инфернальных инспираций, над коими не властны ни двери, ни запоры, ни проклятья, ни молитвы, ни... ни крышки люков, сколь тяжелы бы они ни были, он убедился на собственном примере, а за другими доказательствами не надо далеко ходить, достаточно в течение дня понаблюдать за Сабиной. Все в замке будит воспоминания о матери, все, абсолютно все заражено ее ядовитым дыханием и навязчиво внушает ненавистный образ: складки портьер, смятая, небрежно брошенная одежда, узоры деревянных панелей, царапины на каменных плитах — эти кажущиеся такими безобидными мелочи, стоит только Леонгарду посмотреть на них, тут же незаметно перегруппировываются, располагаясь вдоль невидимых силовых линий его подозрительного взгляда, и в следующую секунду перед ним возникает ухмыляющееся лицо графини. Зеркало он обходит стороной: один неосторожный взгляд — и хищная копия бросается на него из зеленоватой бездны и жалит в самое сердце подобно болотной гадюке, после чего он надолго цепенеет, ощущая, как смертоносный яд растекается по всему телу и проникает в мозг: неужели случилось невозможное, и его лицо стало ее лицом, неужели он до конца своих дней осужден на это проклятое наследство, эту страшную маску?..

Кажется, даже воздух насыщен удушливыми испарениями призрачного присутствия: скрип половиц — и он уже видит, как она крадется по коридору; ни трескучий мороз, ни палящий зной не изгонят ее, осень ли на дворе или снежная зима, дует ли свежий весенний ветерок или припекает летнее солнце — все это там, снаружи, на поверхности, но никакие внешние изменения и смены времен года не властны над ней, с фанатичным упорством крупица за крупицей отвоевывает она у материи свое тело, все отчетливей и рельефней прорисовывается призрак, дюйм за дюймом выползает из бездны потустороннего, во что бы то ни стало стремясь загустеть, уплотниться до консистенции человеческой плоти... И вот уже кажется, худые пальцы в поисках опоры начинают движение по периметру черного квадрата, чутко ощупывая невидимый край...

Панический страх — вдруг ей это когда-нибудь удастся? — подобно гигантской глыбе наваливается на Леонгарда, вот-вот раздавит, если он вовремя не догадается, откуда, через какой тайный люк мать собирается проникнуть в земную жизнь.

И помощи ему ждать неоткуда, рассчитывать можно только на себя, ибо между женщиной и внешним миром со времен Адама заключен союз. О, если бы он мог вернуть те краткие мгновения свободы и покоя, которые

переживал, стоя на коленях у кресла умершего отца, но, увы, зерна, посеянные графом в его душе, похоже, погибли, ибо никогда больше не ощущал Леонгард ничего подобного, и как ни старался пробудить в себе те счастливые минуты внутренней силы и могущества, в сознании всплывали лишь жалкие обрывки воспоминаний, ничего не значащие впечатления, какие-то пустые мелочи, похожие на искусственные розы — ни цвета, ни запаха, вместо гибкого стройного стебля — отвратительный протез из мягкой податливой проволоки.

Пытаясь вдохнуть в этих мертворожденных уродцев жизнь, он садится за старинные манускрипты, возможно, они наведут зыбкую, призрачную связь между ним и отцом, однако прочитанное не находит в нем никакого отклика, оставаясь запутанным лабиринтом сложных, далеких от жизни понятий.

В гигантских развалах книг, которые он по крохам разбирает с помощью старого садовника, ему нет-нет да и попадутся странные, непонятного происхождения вещи: пергаменты, испещренные таинственными иероглифами, растрепанные рукописи, от зловещей криптографии которых становится не по себе, какие-то, по всей видимости, редчайшие, инкунабулы, мрачные толстые гримуары в черных переплетах из свиной кожи с массивными медными застежками и, наконец, несколько ветхих гравюр с каким-то жутковато загадочным содержанием — они как магнитом притягивают взгляд, завораживают своей энигматикой — непроницаемой, но тем не менее рождающей в душе неясные, волнующие ассоциации. Кажется, эта темная символика, минуя верхние слои сознания, устанавливает тайную связь с неведомыми человеку глубинами его же собственного Я, однако на поверхность не проникает ничего, разве что тоненькая цепочка пузырьков, невнятно намекающих на что-то чрезвычайно важное, знакомое, только давно-давно забытое... Одна из этих гравюр особенно запомнилась Леонгарду: на ней был изображен черный козел с золотым бородатым человеческим ликом, пред ним, молитвенно сложив руки, стояли правильным полукругом рыцари в белоснежных мантиях с какими-то страшными крестами на груди; обычный христианский крест состоит из двух прямых перекладин, а этот был составлен из четырех бегущих, согнутых в колене под прямым углом ног — сатанинский крест тамплиеров, как хмуро и неохотно пояснил садовник. Среди всего прочего Леонгард обнаружил небольшую изящную шкатулку, а в ней поблекшую миниатюру — портрет какой-то величественного вида дамы в пышном старинном наряде; судя по имени, вытканному снизу пестрым бисером, это была его бабушка. На коленях она держала двух детей, мальчика и девочку, в их лицах сквозило что-то неуловимо знакомое, заставившее юношу до тех пор всматриваться в их черты, пока его наконец не осенило: ну, конечно же, это родители, но... но как же так, ведь на портрете несомненно изображены брат и сестра...

Внезапное смущение старого садовника — он отводил глаза и упорно пропускал мимо ушей настойчивые расспросы — подсказало, что Леонгард напал на след какой-то мрачной семейной тайны.

Под портретом в шкатулке лежала стопка пожелтевших от времени писем, Леонгард взял их с собой, намереваясь прочитать ночью...

После смерти матери это, пожалуй, первая его ночь без Сабины — сославшись на недомогание, она ушла спать к себе.

Запершись в комнате отца, Леонгард мечется из угла в угол — письма лежат на столе,— хочет и никак не может приступить к чтению, неведомый ужас мешает ему приблизиться к столу, все время такое чувство, словно кто-то невидимый стоит за спиной, сжимая обнаженный кинжал, и на сей раз это не призрак матери, нет — это тень далекого прошлого, которая пока таится в письмах, терпеливо выжидая, когда простодушный потомок углубится в их содержание, вот тогда-то она и вцепится ему в горло мертвой хваткой, чтобы утянуть в преисподнюю.

Он подходит к окну: гробовая тишина, в южной части небосвода мерцают две большие звезды, они так близко друг от друга, что кажется, это обман зрения — просто двоится в глазах... Вид этой странной двойной звезды почему-то волнует его, будоражит, вселяет смутную тревогу, предчувствие какой-то катастрофы; как будто на него наставлены два сложенные рогаткой пальца, кончики которых светятся.

Он поворачивается к столу: две свечи, подобно грозным посланникам потустороннего мира, замерли в неподвижном ожидании, даже огненные язычки застыли, загипнотизированные ледяными глазами готового к атаке кошмара. Вкрадчиво подбирается время, как падение пепла бесшумен скользящий шаг часовых стрелок.

Леонгарду чудится донесшийся снизу крик... Прислушался — тишина...

Итак, письма: жизнь отца разворачивается перед ним, подобно свитку; на глазах юноши согбенный старец распрямляется во весь свой гигантский рост, это уже титан, дух независимый и гордый, восставший против всего, что называется законом, герой, шагающий, если нужно, через трупы; вот он громко, во всеуслышанье, похваляется, что, подобно всем своим предкам, является истинным посвященным ордена тамплиеров, тех надменных рыцарей, кои объявили Сатану творцом мироздания, а в слове «благодать» слышали оскорбление, не смываемое даже кровью. Среди писем попадались и более поздние дневниковые записи: через какие же муки унижения прошел этот гордый дух, бросивший вызов судьбе, когда низвергся в бездны бессилия и, нелепо волоча за собой некогда могучие крыла, траченные белесой, прожорливой молью повседневности, вынужден был вернуться на роковую для его рода тропу, круто уходящую вниз, в кромешную тьму, чтобы, попетляв там от провала к провалу, сорваться в безумие — полное, без возврата!..

Едва ли не на каждой странице постоянным зловещим рефреном звучало прямое указание на то, что тропы сейчас не дано избегнуть никому из проклятого рода, что на протяжении веков все они, как скоты бессловесные, гонимы жестокими ударами бича от преступления к преступлению; сумрачный рок переходит по наследству от отца к сыну, не позволяя главе рода обрести внутренний покой и просветление, ибо в каждом поколении на пути рыцаря встает женщина — мать, жена, дочь,— и как жертва, а то, наоборот, как подстрекательница кровавого злодеяния, пресекает дальнейшее восхождение к духовным вершинам. Однако вновь и вновь в непроглядной ночи отчаянья вспыхивает негасимая звезда надежды: все равно, рано или поздно, один из потомков злосчастного рода не согнется под ударами судьбы и, положив конец тяготеющему над древней кровью проклятию, завоюет «корону гроссмайстера».

Но вот Леонгард, холодея от ужаса, читает страницы, на которых отец описывает, как воспылал страстью к... к своей единоутробной сестре, и мир меркнет в его глазах: итак, он — плод инцеста, и не только он, но и... Сабина!

Теперь ясно, почему она не знает своих родителей. И ведь никаких свидетельств, ни единого знака, который мог бы выдать ее настоящее происхождение! Леонгард вдруг понял: тот ангел-хранитель, который простер над нею свои руки и отдал ее в крестьянскую семью, обрекая на унизительную, подневольную жизнь, был не кто иной, как отец, и сделал он это для того, чтобы навсегда избавить своих детей, сына и дочь, от чувства вины, чтобы, даже осуществись наследственное проклятье и сойдись они как муж и жена, не тяготело бы по крайней мере над ними мучительное, испепеляющее душу сознание своего греха — страшного греха кровосмешения.

Все, слово в слово, было подтверждено письмом отца, которое Леонгард обнаружил среди прочих; сломленный болезнью в каком-то чужом городе, граф, переживая за судьбу своих детей, заклинал в нем мать сделать все возможное, чтобы исключить даже возможность — пусть самую невероятную! — будущего разоблачения, а прежде всего сжечь это послание.

Потрясенный, отводил Леонгард глаза, письма притягивают его как магнит, хочется читать и читать... В них непременно должно присутствовать описание какого-то кошмара, кровавого преступления, чего-то такого, что как две капли воды походит на убийство в часовне и что заставит его соскользнуть на край пропасти, за которым ужас обрывается в безумие... И вдруг разом, с потрясающей ясностью, как если бы удар молнии рассек внезапно ночную тьму, открылся ему коварный замысел могущественных демонических сил, кои, скрываясь под маской слепой, жестокой судьбы, намереваются последовательно и планомерно растоптать его жизнь: из своего невидимого укрытия они будут до тех пор язвить его душу отравленными стрелами, пока яд не пропитает его всецело и не отомрут последние слабые ростки веры в себя, тогда исполнится роковое предначертание, пред которым не устоял ни один из предков, и он, сломленный, бессильный и беззащитный, рухнет к ногам победителя... Вдруг будто тигр пробудился в нем, схватив письма, он поднес их к пламени свечи и, как зачарованный, смотрел на огонь, пока последний клочок не обжег пальцев. В нем и самом бушевало теперь пламя — черное, лихорадочное пламя ненависти к сатанинскому монстру, невидимому властелину мира сего; оно прожгло его насквозь, в ушах стоял тысячегласый вопль — это взывали о мести истерзанные когтями судьбы поколения предков,— каждый нерв звенел, как тетива, душа изогнулась тугим луком...

Настало время свершить что-то неслыханное, отчего и земля, и небо придут в содроганье: за ним в боевом порядке выстроились бесчисленные легионы умерших, впившись в него глазами, ждут они сигнала к атаке, чтобы во главе с ним, единственно живым, яростной лавиной обрушиться на общего врага.

Безграничная энергия переполняет его, требуя немедленного выхода; налитыми кровью глазами огляделся он по сторонам: что, что, что я должен делать — поджечь замок, изрезать на куски самого себя или с ножом в руках бежать отсюда, круша все на своем пути?

А тут еще какой-то карлик — сознание собственной малости — путается все время под ногами, назойливо дергая пурпурную тогу величественных замыслов; оскорбленный такой бесцеремонностью, норовит он незаметно оттолкнуть нахала, ироничная ухмылка, блуждающая на мудром старческом лице, нестерпима ему.

Напустив на себя хладнокровие, он тяжелой походкой полководца, на которого возложена ответственность за исход решающего сражения, прошествовал к сундуку, стоящему неподалеку от спальни, и, наполнив карманы золотом и фамильными драгоценностями, гордо, ни с кем не прощаясь, вышел в ночной туман; итак, вперед, куда глаза глядят, отныне он сам, по собственной воле — такой пощечины владыка судьбы, конечно, не переживет! — обрекает себя на полную лишений жизнь одинокого, бесприютного скитальца, бредущего по свету к своей неведомой цели.

Замок утонул в сероватой, клубящейся мгле, Леонгард хотел обойти часовню, но не сориентировался и прошел рядом: сила магнетического притяжения не давала сойти с орбиты. И он чувствовал это, ощущал каждой клеточкой своего тела, но все равно из юношеского упрямства заставлял себя не поддаваться, идти все время прямо, не отклоняясь ни вправо, ни влево; он шел и шел, не останавливаясь ни на минуту, но призраки воспоминаний не отставали: то тут, то там вырастали из тумана черные силуэты кустов, словно поднятые крышки люков... Почему-то в голове все время всплывала мысль о Сабине... Он заставил себя думать о другом: всему виной, конечно, проклятая кровь матери, текущая в его жилах, это она не дает ему воспарить к желанным вершинам и приковывает к земле, исподволь присыпая юный восторженный пыл серым, уныло трезвым пеплом... Он прибавил шагу, на ощупь продираясь сквозь кустарник от дерева к дереву, и вдруг заметил вдалеке какой-то огонек, парящий над землей на высоте человеческого роста. Леонгард шел за

этой путеводной звездой, то теряя ее из виду, то снова отыскивая в тумане, и манящий, неверный огонек становился все ближе и ближе, и вот уже под ногами утоптанная земля, какая-то тропинка и — надо же! — ведет прямо к цели...

Слабый, едва различимый крик повисает в темноте...

Вырисовываются высокие черные стены, тяжелые створки ворот — и Леонгард останавливается как вкопанный: перед ним... замок. Тот самый, откуда он ушел несколько часов назад и где прошла вся его жизнь.

Итак, путешествие оказалось кругосветным и благополучно подошло к концу...

Понуро волоча ноги, входит он в дом, поднимается к комнате Сабины и, уже взявшись за дверную ручку, застывает, настигнутый ледяной иглой страшной, необъяснимо твердой уверенности, что там, внутри, его мать — ожившая из мертвых — выжидает, когда он войдет...

Леонгард хочет повернуть назад в ночную мглу, но не может: сила, которой он не в состоянии противостоять, заставляет его открыть дверь...

На постели в луже крови лежит, опустив синеватые тени век, бледная, как полотно, Сабина, а рядом с ней — голый новорожденный младенец, девочка с морщинистым старушечьим личиком, пустым, беспокойно бегающим взглядом и красным родимым пятном, зловеще тлеющим посреди лба: кошмарно безукоризненная копия — проклятье, как две капли воды! — той, которая лежит с размозженным черепом в склепе...

Майстер Леонгард видит какого-то одетого в лохмотья человека, сидящего на обочине дороги: присмотревшись, он узнает в этом охваченном беспредельным ужасом страннике самого себя; вездесущий бич судьбы настигает его всюду, и в городском доме, и на постоялом дворе, гонит прочь, все дальше и дальше, и он бредет, понурив голову, уже не строя воздушных замков и не помышляя ни о чем грандиозном.

А время возводит на его пути города один за другим, сумрачные и солнечные, большие и маленькие, распутные и суровые — всякие, время строит не задумываясь и так же легко, играючи, разрушает свои карточные домики, одним взмахом малюет сверкающие серебром змеиные русла рек и серый бескрайний саван пустыни, со знанием дела рядит землю карнавальным арлекином, набрасывая на ее округлые плечи зеленовато-коричневое домино лугов и пашен, перечеркнутое пыльными складками оврагов, старательно расставляет по обочинам пирамиды тополей, небрежно раскидывает ландшафты с влажными, туманными низинами, щедро пересыпанными стадами скота с вкраплением собак, дружелюбно виляющих хвостами,— на бутафорию оно не скупится, только поверь в эти распятия на развилках дорог, в белые придорожные камни, в этот снующий, от мала до велика, люд, в этот внезапный июльский ливень, в сверкающие на солнце капли, в золотые лягушачьи глаза, задумчиво взирающие из лужи, в подкову с проржавевшими шляпками гвоздей и одноногих журавлей, в черных кошек и желтые цветы, в заброшенные погосты и ватные облака, в хмельные клятвы и черных трубочистов — они есть и их нет, они приходят и уходят, как день и ночь, погружаются в небытие и вдруг, подобно играющим в прятки детям, снова тут как тут — достаточно легкого неуловимого запаха, едва слышного шороха, мимолетного оттенка, тишайшим шепотом произнесенного слова...

Страны и города проплывают перед глазами Леонгарда; отпрыск древнего, пользующегося дурной славой рода, он никогда не знает, какой прием его ждет в той или иной местности.

Останавливаясь в деревнях, он не гнушается компанией простолюдинов, подолгу разговаривает с бродягами и учеными мужами, с мелочными торговцами и богатыми купцами, с солдатами и священниками, но куда бы ни заносила его судьба, чем бы он ни занимался, всегда денно и нощно кровь матери борется в нем с кровью отца: если сегодня что-то повергает

его в задумчивое восхищение, будто перед ним пестрый павлиний хвост, то назавтра он видит лишь осколки мутного бутылочного стекла; когда же два этих потока, из которых составлена его жизнь, сливаются, и он обретает свое прежнее Я, вновь нескончаемой чередой тянутся часы кошмарных воспоминаний. Одурманенный угарным чадом прошлого, он идет, ничего не видя и не слыша, а перед его обращенным в себя взглядом сменяются, как в калейдоскопе, видения: отвратительное старушечье личико младенца, оцепеневшее в столбняке пламя свечей, двоящаяся звезда в южной части небосвода, сожженные письма, угрюмый подозрительный замок, до последнего камня пропитанный муками и страданиями многих поколений, мертвая Сабина с бледным бескровным лицом, а в ушах — то страшный предсмертный хрип отца, то вкрадчивый, тревожный шелест черного шелка, то хруст размозженного черепа...

Временами его настигает страх: а не ходит ли он снова по кругу?.. И вот уже лес, встающий темной стеной вдали, грозит в любую минуту обернуться проклятым парком, от каждого каменного строения, возвышающегося на холме, делается не по себе — как бы при ближайшем рассмотрении не опознать в нем фамильного замка,— а встречные крестьяне все больше и больше напоминают знакомую с детства прислугу... Он прячется по церквам, ночует под открытым небом, увязывается за пилигримами, бражничает по кабакам с бродягами и распутными девками — лишь бы укрыться от всевидящего ока судьбы, уйти на самое дно, с головой зарыться в ил... Намеревается постричься в монахи, заточить себя в монастыре — выслушав его исповедь, настоятель приходит в ужас, в довершение всего этот погрязший в пороке грешник — отпрыск нечестивого, преданного анафеме рода тамплиеров. Леонгард очертя голову бросается в водоворот жизни — она упорно не желает иметь с ним ничего общего; он призывает дьявола — в ответ одно лишь эхо: зло повсюду, но прародитель его неуловим, он пытается искать его в собственном Я — и не может найти самого себя, хотя твердо знает: Я должно быть здесь, ведь не прошло и минуты, как он чувствовал его, был уверен в том, что оно здесь, и оказался в дураках, и поделом, ведь каждый миг оно другое: радуга, висящая над землей, такая красивая, близкая, а попробуй ухвати — в руке пустота...

Во всем ему видится крест Сатаны: повсюду бессмысленный круговорот — рождение, юность, зрелость, старость, смерть; поистине чрево, порождающее все человеческие страдания, это вечно вращающееся мельничное колесо, а неподвижная ось, вкруг коей пребывают в движении крылья — четыре бегущие человеческие ноги — так же, увы, непостижима, как абстрактная математическая точка.

В дороге он пристает к нищенствующему монаху, постится, бичует себя вместе с ним... Годы скользят меж пальцев, как зерна четок, ничего не меняется ни внутри, ни вовне, только солнце как будто слегка потускнело.

Как и прежде, у бедного отнимается последнее, у богатого прибывает вдвойне, чем настойчивее нищий молит о «хлебе насущном», тем тверже камни уготовил ему день,— а небеса все так же непроницаемы и холодны, как закаленная, отливающая синевой сталь.

Вновь вспыхивает в нем старая ненависть к заклятому врагу рода человеческого, вершителю судеб людских.

Монах проповедует о том, что «Господь своим чадам воздаст по справедливости, преданные же анафеме отступники будут на веки вечные ввергнуты в геенну огненную», а ему в словах этих слышится пение инфернального кочета; чуть не ежедневно с пеной у рта проклинает монах нечестивых, продавших душу дьяволу тамплиеров, кои тысячекратно горели на кострах и все равно поднимали голову; сии исчадия ада не только не желали умереть в покаянии, но втайне оплели своими гнусными щупальцами весь христианский мир, и сколько ни пыталась матерь-церковь выжечь скверну каленым железом, зараза неистребима.

Тогда-то и удалось ему разузнать кое-что о ереси тамплиеров; почитают они двух богов: верховного — некий недосягаемый и непостижимый принцип, и низшего, Сатану,— страшного демиурга, который ежечасно перестраивает мир, наполняя его страхом и ужасом, изо дня в день нагнетая кошмар до тех пор, пока человечество не захлебнется в собственной крови; однако есть и третье божество, кое превыше двух первых,— Бафомет, трехликий идол с золотой головой.

Слова эти больно ожгли его душу, как будто само пламя изрекло их своим беспощадным языком.

Сокровенный смысл сей еретической доктрины Леонгард постигнуть не мог, а внешнее, поверхностное толкование, прикрывающее страшную трясину, подобно красивому, обманчиво приветливому зеленому ковру, его не устраивало, и все же с какой-то непоколебимой уверенностью несчастный изгнанник чувствовал, что этот путь для него единственный, только пройдя его до конца, он сможет спастись от себя самого: орден тамплиеров протягивал ему руку — ну что ж, смертные обречены наследовать предкам.

С монахом они разошлись.

И вновь легионы умерших окружают Леонгарда, на сей раз они твердят какое-то имя, и вот губы сами собой начинают слог за слогом повторять это странное имя, которое подобно древу ветвь за ветвью прорастает из сердца; это совершенно незнакомое имя становится его плотью и кровью, имя, облаченное в пурпур и увенчанное короной, имя, которое он уже не может не шептать, ибо ноги двигаются в ритме этих магических семи слогов: Я-коб-де-Ви-три-а-ко.

Сегодня — легендарный гроссмайстер рыцарей Храма, завтра — бесплотный внутренний голос, Якоб де Витриако призрачным, невидимым проводником указывает ему путь.

Подобно тому как брошенный вверх камень, достигнув высшей точки, меняет направление своего полета и, набирая скорость, устремляется к земле, так и с Леонгардом: незнакомое имя стало для него поворотным пунктом, и странная тяга к загадочному Якобу де Витриако постепенно превратилась в неодолимую, овладевшую всем его существом потребность во что бы то ни стало найти этого человека.

И вот уже ему начинает казаться, что он встречал это имя в каком-то древнем фолианте, хранящемся в библиотеке отца, имя носил — если только память не подводит — глава ордена; ну и что из того, убеждает он себя, бессмысленно гоняться за гроссмайстером Витриако, ибо рыцарь сей жил несколько веков назад и кости его давно истлели в могиле, но доводы разума бессильны перед страстью идущего по следу: крест на четырех бегущих ногах незримо катится вперед, увлекая Леонгарда за собой.

Он роется в архивах ратуш, расспрашивает знатоков геральдики — никаких результатов.

Наконец в какой-то монастырской библиотеке ему попадается точь-в-точь такая же книга, как у отца, Леонгард прочитывает ее дважды, внимательно вглядываясь в каждую строку,— имени Витриако там нет.

Его одолевают сомнения, он уже не доверяет своей памяти, вся прошедшая жизнь покачнулась и угрожающе накренилась, лишь Якоб де Витриако остается единственно твердой точкой, незыблемой, как полярная ось.

Но тщетны поиски, и Леонгард решается вычеркнуть это имя из памяти; выбрав наудачу первый попавшийся город, он в тот же день без ведома призрачного проводника отправляется в дорогу; а поутру ему слышится далекий невнятный зов, как будто кто-то выкликает: «Ви-три-а-ко-», сбивая его с намеченного пути, и он идет на голос: церковная колокольня на горизонте, тень дерева, придорожный столб с указующим перстом — все, все свидетельствует о том, что таинственный гроссмайстер Витриако где-то здесь.

На постоялом дворе Леонгард сводит знакомство с каким-то странст-

вующим знахарем — уж не тот ли это, кого он ищет? — однако бродяга представляется доктором Шрепфером. Для этого человека с хитрыми, пронырливыми глазками и острыми зубами куницы, хищно сверкающими на темном, словно прокопченном лице, кажется, нет в мире такой тайны, которую бы он не знал, такого места, в котором бы он не бывал, такой мысли, которую бы он не угадал, такого сердца, в глубины которого бы он не проник, такой болезни, от которой бы он не излечил, такого языка, которого бы он не развязал, такого пфеннига, которого бы не прикарманил... Где бы он ни появился, девицы сразу обступают его — упрашивают погадать по руке или на картах, но, выслушав предсказания, мигом умолкают и, боязливо оглядываясь, спешат прочь.

Сидя друг против друга, они пьют всю ночь; Леонгарду спьяну мерещится невесть что: временами лицо напротив пропадает, остаются одни хищные сверкающие зубы, которые цедят без всякой связи поразительно верные слова,— до его слуха они доносятся то эхом собственных его речей, то ответами на только еще всплывающие в хмельном мозгу вопросы.

Казалось, этот человек читал его самые сокровенные мысли: любой их разговор, сколь бы незначителен он ни был, в конце концов непременно сводился к тамплиерам. Леонгарда так и подмывало спросить у знахаря, не знает ли он о некоем Витриако, но всякий раз в последний момент, когда вопрос уже готов был сорваться с губ, какое-то недоброе предчувствие останавливало его, и он, осекшись на полуслове, замолкал.

Всюду, куда бы ни занесла их судьба — в основном они кочевали с одной ярмарки на другую,— они держались друг друга, как если бы их связывала какая-то общая тайна.

Доктор Шрепфер, окруженный толпой зевак, изрыгал пламя, подобно огнедышащему дракону, глотал шпаги, обращал воду в вино, без единой капли крови прокалывал кинжалом щеки и язык, заговаривал раны, вызывал души умерших, занимался ворожбой и экзорцизмом.

Леонгард понимал, что этот не умеющий ни читать, ни писать бродяга — обычный шарлатан, но ежедневно на его глазах шарлатан творил чудеса: хромые бросали свои костыли и пускались в пляс, бабы, орущие благим матом в жестоких родовых муках, вдруг затихали и благополучно разрешались от бремени, стоило ему только наложить на них руки, эпилептиков отпускали судороги, крысы полчищами покидали дома и бросались в воду; при виде эдакого всемогущества Леонгард, сам того не замечая, с каждым днем все больше подпадал под чары доктора Шрепфера, тем более что по-прежнему надеялся отыскать с его помощью гроссмайстера Витриако.

Надежда эта, похоже, была неистребима; иногда казалось, еще немного и она скоропостижно угаснет, испустив чадную струйку дыма, но в последний момент шарлатан каким-нибудь двусмысленным, полным таинственного обещания намеком ворошил угли, и пламя вспыхивало вновь, и вновь невидимые путы треножили Леонгарда.

Все, абсолютно все, исходящее от доктора Шрепфера, двоилось, каждое его слово, каждый поступок можно было понимать и так и эдак, да и сам он являл собой пример парадокса: он надувал — и его мошенничество оборачивалось благом, врал — и в его болтовне вдруг открывалась высочайшая истина, говорил правду — а из-за каждого слова выглядывала ложь и корчила гримасы, без зазрения совести нес чепуху — и несусветная галиматья превращалась в пророчество, ни рожна не смысля в астрологии, составлял гороскопы — и все сходилось, варил снадобья из придорожной травы — и они действовали как чудотворные микстуры, потешался над суеверием — а сам был суеверен, как старая баба, презирал распятие — и осенял себя крестным знаменьем, стоило какой-нибудь драной кошке перебежать дорогу; когда же ему задавали вопрос, тут же, и глазом не моргнув, выдавал ответ, составленный из слов самого вопроса, только перетасованных каким-то непостижимым, шулерским способом, и — о чудо! — попадал не в бровь, а в глаз...

Леонгард не уставал изумляться, в голове никак не укладывалось: неужели высшие, сокровенные силы и впрямь избрали своим посредником этого фигляра, этого самого никчемного на земле человека? Однако со временем забрезжила смутная догадка: если видеть в докторе Шрепфере только шарлатана, то все его откровения немедленно обращаются бредом и чепухой; если же делать поправку на ту всемогущую силу, коя отражается в нем, подобно солнцу в грязной луже, то ярмарочный лицедей сразу предстает преображенным в сверкающие ризы ее глашатая и проводника, а его речи — в кладезь нетленных истин.

Однажды Леонгард решился и, преодолев недоверие, спросил своего компаньона — отводя, правда, взгляд на величественно плывущие в вечернем небе пурпурные и фиолетовые громады облаков,— не знакомо ли ему имя Якоб де...

— ...Витриако,— быстро закончил доктор Шрепфер и, замерев на миг с почтительной миной, отвесил глубокий поклон в западном направлении; потом напустил на себя торжественную важность и, подозрительно оглядевшись по сторонам, поведал свистящим от возбуждения шепотом, что он и сам тамплиер в степени послушника, и ему вменено в обязанность препровождать жаждущих истины странников к гроссмайстеру. Он пустился в красочное многословное описание уготованных счастливому избраннику благ; охваченный странной экзальтацией, вдохновенно вещал он о том неземном сиянии, в коем пребывает безгрешная братия — да-да, безгрешная, ибо никакое злодеяние, будь то смертоубийство или... или кровосмешение, не зачтется во грех блистательным рыцарям Храма, а посему даже тень раскаяния не может коснуться их величественных, причастных высшим таинствам душ; с каждой секундой все больше воспламеняясь от собственных слов, он утверждал, что паладины ордена, уподобившись двуликому Янусу, могут одновременно объять взором оба мира, от вечности до вечности,— гигантские человеко-рыбы, они в океане бытия навсегда избегли коварных сетей времени, обретя бессмертие по сю и по ту сторону.

Взвинтив себя до предела, шарлатан, похоже, впал в настоящий экстаз; резким движением выбросил он руку вперед, указывая на темно-синюю каемку какой-то протянувшейся на горизонте горной гряды: там, в глубинах земных, в окружении исполинских колонн, пребывает святая святых ордена, возведенная на сакральных валунах друидов, там один раз в году под покровом ночи собираются неофиты креста Бафомета — избранники низшего демиурга, властелина всего сущего на земле, который слабых втаптывает в грязь, а сильных возвышает до себя, удостаивая чести именоваться его сыновьями. Но не жалкая душонка, которая всю жизнь трепещет, устрашенная пугалом смертного греха, и ежечасно собственным страхом оскопляет свое Я, лишая его духа святого, а лишь истинный рыцарь, преступник и нечестивец с головы до пят, прошедший огненное крещение в неистовом пламени духовного бунта, может сподобиться примирения с Сатаной, единственным препоясанным среди богов, без оной благодати ни одному смертному во веки веков не преодолеть пропасти, от сотворения мира разделяющей человеческое желание и космическую судьбу.

Внимая этой напыщенной тираде, Леонгард никак не может избавиться от какого-то неприятного привкуса во рту, вся эта пряная лживая абракадабра ничего, кроме брезгливого отвращения, у него не вызывает — откуда, черт возьми, здесь, посреди германских земель, взяться подземному храму? — но эта одержимость, этот фанатичный напор шарлатана, подобно порыву урагана, сметает все доводы разума, и он покорно исполняет распоряжения доктора Шрепфера: снимает башмаки, разводит огромный костер, осыпающий снопами искр непроглядную летнюю ночь, и без колебаний — да очистится грешная плоть! — одним махом проглатывает отвратительное зелье, которое знахарь тут же на его глазах и готовит из каких-то подозрительных трав.

«Люцифер, великий, незаслуженно оклеветанный бог, я приветствую

тебя!» — выдыхают вслед за шарлатаном его уста заклинание. До Леонгарда слова эти доносятся как бы со стороны, будто не его губы шепчут их; они ширятся, распадаются на отдельные слоги, которые стремительно вырастают в огромные каменные колонны: одни — там, далеко, теряются во тьме, другие — здесь, совсем рядом, у самого уха; звуки смыкаются в колоссальные своды, вытягиваются сумрачными зловещими галереями — и все это легко, естественно, как во сне! Элементы пространства вдруг начинают переходить, перетекать друг в друга, становятся пластичными, теряют привычную перспективу, так что бóльшее как ни в чем не бывало умещается в меньшем.

Проводник хватает его за руку, и они углубляются в головокружительный лабиринт переходов... Странствию, кажется, не будет конца, босые ноги Леонгарда горят от усталости... Кромешная тьма... У него все время ощущение, словно он ступает по каким-то комьям... Похоже на пашню...

Через каждые три-четыре шага почва вспучивается, и он увязает в чем-то рыхлом, податливом...

Трезвое сомнение и безоглядная вера поминутно сменяют друг друга, в конце концов верх берет неопределенная надежда: должна же присутствовать в посулах шарлатана хоть какая-то толика правды?.. По крайней мере, до сих пор так оно и было.

В следующее мгновение он спотыкается, падает навзничь и вдруг с ужасом видит, что тело его, погруженное в глубокий сон, шествует дальше, без него... Потом — пауза, какое-то отрешенное беспамятство, он забывает о всех своих страхах, пустые, ничем не заполненные временные интервалы немыслимой протяженности вклиниваются в его сознание, вытесняя настороженную подозрительность в бесконечно далекие, давно канувшие в Лету эпохи.

Гигантская штольня все круче уходит вниз. Невероятно широкие, теряющиеся в темноте пролеты лестниц мириадами ступеней сбегают в бездну, каждый шаг гулким эхом отдается в ушах...

Опять пауза... Скользкие холодные мраморные стены... Леонгард продвигается на ощупь... Сколько прошло времени с тех пор, как он остался один, ему неизвестно, должно быть, много... Хочет оглянуться, посмотреть, куда подевался проводник... и тут во тьме гремят трубы Страшного суда — во всяком случае, Леонгард, чуть не лишившийся сознания от этих пронзительных звуков, уверен, что Судный день настал, его парализованная ужасом плоть закоченела, утратив чувствительность, только скелет сотрясает мелкая дрожь, но вот завеса ночи разодралась надвое: оглушительный гром фанфар брызнул ослепительно ярким холодным светом — и Леонгард обнаружил себя под циклопическими сводами какого-то храма.

В центре свободно парит трехликая золотая голова; лик, обращенный к нему, поразительно схож с его лицом в юности; застывшее на нем выражение кажется маской смерти, настолько оно отрешенное и бесстрастное, и все же эта мертвая личина подавляет исходящей от нее странной, невыразимо явственной и какой-то титанической жизненной силой — наверное, из-за триумфального блеска королевского металла. Однако Леонгарда не занимает лицо его юности, он жаждет проникнуть в тайну двух других ликов, обращенных в иную сторону; но как ни старается обойти голову, ничего разглядеть не может — идол поворачивается вслед за ним, так что перед глазами все время один и тот же лик.

В поисках колдовского механизма, приводящего в движение голову, Леонгард озирается по сторонам и вдруг замечает позади прозрачную, лоснящуюся — как жиром вымазанное стекло — стену, за которой на возвышении из человеческих черепов, сквозь которые пробиваются редкие зеленые росточки, в поношенной, низко надвинутой на глаза широкополой шляпе, в нищенских лохмотьях застыл неподвижный, точно сама смерть, вытянувшись во весь рост и широко раскинув руки, какой-то горбун... Это он... он — властелин мира!...

Трубы стихли.

Свет погас.

Золотая голова исчезла.

И сразу стала видна мертвая фосфоресценция тления, окутывающая страшную фигуру...

Леонгард чувствует, как сковавшее все его члены оцепенение вот-вот заморозит и кровь, сердце вздрогнуло раз, другой и... и застыло...

Единственное, что он еще мог назвать «я», была крошечная искорка, затерявшаяся где-то в глубине груди.

Часы сочились по каплям, столетиями висели на краю вечности, прежде чем упасть в бездну забвения.

И все же горбатый силуэт стал заметно отчетливей, в серых предрассветных сумерках фигура расплылась и осела, как снежная баба под весенним солнцем, кисти распростертых рук сморщились и ужались в какие-то трухлявые деревянные обрубки, сквозь черепа медленно проступали округлые, поросшие мхом булыжники...

Леонгард с трудом поднялся на ноги: перед ним грозно возвышался закутанный в лохмотья горбун с идиотской рожей из старого, щербатого горшка... Это оно... оно — пугало огородное!...

Пересохшие губы лихорадочно горят, распухший язык едва умещается во рту, неподалеку еще тлеют угли гигантского костра, рядом валяется котелок с остатками ядовитого зелья. Знахарь бесследно исчез вместе со всеми наличными средствами, однако Леонгарду сейчас не до того — ночной урок, благодаря своей беспощадной наглядности, слишком глубоко саднит душу: ладно, огородный властелин развенчан, но ведь получается, что сам властелин мира... Да, да — не более чем жалкое огородное пугало, страшное лишь для робких, безжалостное к поклоняющимся ему, облеченное тиранической властью в глазах лишь тех, кто хочет быть рабом и кто сам же цепляет ему на голову нимб небожителя,— властелин лишь для тех, кто не более чем отвратительная карикатура на гордого, свободного человека.

И ему сразу становится понятна тайна доктора Шрепфера, ларчик открывается просто: загадочная сила, проводником которой он себя выдавал, ему не принадлежит и не дарована свыше. Он пользовался магической энергией верующих, всегда готовых поверить во что угодно, только не в самих себя; люди жертвуют свою драгоценную энергию, не зная, как ею распорядиться, любому фетишу, не важно, как он называется: человек, бог, растение, зверь или дьявол, ибо настоящее имя во все времена и на всех континентах у него одно — зеркало, вогнутое зеркало, предназначенное исключительно для того, чтобы собирать и отражать энергетические лучи своих обожателей, возвращая их на землю небесным, чудодейственным огнем, при виде которого умиленная толпа рухнет ниц и вознесет хвалу милостивому и всесильному богу, ниспославшему чадам своим великую благодать.

Вот эта-то сфокусированная в единый луч энергия многих Я и есть тот магический жезл, по мановению коего пространство раскрывается в иное измерение, а время застывает в золотой лик вечного настоящего, королевский скипетр истинного властелина мира — сокровенного, вездесущего, заключающего в себе вселенную Эго; не пересыхающий источник, который вбирает, но ни в коем случае не берет, ибо могущественное Я тут же превратилось бы в немощное Ты; воистину, хула на великий дух сей — единственный грех, который не будет отпущен вовеки.

Людей и богов, прошлое и будущее, призраков и демонов вбирает сия бездна, бросая на их иллюзорную жизнь лучезарный отсвет немеркнущего магического настоящего. Но наиболее полно эта не ведающая границ сила являет себя в том, кто сам велик; она всегда направлена внутрь, наружу — никогда; все, что вовне, немедленно становится огородным пугалом.

Итак, безумная абракадабра шарлатана и на сей раз обернулась вещим пророчеством, все сказанное им об оставлении грехов исполнилось слово в слово, да и майстер наконец найден — это сам Леонгард.

Подобно тому как крупная рыба прорывает сеть и ускользает сквозь это отверстие от верной смерти, так и Леонгард прорвал хитросплетения судьбы и ускользнул сквозь себя самого от наследственного проклятья — отныне те, кто захотел бы последовать за ним, могли бы с полным правом назвать его спасителем.

Сейчас он очень хорошо понимал, что все — грех или греха нет вовсе, ибо совокупность всех Я — это общее Эго.

В самом деле, может ли существовать в этом мире хоть одна женщина, которая не была бы его сестрой, или любовь, которая не являлась бы инцестом? Значит, убивая самку — самого малого и ничтожного зверя — мы убиваем свою мать и одновременно самих себя! Разве наше тело не унаследовано от миллионов живых тварей?

Только великое Эго и ничто иное предопределяет судьбу, в этом великом зеркале отражаются бесчисленные Я, большие и малые, светлые и сумрачные, злые и добрые, веселые и печальные, а оно пребывает в нерушимом, безмятежном покое, и ни радости, ни страданию не дано смутить его, и в прошлом, и в будущем остается оно вечным настоящим; первопричина, причина самого себя, оно не подчиняется никаким законам, кроме своих собственных, подобно солнцу, кое не тускнеет и не коробится оттого, что его отражение плавает в лужах или среди бушующих волн, и пусть все воды иссякнут или же прибудут в ливнях проливных, оно от этого не зайдет позже и не взойдет раньше.

Итак, там, где есть Эго, нет места для греха. С коварным невидимым врагом, мечущим из тьмы отравленные стрелы, покончено, боги и демоны отныне мертвы — околели подобно летучим мышам, извлеченным из своих мрачных убежищ на яркое полуденное солнце.

Леонгард видит своих воскресших родных: мать с ее беспокойно бегающими глазами, парализованного отца, сестру и жену Сабину; теперь они всего лишь тени, такие же, как и он сам в разные периоды своей жизни: дитя, мальчик, юноша, мужчина,— но истинная его жизнь непреходяща, она, как и его Я, лишена какой бы то ни было законченной формы...

Заметив неподалеку пруд, Леонгард медленно бредет к нему; лицо горит, боль разрывает внутренности, но он воспринимает эту боль словно со стороны, как будто она терзает не его, а кого-то другого.

Перед солнечным ликом вечного настоящего, который всем смертным кажется таким же привычным и естественным, как собственное лицо, и все равно таким же чужим и незнакомым, как... собственное лицо, бледнеют и исчезают, будто утренний туман, тени и призраки, и муки телесные.

Леонгард видит плавный береговой изгиб, маленькие, поросшие тростником островки и замирает: воспоминания захлестывают слишком внезапно, и вот уже мнится ему, что он снова дома, в парке своего детства...

Кругосветное путешествие в туманной и бурной стихии жизни подошло к концу!

Покой сошел в его сердце, страхи и ужасы рассеялись, он примирился не только с мертвыми и живыми, но и с самим собой.

Отныне он может открыть книгу судьбы на любой странице и заглянуть и в прошлое, и в будущее.

Золотая голова времени имеет для него теперь один-единственный лик — настоящее, и в какую бы сторону он ни пошел, она всегда будет обращена к нему своим вечно юным лицом; два другие навсегда останутся невидимыми, подобно темной стороне луны.

Всякое движение должно замыкаться в круг, все, что движется, неизбежно движется по кругу, и мысль о том, что вся его жизнь является подтверждением этого великого закона, который даже небесные тела содеял сферообразными, вселяет в него чувство незыблемого покоя; теперь он в полной мере оценил разницу между сатанинской печатью из четырех без устали бегущих по кругу человеческих ног и прямым неподвижным крестом.

Жива ли дочь? Должно быть, уже в летах, ведь она родилась, когда ему не было и двадцати...

Он приближается к родным местам, весенний ветерок гонит вдоль дороги пестрый пух с цветущих деревьев и полевых цветов, высокие березы выстроились по обочине, подобно узловатым великанам в светлых плащах, на вершине холма — черные от копоти руины, поросшие серебристыми зонтиками бурьяна.

Взволнованный, подходит он к залитым солнцем развалинам; старый, до боли знакомый мир преображенным, сияющим встает из прошлого, почерневший скелет из обломков мебели, обугленных балок, закопченных останков стен прямо на глазах облекается плотью... Погнутый бронзовый маятник обрастает недостающими деталями, и вот во вновь обретенном настоящем возникают большие напольные часы, стоявшие когда-то в его детской, брызги крови прежних страданий преображаются в сияющие алые крапинки в обновленном оперении восставшего из пепла феникса жизни.

Вниз по склону катится блеющее стадо овец, опытные, знающие свое дело овчарки без лишнего лая гонят его к серому прямоугольнику загона. Когда подозрительно поглядывающий пастух подходит ближе, Леонгард спрашивает его о хозяевах замка, парень чертыхается, хмуро бурчит что-то о про́клятом месте и злобной старой ведьме с каиновой печатью на лбу, которая живет сейчас внизу в селении углекопов, и, недовольно ворча, поспешает за своими овцами.

С трудом продравшись сквозь чащу, в которую превратился не слишком густой когда-то лесок, Леонгард подходит к часовне... Дверные створки висят криво, нижние петли сорваны, позолоченная скамья покрыта бледным налетом плесени, оконные стекла мутны, медный крест на замшелой крышке люка изъеден зеленой ярью, кое-где сквозь щели каменных плит пробивается бурьян...

Машинально он поскреб крышку люка ребром башмака, на тускло блеснувшей поверхности металла возникают какие-то цифры, видимо, дата и надпись:

ВОЗДВИГНУТА ТРУДАМИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕЛ МАЙСТЕРА
СМИРЕННОГО ЯКОБА ДЕ ВИТРИАКО

Леонгард стоит ни жив ни мертв — сейчас, когда ему открылся секрет плетения тончайшей паутины, в хитроумные силки которой пойманы все вещи этого мира, он не знает — плакать или смеяться: таинственный гроссмайстер, которого он искал почти всю жизнь — это имя какого-то неизвестного каменщика! Сколько бессонных ночей провел он в юности, глядя на это орудие кровавого преступления, и не замечал, слепец,— а ведь видел, видел! — выгравированного на нем имени! Так вот за кем он шел — слепец, слепец! — все эти долгие годы, вот тот невидимый мэтр, который провел его по кругу посвящения! И теперь, когда с глаз Леонгарда сняли повязку и очи неофита отверзлись для нового света, майстер лежит у его ног, от него остался пустой звук, три ничего не значащих слова, ибо с окончанием кругосветного путешествия, когда круг замкнулся и тайная страсть души, влекущая вернуться в исходную точку, исполнилась, закончилась и миссия Якоба де Витриако...

Пред взором майстера Леонгарда проходят последние годы жизни: он отшельником обретается на руинах бытия, не снимая с себя власяницы, изготовленной из грубых одеял, которые ему удалось отыскать на пожарище; очаг он сложил из обломков кирпича.

Люди, которые время от времени, заблудившись, выходят к часовне, кажутся ему бесплотными как привидения, и только когда он вбирает их образ в магический круг своего Я, они оживают, обретая в нем бессмертие.

Формы бытия для него все равно что изменчивые облака: многообразны, а в сущности — испарения, не более...

Он вновь поднимает глаза, глядя поверх заснеженных верхушек деревьев.

Вновь, как тогда, в день рождения дочери, в южной части небосвода мерцают две большие звезды, они так близко друг от друга, что кажется, это обман зрения — просто двоится в глазах...

Лес кишит факелами.

Звенят остро отточенные косы.

Искаженные яростью лица мелькают меж стволов... Приглушенный ропот грубых, хриплых голосов... Горбатая старуха из селения вновь перед часовней, как ветряная мельница машет тощими руками, подбадривает суеверных углекопов... Прижавшись лицом к стеклу, таращится своими сумасшедшими глазами, словно наставляя два сложенных рогаткой пальца, кончики которых мерцают сумрачным зеленоватым огнем.

Посреди лба зловеще тлеет красное родимое пятно...

Недвижим в своем готическом кресле, майстер Леонгард широко открытыми, немигающими глазами смотрит прямо перед собой; он знает, что этим людям там, снаружи, нужна его кровь, знает, что причиной ярости суеверной толпы явилась та дьявольская тень, которую отбрасывает на снег его сидящее в кресле тело,— майстер лежит у их ног, от него остался пустой силуэт, ничего не значащая тень, послушная малейшему мановению руки своего хозяина: но знает он и то, что тело, которое эти олухи пришли уничтожить,— тоже всего лишь тень, такая же, как и они сами,— призрачный фантом в иллюзорном царстве вечного круговорота времени, где даже тени подчиняются закону круга.

Майстер Леонгард знает, что примет смерть от руки своей дочери: кошмарно безукоризненная копия — как две капли воды! — той, которая лежит с размозженным черепом под медным крестом, ибо даже тени подчиняются закону круга, а круг должен замкнуться.

Вечное возвращение души, странствующей сквозь непроглядную пелену земной жизни, назад — к смерти.

МИРЧА ЭЛИАДЕ

Девица Кристина

РОМАН

Перевод с румынского АНАСТАСИИ СТАРОСТИНОЙ

МИРЧА ЭЛИАДЕ (1907—1986) — румынский философ и писатель. С 1945 г. жил во Франции, с 1957 г. в США. Член Американской академии науки и искусства, Бельгийской и Британской академий, Австрийской академии наук. Лауреат многих международных премий. Автор исследований «Техника йоги» (1948), «Миф о вечном возвращении» (1949), «Шаманизм и архаические приемы экстаза» (1951), «Образы и символы» и др., а также трехтомной «Истории религиозных идей» (1976). Как писатель дебютировал в 1933 г. романом «Майтрейи»; свою главную книгу — роман «Купальская ночь» выпустил в 1955 г. Долгое время не публиковавшийся у себя на родине, Элиаде вернулся к румынскому читателю как прозаик в 1969 г. и как ученый — в 1978 г.

На русском языке издан сборник научных трудов Элиаде «Космос и история» (М., 1987), в «Иностранной литературе» напечатана новелла «У цыганок» (1989, № 8).

Роман «Девица Кристина» впервые был опубликован в Бухаресте в 1936 г., печатается в журнале по изданию: Mircea Eliade. La tigănci şi alte povestiri. Bucureşti. Editura pentru literatură, 1969.

I

У дверей в столовую Санда остановила его, прикоснувшись к рукаву,— первый интимный жест за те три дня, что они провели под одной крышей.

— А у нас новый гость, знаете? Профессор...

Егор заглянул ей в глаза. Они блестели в полутьме комнаты. «Может быть, это знак?» — подумал он и попытался притянуть девушку к себе. Но она отстранилась и распахнула двери. Егор одернул пиджак и застыл на пороге. Горела та же лампа с белой калильной сеткой, дававшая слишком резкий, искусственный свет. В улыбке г-жи Моску усталость сквозила заметнее, чем прежде. Егору уже не надо было видеть ее лица, чтобы угадать эту улыбку.

— Позвольте вам представить господина художника. Егор Пашкевич,— с помпой изрекла г-жа Моску, плавно поведя рукой в его сторону.— Имя несколько непривычное, но он чистокровный румын. Господин Пашкевич оказал нам честь погостить в наших пенатах...

Егор поклонился с самым любезным выражением лица. Г-жа Моску обернулась к новому гостю, вся превратившись в трепет. Нечасто ей выпадал случай насладиться церемониалом настоящего, полновесного представления.

— Господин Назарие, университетский профессор, гордость румынской науки! — провозгласила она.

Егор решительным шагом подошел к профессору и пожал ему руку.

— Я всего лишь скромный ассистент, сударыня,— пробормотал г-н Назарие, пытаясь поймать ее взгляд.— Более чем скромный...

Но г-жа Моску вдруг в изнеможении опустилась на стул. Профессор в оторопи остался стоять подле, не смея поднять ни на кого глаза, боясь показаться смешным. Прошло несколько мгновений, прежде чем он тоже решился сесть, по левую руку от г-жи Моску.

— Это место занято,— громким шепотом сказала Симина,— рядом с мамой сижу я...

Г-н Назарие вскочил и отпрянул к стене. Егор и Санда поспешили к нему, конфузливо улыбаясь и наперебой уверяя, что не стоит обращать внимания на детские выходки, что девочка избалована, к тому же для нее действительно нет большей радости, чем сидеть за столом рядом с матерью, даже когда гости.

— Ей всего девять лет,— добавила Санда.

Г-жа Моску все время сохраняла на лице улыбку, как бы прося простить ее, что она не принимает участия в разговоре. Дискуссия, должно быть, чудо как интересна, о, она-то это себе представляет, интересна, умна, поучительна, но усталость, увы, не позволяет ей насладиться в полной мере. Причем было очевидно, что г-жа Моску не слышит ни слова, что звуки порхают мимо нее, ни малейшим образом не задевая слуха.

Егор проводил г-на Назарие на другой конец стола, предложил ему место рядом с Сандой и, еще раз бросив взгляд на г-жу Моску, подумал: «Какие странные приступы...»

— Очень вам благодарен,— вполголоса проговорил профессор, садясь.— Я, кажется, нечаянно обидел ребенка. И какого ребенка — ангела...

Он повернул голову к Симине и посмотрел на нее, широко улыбаясь, со всей теплотой, на какую был способен. Человек вполне еще молодой, лет сорока без малого, он постарался вложить во взгляд отеческие чувства, но улыбка получилась заискивающей, а его лицо, чистое, сдержанное лицо ученого, рассиялось не в меру. Симина встретила отеческий взгляд с язвительной, колкой иронией. Несколько мгновений она смотрела гостю прямо в глаза, потом поднесла к губам салфетку, как бы стирая чуть заметную улыбочку, и не спеша обернулась к матери.

— Вы, конечно, приехали на раскопки,— нарушил молчание Егор.

Профессор, еще не оправившись от неловкости, был тем более благодарен Егору за то, что тот перевел разговор на его занятия, предмет его страсти.

— Да, сударь мой,— отвечал он, судорожно глотнув воздуха.— Как я уже рассказывал госпоже Моску, этим летом возобновлены раскопки в Бэлэноайе. Не знаю, насколько вы осведомлены, но для нас, румын, доисторическое становище в Бэлэноайе не лишено значения. Там нашли тот самый знаменитый ионический lebes — котел, в котором, как вам безусловно известно, доставлялось на пиры мясо...

Г-н Назарие явно оседлал своего любимого конька. С воодушевлением, но не без некоторой грусти живописал он те стародавние пиры, которые менее всего походили на варварские.

— ...что же вы хотите, на всем нижнем Дунае, особенно здесь, к северу от Джурджу, в пятом веке до Рождества Христова была развитая цивилизация, греко-скифо-фракийская цивилизация, как я уже имел честь доложить госпоже Моску...

Г-н Назарие опять сделал попытку перехватить взгляд хозяйки салона, но встретил только ту же застывшую улыбку, невидящее лицо.

— Бэлэноайя, maman...— попробовала вывести ее из оцепенения Санда, чуть ли не крича через стол.— Господин Назарие говорит про раскопки в Бэлэноайе...

Услышав свое имя и вдруг очнувшись в центре всеобщего внимания, профессор снова смешался. Он даже выставил вперед руку, как бы защищаясь или извиняясь за то, что вынудил Санду повысить голос. Г-жа Моску, казалось, приходит в себя то ли после обморока, то ли после сна. За несколько секунд ее лицо без кровинки снова налилось свежестью, высокий лоб расправился, она заговорила:

— Бэлэноайя? Там было имение у одного из наших предков.

— И у тети Кристины,— моментально подсказала Симина.

— Да, да, и у нее тоже,— с живостью подтвердила г-жа Моску.

Санда укоризненно посмотрела на младшую сестру. Но та благочинно уставила взгляд в тарелку. При резком свете лампы ее смоляные кудри отливали тусклым блеском, как старое серебро. «Но какой ясный лоб, какой нежный румянец»,— думал Егор. От Симины на самом деле нельзя было отвести глаз: черты ее лица уже определились, поражая безукоризненной, зрелой не по летам красотой. Егор чувствовал, что сидящий рядом с ним профессор смотрит на девочку с тем же восхищением.

— Что-то скучно у нас сегодня. Все разъехались, все нас покинули...— раздался голос Санды. Она обращалась больше к Егору.

Художник услышал вызов, укор в ее голосе и, с некоторым усилием оторвав взгляд от Симины, приготовился рассказать галантный анекдот, который всегда имел успех в семейных домах. «Мы неразговорчивы, потому что слишком умны...» — так начинался анекдот, но начать Егор не успел. Его опередил г-н Назарие:

— У вас, вероятно, летом бывает много гостей, здесь, в имении...

Он говорил несколько минут кряду, без передышки, как будто боялся, чтобы снова не пало молчание,— о раскопках, о красоте придунайских равнин; сетовал на нищенское положение музея древних культур... Егор украдкой поглядывал на г-жу Моску. Лицо ее выражало восторг, но было ясно, что она сейчас далеко. Санда, воспользовавшись паузой в монологе г-на Назарие, громко сказала:

— Maman, жаркое остынет...

— Какие интересные вещи рассказывает господин профессор! — воскликнула г-жа Моску и со своим неизменным аппетитом принялась за жаркое, слегка склонив голову над тарелкой и больше ни на кого не глядя.

Впрочем, кроме нее, не ел никто. Даже г-н Назарие, голодный с дороги, не сумел осилить больше половины порции. Остальные едва притронулись к своим — такое амбре было у жаркого.

Санда властным жестом поманила экономку, которая смирно стояла у дверей.

— Я кому говорила не подавать больше баранины,— со сдержанным гневом процедила она.

— Где же, барышня, птицу взять? — защищалась экономка.— Которая была, я всю прирезала вчера и третьего дня. Которая сама не околела. Была одна гусыня, да я ее сегодня утречком тоже околемши нашла.

— Почему же у крестьян не купить? — вскипела Санда.

— А они не продают,— без запинки ответила экономка.— Не продают, или у них тоже... того,— добавила она со значением.

Санда покраснела и сделала ей знак убрать тарелки. Г-жа Моску доела жаркое.

— Какие прекрасные вещи рассказал нам господин профессор про Бэлэноайю! — начала она несколько нараспев.— Подумать только, под землей — и столько разных фигурок, столько золотых украшений!..

Профессор забеспокоился.

— Золотые попадаются редко,— перебил он ее,— время золота тогда еще не настало. Да и здешняя цивилизация была аграрной, не города — селенья, хотя и процветающие, золото же ходило больше в греческих портах...

— Раскапывали и золото, украшения из старинного золота, я помню,— с негаснущим упоением произнесла г-жа Моску.

— И у тети Кристины такие были,— ввернула Симина.

— Угомонись,— одернула ее Санда.— Тебе-то откуда знать?

— Мне мама говорила,— бойко парировала Симина.— И кормилица.

— Хватит кормилице забивать тебе голову всякими небылицами,— возмутилась Санда.— Ты уже большая, а на уме одни сказки!

Симина ответила сестре едва уловимой улыбкой, одновременно презрительной и равнодушной, потом перевела взгляд на Егора, посмотрела испытующе и важно, как бы спрашивая, какого он мнения, неужели и он так же прост...

Беседа не клеилась. Г-н Назарие обратился к Егору.

— Это замечательно, что вас увлекли придунайские степи,— заговорил он.— По-моему, еще никто не брался изображать такую природу. Первое впечатление от нее — безысходность. Кажется, что все тут пусто, выжжено солнцем, но стоит приглядеться — какое мощное, всесокрушающее плодородие! Дивные, чарующие места...

Он говорил искренне, с чувством. Егор смотрел и удивлялся. Вот тебе и книжный червь, вот тебе и бирюк. Куда девалась его угловатость? Жесты стали летучи, а слова — как соком налитые. То ли он произносил их по-особому, глубже, проникновеннее...

— Да, господин Пашкевич прекрасный художник, но он и лентяй, каких свет не видал,— дразняще протянула Санда.— Живет у нас целых три дня и еще ни разу не взялся за кисть...

— Как прикажете понимать ваш дружеский укор? — галантно откликнулся художник.— Я мог бы понять его, например, в том смысле, что вам не терпится увидеть меня за работой, чтобы я поскорее все написал и уехал восвояси...

Санда улыбнулась ему поощряюще. Егор прекрасно понимал этот язык, все его оттенки, полушутливые, кокетливые, капризные, и то, что за ними,— манок, зов, желание. «Санда, что ни говори, великолепна»,— думал он. Хотя ее поведение в эти три дня его порядком разочаровало. Здесь, в имении, она меньше всего походила на ту раскованную юную особу, которая в Бухаресте с такой смелостью приблизила его к себе и так горячо пожала ему руку, когда он принял приглашение погостить месяц у них в усадьбе. «Мало ли что — может быть, просто стесняется других гостей»,— пытался Егор оправдать ее сдержанность в первый вечер.

— ...я и точно никуда сейчас не годен,— продолжал он, обращаясь к г-ну Назарие.— Во всяком случае, что касается живописи. То ли в погоде дело — осень, а похоже на разгар лета,— так разлагающе действует...

— Но я бы его простила, если бы он исправился,— смеясь, сказала Санда.— Эти три дня были слишком шумные, столько народу, столько друзей, не до работы. А вот с завтрашнего утра уже можно и начать, теперь мы одни...

Егор поигрывал ножом. Рукам его требовалось сжать что-то твердое и холодное.

— Я тоже буду жить совершенно незаметно,— заверил г-н Назарие.— Мы будем видеться только здесь...

Г-жа Моску рассеянно кивнула.

— Вы оказываете нам большую честь своим присутствием.— У нее вдруг прорезался неожиданно уверенный и сильный голос: — Подумать только: гордость румынской науки!..

Видимо, это словосочетание доставляло ей особое удовольствие. Егор опустил глаза, уже не так судорожно сжимая нож. Санда из-под ресниц следила за его движениями с внезапной досадой. «Он может бог знает что подумать о маме».

— Сударыня,— недоуменно перебил хозяйку г-н Назарие,— позвольте мне отнести ваши похвалы на счет моего учителя, великого Василе Пырвана. Вот кто действительно был нашей гордостью, нашей вершиной, румынским гением...

Казалось, профессор только и ждал повода уйти в слова, отгородиться ими от этого странного застолья, от этих чудаковатых хозяев. Он говорил об учителе с жаром и благоговением. Это у него он заразился страстью к археологии. Это он, учитель, доказал, что румынская земля славна прежде всего древней историей.

— А прелесть раскопок, палаточной жизни, трепет перед каждым найденным предметом! Какой-нибудь железный гребень, ржавый гвоздь, глиняный черепок, убогие, никчемные вещицы — да валяйся они на дороге, за ними никто и не нагнется, для нас же они милее самой прекрасной книги и, быть может, даже самой прекрасной женщины...

Санда взглянула на Егора, улыбаясь и ожидая ответной иронической улыбки. Но тот слушал уважительно, с сочувствием.

— Иногда с простого железного гребня начинается открытие цивилизации...— снова обратился профессор к г-же Моску, и вдруг у него перехватило горло. Он осекся, остолбенело глядя куда-то поверх нее, не смея даже закрыть глаза,— ведь каких только страстей не увидишь с закрытыми глазами!

— Кто будет кофе? — громко спросила в это мгновение Санда, с шумом отодвигая стул и вставая из-за стола.

Г-н Назарие почувствовал, как холодная влага покрывает его плечи, грудь, руки, будто он медленно вступал в полосу студеного тумана. «Я просто устал»,— подумал он, крепко сплетая пальцы. Скосил глаза на Егора. Ему показалось странным, как тот сидит: улыбается и тянет вверх руку, словно ученик на уроке.

— Вы тоже, профессор? — услышал он голос Санды и поспешно ответил:

— С превеликим удовольствием...

Но только увидев на столе чашечки с кофе, он понял, о чем его спрашивали, и совершенно пришел в себя. Вновь, уже без страха, поднял глаза на г-жу Моску. Она сидела, задумчиво подперев щеку рукой. За столом молчали. Он только заметил, что Симина смотрит на него пытливо и как-то подозрительно. Будто трудясь над разгадкой тайны. Озабоченность ее была тяжелой, неприязненной. Совсем не детской.

II

Г-н Назарие очень осторожно отворил дверь. Снял со стены маленькой прихожей керосиновую лампу с прикрученным фитилем и потихоньку пошел по коридору, стараясь ступать бесшумно. Но крашеные темно-вишневые полы поскрипывали даже под ковровой дорожкой. «Что за манера расселять гостей по разным углам!» — с некоторым раздражением думал г-н Назарие. Не то чтобы его мучили страхи, но до Егоровой комнаты надо было пройти через длинный коридор, мимо ряда дверей, и кто знает, не потревожит ли он чей-нибудь покой? Если же предположить, что все эти комнаты пустые... На этой мысли г-н Назарие задерживаться не хотел.

Комната Егора была последней. Он с облегчением постучал.

— Надеюсь, я вас не слишком потревожу,— сказал он в приоткрытую дверь.— Что-то не спится...

— И мне тоже,— откликнулся Егор, вставая с кушетки.

Комната была большая, просторная, с балконом, выходящим в парк. В углу стояла старинная деревянная кровать. Шкаф, умывальник, кушетка, изящный письменный стол, два стула и шезлонг дополняли убранство. Все же комната была такая большая, что казалась меблированной весьма скудно. Предметы отстояли далеко друг от друга, и между ними можно было свободно разгуливать.

— Очень славно, что вы пришли,— сказал Егор.— Я ломал себе голову, чем заняться в бессонницу. Как-то не захватил с собой книг. Думал, что днем буду трудиться...

«А вечера проводить с Сандой»,— закончил он мысленно, вслух же добавил:

— Сегодня первый раз я так рано ушел к себе. Эти дни было весело: большое общество, допоздна гуляли по парку. Но, кажется, гости очень утомляли госпожу Моску... Вы не курите? — Он предложил г-ну Назарие раскрытый портсигар.

— Нет, благодарю. Я хотел вас спросить, в этих комнатах, что нас разделяют, никто не живет?

— Похоже, никто,— с улыбкой ответил Егор.— Это комнаты для гостей. Целый этаж для гостей. Впрочем, по-моему, и внизу все комнаты пустые. Госпожа Моску живет во флигеле, вместе с дочерьми.

Он закурил и сел на стул подле профессора. Помолчали.

— Великолепная ночь! — сказал профессор, глядя в проем балконной двери.

В темноте проступали огромные, нечеткие контуры деревьев. Егор тоже обернулся. В самом деле, чудная ночь. Но попрощаться с гостями в половине десятого и уйти за мамой, как паинька...

— Если долго не двигаться,— продолжал профессор,— и дышать вот так, редко и глубоко, почувствуешь Дунай... Я так делаю...

— Но все-таки он далековато,— заметил Егор.

— Километрах в тридцати. Или даже меньше. Та же ночь и там, одна на всех...

Г-н Назарие встал и вышел на балкон. Нет, луна будет разве что через несколько дней, понял он, натолкнувшись на мрак.

— И воздух тот же,— снова заговорил он, медленно запрокидывая голову и вдыхая ртом.— Вы, вероятно, не жили на Дунае, иначе от вас не ускользнул бы этот запах. Я чую Дунай даже из Бэрэгана.

Егор засмеялся.

— Ну, это вы хватили, из Бэрэгана!

— Нет, в самом деле,— возразил г-н Назарие.— Это ведь не то что чувствуется вода, по влажности воздуха. Это как легкие испарения глинистой почвы и таких растений, с колючками...

— Довольно туманно,— с улыбкой вставил Егор.

— ...или как будто гниют целые леса, где-то далеко-далеко, а ветер доносит до тебя этот запах, непередаваемый и в то же время банальный. Его скоро узнаешь из любого места... Когда-то и здесь были леса. Леса Телеормана...

— И этот парк тоже такой старый...— сказал Егор, выходя на балкон и указывая рукой вниз.

Г-н Назарие посмотрел на него добрыми глазами, не в силах скрыть снисходительной улыбки.

— Всему, что вы здесь видите, не больше сотни лет,— объяснил он.— Акации... Дерево бедноты. Кое-где вязы...

И он пустился в разглагольствования о лесах, о деревьях.

— Не удивляйтесь,— неожиданно прервал он сам себя, кладя руку Егору на плечо.— Это мне знать необходимо. Для раскопок, конечно. И я набирался знаний — из книг, от людей, ученых и неученых — отовсюду понемногу. Иначе как бы я установил, где мне искать моих скифов, гетов и всех прочих, кто тут обитал...

— Ну, здесь-то, вероятно, так много следов не найдешь,— сказал Егор, чтобы поддержать разговор о древней истории.

— Почему же,— сдержанно возразил г-н Назарие.— Дороги пролегали и тут, могли быть и селенья на лесных опушках, особенно вблизи рек... Так или иначе, когда сходят вековые леса, места остаются зачарованные. Это наверняка...

Он смолк и снова стал впивать воздух, чуть перегнувшись через перила балкона, в ночь.

— Всякий раз так радуюсь, когда узнаю Дунай,— продолжал он, понизив голос.— У него тоже чары, но сердце их легко принимает, без страха. Люди с поречья — умницы и храбрецы. Искатели приключений — и оттуда бывают родом, не только с морских побережий... А лес — он, знаете ли, наводит страх, он с ума может свести...

Егор снова рассмеялся. Шагнул в комнату, к свету лампы.

— И это естественно,— не смутился г-н Назарие.— Лес пугает даже вас, юношу просвещенного, без предрассудков. От этого страха никто не свободен. Слишком много растительных жизней, и старые деревья слишком похожи на человеков, на тела человеческие...

— Не думайте, что я ушел с балкона, потому что испугался,— сказал Егор.— Я просто за сигаретой. И тут же снова к вам присоединюсь...

— Нет нужды, я вам и так верю. Не можете же вы бояться какого-то там парка из акаций,— успокоил его г-н Назарие, тоже возвращаясь в комнату и усаживаясь на кушетку.— Но то, что я вам сказал,— чистая правда. Если бы не Дунай, люди в здешних краях потеряли бы рассудок. Те люди, я имею в виду, два-три тысячелетия назад...

Егор глядел на него с растущим любопытством. «Профессор-то совсем не прост. Того и гляди заговорит в стихах, что-нибудь про души умерших...»

— Я забыл вас спросить,— переменил тему г-н Назарие.— Вы давно знаете хозяйку дома?

— Я знаю только ее старшую дочь, и то не так давно, года два. У нас общие знакомые в Бухаресте. А госпожу Моску первый раз увидел здесь, когда приехал, несколько дней назад.

— Мне кажется, она переутомлена,— сказал г-н Назарие.

Егор кивнул. Его позабавило, с какой серьезностью профессор изрек свое замечание: как будто для этого нужна была особая проницательность, как будто он раскрывал бог весть какой секрет. «И это он говорит мне, можно подумать, что мне за три дня не набила оскомину улыбка госпожи Моску».

— Я попал сюда в некотором роде случайно,— продолжал г-н Назарие.— Получил приглашение через префекта, он, сколько я понял, старинный друг семьи. Но чувствую себя очень неловко. Вам не кажется, что мы не ко времени? У меня, ей-богу, впечатление, что госпожа Моску не совсем здорова...

Егор, как бы оправдываясь, признался, что и он, в первый же день заметив состояние хозяйки, не хотел здесь задерживаться. Но других гостей ее самочувствие совершенно не удручало. Возможно, они давно ее знают и привыкли. Или болезнь не такая уж серьезная; иногда, особенно по утрам, г-жа Моску очень оживлена и следит за разговором, о чем бы ни говорили.

— Ее силы как бы убывают вместе с заходом солнца,— помолчав, добавил он со значением.— К вечеру она еле жива или впадает во что-то вроде летаргии. Это тем более странно, что улыбка на лице сохраняется — как маска.

Г-н Назарие представил себе широко открытые, умные глаза хозяйки дома, улыбку, щедро освещающую ее черты и так легко вводящую в заблуждение. Нет, художник ошибается, говоря о маске, это не маска, а живое и весьма внимательное лицо; улыбка же сияет на нем в знак присутствия: тебе дают понять, что ловят каждое твое слово, что заворожены твоей мыслью. Сначала от такого внимания делается не по себе, бросает в краску. Пока не поймешь — очень быстро; впрочем,— что она вовсе не слушает. Или не слышит. Она просто следит за твоими жестами, за движениями твоих губ и знает, когда надо вступить.

— Поразительно! — продолжил он вслух.— Она знает, когда вступить, когда подать голос, чтобы тебя не тяготило ее молчание...

Егор не переставал удивляться профессору. «Лоску никакого, застенчив, как девушка, а вот поди ж ты — и ум, и чувство. Явные задатки артистической натуры».

— А мы не преувеличиваем? — спросил он, прохаживаясь по комнате.— Может быть, тут всего лишь хроническое истощение, если есть такой термин.

— Нету,— с невольной иронией отозвался г-н Назарие.— Хроническое истощение — это все равно что хроническая смерть...

Последние слова не понравились ему самому, он тоже встал, прошелся. Снова этот непонятный холодный пот. Он подозрительно оглянулся на кушетку, с которой встал, как будто хотел убедиться в ее индифферентности, приличной неодушевленному предмету. Нахмурился, сердясь на себя за расшалившиеся нервы, за свою глупую, детскую мнительность.

— И все-таки,— раздался голос Егора с другого конца комнаты,—

все-таки мы преувеличиваем. Мы слишком тонкокожие. Разве вы не видите, как держатся с ней дочери, особенно младшая?

Он остановился у двери, прислушиваясь. Кто-нибудь из прислуги — пробует двери, заперты ли, что там еще за дела в коридоре? Какая поступь — чуткая, легкая, ее скорее угадываешь, чем слышишь, и тем больше она раздражает. Вот скрипнула половица; ты ждешь — несколько долгих, тягучих мгновений, но звуки стихли, прислуга ступает не дыша, на цыпочках, деликатничает. «Тетеха деревенская,— выругался про себя Егор, напрасно прождав следующего скрипа,— лучше бы топала как следует, чтоб уж слышно так слышно».

— Мне показалось, что кто-то ходит по коридору,— сказал он профессору.— Завтра вывешу на своей двери объявление: «Просьба на цыпочках не ходить!» Это нервирует — как будто вор крадется... Сюда, конечно, вору так легко не забраться,— добавил он со смешком.— А все равно нервирует...

Г-н Назарие снова вышел на балкон, перегнулся в темноту.

— Ночи пока еще теплые,— крикнул ему вслед Егор.— Мы могли бы гулять по парку. Чем сидеть тут взаперти...

Профессор не ответил. «Думает свою думу, философствует,— весело сказал себе Егор.— Но, в сущности, то, что он говорит про Дунай, не лишено логики: большая вода, открытые, приветливые берега...» Он тут же увидел Дунай, всю его красоту, мощь, надежность. «Неплохо бы сейчас оказаться там, далеко отсюда, на палубе яхты например. Яхта плывет, покачиваясь, а ты расслабился в шезлонге под говор приемника или молодых голосов. Как же скоро становится скучно без шумной компании. Жизнь, общество, а без этого...» Он резко повернул голову, ему показалось, что он не один в комнате, что кто-то сверлит его взглядом; он явственно ощутил назойливый буравчик, а взгляд в спину всегда его раздражал. Однако в комнате никого не было. Профессор застрял на балконе. «Не очень-то вежливо с его стороны,— подумал Егор.— Или это от неловкости, и надо помочь, подать реплику». Он подошел к балконной двери. Г-н Назарие встретил его со светлым лицом.

— Простите, что я вас покинул,— извинился он.— Чуть не стало дурно. Кажется, я действительно уходился. Или меня угнетает место.

— Меня, может быть, тоже,— улыбаясь, ответил Егор.— Но это совершенно не важно. Сейчас меня заботит другое — что я не могу предложить вам ничего, кроме коньяка. Надеюсь, вы не откажетесь от капли коньяка.

— В другой раз отказался бы. Но я так опрометчиво выпил на ночь кофе, что теперь не откажусь. Клин клином. Если я потеряю ночь, и завтрашний день пойдет насмарку.

Егор раскрыл саквояж, достал початую бутылку и выбрал в шкафу два больших стакана. Аккуратно налил в каждый понемногу, на палец.

— Надеюсь, это поможет от бессонницы,— сказал г-н Назарие, одним махом опрокидывая стакан.

И, зарывшись лицом в ладони, стал разминать лоб и щеки.

«Хватил, как цуйку»,— подумал Егор. Он потягивал свою порцию потихоньку, наслаждаясь. Алкоголь словно бы внес в комнату дух сердечности, приподнятости, товарищества. Никаких чужих взглядов больше не мерещилось. Удобно развалясь на стуле, Егор вдыхал невидимые пары из стакана. Хорошо знакомый запах, напоминание о приятных и светлых часах, проведенных с друзьями или с милыми женщинами. «Да здравствуют дары Вакха!» — мысленно провозгласил он.

— Давайте уж и сигарету,— потребовал профессор, все еще красный и помятый.— Кутить так кутить.

Он и вправду довольно успешно справился с сигаретой. Егор подлил еще понемногу коньяка в стаканы. Настроение у него поднялось, потянуло на разговор. «Как не хватает Санды, что бы ей догадаться!.. Мы отлично

провели бы время в такую ночь, как сейчас, в компании с чудаком-профессором, за бутылочкой коньяка. Ведь зачем еще человек едет в деревню, как не за долгими ночными беседами? В Бухаресте никто друг друга не слушает...»

— Растяните удовольствие,— шутливо предложил он, подавая стакан профессору.

Ему хотелось слов, откровенной беседы.

— Я вас еще не спросил, как вы делаете ваши археологические открытия...— начал он.

— Очень просто,— ответил профессор.— Очень...

И вдруг задохнулся. На минуту они скрестили взгляды, пытаясь понять, почувствовал ли другой то же самое, тот же мгновенный приступ ужаса, потом одновременно схватились за стаканы, залпом выпили. Профессор больше не прятал лицо в ладони, на этот раз коньяк пошел ему на пользу. Все же он не посмел вслух задать Егору вопрос, прочтя по его глазам, что и тот пережил минуту давящего, липкого ужаса. Как будто кто-то приблизился к ним и расположился слушать, кто-то, кого не видишь, но чье присутствие чует кровь и отражают глаза товарища...

Надо было спешно заговорить о чем угодно. Егор судорожно подыскивал тему. Что-нибудь подальше от этой комнаты, от этого часа. Как назло, мозг работал вхолостую. И даже страх прошел. Да, он тоже почувствовал нечто, чему не знал подобия, смесь чудовищного омерзения и ужаса. На какую-то долю секунды. Достаточно было взяться за стаканы и сделать глоток коньяка, чтобы все стало на свои места.

— Вы бывали в Марселе? — наобум спросил он, снова разливая коньяк по стаканам.

— Да, но давно,— быстро ответил профессор.— Сразу после войны. С тех пор многое переменилось...

— Там есть один бар, рядом с отелем «Савойя»,— заговорил Егор.— Называется «Морская звезда». Это точно, название я запомнил. А в баре такой обычай: если тебе пришелся по душе коньяк, надо спеть...

— Прекрасная мысль! — воскликнул профессор.— Но у меня нет голоса.

Егор посмотрел на него с сожалением. «Опять стесняется». Он поднес стакан к губам и, прежде чем сделать глоток, вдохнул в себя коньячные пары. Потом, слегка запрокинув голову, запел по-французски:

У нас старушек не найдешь
Угрюмых — никогда!
А в шляпках розовых — о да!

III

В дверь стучали, и г-н Назарие решил по-настоящему проснуться. Уже добрых полчаса он плавал в полусне. Приоткрывал глаза, ощущал свежесть утра, залитую светом комнату и неудержимо засыпал. Сон был воробьиный, прерывистый и оттого еще более роскошный. Борясь с ним, человек словно бы растягивал блаженство, которое вряд ли когда еще ему перепадет. И чем упорнее он сопротивлялся сну, тем неодолимее в него соскальзывал. Еще минутку, еще, еще... Как будто подспудно в нем тлела уверенность, что блаженство это эфемерно, что очень скоро он будет отторгнут от благодати этого парения и выкинут на твердую почву дня. Стук в дверь разбудил его со всей определенностью.

— Целую руку, барин!

Пожилая женщина, улыбаясь, внесла поднос с молоком.

— Я заспался. Наверное, очень поздно,— пробормотал г-н Назарие.

Женщина потупилась.

Г-н Назарие потер лоб. Голова побаливала, во рту было горько. Его вдруг охватили угрызения совести за то, что он так долго валяется в посте-

ли. Блаженство, которое никак его не отпускало, казалось ему теперь мерзостью. Сразу, без всяких причин, навалились грусть, усталость, безысходность — обычные его спутники при пробуждении на новом месте. Огромная яма внутри, и все туда ухает... Но когда он вспомнил про коньяк, который распивал ночью, его взяла настоящая злость на себя: «Ну, ладно, золотая молодежь прожигает жизнь, а ты-то куда?»

— Теплой водички, барин?

Нет, никакой теплой водички, никакого баловства. Г-н Назарие чувствовал необходимость наказать себя, и посуровее. Холодные обливания, вот что ему надо.

Женщина вышла, и г-н Назарие энергично соскочил с постели. Тяжесть и боль в голове не проходили. Он налил в таз холодной воды и стал плескаться. Одно за другим припомнились ему происшествия этой ночи, и он чуть не рассмеялся. Что там ему вчера примерещилось, что за глупые страхи! Довольно посмотреть вокруг: этот яркий свет, эта осенняя свежесть, это горячее молоко, младенческий, кроткий пар над чашкой, и сразу становится ясно, что вчерашнее — ерунда, темная игра воображения. «И хоть бы еще курить умел по-человечески»,— иронизировал над собой г-н Назарие, одеваясь. Потом он присел к столу и медленно выпил до дна чашку молока, не тронув варенья и масла. Отломил кусок гренка и, хрустя, принялся заканчивать свой туалет. «Вчерашний ужин отменным не назовешь,— подумал он.— Если бы я не перебил аппетит коньяком, сегодня был бы голоден как зверь. Да, ужин не удался, и это все заметили. Он жаркого разило бараном, овощи переварены. Слава богу, выручила мамалыга с брынзой, со сметанкой...— Он улыбнулся, взглянув в зеркало.— Какой заросший. Может быть, поэтому она спросила про теплую воду? Но теперь уже поздно, ничего, обойдусь и холодной».

Он не спеша достал из чемодана бритвенный прибор и стал намыливать щеки. Веселый мотивчик медленно поднялся на поверхность памяти и закачался, то теряясь, то прорезывая снова:

У нас старушек не найдешь...

«Это Егор пел сегодня ночью»,— вспомнил он с удовольствием. Вспомнились ему и обстоятельства, вынудившие того запеть. «Он почувствовал *то же самое*». Эта мысль вызвала улыбку. С какой легкостью он сейчас улыбался, какой далекой и нелепой казалась ему ночная сцена. Он весело водил помазком по подбородку. «И при всем при том что-то было. Как будто кто-то еще меня слушал. Я прекрасно помню. И за столом... Привиделось? Да нет, дело, пожалуй, нешуточное». Но сейчас столько света было в комнате, столько надежности в белых стенах, в клочке ясного неба, пойманного зеркалом, в ощущении душистой мыльной пены на щеках...

Г-н Назарие аккуратно укрепил бритву; каждый жест доставлял ему удовольствие, прикосновение к каждому предмету. Он начал бриться, глядясь в зеркало, вытянув губы трубочкой и пытаясь придать этой гримасе изящество, чтобы не повредить симметрии лица.

* * *

Утро г-н Назарие провел, гуляя по полям без определенной цели. Мыслями он был далек от протоистории. Впрочем, никаких надежд на сколько-нибудь удачные раскопки он и не питал — слишком монотонны были здешние просторы. К северу от усадьбы, ближе к селу, правда, начинались курганы, но г-н Назарие намеренно пошел в противоположную сторону, в поля, еще не тронутые зябью. Ни облачка, ни тени не набегало на небо, сколько хватало глаз, и все же солнце не утомляло своим светом, неизвестные птицы взметывались вверх, верещали кузнечики и сверчки: тишина великая, но живая, незастойная. Даже шум человеческих шагов вливался в эту мелодичную смесь мелких звуков, которые и были безмолвием и пустотой равнины. «Знаменитая мунтянская степь,— думал г-н Назарие.— Еще две-три недели — и все, конец каникулам. Бухарест, студенты,

экзамены, рабочий кабинет. Хорошо бы хоть с Бэлэноайей довести дело до конца...»

Он вернулся в усадьбу за несколько минут до назначенного для обеда часа. В парке встретил Симину, она гуляла одна.

— Добрый день, деточка,— сердечно поздоровался профессор.

— Добрый день, господин профессор,— улыбаясь, ответила Симина.— Вы хорошо спали?.. Мама вас тоже об этом спросит, но я хотела узнать первая...

Ее улыбка незаметно перешла в короткий смешок. Профессор смотрел и не мог отвести глаз от ослепительно хорошенького личика. Как дорогая кукла: такая безупречная красота, что кажется искусственной. И зубки слишком белы, и слишком черны кудри, и ротик ал до неправдоподобия.

— Превосходно спал, деточка,— сказал г-н Назарие, подходя к ней поближе и протягивая руку погладить ее по головке.

Дитя и впрямь было дивное, но он вдруг почувствовал, что не посмеет ее погладить, она отталкивала своей улыбочкой, и он конфузливо убрал руку. Нет, Симина уже не дитя. Девять лет, так было сказано вчера вечером, но сколько женственности в походке, сколько грации в мягких, округлых жестах.

— А вы не отрывали господина художника от работы сегодня ночью? — лукаво спросила Симина, чуть сморщив лобик.

Г-н Назарие даже не попытался скрыть удивление. Напротив, он обрадовался случаю показать, что попался на Симинину хитрость, и так скорее завоевать ее дружбу.

— Откуда же ты знаешь, что я был ночью у господина художника?

— Ниоткуда, я это придумала!

Она рассмеялась. Профессор стоял перед ней, большой и неловкий. Симина сделала серьезное лицо.

— Всегда, когда у нас двое гостей, они собираются вместе,— сказала она.— Комната господина художника самая лучшая. Туда обычно все и приходят...

Она не договорила, вернула на лицо победоносную усмешку и, подавшись к г-ну Назарие, шепотом продолжила:

— Но я думаю, что это нехорошо. Ведь господин художник работает. Он должен быть один по ночам...

При последних словах ее лицо потеряло улыбку, стало суровым, холодным, приказывающим. Профессор совсем смешался.

— Конечно, конечно,— промямлил он.— Один раз это случилось, но больше не повторится...

Симина взглянула ему в глаза, чересчур пристально, если не сказать дерзко, и, не прибавив ни слова, крутанулась на каблуках прямо перед его носом и зашагала в парк.

«Кажется, она знает что-то, чего не знаю я,— подумал г-н Назарие.— Уж не готовится ли заговор против Егора? Свидания по ночам в парке, романтические прогулки — этим обычно начинается... Симина, без сомнения, конфидентка».

Г-н Назарие зашел к себе в комнату помыть руки перед обедом. «Но довольно глупо посвящать в такие вещи ребенка,— думал он.— Да еще столь чувствительного, как Симина...»

Он поспешно спустился вниз и направился прямо в столовую. Уже прозвучал гонг. А его осведомили об этом домашнем обычае: через пять минут после гонга подают обед, сколько бы персон ни собралось. В столовой все были на местах, кроме Симины.

— Как вы почивали, господин профессор? — встретила его г-жа Моску.

Сегодня она выглядела пободрее. Или это дымчатое платье с бледно-розовым воротником ее молодило,— но она была свежа, оживлена, открытые руки так и порхали над столом.

— Кажется, вы хорошо выспались,— обронила Санда, пытаясь скрыть удивление.

Экономка встала в дверях, руки за спину, глядя в пол, как будто ждала распоряжений, а на самом деле жадно слушая, что ответит профессор.

— Я спал как нельзя лучше,— ответил г-н Назарие. - Сначала, правда, не мог заснуть, но господин Пашкевич был так любезен...

Он обернул лицо к Егору. Тот улыбался, поигрывая ножом. «Неужели он все им рассказал? — подумал г-н Назарие.— И про вчерашние возлияния, и, может быть, другие интересные вещи про меня...»

— Да господин Пашкевич вам, наверное, уже рассказал,— закончил он.

— Право, не знаю, что бы я мог рассказать,— возразил Егор.

Только тогда г-н Назарие смекнул, что Егор не стал бы, постеснялся бы рассказывать, как они вчера полуночничали. Конечно, сейчас вся эта чертовщина кажется такой далекой, такой нелепой... но все же другим о ней знать ни к чему. Он посмотрел Егору в глаза. Тот делал вид, что ничего не понимает и не помнит. «Да, ему тоже стыдно,— подумал г-н Назарие.— Как и мне».

Тут в столовую быстрым шагом вошла Симина и уселась по левую руку от г-жи Моску, сначала по кругу бегло оглядев присутствующих.

— Где вы гуляете, барышня? — обратился к ней Егор.

— Я ходила посмотреть, не пришли ли письма...

Санда покачала головой. Надо будет все-таки сделать ей замечание. Не при гостях, конечно, но все же надо будет ее как-нибудь отчитать за это пристрастие к бессмысленному вранью...

Она в испуге подняла глаза от тарелки. Кто-то ел с таким аппетитом, что в буквальном смысле за ушами трещало,— и этот звук стал преобладать в комнате. В наступившей неестественной тишине слышалась только работа челюстей. Это кушала г-жа Моску. Санда обомлела. Г-жа Моску часто забывалась во время обеда и переставала скрывать свой аппетит, но таких вершин прожорливости еще никогда не достигала. Никто не смел произнести ни слова, все в оторопи сидели и слушали.

— Maman! — крикнула ей Санда.

Г-жа Моску продолжала уписывать жаркое, низко опустив голову над тарелкой. Г-н Назарие в ужасе косился на нее, Егор делал вид, что ничего не замечает. Санда подалась вперед и еще раз окликнула мать — снова безрезультатно. «Ей станет дурно!» — в отчаянии думала Санда. Тогда Симина как ни в чем не бывало положила руку на плечо г-жи Моску и тихо сказала:

— Я видела во сне тетю Кристину, мамочка.

Г-жа Моску тут же перестала жевать.

— Представь, и я вижу ее уже несколько ночей подряд. Такие удивительные сны!

Она деликатно сложила вилку и нож на краю тарелки и подняла голову. Г-н Назарие замер в предчувствии этого жеста: он боялся взглянуть в лицо только что очнувшейся от странного припадка женщины (иначе как потерей сознания он не мог объяснить то варварство, с каким она ела несколько минут назад), и для него полной неожиданностью было встретить на этом лице выражение покоя и внимания. Г-жа Моску, вне всякого сомнения, не отдавала себе отчета в своих недавних действиях и ничего не помнила.

— Вы будете надо мной смеяться, господин профессор,— заговорила она,— но я все равно вам признаюсь, что сны для меня — иной, лучший мир.

— Нисколько не буду смеяться, сударыня,— поспешил заверить ее г-н Назарие.

— Мама понимает под этим что-то свое,— вмешалась Санда, счастливая, что так легко удалось выйти из неловкой ситуации.— Во всяком случае, «иной мир» не в прямом смысле.

— Мне было бы очень интересно послушать,— подхватил г-н Назарие.— Предмет презанимательный.

Г-жа Моску с готовностью закивала.

— Да, да, мы как-нибудь об этом побеседуем. Но не теперь, конечно.— Она живо обернулась к Симине: — Как ты ее видела, моя девочка?

— Она пришла ко мне, села на мою кроватку и сказала: «Ты одна меня любишь, Симина!» Она была в розовом платье, с кружевным зонтиком...

— Да, она всегда так приходит,— в волнении прошептала г-жа Моску.

— Потом она сказала про Санду,— продолжала Симина.— «Санда меня совсем забыла. Она теперь взрослая барышня». Прямо так и сказала. И мне показалось, что она плачет. Потом попросила мою руку и поцеловала ее.

— Да, да, так,— шептала г-жа Моску.— Она непременно целует твою руку или плечо...

Все молча слушали. Санда саркастически улыбалась, поглядывая на сестру. «Нет, надо ее отучить раз и навсегда от этой дурной привычки»,— думала она с нарастающим гневом и наконец взорвалась:

— Зачем ты лжешь, Симина? Я уверена, что никто тебе не снился, никакая тетя Кристина.

— Я не лгу,— твердо возразила Симина.— Она правда со мной говорила. И что про тебя сказала, я очень хорошо помню: «Санда меня совсем забыла». И у нее были слезы на глазах, я видела...

— Лжешь! — ожесточенно повторила Санда.— Ничего ты не видела!

Симина смело, по своему обыкновению, выдержала взгляд сестры, потом ее ротик сложился в ироническую улыбку.

— Ну, пусть будет «не видела»,— сказала она спокойно и отвернулась к матери.

Санда кусала губы. Еще и дерзкая стала, девчонка, даже гостей не стесняется. Она вдруг по-новому взглянула на Егора, и ее захлестнуло теплом. Как хорошо, что она не одна, что рядом есть человек, на чью любовь и поддержку она может рассчитывать.

— Но откуда же девочка знает тетю Кристину? — нарушил молчание за столом г-н Назарие.— Ведь она, сколько я понял, умерла молодой...

Г-жа Моску встрепенулась. Профессор еще не видел ее в таком воодушевлении. Наплыв волнующих, рвущихся наружу воспоминаний даже стер с ее лица неизменную улыбку. Егор не без удивления и не без опаски наблюдал, как расширились, словно под лупой, заблестели влажным блеском ее зрачки.

— Кристину никто из них не знал,— начала г-жа Моску, глубоко переведя дух.— Ни Санда, ни Симина. Санда родилась в первый год войны, девять лет спустя после Кристининой смерти... Но у нас есть портрет Кристины в натуральную величину, кисти самого Мири. Дети знают ее по портрету...

Она вдруг умолкла, склонив голову. Но г-н Назарие, чувствуя, что новое молчание было бы сейчас невыносимым, настойчиво повторил:

— И она умерла молодой?

— Ей было всего двадцать лет,— Санда постаралась опередить мать с ответом.— Она была на семь лет старше мамы.

Но г-жа Моску не заметила ее вмешательства. Затихающим, гаснущим голосом, словно впадая в очередной приступ изнеможения, она продолжала:

— Кристина умерла вместо меня, несчастная. Нас с братом отослали в Каракал, а она осталась. Это было в девятьсот седьмом. И ее убили...

— Здесь? — с невольным нажимом спросил г-н Назарие.

— Она приехала сюда из своей Бэлэноайи, погостить,— опять вступила Санда.— Имение тогда, до экспроприации, было гораздо больше, как вы понимаете... Но это не укладывается в голове... Потому что крестьяне так ее любили...

Егору вдруг стало не по себе. Он уже раз слышал эту историю, эту, да не совсем. Некоторые детали упоминались при нем впервые, о других — не в пример важнее,— кажется, говорить не собирались. Он попытался взглянуть Санде в глаза, но она, как будто не желая развития темы, поспешила объявить:

— Кофе на веранде, господа!

— Представляю, какой это был тяжелый удар для вас,— счел нужным выразить свое соболезнование хозяйке г-н Назарие.

В ответ г-жа Моску радушно закивала головой, словно принимая обычные слова вежливости, с какими гостям надлежит подниматься из-за стола.

* * *

Кофе накрыли на веранде. Сентябрьский день был особенно прозрачен, небо неправдоподобно синело, и деревья застыли, будто были задуманы неподвижными от сотворения мира.

«Пора»,— сказал себе Егор. И когда на пороге столовой Санда оказалась совсем близко, он непринужденно взял ее под руку. Она была податлива, он уловил ее волнение, нетерпеливую дрожь тела — все шло как надо. Правда, миг спустя она отпрянула — но даже в этом жесте Егор предпочел усмотреть надежду. Теперь предстояло ее разговорить. Взяв чашечку кофе, он начал:

— Чем занимается Санда после обеда?

— Хочу попросить у господина художника позволения посмотреть, как он будет работать в парке.

Егор хотел было отшутиться, но увидел подле себя суровое лицо Симины, ее напряженный взгляд, девочка словно пыталась понять, что тут происходит без ее ведома.

— Господин Пашкевич,— раздался голос хозяйки дома.— Не хотите ли взглянуть на портрет Кристины? Говорят, это лучшая работа Мири.

— Если у Мири вообще может быть что-нибудь хорошее,— иронически заметил художник.

— Вы же не видели, а говорите! — обиженно возразила Санда.— Я уверена, что вам понравится.

Ее горячность озадачила Егора. Он стоял с чашкой в руках между двумя сестрами и потерянно думал: «Черт меня дернул за язык. Если хочешь завоевать помещичью дочку, держи при себе свой снобизм. Кроме эстетических есть и другие мерки...»

— Даже посредственный художник способен создать шедевр, если сумеет хоть раз в жизни возвыситься над собой,— нравоучительно изрек г-н Назарие.

— Миря был великий художник,— сказала г-жа Моску.— Миря — вершина румынского искусства. Отечество вправе им гордиться...

Г-н Назарие смешался и покраснел. А г-жа Моску в волнении поднялась и слабым манием руки пригласила всех за собой. Ничуть не спокойнее были Санда с Симиной.

«Все, что касается этой злополучной Кристины, для них просто свято,— думал Егор.— Пожалуй, это говорит об их незаурядности. Причислить обожаемую покойницу к лику святых и поклоняться — пусть самой тривиальной иконе... Да, Санда — чудо. Так любить и так чтить тетушку, которую никогда не знала!» Даже и маленькую Симину Егор теперь мысленно извинял. «Вот кто поистине избранницы, элита, я рядом с ними просто чурбан».

— Простите за беспорядок,— сказала Санда, отворяя массивную белую дверь.— Мы в эту гостиную редко заходим...

Оправдание было уместным. На них пахнуло сухой медуницей, застоявшимся, стылым воздухом — прохладой томительной, искусственной. Егор поискал глазами товарища. Г-н Назарие не смел дохнуть от скромности

и старался держаться как можно незаметнее. Следом, замыкающей, шла Симина. Торжественное волнение придавало ей женскую бледность, неестественную для детского личика. «Нет, какие в самом деле чуткие натуры»,— еще раз подумал Егор.

– Девица Кристина! — представила г-жа Моску.— Всеобщая любимица...

Профессор почувствовал, как ужас взял его когтями под ребра. Девица Кристина смотрела прямо ему в глаза с портрета Мири и улыбалась. Это была очень юная девушка с черными локонами до плеч, в длинном платье с высокой и тонкой талией.

— Что скажете, господин художник? — спросила Санда.

Егор остановился поодаль, силясь разобраться, откуда этот наплыв щемящей грусти, что такого в этой девушке, которая смотрит ему в глаза, улыбаясь как знакомому, будто именно его она выбрала из всей группы, чтобы посвятить в свое бесконечное одиночество. Тоска была на дне ее глаз. Напрасно она пыталась улыбаться, напрасно поигрывала голубым зонтиком и потихоньку ото всех ломала бровь, как бы приглашая его посмеяться вместе с ней над огромной, перегруженной цветами шляпой, которую она, конечно, терпеть не может, но мама велела: «Барышне не полагается позировать неглиже». Девица Кристина изнывала от этого стояния. «Она предчувствовала, что скоро умрет?» — спрашивал себя Егор.

– Значит, нравится,— торжествующе заключила Санда.— Раз молчите, значит, нравится.

– С такой моделью и не создать шедевра... — тихо проронил Егор.

У Кристины лукаво блеснули глаза. Егор потер лоб. Какой все-таки странный запах в этой комнате. Уж не ее ли это комната? Он скосил глаза в сторону. Санда сказала, что это гостиная, но там, в углу, стоит большая белая кровать под пологом. Он снова вскинул глаза на портрет. Девица Кристина ловила каждое его движение. Егор легко читал в ее глазах: она заметила, что он обнаружил кровать, и не покраснела. Напротив, встретила его взгляд даже несколько вызывающе. «Да, это моя комната и там моя постель, моя девичья постель»,— как будто говорили ее глаза.

– А господин профессор что скажет? — прозвучал голос Санды.

Г-н Назарие все это время простоял в оцепенении, не в силах стряхнуть накативший на него ужас: ему показалось, он снова видит призрак, туманную фигуру, давеча в столовой вставшую за креслом г-жи Моску. Он очнулся, лишь когда поймал на себе подозрительный, испытующий взгляд Симины.

— По-моему, великолепная работа,– решительно произнес он.

Он вдруг успокоился. Неестественный покой, как пролог к полному бесчувствию, установился в душе. Странно пахло в этой комнате: не смертью и не погребальными цветами, а как бы остановленной юностью, остановленной и хранимой здесь, в четырех стенах.

Чьи-то давние-давние младые лета. Словно бы и солнце не бывало в этой комнате, и время не искрошило ничего. Ничего здесь не изменилось, не обновилось с тех пор, как умерла девица Кристина. Этот запах — запах ее юности, чудом сохранившееся веяние ее духов, тепло ее кожи. Каким-то образом г-н Назарие понимал теперь эти бесконечно далекие от него мелочи. Он сам удивлялся той легкости, с какой он их понимал и принимал.

— Великолепно, ничего не скажешь,— повторил он, решаясь еще раз поднять глаза на портрет.

Нет, это не тот давешний призрак. Хотя сходство есть. На девицу Кристину можно смотреть спокойно. Она напугала его только в первую секунду. Кристина очень похожа и на г-жу Моску, и на Симину. А ему померещилось. От той, *другой,* исходил леденящий ужас, в портрете ничего такого нет. Дух комнаты, ее печаль и безнадежность идут от чего-то иного, по-иному говорят душе.

— Я бы хотел как-нибудь написать ее,— сказал Егор.— Не копию сделать с портрета, а написать по-своему...

Санда в испуге дернула его за рукав, шепнула:

— Тсс! Не дай бог, мама услышит.

Егор не понижал голоса, но г-жа Моску, опустившаяся в зачехленное белым холстом кресло, ничего, по своему обыкновению, не слышала. Она блуждала глазами по комнате. По-особому пульсировала здесь жизнь. Сюда она прибегала мыслью, хотя не в это конкретное пространство, не в это настоящее время. Егор взглянул на нее через плечо и понял: г-жа Моску постоянно возвращается сюда, в эту комнату, но в происшествия той поры.

— ...слава богу, не услышала, а то бы ей на самом деле стало плохо, — все так же шепотом продолжала Санда.— Она редко кого сюда приводит. Для вас сделано исключение. И потом, вы не знаете одной вещи...

Но рядом уже возникла Симина. Г-н Назарие направлялся к ним, вероятно предполагая, что уже прилично покинуть комнату.

— А тете Кристине понравилось бы, если бы ее еще раз нарисовали,— сказала Симина.— С чего ты взяла, что мама не захочет?!

— Ты, конечно, больше всех знаешь, Симина,— отрезала Санда, смерив девочку строгим взглядом, и, повернувшись к ней спиной, позвала г-жу Моску:

— Maman, довольно уж! Пора идти...

— Может быть, ты оставишь меня еще на минутку? — попросила та.

Санда протестующе помотала головой.

— С Симиной...— просила г-жа Моску.

— С ней тем более.— Санда сгладила свой отказ улыбкой и взяла мать под руку. За ними, избегая смотреть друг на друга, двинулись Егор и г-н Назарие. На веранде Егор закурил, сначала предложив портсигар профессору. Тот отказался, усмехнувшись, и тихо проговорил:

— Нет, дорогой маэстро, по-моему, *это не то*...

Тут к ним подошла Санда. Суровое педагогическое выражение улетучилось с ее лица. Санда снова была кокетливой и весьма снисходительной барышней.

— Мы готовы к трудам, господин художник? — проворковала она.

Профессор был рад случаю ретироваться в столь подходящий момент.

IV

В тот день после обеда Егор ничего не наработал. Он долго таскал этюдник по парку, примерялся к разным живописным уголкам, но в конце концов спрятал свои орудия производства в корнях старого вяза и предложил Санде просто прогуляться.

— В такой денек грех работать,— сказал он в свое оправдание. Потом спросил, много ли она знает стихов про осень. Спросил как на экзамене, и пришлось выслушать целый концерт. Он-то хотел поскорее сменить тон на интимный, может быть, перейти к признаниям, стихи — хорошая прелюдия к любви, особенно когда вокруг такая осень, настраивающая на возвышенный лад. А получился перебор. Время уходило. Надо было сдвинуться с места. И он решил обратиться к Санде на «ты»:

— Кстати, Санда, что ты думаешь о профессоре Назарие?

— Я думаю, он себе на уме,— сдержанно ответила Санда, как бы пропустив мимо ушей фамильярность обращения.— Вы заметили, как он часто меняется в лице? Не поймешь, какое оно у него на самом деле.

Егор засмеялся. Его действительно позабавил этот ответ. И кроме того, они спустились с небес на землю — теперь уместны были и шутки, и флирт. В конце аллеи он обнял Санду за талию. Но она — наверное, чтобы позлить,— назвала его «господин художник».

Пора было идти к вечернему чаю. У крыльца вышагивала взад и вперед, поджидая их, Симина. Г-жа Моску читала на веранде французский роман. Г-н Назарие заранее предупредил, что будет только к ужину. Он ушел осматривать курганы.

Чаепитие прошло в молчании, только Санда с Егором изредка перебрасывались словом. Симина казалась чем-то озабоченной. Она первая встала из-за стола, прежде сложив салфетку и подобрав со скатерти крошки на тарелочку.

— Ты куда, Симина? — спросила Санда.

— К кормилице,— бросила девочка уже с порога, не оборачиваясь.

Проследив глазами, пока та не скрылась за деревьями, Санда строго обратилась к матери:

— Мне совсем не нравится эта дружба. Кормилица девочке только голову забивает...

— Да, да, я ей столько раз говорила...— оправдывалась г-жа Моску.

— Чем же она забивает ей голову? — поинтересовался Егор.

— Бог знает какими нелепыми сказками,— раздраженно ответила Санда.

— Но ей положено жить в окружении сказок, в девять-то лет,— заметил Егор.— Самое время для фольклора.

Санда поморщилась с досадой. Она многое могла бы возразить, но ограничилась одной фразой:

— Это довольно странный фольклор — кормилицыны сказки.

* * *

Насколько странен этот фольклор, Егор смог убедиться в тот же вечер. Он пошел на прогулку вокруг парка смотреть заход солнца. Прислонясь к акации на опушке, он наблюдал, как западает за край поля пылающий шар, «далёко и недалёко»... Присказка вспомнилась кстати. «Лучше, чем в том народном стишке, про закат в степи не скажешь. И как все на миг замирает, когда падает солнце, и как чудно потом одушевляется тишина... Комары только тут ни к чему!» — думал Егор, закуривая в целях самозащиты.

Но душистая прохлада, пахнущая пылью и травами, отнимала всякий вкус у сигареты. Он бросил ее на дорогу и, войдя в парк через боковую калитку, не спеша пошел к усадьбе. Слева тянулись домишки, хозяйственные постройки, огороды. Егор спрашивал себя, кто присматривает за всем этим, кто ведет дела, платит слугам, продает урожай. Муж г-жи Моску несколько лет как умер, золовка живет в другом конце страны, в своем имении. Может быть, все-таки управляющий, который был еще при муже?

В окнах зажигались лампы. «Там кухни и комнаты прислуги»,— определил Егор, проходя мимо ряда белых, прилепившихся друг к другу мазанок с низкими завалинками. Сновали женщины, дети пугливо таращились на барина. По-деревенски пахло сеном, скотиной, молоком. «Ночь будет великолепная»,— подумал Егор, запрокидывая голову к высокому прозрачному небу.

— А собак вы не боитесь?

Голосок Симины прозвучал так неожиданно, что Егор сбился с шага. «Как же она подкралась ко мне, что я не заметил?»

— А тебе не страшно одной тут расхаживать?

— Я была у кормилицы,— спокойно объяснила Симина.

— До сих пор?

— У кормилицы были дела, а я просто сидела...

— И слушала ее сказки, да?

Симина постно улыбнулась. Отцепила репейник с подола платьица, разгладила складочки, весьма искусно медля с ответом.

— Это вам Санда наговорила. Да, слушала. Кормилица рассказывает мне каждый день по сказке. Она их много знает...

— Сегодня была очень длинная сказка, если ты только сейчас идешь домой,— заметил Егор.

Симина снова улыбнулась с той же поддельной кротостью. Встретясь с ней глазами, Егор испытал неприятное чувство, что его заманивают в ловушку, что тут работает ум хитрый и острый, никак не детский.

— Сказка была короткая,— ответила Симина.— Но кормилица выдавала жалованье людям, потому что это она у нас всегда выдает жалованье...

Последние слова она проговорила особенно четко, с расстановкой, как будто знала, о чем он думал по дороге к усадьбе, и решила между делом прояснить его недоумения. Егор даже растерялся. Эта девочка угадывала его мысли, просто-напросто читала их. Как тонко она подчеркнула последние слова, а потом — пауза, глазки долу...

— Короткая сказка, совсем коротенькая,— дразнила она.

Конечно, она подстрекала его, ждала, что он попросит ее рассказать сказку. Все в Егоре противилось, хотя он не понимал, в чем тут искушение. Симина томительно молчала, выжидая, замедляя шаг.

— Ну, расскажи,— сдался наконец Егор.

— Это сказка про пастушьего сына, который полюбил мертвую принцессу,— тихо произнесла Симина.

Слова так дико прозвучали из детских уст, что Егора передернуло.

— Какая скверная, какая глупая сказка! — Он не скрывал возмущения.— Нет, Санда была права.

Симину нисколько не смутила эта вспышка. Она дала его возмущению улечься, потом, не повышая голоса, продолжала:

— Такая уж сказка. Такой жребий выпал пастушьему сыну.

— Ты знаешь, что такое жребий? — удивился Егор.

— Жребий, доля или судьба,— отчеканила Симина как на уроке.— Каждый человек рождается под своей звездой, у каждого — свое счастье. Вот...

— Смотри какая умная! — с улыбкой заметил Егор.

— Жил-был пастух, и был у него сын,— затараторила Симина, не давая ему больше перебивать себя.— И когда он родился, феи-вещуньи предсказали: «Ты полюбишь мертвую принцессу!» Его мама, как услышала, стала плакать. И тогда другая фея, их было вообще три, сжалилась над ее горем и сказала: «И принцесса тебя тоже полюбит!»

— Ты непременно хочешь дорассказать мне эту сказку до конца? — не выдержал Егор.

Взгляд девочки выразил недоумение — невинный и в то же время холодный, обдающий презрением взгляд.

— Вы же сами меня попросили...

И Симина надолго смолкла, подавляя его молчанием. Они находились на середине главной аллеи. Сзади, уже вдалеке, поблескивали огоньки дворовых построек. Впереди, в потускневшем от сумерек воздухе, вырастало серое пятно усадьбы.

— А другую сказку, повеселее, ты не знаешь? — спросил Егор, чтобы нарушить молчание.— Например, ту, что кормилица рассказывала тебе вчера или позавчера...

Симина глубоко вздохнула и остановилась, как-то нарочито повернувшись спиной к громаде господского дома. Странное напряжение появилось в посадке ее головы.

— Вчерашняя сказка очень длинная,— проговорила она.— А позавчерашняя вовсе не сказка, а настоящее происшествие. *С девицей Кристиной...*

У Егора мороз прошел по коже. Темнота внезапно пала здесь, среди деревьев, где Симина решила остановиться. Ее глаза засверкали, зрачки расширились, шея неестественно напряглась. А этот зловещий голос! Да, она была мастерицей выделить слово, вложить в него смысл, ей угодный, каленым железом выжечь его в твоем сердце.

— Что еще за «девица»? — сорвался Егор.— До сих пор ты звала ее тетей, она ведь тебе доводится тетей...

— Она меня попросила не называть ее так, а то она себя чувствует старой...

Егор с трудом взял себя в руки; его так и подмывало обрушить ярость на эту маленькую бестию, которая врет ему с таким дьявольским бесстыдством.

— Кто тебя попросил? Как может тебя попросить кто-то, кто тридцать лет назад умер?!

Голос у него был грозный и взгляд суровый, но Симина заулыбалась: столько удовольствия доставлял ей гнев мужчины, такого большого и сильного человека, гнев, который вызвала она, пигалица неполных десяти лет...

— Она меня попросила сегодня ночью, во сне...

Егор на секунду заколебался. Но ему хотелось дойти до конца, понять, что скрывается в головке этого пугающего своими повадками чада.

— И все же сегодня, у портрета,— сказал он,— я слышал, как ты назвала ее тетей Кристиной.

— Неправда,— твердо отрезала Симина.— Сегодня я не говорила «тетя Кристина».

Ее уверенность заставила Егора усомниться в своей правоте. Но какая непререкаемая уверенность и какая победоносная усмешка! Надо будет поговорить с Сандой, а может быть, и с госпожой Моску. Он вдруг осознал нелепость ситуации: стоит тут в темноте, посреди аллеи, меряясь силой с ребенком,— и решил тронуться с места, потому что Симина идти к дому явно не собиралась. Но при первом же его движении девочка с криком вцепилась в него. Сам испугавшись, он взял ее на руки. Симина приложила ладошки к Егоровым щекам, отворачивая его лицо от дома.

— Мне показалось, что за нами кто-то идет,— прошептала она, кивая в ту сторону парка, откуда они пришли. Егор покорно смотрел в темноту и смотрел долго, чтобы ее успокоить.

— Никого там нет, девочка,— уговаривал он ее.— Ты просто трусиха. И немудрено, если ты каждый день слушаешь глупые сказки.

Он держал ее на руках, ласково прижимая к себе. Как странно — сердечко ее не трепыхалось от волнения и тельце было спокойное, теплое, податливое. Никакой дрожи, ни капельки пота. И личико ясное, довольное. Егор вдруг понял, что его надули, что Симина притворилась испуганной и вцепилась в него, чтобы помешать ему повернуть голову к дому. Когда он это понял, его пронизало яростью вперемежку с ужасом. Симина тут же почувствовала, как напряглись его мышцы, как изменился пульс.

— Пустите меня, пожалуйста,— кротко попросила она.— Уже все прошло...

— Зачем ты мне соврала, Симина? — в исступлении прорычал Егор.— Ведь ты ничего не видела, а? Ничего — по крайней мере *там*...

Он вскинул было руку, указывая на недра парка, но рука дрожала, и он поспешно ее опустил. Однако не так быстро, чтобы Симина не заметила этой слабости. Она смотрела на него с усмешкой и не отвечала.

— Может быть, ты увидела что-то в *другой стороне*.....— продолжал Егор.

Но обернуться на дом он все же не посмел и не посмел сопроводить свои слова взмахом руки. Он по-прежнему стоял к усадьбе боком, вконец обескураженный тем, что Симина, по-видимому, угадывала самые тайные его страхи и сомнения.

— ...что-то, чего ты не хотела, чтобы видел я,— через силу добавил он.

Ему стало по-настоящему жутко. Симина стояла перед ним, руки за спину, и кусала губы, чтобы не расхохотаться. Это почти открытое издевательство никак не могло развеять необъяснимого ужаса, который его обуял.

— Можете не бояться, обернитесь,— сказала Симина, вытягивая ручку в сторону дома.— Вы ведь мужчина, вам нельзя бояться... Не то что мне,— прибавила она, потупясь.

И вдруг резко двинулась к дому. Егор потащился следом, стиснув зубы, дыша часто, неровно.

— Я на тебя, Симина, пожалуюсь, так и знай,— пригрозил он.

— А я так и знала, господин художник,— не повернув головы, отозвалась Симина.— Извините, что я попросилась к вам на руки, это от испуга. Мама меня не похвалит за такую невоспитанность. Вы будете правы, если пожалуетесь...

Егор схватил ее за руку и дернул к себе. Девочка поддалась без всякого сопротивления.

— Ты прекрасно знаешь, что речь *не о том*,— наклонясь к ней, проговорил он отчетливо.

Но о чем, ему самому трудно было бы сказать. Он знал одно: Симина вовсе не испугалась и принудила его смотреть в другую сторону, чтобы он не увидел того, что увидела она. Вот только *почему* она не испугалась?

— ...да, правда, глупо получилось,— сказала Симина.

Они были уже у веранды. В другой раз Егор поднялся бы к себе — помыть руки перед едой, но сейчас он отказался от столь долгой процедуры, а зашел в каморку при столовой, где тоже был умывальник. На пороге его встретил, словно поджидая, г-н Назарие.

— Если вы свободны после ужина, давайте пройдемся,— предложил он.— Я расскажу вам кое-какие любопытные вещи — меня просветили сегодня в селе.

— Я тоже припас для вас кое-что интересное,— с улыбкой подхватил Егор.

Ужас и ярость, испытанные им в парке, как рукой сняло. Он даже сожалел, что не сумел овладеть собой при ребенке. «С Симиной дело серьезное,— сказал он себе,— с ней надо держать ухо востро». Но не эти резонные мысли его успокоили, а свет, который он нашел в доме, присутствие нормальных живых людей.

Сели за стол. Егор время от времени поглядывал на Симину, каждый раз встречая те же невинные глаза, ту же хорошо маскируемую самонадеянность. «Думает, я не пожалуюсь, не выдам ее». Он лелеял свой сюрприз. Санда сидела рядом с ним, он заметил, что вид у нее усталый.

— Мне что-то сегодня нездоровится,— объяснила она.

Г-н Назарие разглагольствовал о курганах, о своих наблюдениях и о том, как трудно вести раскопки наугад. Однако говорил он без прежнего пыла и энтузиазма, как будто просто считал нужным отчитаться о проведенном дне и боялся молчания за столом.

— А знаете, Симина рассказала мне сказку, которую только что услышала от кормилицы...— вклинился в паузу Егор.

Санда густо покраснела и обернулась к сестре.

— Только что? Но кормилица после обеда уехала в Джурджиу за покупками и еще не вернулась, я сама недавно о ней справлялась,— сказала она возмущенно.— Симина, тебя придется наказать, и строго.

Егор не знал, на кого ему смотреть. Даже г-жа Моску очнулась от своего обычного забытья.

— Так как же с сегодняшней сказкой, барышня? — со злорадством спросил наконец Егор, ощущая, какое это сладострастное удовольствие мстить ребенку, мучить его, когда он в твоей власти. Однако взгляд Симины обдал его таким презрением, что в нем снова вспыхнула ярость.

— Эту сказку я знаю давно,— вежливо ответила Симина.

— Зачем же тогда это бессмысленное вранье? Зачем? — допытывалась Санда.

— Отвечай, не бойся, моя девочка,— вмешалась г-жа Моску.— Не бойся наказания. Если ты ошиблась, скажи смело.

— Не скажу, не могу...— спокойно возразила Симина.— А наказания я не боюсь.

Она смотрела на Санду такими ясными, без малейшего смущения глазами, что та вышла из себя.

— Ты останешься без сладкого и ляжешь спать тотчас же,— объявила она.— Софья тебя отведет.

Симина, казалось, на секунду утратила равновесие: побледнела, поджала губы, взглядом ища поддержки у матери. Но г-жа Моску только растерянно пожала плечами. Тогда к Симине вернулась ее дерзкая усмешка, она встала из-за стола и, пожелав всем спокойной ночи, поцеловав мать в щеку, удалилась.

— Как мне жаль нашу маленькую барышню,— сказал г-н Назарие.— Такое милое дитя... Может быть, не нужно было прибегать к столь строгому наказанию?

— Мне тоже ее жалко, тем более что я знаю ее чувствительность,— отвечала Санда.— Но надо отучить ее от этой привычки лгать, причем без всякой причины...

Г-жа Моску одобрила ее кивком головы. Все же сцена произвела на нее тягостное впечатление, и она до конца трапезы замкнулась в молчании.

— Убедились теперь, что за сказки она слушает,— тихо сказала Егору Санда.

Егор брезгливо передернул плечами. Однако он не был уверен, что Санда в полной мере понимает, как обстоят дела с ее младшей сестрой.

— Что самое серьезное,— начал он,— мне кажется, не все ее сказки идут от кормилицы. Многие она придумывает сама...

И тут же понял, что совершил промах: Санда вскинула на него глаза, и в них были лед и суровость.

V

Оставшись одни, Егор с г-ном Назарие направились к воротам. Довольно долго они шли молча, потом г-н Назарие решился:

— Вы не сочтете меня бестактным, если я позволю себе задать вам один деликатный вопрос?.. Гм... Вы *действительно* влюблены в дочь госпожи Моску?

Егор впал в раздумье. Его смутила не столько нескромность вопроса, сколько собственная неуверенность: что ответить. По правде говоря, он и сам не знал, действительно ли он, как подчеркнул г-н Назарие, влюблен в Санду. Да, она ему очень нравилась. Флирт, возможно даже любовная интрига,— этому он шел навстречу с радостью. Кроме всего прочего, Санда ценила в нем художника, подогревала его скрытое честолюбие. В общем, дать односложный ответ было трудно.

— Я вижу, вы колеблетесь,— сказал г-н Назарие.— Надеюсь, вас не оскорбила моя прямолинейность — мне не хотелось бы толковать ваше молчание в таком смысле... Но если вы не влюблены по-настоящему, я вам советую уехать отсюда немедля. Тогда бы уехал и я, завтра же, может быть, еще до вас...

Егор приостановился, чтобы лучше вникнуть в смысл сказанного.

— Случилось что-то настолько серьезное? — спросил он вполголоса.

— Пока нет. Но мне не нравится этот дом, очень не нравится. Проклятое место, это я почувствовал с первого же вечера. Нездоровое место, хоть они и насадили тут вязов с акациями...

Егор рассмеялся.

— Ну, это не причина,— сказал он.— Можно спокойно закурить.

Г-н Назарие с видимым волнением следил, как он зажигает сигарету.

— Вот и сигарета могла бы вам кое-что напомнить. Вы забыли — прошлой ночью, у вас в комнате?..

— Да, как-то совсем забыл. Если бы не одно сегодняшнее происшествие... Могу вам рассказать...

— Я вижу, вы все-таки влюблены и уезжать вам не хочется. Что ж, дело ваше. Но я подозреваю, что вам будет трудно, очень трудно... Вы по крайней мере верите в Бога, молитесь Пресвятой Деве на ночь, осеняете себя крестным знамением, прежде чем лечь в постель?

— Не имею такой привычки.

— Тем хуже, тем хуже. Хотя бы к этому надо себя приучить...

— Да что же такого, в конце концов, вам наговорили в селе?

— Разного... Я ведь и сам чувствую, как на меня давит этот дом, а я никогда не обманываюсь. Нет, правда, я не набиваю себе цену, но мне можно доверять в таких вещах. Я долго жил один, в глуши, еще до того, как занялся раскопками. И вообще я, можно сказать, крестьянский сын. Мой

отец служил жандармом под Чульницей. Вы не смотрите, что у меня лысина и кабинетный вид. Нюх у меня безошибочный. Я ведь тоже в некотором роде поэт. Правда, с лицейских времен стихов больше не писал, но все равно это никуда не ушло...

Егор с изумлением слушал нервное и непоследовательное словоизлияние профессора. Г-н Назарие забрался в такие дебри воспоминаний и утонченных переживаний, из которых выбраться, по мнению Егора, не было никакой надежды. Речь профессора, вначале разумная и взвешенная, незаметно приобрела горячечные интонации, как будто у него начинался бред, голос осип, дыхание участилось. «Зачем он мне все это говорит? Чтобы оправдать свой отъезд?» — думал Егор и наконец решил вмешаться, произнеся как можно спокойнее:

— Господин профессор, у меня впечатление, что вы *чего-то* боитесь...

Невольно сделав акцент на неопределенное местоимение, он вдруг снова почувствовал беспричинный, жуткий холодок, пробежавший вдоль позвоночника, как несколько часов назад, с Симиной.

— Да, да,— пробормотал г-н Назарие.— Я боюсь, правда. Но это не имеет никакого значения...

— Полагаю, что все-таки имеет,— сказал Егор.— Мы взрослые люди, и нам не к лицу малодушие. Хочу вас предупредить: я уезжать не намерен.

Ему понравился собственный голос, твердый и бестрепетный, принятое решение придало ему храбрости и веры в себя. «В самом деле, мы же не дети...»

— Не знаю, насколько я влюблен в дочь госпожи Моску,— продолжал он тем же мужественным голосом,— но я приехал сюда на месяц и месяц пробуду. Хотя бы для того, чтобы испытать нервы...

Он засмеялся, хотя и довольно натянуто,— слишком уж торжественно прозвучало обещание.

— Браво, юноша,— возбужденно откликнулся г-н Назарие.— Но я все же не настолько напуган, поверьте, чтобы потерять способность к здравому рассуждению. Так вот, рассуждая здраво, я вам не советую оставаться. Добавлю: себе я тоже не советую, хотя остаюсь и я.

— Вот и ладно, а то уехать так, вдруг...

— Но я был бы не первым гостем, который уезжает отсюда на второй день по приезде,— произнес г-н Назарие, глядя в землю.— Сегодня в селе я узнал весьма странные и весьма страшные вещи, юноша...

— Пожалуйста, не называйте меня «юноша»,— перебил его художник.— Зовите Егором.

— Хорошо, я буду вас звать Егором,— послушно согласился г-н Назарие и впервые за этот вечер улыбнулся.— Так вот,— начал он, оглянувшись по сторонам, как будто их мог кто-то подслушать,— дело нечистое с этой девицей Кристиной. Красавица не принесла чести своему семейству. Чего только о ней не рассказывают...

— Что же вы хотите — народ,— изрек Егор.

— Положим, я народ знаю,— возразил г-н Назарие.— Просто так не возникнет легенда, да еще со столь неприглядными подробностями. Потому что подробности, скажу я вам, гнуснее некуда... Можете ли вы себе представить, что эта девица благородного звания заставляла управляющего имением бить плетью крестьян в своем присутствии, бить до крови? Сама срывала с них рубаху... и все такое прочее. С управляющим она сожительствовала, об этом знало все село. И он стал настоящим зверем, жестокости немыслимой, патологической...

Г-н Назарие смолк, у него язык не поворачивался пересказать все, что он услышал, что боязливым шепотом наговорили ему крестьяне в корчме и потом по дороге, провожая до усадьбы. Особенно вот это: как барышня любила взять цыпленка и живьем свернуть шейку... Столько дикостей, кровь стынет в жилах, даже если не всему верить.

— Кто бы мог подумать! — покачав головой, сказал Егор.— По ее

внешности никак такого не заподозришь. Но все ли тут правда? За тридцать лет факты наверняка смешались с вымыслом...

— Может быть... Так или иначе, в селе о девице Кристине помнят весьма живо. Ее именем пугают детей. И потом, ее смерть... Тут тоже есть над чем задуматься. Ее ведь не крестьяне убили, а тот самый управляющий, с которым она сожительствовала, и не один год. Что за дьявол в ней сидел, скажите на милость, что она уже лет в шестнадцать-семнадцать вступила на скользкую дорожку? Да еще эта склонность к садизму... Так вот, он ее убил из ревности. Начались крестьянские бунты и...

Г-н Назарие снова смолк в замешательстве. Говорить дальше он не решался — дальше шло нечто совсем несусветное, поистине дьявольское.

— Что, дальше совсем нельзя? — шепотом спросил Егор.

— Да нет, можно, наверное... Только это уже за всякой гранью. Люди говорят, что сошлись крестьяне с окрестных поместий, и она зазывала их по двое к себе в опочивальню — якобы раздавать имущество. Объявила, что хочет, по дарственным, разделить все свое имущество, только бы ее не убивали... А на самом деле отдавалась всем по очереди. Причем сама их завлекала. Принимала их, голая, на ковре, по двое, одного за другим. Пока не пришел управляющий и не застрелил ее. И всем рассказал, что это он убил. Потом, когда прислали войска, бунтовщиков частью расстреляли — и управляющего тоже,— а частью отправили на каторгу, да вы это знаете... Так что прямых свидетелей не осталось. Но до семьи, до родных и до близких друзей правда все равно дошла.

— Немыслимо,— прошептал Егор.

Он нервно зажег еще сигарету.

— Такая женщина не может не оставить следа в доме,— продолжал г-н Назарие.— То-то у меня все душа была не на месте, словно что-то давит... А если подумать, что даже тела ее не нашли — похоронить...— добавил он, помявшись, не зная, нужно ли сообщать и эту подробность.

— Сбросили, очевидно, в какой-нибудь пересохший колодец,— предположил Егор.— Или сожгли.

— Сожгли? — задумчиво повторил г-н Назарие.— В народе не очень-то принято сжигать трупы...

Он остановился, напряженно озираясь по сторонам. Парк с его деревьями остался далеко позади. Они были в открытом поле, кое-где распаханном, по краям тонущем в темноте. Вместо горизонта со всех сторон причудливо наступали тени.

— Не самое подходящее место для разговоров о трупах,— заметил Егор.

Г-н Назарие, поеживаясь, сунул руки в карманы. Как будто не слыша Егорова замечания, он то ли додумывал свою мысль, то ли колебался, стоит ли выкладывать все до последнего. Он глотал воздух раскрытым ртом, по своему обыкновению запрокинув голову. На него хорошо, как всегда, действовала ночная прохлада на открытом пространстве, вне кругового плена деревьев и надзора сверху луны.

— В любом случае,— решился он наконец,— девица Кристина исчезла странным образом. Люди говорят, что она стала вампиром...

Он произнес эти слова самым естественным тоном, без дрожи в голосе, все еще глядя в небо. Егор попытался изобразить ироническую улыбку.

— Я надеюсь, вы-то сами ни во что такое не верите?

— Я как-то не задумывался,— ответил г-н Назарие.— Не знаю, стоит верить в такие страсти или нет, да меня это и не слишком занимает...

Егор поспешно подхватил:

— Вот именно, этого еще не хватало...

Он отдавал себе отчет, что кривит душой, но сейчас им с г-ном Назарие надо было быть заодно — так диктовало подсознание.

— ...ясно только, что эта история наложила свой отпечаток и на дом, и на домочадцев,— прибавил г-н Назарие.— Мне у них неуютно... Все, что

я вам сейчас рассказал,— вполне возможно, деревенские сплетни, но я и без того чувствую, как меня что-то гнетет, когда я там...

Полуобернувшись, он махнул рукой в сторону парка и тут же — будто что-то приковало его взгляд — заговорил без умолку, сбивчиво, взахлеб.

«Ему страшно»,— подумал Егор, удивляясь своему спокойствию: вот он стоит рядом с человеком, которого захлестывает ужас прямо на глазах, стоит и сохраняет трезвость рассудка и даже способность к анализу. Однако оглянуться на парк он не смел. Один взмах руки г-на Назарие был красноречивее, чем весь его горячечный монолог. «Уж не увидел ли он там то же, что Симина?..» Но голова Егора была ясная, разве что на душе — легкое беспокойство.

— Не надо ничего бояться! — прервал он поток слов своего спутника.— Не смотрите больше туда...

Однако г-н Назарие не хотел или не мог последовать его совету. Он не отрывал глаз от парка, весь превратясь в судорожное, напряженное ожидание.

— Воля ваша, но оттуда что-то идет,— прошептал он.

Тогда Егор тоже обернулся. Тень парка стояла вдалеке плотной стеной. Он ничего не увидел, только слабое мерцание с левой стороны, где находилась усадьба.

— Ничего там нет,— с облегчением проговорил он.

И в ту же минуту раздался леденящий душу вой, вой обезумевшей собаки, зловещий, инфернальный. Потом — все ближе и ближе — глухой топот, тяжелое дыхание бегущего зверя. Из темноты к ним кинулся большой серый пес. Прижав уши, дрожа и скуля, он завилял хвостом, стал тереться об их ноги, лизать руки, время от времени замирая и издавая тот же вой — вой необъяснимого ужаса.

— Он тоже испугался, бедняга,— приговаривал Егор, гладя пса.— Ишь какой пугливый...

Но ему было приятно чувствовать у своих ног теплое, сильное животное. Приятно — в этом поле, открытом со всех сторон и снова замкнутом, где-то вдалеке, туманным поясом горизонта.

VI

Ночью Егору приснился один из его будничных снов, неинтересных и с вялым сюжетом: приятели студенческих лет, родственники, бессвязные диалоги, бессмысленные путешествия. На этот раз он был где-то во Франции, в чужой комнате, и слушал, прислонясь к косяку, разговор между своим бывшим профессором и каким-то незнакомым юношей.

Разговор шел о последней выставке живописи и... о ящиках с грузом.

— ...к этим ящикам я неравнодушен,— говорил незнакомец,— ведь в них перевозят самые странные, самые экзотические вещи. Больше всего на свете люблю смотреть, как они стоят в лавках или на причалах, и гадать, какие там сокровища спрятаны за их дощатыми боками...

С первых же слов Егор понял, что незнакомец — это на самом деле его друг Раду Пражан, нелепо погибший несколько лет назад. Он узнал его по голосу и по страсти, с какой тот говорил о чужестранных товарах. Пражан еще обожал запах краски — за сложность и крепость. «Технический», «синтетический», он напоминал ему те же ящики с грузом далеких портов и заморских фабрик... Как он, однако, изменился, Раду Пражан. Если бы не голос, не интонации, Егор бы его не узнал. Пражан отпустил длинные — иногда казалось, чуть ли не до плеч — волосы, которые при каждом кивке головы падали на лоб, закрывали глаза. Он был так увлечен разговором с профессором, что не замечал Егора. Нетерпение того росло с каждым улавливаемым словом. «Ведь он же умер, Пражан, давно умер — может, поэтому он меня стесняется. И эти длинные женоподобные волосы он отпустил тоже, чтобы я его не узнал»,— думал Егор.

Но именно в этот момент Пражан испуганно обернулся к нему и одним шагом оказался подле.

— Раз уж речь зашла о тебе,— лихорадочно проговорил он,— берегись, ты в большой опасности...

— Да, понимаю,— шепотом ответил Егор.— Понимаю, что ты имеешь в виду.

Теперь и глаза у молодого человека были Пражановы, и лицо все больше приобретало прежние черты. Вот только длинные не по-мужски волосы были гадки Егору...

— Я тоже принял меры,— добавил Пражан, встряхивая волосами.— С такой пелериной никто мне ничего не сможет сделать...

В ту же минуту его вдруг отнесло в сторону и вверх, так что Егор, вскинув руку, не смог до него дотянуться. Он ясно видел Пражана, и в то же время чувствовал его недостижимость, дистанцию между ними, и понимал, что Пражана отбросило страхом, какой-то невидимой Егору силой. Теперь подле Пражана собрались и профессор, и еще кучка людей, одинаково испуганных чем-то, что происходило на их глазах, может быть, как раз за спиной у Егора — потому что сам он так ничего и не видел, а только стоял, задрав голову, удивленный их внезапным бегством, заражаясь их страхом. Предметы вокруг стали расплываться, теряя очертания, и, обернувшись, Егор увидел в двух шагах от себя девицу Кристину. Она улыбалась ему, как с портрета Мири, только платье на ней было как будто другое — бирюзовое, оборчатое, с пышным кружевом. Длинные черные перчатки оттеняли белизну ее кожи.

— Прочь! — приказала девица Кристина, нахмурясь и плавным взмахом руки прогоняя Пражана.

От звуков ее голоса у Егора поплыло перед глазами, голос шел словно бы извне, из иного мира, и хотя он был не похож на голоса из сна, Егор замотал головой, намереваясь проснуться. Но девица Кристина сказала ласково:

— Не надо бояться, друг мой любезный. Ты у себя в комнате, *у нас,* душа моя.

В самом деле, обстановка переменилась: приход девицы Кристины разогнал образы сна, стер преображенное лицо Пражана, растворил стены чужой комнаты. Егор с изумлением огляделся, ища дверной косяк, к которому сию минуту прислонялся, но он был в своей комнате, с недоверием узнавал каждый предмет в ней, только освещение было странное — не дневное и не электрическое.

— Я ждала тебя,— тихо говорила девица Кристина.— Сколько же я ждала тебя — такого красивого, такого юного...

Она подошла почти вплотную. Егора обволок терпкий запах фиалки. Он отшатнулся было назад, но Кристина удержала его за рукав.

— Не беги от меня, Егор, не бойся, что я неживая...

Но Егор думал сейчас не о том, что видит призрак,— напротив, девица Кристина стесняла его своим слишком живым теплом, слишком крепкими духами, своим дыханием, таким *женским.* Да, он чувствовал, это было нетерпеливое дыхание женщины, взбудораженной близостью мужчины.

— Какой ты бледный, какой прекрасный,— говорила она, клонясь к нему так настойчиво, что Егору некуда было деваться, он только вжимался головой в подушку — вдруг оказалось, что он лежит в своей постели, а девица Кристина наклоняется над ним, ища поцелуя. Он с замиранием сердца ждал ее губ — на своих губах, на щеке. Но прикосновения не последовало, Кристина только приблизила к нему свое лицо.

— Нет, *я не хочу тебя так,*— прошептала она,— *так* я тебя не поцелую... Я боюсь саму себя, Егор...

Она вдруг отпрянула и, отойдя на несколько шагов от его постели, остановилась, как будто пытаясь перебороть в себе слепой, мощный порыв. Кусая губы, она неподвижно смотрела на Егора — и он в который раз поразился своему спокойствию в присутствии нежити. «Как хорошо, что такие вещи бывают только во сне»,— думал он.

— Только не верь тому, что тебе сказал Назарие,— попросила девица Кристина, снова приближаясь к постели.— Злые языки возвели на меня напраслину. Я не была монстром, Егор. Что думают другие, мне все равно, но чтобы и ты поверил в такие бредни, я не хочу. Наговор это, душа моя, понимаешь? Гнусный наговор...

Ее слова звучали в комнате совершенно явственно. «Только бы никто не услышал, а то подумают, что я провел ночь с женщиной»,— мелькнуло в голове у Егора, но он тут же вспомнил, что это сон, и с облегчением улыбнулся.

— Как тебе к лицу улыбка,— не преминула сказать Кристина, садясь на краешек кровати.

Она неторопливо стянула с одной руки перчатку и бросила ее через Егорову голову на ночной столик, вызвав буйство фиалкового аромата. «Что за дурной тон так душиться...» И вдруг теплая рука погладила его по щеке. Кровь застыла у него в жилах, таким жутким было прикосновение этой руки, теплой, но неестественно, не по-человечески. Он хотел крикнуть, но как будто все силы ушли из него, и голос застрял в гортани.

— Не бойся же меня, друг мой любезный,— сказала Кристина.— Я тебе ничего не сделаю. *Тебе* — ничего. *Тебя* я буду только любить... «Любить — и ни единый смертный на свете не был так любим...»

Она роняла слова тихо, редко, с бесконечной печалью. Но сквозь печаль в ее глазах проскальзывал голодный, ненасытный блеск. Вот она улыбнулась и, помолчав, мелодично, нараспев проговорила:

Смертельна страсть во тьме ночей
Для струн души певучих,
Мне больно от твоих очей,
Огромных, тяжких, жгучих...

Неясная, смутная тоска навалилась на Егора. Сколько раз он слышал эти строки! И прекрасно помнил, откуда они. Та, первая строфа тоже была из «Лучафэра». И *она* любила Эминеску?

— Не бойся, любезный друг,— еще раз повторила девица Кристина, поднимаясь.— Что бы ни случилось, *меня* тебе не надо бояться. С тобой у нас все будет по-другому... Твоя кровь мне слишком дорога, мое сокровище... Отсюда, из моего мира, я буду приходить к тебе каждую ночь; сначала в твои сны, Егор, потом — в твои объятия... Не бойся, душа моя, верь мне...

На этом месте Егор внезапно проснулся. Сон припомнился ему чрезвычайно отчетливо, до мельчайших подробностей. Страха больше не было, но он чувствовал себя разбитым, как после напряжения всех сил. К тому же его удивил крепкий запах фиалки. Он долго моргал и тер рукой лоб, но запах не исчезал, и его уже начинало мутить. Вдруг он заметил рядом, на ночном столике, длинную черную перчатку.

«Я, выходит, не проснулся,— вздрогнув, подумал он.— Надо что-то сделать, чтобы проснуться. А то так недолго и спятить». Он сам удивлялся, как логично рассуждает во сне, и нетерпеливо ждал, когда проснется. Но вот он пощупал себе лоб — ощущение было очень четким. Вот, с силой прикусив нижнюю губу, обнаружил, что ему больно. Значит, он не спал, значит, это ему не снилось. Он хотел было соскочить с постели и зажечь свет, как вдруг увидел посреди комнаты неподвижный, уже знакомый силуэт девицы Кристины. Его пригвоздило к месту. Он медленно сжал кулаки, прикоснулся к своей груди. Вне всяких сомнений, он не спал. Не смея закрыть глаза, он отвел их на миг, потом снова скосил на девицу Кристину. Она стояла там же, не спуская с него сияющего взгляда, улыбаясь ему, наводя дурноту своими фиалковыми духами. Вот она задвигалась. «Отче наш, Иже еси на небесех, Отче наш!..» Слова давным-давно, с детства забытой молитвы мгновенно пришли Егору на ум, он сбивчиво повторял и повторял их про себя. Девица Кристина замерла, улыбка ее потускнела, глаза померкли. «Она угадала, что я молюсь,— понял Егор,— она знает. *Она знает, что я проснулся,* и не уходит...»

Кристина сделала шаг, потом еще. Шелест ее шелкового платья был так отчетлив... Все до последнего штриха было отчетливо, ничего не пропадало. Шаги девицы Кристины уверенно вонзались в тишину комнаты. Шаги женщины, невесомые, но живые, красноречивые... Вот она снова у постели, снова это ощущение неестественного, отталкивающего тепла. Егора всего покорежило, будто свело судорогой. Девица Кристина, глядя ему прямо в глаза, как бы для того, чтобы не оставить сомнения в своей одушевленности, прошла мимо и подобрала со столика перчатку. Снова — обнаженная рука, волна фиалкового аромата. Потом — шелковое потрескивание перчатки, которую легко, изящно натягивают до локтя... Девица Кристина неотрывно смотрела на него, пока управлялась с перчаткой. Потом той же походкой — женской, грациозной — отошла к окну. Егору не хватило духа проследить за ней взглядом. Стиснув кулаки, в холодном поту, лежал он в темноте. Как про́клятый, один. Первый раз в жизни он чувствовал такое беспросветное сиротство: никто и ничто не пробьется к нему из мира людей, не поможет, не вызволит...

Долгое время он ничего не слышал. Он понимал, что обманывает сам себя, прислушиваясь — ведь он с точностью до секунды мог сказать, *когда* девица Кристина покинула комнату, когда из пространства исчезло ее ужасающее присутствие: собственная кровь подсказала ему это, собственное дыхание. Но он все равно продолжал ждать, не имея смелости повернуть голову к окну. Дверь на балкон стояла открытой. Может быть, она еще там, может быть, не ушла, а только притаилась. Но он знал, что опасения напрасны, что девицы Кристины нет ни в комнате, ни на балконе.

Наконец он решился: выскочил из постели и включил карманный фонарик. Нашел спички, зажег большую лампу. Слишком сильный свет испугал крупную ночную бабочку, отчаянно забившуюся о стены. С фонариком Егор вышел на балкон. Ночь была на исходе. Уже чувствовалась близость рассвета. В застывшем воздухе повис холодный туман. Не шелохнувшись стояли деревья. Ни шума, ни шороха нигде. Его вдруг пронизало дрожью от собственного одиночества, и только тогда он понял, что продрог и от холода. Он погасил фонарик и вернулся в комнату. В ноздри беспощадно ударил запах фиалки.

Бабочка с сухим шелестом билась о стены, касаясь порой лампового стекла. Егор закурил, затягиваясь жадно, без мыслей. Потом снова встал и закрыл балконную дверь. Сон не шел к нему, пока не начало по-настоящему светать и петухи не пропели в последний раз.

VII

Прислуга напрасно стучала в дверь, она была заперта на ключ, а гость и не думал просыпаться и отворять. «Не добудишься, не иначе всю ночь прогулял,— несмело ухмыляясь, думала прислуга.— А молоко-то простынет». Она поглядела на сервировочный столик, где стоял поднос с завтраком. «Может, господина профессора попросить?»

Она застала г-на Назарие уже одетым и готовым к выходу. Замялась у порога, застыдилась — ей было трудно сказать, зачем она пришла: попросить одного барина разбудить другого.

— Ты местная? — спросил г-н Назарие, желая ее подбодрить.

— Мы будем из Ардяла,— с гордостью ответила женщина.— А барин никак не встанет. Я уж стучала, стучала...

— Беда с этими художниками, здоровы поспать,— пошутил г-н Назарие.

Но он был взволнован. Почти бегом пустился он к комнате Егора и с такой силой заколотил в дверь, что тот в страхе проснулся.

— Это я! — извиняющимся голосом кричал профессор.— Я, Назарие...

В двери повернулся ключ, шаги Егора прошлепали обратно к кровати. Выждав приличную паузу, г-н Назарие вошел. За ним прислуга внесла свой поднос.

— Крепко же вы спали,— сказал г-н Назарие.

— Я теперь буду крепко спать по утрам,— с улыбкой ответил Егор.

И замолчал, дожидаясь, пока прислуга установит поднос на столик и уйдет. Потом без предисловий спросил Назарие:

— Скажите, чем пахнет в комнате?

— Фиалками,— невозмутимо констатировал профессор.

Ему показалось, что Егор вздрогнул и побледнел, забыв на лице улыбку.

— Значит, это правда...

Г-н Назарие подошел поближе.

— Значит, не приснилось,— продолжал Егор,— значит, это на самом деле была девица Кристина.

Обстоятельно, без спешки он посвятил профессора в ночное происшествие. Он на удивление точно помнил все подробности, но ему часто приходилось останавливаться, чтобы сделать глоток из чашки — в горле пересыхало.

* * *

Незадолго до обеда Егор узнал, что Санда заболела и не выйдет к столу. Он решил заглянуть к ней на несколько минут. Вот и предлог для отъезда. Раз обе хозяйки неважно себя чувствуют, он скажет, что не смеет долее обременять их своим присутствием.

— Ну, что тут у нас стряслось? — как можно развязнее произнес Егор, входя в комнату к Санде.

Она грустно взглянула, тщетно попытавшись улыбнуться. Кивком указала ему на стул. Она была одна, и Егор почувствовал неловкость. В комнате слишком по-женски, слишком интимно пахло. Кровью.

— Я совсем расклеилась,— еле слышно заговорила Санда.— Вчера вечером у меня начались мигрень и головокружение, и вот сегодня я не могу встать с постели...

Она смотрела ему в глаза с любовью и страхом. Ноздри трепетали, щеки были очень бледны.

— Из меня как будто все соки выжали,— продолжала она.— Даже говорить устаю...

Встревоженный Егор подошел к постели и взял Санду за руку.

— Ну, и не надо себя утомлять,— начал он с нарочитой бодростью.— Наверное, вы простудились, от этого и мигрень, а мигрень выматывает. Я как раз думал...

Он собирался сказать: «Я как раз думал, что мне лучше уехать, не обременять вас своим присутствием». Но Санда вдруг расплакалась, поникнув головой.

— Не оставляй меня, Егор,— лихорадочно прошептала она.— Только ты можешь меня спасти в этом доме.

Первый раз она обращалась к нему на «ты». У Егора запылали щеки. Смятение, радость, стыд за свою трусость?

— Не бойся, Санда,— твердо произнес он, нагибаясь к ней.— С тобой ничего не случится. Я здесь, с тобой, и ничего плохого не случится.

— Ах, почему я не могу сказать тебе всего...

В эту минуту Егор и сам был готов рассказать ей все, что знал, признаться во всех своих страхах. Но в коридоре послышались шаги, и он нервно отскочил на середину комнаты. Однако слова Санды придали ему уверенности. Он был покровитель, защитник.

Вошла г-жа Моску. Ее ничуть не удивило, что Санда лежит в постели и что у нее в комнате Егор.

— Ты не встаешь? — как ни в чем не бывало спросила она.

— Я сегодня полежу,— сказала Санда, пытаясь придать тону непринужденность.— Хочется отдохнуть...

— Ее утомили гости,— как бы в шутку заметил Егор.

— О, неправда! — воскликнула г-жа Моску.— Мы всегда так счастливы видеть за нашим столом замечательных людей... Где Симина?

Егор и Санда переглянулись, покраснев, словно им напомнили о какой-то связующей их постыдной тайне.

— Я ее не видела,— проронила Санда.

— Пойду-ка поищу ее я,— сказал Егор, думая под этим предлогом ретироваться и вернуться позже, когда уйдет г-жа Моску.

От стыда за свою трусость он зашагал особенно решительно, с суровым видом, нахмурив лоб. Хотел бежать, не предупредив г-на Назарие! Подумывал даже подстроить себе вызов телеграммой — такой способ бегства он вычитал когда-то в одной книге. Беззащитный голос Санды разбудил в нем вкус к риску, яростное желание испытать себя. Авантюра так авантюра. Ни на что не похожая, дьявольская, коварная и дразнящая, как ядовитый плод из заморских стран.

Он спросил в людской — никто не видел Симины. Тогда он вышел через веранду в парк и направился к дворовым постройкам. Вот и случай поглядеть на пресловутую кормилицу. По дороге ему попалась экономка, которая сообщила в ответ на его вопрос:

— Барышня пошли на старую конюшню.

И указала на полуразрушенный сарай, видневшийся вдалеке. Егор повернул в ту сторону, руки в карманы, покуривая. Он не собирался придавать масштабов экспедиции своим поискам Симины. «Ого, какое гнездышко для ведьм»,— подумал он, входя в каретный сарай. Сарай был длинный, темный, заброшенный, с прорехами в крыше. В дальнем конце он разглядел Симину, сидящую в допотопном экипаже. Завидев его, девочка быстро отшвырнула прочь какую-то тряпку, которую держала в руке, поднялась на ноги, и по ее взгляду Егор понял, что поединок будет нелегким.

— Вот ты куда забралась, Симина,— начал он нарочито жизнерадостным тоном.— Что ты тут делаешь?

— Я играла, господин художник,— ответила Симина, глядя на него немигающими глазами.

— Что за игры! — изобразил удивление Егор, подходя ближе.— В старом пыльном драндулете...

Он осторожно потрогал пальцем фонарь, но не обнаружил ни следа пыли. Тогда он понял жест Симины, бросившей тряпку при его появлении.

— Драндулет-то старый, да ты, я вижу, им дорожишь,— продолжал он.— Смотришь за ним, в чистоте содержишь...

— Нет,— отпиралась Симина,— я просто тут играла и чтобы не испачкаться...

— Что ж ты тогда так испугалась и тряпку бросила? — наступал Егор.

— Не могла же я подать вам руку с пыльной тряпкой,— парировала Симина. Выдержала паузу, улыбнулась.— Я думала, вы захотите поздороваться со мной за руку,— кокетливо добавила она.

Егор покраснел. Он сразу проиграл очко.

— Чей это был экипаж? — спросил он.

— Девицы Кристины.

Они резко скрестили взгляды. «*Знает*,— понял Егор,— она знает, что произошло сегодня ночью».

— Ах, Кристины,— заговорил Егор, как будто ничего не заметив.— Бедная старушка! Какая у нее была ветхая, допотопная коляска — под стать самой бедной тете. На этих подушках она покоила свои старые косточки, когда выезжала подышать свежим воздухом...— Он засмеялся, закружил по сараю.— В этой шикарной барской коляске она разъезжала по имению, и ветер продувал ее насквозь и трепал ее седые волосы... Так или нет? — Оборвав смех, он остановился перед Симиной.

На губах у девочки играла улыбка брезгливой жалости и сарказма. Встретясь глазами с Егором, она попыталась сдержать улыбку, как будто ей было за него стыдно.

— Вы прекрасно знаете,— что *девица* Кристина,— заговорила она, нажимая на это слово,— что девица Кристина никогда не была старухой.

— Ни ты, ни я ничего о ней не знаем,— отрезал Егор.

— Зачем же так, господин художник? — простодушно удивилась Симина.— Ведь вы ее видели...

Ее глаза зловеще засверкали, торжествующая улыбка разлилась по лицу. «Это западня,— мелькнуло в голове у Егора,— еще слово, и я схвачу ее за горло и пригрожу задушить, если она не выложит мне все, что ей известно».

— На портрете видели,— закончила Симина после точно выверенной паузы.— Девица Кристина умерла совсем молодой. Моложе, чем Санда. И моложе, и красивее,— добавила она.

Егор пришел в замешательство: снова она выскользнула! «Как же вывести Симину на чистую воду, чтобы можно было напрямик *задать ей вопрос?»*

— Ведь вам Санда нравится, правда? — вдруг пошла в атаку она сама.

— Да, нравится,— подтвердил Егор,— и мы с ней поженимся. А тебя возьмем с собой в Бухарест, ты будешь моей маленькой свояченицей, и я сам займусь твоим воспитанием! Я уж постараюсь выбить из твоей головки все химеры!

— Не могу понять, за что вы ко мне так придираетесь,— оробев, защищалась Симина.

Угроза, а может быть, просто повышенный и суровый тон Егора поубавили в ней дерзости. Она затравленно озиралась, как будто ожидая какого-то знака себе в поддержку. И вдруг с улыбкой облегчения замерла, найдя опору для глаз где-то в углу сарая. Взгляд ее стал отсутствующим, остекленевшим.

— Напрасно ты туда смотришь,— тем же тоном продолжал Егор.— Напрасно ждешь... Твоя тетка давным-давно умерла, съедена червями и смешана с землей. Ты меня слышишь, Симина? — Он перешел на крик и схватил ее за плечи. Ему самому было жутко слышать свой срывающийся голос, свои жестокие слова.

Девочка вздрогнула, еще больше побледнела, поджала губы. Но как только он отпустил ее, тут же снова уставилась в угол через Егорово плечо — блаженными, зачарованными глазами.

— Как вы меня тряхнули,— наконец сказала она плаксиво, поднося руку ко лбу.— Даже голова заболела... На ребенке легко свою силу показывать,— добавила она потише, с ехидством.

— Я хочу, чтобы ты очнулась, маленькая колдунья,— снова вспылил Егор.— Хочу выбить из твоей головки дурь, чтобы ты перестала бредить привидениями,— для твоей же пользы, твоего же спасения ради...

— Вы прекрасно знаете, что никакие это не привидения,— едко сказала Симина, выскальзывая из коляски и с неподражаемым достоинством проходя мимо Егора.

— Подожди, пойдем вместе,— окликнул ее Егор.— Я как раз тебя искал. Госпожа Моску меня послала на розыски... Вот уж не думал, что найду тебя за таким занятием, как чистка драндулета, которому скоро сто лет.

— Это венская коляска тысяча девятисотого года,— спокойно заметила Симина, не оборачиваясь и не сбиваясь с шага.— И лет ей тридцать пять, если посчитать как следует...

Она была уже у дверей. Егор распахнул створки и пропустил девочку вперед.

— За тобой послали меня, потому что Санда пойти не могла,— сказал он.— Ты знаешь, что Санда лежит?

На ее губах мелькнула мстительная улыбка.

— Ничего серьезного,— поспешно добавил он.— Просто разболелась голова...

Девочка не отозвалась. Они шли через двор под холодным осенним солнцем.

— Кстати,— начал Егор, когда до дома оставалось немного.— Я хотел тебе сказать одну вещь, для тебя небезынтересную.

Он схватил девочку за руку и, нагнувшись к ее уху, отчетливо прошептал:

— Я хотел сказать, что если что-нибудь случится с Сандой, если... Ты поняла?.. Тогда тебе тоже конец. *Это не останется между нами,* надеюсь. Ты можешь передать это дальше, но не госпоже Моску. Твоя бедная матушка ни в чем не виновата.

— Я Санде и передам, а не маме,— громко сказала Симина.— Я ей передам, что не понимаю, чего вы от меня добиваетесь!..

Она попыталась выдернуть руку. Но Егор еще сильнее впился в нее, со жгучим наслаждением ощущая под пальцами по-детски пухлую и меченную дьяволом плоть. Девочка от боли кусала губы, но ни одна слезинка не замутила холодный, стеклянный блеск ее глаз. Это глухое сопротивление окончательно вывело Егора из себя.

— Имей в виду, я буду тебя мучить, Симина, я не убью тебя так просто,— свистящим шепотом заговорил он.— Прежде чем задушить, я выколю тебе глазки и по одному вырву твои зубки... Я буду жечь тебя каленым железом. Передай это дальше, ты знаешь кому. Еще посмотрим...

В тот же миг его правую руку пронзила такая острая боль, что он разжал пальцы. Словно все силы разом вышли из него. Руки повисли как плети, он перестал понимать, где он, на каком свете.

Он видел, как Симина передергивает плечиками, приглаживает складочки платьица и трет предплечье, на котором остались следы от его пальцев. Видел он и то, как она старательно поправляет букли и застегивает потайной крючок на лифе. Симина проделала все это без малейшей поспешности, ни разу не взглянув на него, как будто забыв о его существовании. Потом пошла к дому упругим, проворным шагом. Егор оторопело смотрел ей вслед, пока маленькая грациозная фигурка не потерялась в тени веранды.

* * *

После обеда Егор и г-н Назарие были приглашены в комнату Санды. Они нашли ее еще более изможденной, с глубокой синевой вокруг глаз; руки, бессильно лежащие поверх теплой шерстяной шали, казались особенно бледными. Санда слабо улыбнулась гостям и глазами предложила им сесть. Г-жа Моску, стоя у ее изголовья с книгой в руках, не прерываясь декламировала по-французски:

Приди же, ангел зла! Мой разум помутился.
И даже в сладкий миг, когда ты вся моя,
За кровь твою я б жизнью расплатился
И вечностью души... когда бы верил я!

Прочтя эту последнюю строфу с необыкновенным чувством, чуть ли не со слезами в голосе, она вздохнула и закрыла книгу.

— Что это было? — поинтересовался г-н Назарие.

— Пролог к «Антони», бессмертной драме Александра Дюма-отца,— строго сообщила г-жа Моску.

«Во всяком случае, сейчас не самый подходящий момент для такого чтения»,— подумал Егор. Ему совсем не понравилась строка: «За кровь твою я б жизнью расплатился...» Слишком жестокая ирония, отдающая цинизмом. И что означал этот вздох г-жи Моску? Сожаление? Досаду? Покорность судьбе?

— Я читаю без перерыва уже полчаса,— похвалилась г-жа Моску.— Люблю почитать вслух, как в добрые старые времена... Когда-то я знала наизусть множество стихов,— с мечтательной улыбкой добавила она.

Егор смотрел и не верил глазам. Ее было не узнать: энергия и легкость

в каждом жесте. Простояла столько времени на ногах за чтением и хоть бы что. Какой-то чудесный прилив сил — не за счет ли Санды?

— ...а Эминеску! — с воодушевлением продолжала г-жа Моску. — Светоч румынской поэзии! Сколько я знала из Михаила Эминеску!..

Егор искал взгляда Санды, но она лишь на секунду встретилась с ним глазами, в которых тлел страх, и шепотом сказала:

— Maman, достаточно. Ты устанешь. Присядь лучше...

Г-жа Моску не услышала. Она поднесла руки к вискам в наплыве воспоминаний, силясь восстановить в памяти бессмертные строки.

— Как же там было, вот это, знаменитое,— бормотала она.

Санда не на шутку обеспокоилась. Томик Эминеску г-жа Моску могла взять на этажерке, где стояли их любимые поэты, но этого нельзя допустить. Она знала болезненное пристрастие матери к некоторым стихам Эминеску, возникшее еще в те времена, когда ей, десятилетней девочке, долгими вечерами читала вслух Кристина. «Сейчас лучше бы не ворошить былого»,— с тревогой думала Санда.

...Спустись ко мне, моя Звезда,—
Дорожку луч протянет,
В мой дом, в мой сон — спустись сюда,
Пусть свет сюда нагрянет...

При первых же словах Санда сникла, почувствовав бесконечную усталость во всем теле. Как будто кровь медленно уходила из ее жил. Она боялась потерять сознание.

— «Я твой Лучафэр, горний дух, ты будешь мне невестой!» — торжествующе гремела г-жа Моску.

«Откуда в ней взялось столько силы, она вся светится, и голос такой полнозвучный, такой великолепный»,— недоумевал г-н Назарие. Г-жа Моску выуживала из памяти строфу за строфой, временами очаровательно запинаясь. «И все же она перескакивает»,— заметил Егор. Он слушал почти без сопротивления, следя глазами за Сандой, которую заметно била дрожь несмотря на одеяло и теплую шаль. «Надо что-то сделать,— говорил он себе.— Надо встать, подойти к ней, приласкать, успокоить — что бы ни подумала ее матушка». Хотя г-жа Моску была в таком экстазе, так увлечена припоминанием поэмы, что явно не слышала и не видела ничего вокруг.

— «Ведь я живая, мертвый — ты...»

Голос г-жи Моску вдруг оборвался. Она покачнулась, стоя посреди комнаты, куда ее занесли эмоции, снова взялась руками за голову — на этот раз растерянно, с испугом.

— Что со мной? — простонала она.— Я, кажется, устала.

Г-н Назарие усадил ее на стул. Неужели это была только иллюзия — все ее одушевление, этот сильный сладкозвучный голос, свидетельствующий о здоровье и полнокровности.

— Вот видишь, мама, не послушалась меня...— чуть слышно прошептала Санда.

Егор подошел к ее постели. Санда была пугающе бледна, глаза неестественно запали, а зябкость выдавала тлеющую лихорадку.

— Я сейчас же иду за доктором,— озабоченно объявил он.— Ты мне совсем не нравишься.

Санда поблагодарила его улыбкой, постаравшись как можно дольше удержать ее на губах. Но она ни в коем случае не хотела отпускать Егора *сейчас*, в разгар событий, когда старая болезнь так неожиданно дала вспышку.

— Не спеши, побудь со мной,— сказала она.— Никакой доктор мне не нужен. Через несколько часов я приду в себя, а завтра мы уже будем гулять по парку...

В эту минуту г-жа Моску с внезапной живостью снова поднялась на ноги.

— Вспомнила! — ликовала она.— Я вспомнила самое красивое место в «Лучафэре»:

Смертельна страсть во тьме ночей
Для струн души певучих,
Мне больно от твоих очей,
Огромных, тяжких, жгучих...

Санда вцепилась в Егорову руку. Она вся дрожала, взгляд блуждал по комнате. *«Она тоже знает»,*— понял Егор. Он был, на удивление себе, спокоен, голова — ясна. Рядом с Сандой, сжимая ее ледяную руку в своих горячих ладонях, он ничего не боялся. Не боялся — и все равно не смел обернуться, оборвать нить ее парализованного ужасом взгляда, прикованного к чему-то за его спиной. Г-жа Моску смолкла, и ее молчание влилось в странную тишину комнаты. Егор слышал, как бьется у Санды сердце, как тяжело дышит г-н Назарие. «Он тоже *чувствует,* а может быть, и видит. Хорошо, что я ничего от него не скрыл. Не имело смысла».

— Maman! — из последних сил крикнула вдруг Санда.

Егор угадал все, что она хотела сказать этим отчаянным вскриком,— это была попытка вывести г-жу Моску из чудовищной переклички с потусторонним, нечеловеческим, непозволительным. «Мама, на нас люди смотрят!» — казалось, заклинала она. Г-жа Моску, словно очнувшись, обратилась к г-ну Назарие:

— Почему вы вдруг замолчали, профессор?

— Я, сударыня? — удивился г-н Назарие.— Я, кажется, сегодня вообще ни слова не вымолвил. Я слушал, как вы декламируете. Редкая память!

Г-жа Моску пытливо заглянула ему в глаза — не шутит ли он.

— Хороша память с книжкой в руках,— устало сказала она, ставя «Антони» на этажерку.— Счастье, что есть книги. Вот сколько я принесла сегодня Санде, хватит чтения на много дней...

Она указала на кипу книг. Г-н Назарие скользнул взглядом по корешкам: «Жан Сбогар», «Рене», «Айвенго», «Цветы зла».

— Из Кристининой библиотеки,— объяснила г-жа Моску.— Ее любимые книги. И мои тоже, разумеется...

С усталой улыбкой она подошла к постели Санды, спросила:

— А вы что притихли, дети мои?

Санда ответила укоризненным взглядом. Г-жа Моску присела на кровать и взяла руку Санды, которую минуту назад выпустил Егор.

— Да ты совсем ледяная, ты озябла,— воскликнула она.— Тебя надо напоить чаем... Впрочем, пора вставать. Скоро закат. Комары близко...

«Она бредит»,— с беспокойством подумал Егор, пытаясь прочесть в глазах Санды объяснение, совет, что делать. Этот неожиданно открывшийся бред застал его врасплох.

— Может быть, нам лучше уйти? — вдруг сипло произнес г-н Назарие.

— О, не беспокойтесь, вы со мной,— ободрила его г-жа Моску.— Они вам ничего не сделают. Полетают поверху, и все...

— Хорошо бы вам принять хинин,— прошептала Санда.— Мама говорит о комарах. Они очень опасны сейчас, на закате...

— Да, вот они, налетают,— тем же осипшим голосом сказал г-н Назарие.— И как странно они роятся перед самым окном!.. Вы слышите их, Егор?

Егор слышал: комары шли тучами, такого зрелища ему видеть не доводилось. Откуда их столько?

— Признак засухи,— заметил г-н Назарие.— Надо бы закрыть окно.

Тем не менее он не двинулся с места, так и оставшись стоять посреди комнаты, зачарованно глядя на комариное роение перед окном.

— Нет нужды,— сказала г-жа Моску.— Солнце еще не заходит. И потом, вам нечего бояться, пока вы со мной...

Холодок пробежал по спине Егора от ее сухого, безучастного неузнаваемого голоса. Голос шел как будто из сна, из иных миров.

— И все же лучше принимать хинин, хотя бы по полтаблетки в день,— совсем тихо прошептала Санда.

И Егор понял, что она по крайней мере больше не чувствует ничьего потустороннего присутствия, не видит ничего неположенного. Зато видел профессор: он явно следил за чьим-то невидимым парением, потому что его глаза были устремлены в пустоту поверх комариных туч. Застыв посреди комнаты, он даже не отмахивался от комаров, понемногу проникавших внутрь. «На запах их тянет, что ли? — думал Егор.— Не на тот ли, что шокировал меня сегодня утром? На кровь? Слишком уж их много, и летят прямо сюда».

Г-жа Моску обвела всех ласковым, почти родственным взглядом.

— Ну, дети мои, скоро закат, давайте-ка ее поднимем.

Голос прозвучал вполне живо и все же отчужденно, как будто его хозяйка была далеко, в каких-то своих, чуждых здешним, радостях.

— Вставай, Санда,— продолжала г-жа Моску.— Вечереет... И ты озябла...

Егор сжал кулаки так, что ногти вонзились в ладони. «Только не растеряться! Держись!» Он попытался остановить Санду, которая спустила с постели ноги и нащупывала ночные туфли. Но она мягко отстранила его.

— Мне обязательно надо идти, maman? — покорно спросила она.

— Разве ты сама не видишь, что уже пора? — отвечала г-жа Моску.

Егор, нагнувшись к Санде, произнес властно:

— Останься. Куда ты пойдешь?

Та печально погладила его по щеке.

— Ничего, ничего,— прошептала она.— Я должна, ради мамы...

Тут Егор почувствовал острый укол в руку и, непроизвольно хлопнув себя по запястью, убил комара. На коже осталось кровавое пятнышко. «Кровожадный, бестия!»

Увидев кровь, Санда поспешно схватила его за руку.

— Уходи, уходи скорей, пока мама не увидела,— лихорадочно зашептала она.— Ей станет дурно.

Егор вытер руку о пиджак.

— Уходи, я прошу тебя! — заклинала Санда.— И прими таблетку хинина.

Егора только раззадорил этот умоляющий голос, это наваждение, границ которого он еще не знал, эти слова, в смысл которых он не мог проникнуть.

— Не уйду, пока ты не скажешь, куда вы собираетесь.

— Не беспокойся об этом, друг мой любезный,— сказала Санда.

Егор вздрогнул, возвращенный к событиям прошедшей ночи; одна за другой вставали в памяти подробности...

— Ты не рад, что я тебя так называю? — грустно удивилась Санда.

Егор заглянул ей в глаза, пытаясь подчинить ее своей воле, взять под охрану, но она уходила, ускользала, она не давалась ему в руки, эта теплая, манящая жизнь.

— Ты, Санда, никогда меня так не зови,— сказал он.— Никогда!

Санда тихонько заплакала. Совершенно не замечая ни ее слез, ни интимного разговора между молодыми людьми, к ним подошла г-жа Моску.

— Если вы будете медлить, они вас заедят... К тому же тут такой холод... Да, заедят. Как всех наших кур, гусей и коров... Высосут, высосут кровь, что осталась...

Егор обернулся к ней и произнес с расстановкой:

— Мне очень жаль, госпожа Моску, но Санда должна лечь в постель и лежать, пока я не приведу доктора.

Натолкнувшись на столь решительный отпор, г-жа Моску смолкла, в растерянности переводя взгляд с Егора на г-на Назарие. Было видно, что она не очень хорошо понимает, зачем они здесь, у постели ее дочери.

— Может быть, вы и правы,— наконец согласилась она.— Вы оба ученые мужи, вам виднее!.. Но закройте же поскорее окна. Это нужно сделать прежде всего, закройте все окна.

Егор, еще не опомнясь от своей неслыханной смелости, обеими руками пытался удержать Санду — она билась, вырываясь из последних сил, бормоча:

— Я должна идти, ради мамы, как ты не понимаешь. Больше никого не осталось — ни птиц, ни коров, ни собак!..

Г-н Назарие тоже подошел к ним, бледный, ломая пальцы. Далекий, зловещий гуд стоял в воздухе, хотя комары роились уже вокруг его головы, вызванивая тягостную, как болезнь, мелодию.

— Пусти, Егор,— потерянно просила Санда.— Иначе будет еще хуже... Иначе я вообще не поправлюсь...

«Боже, отчего вдруг такой холод в комнате»,— подумал Егор. У г-на Назарие зуб на зуб не попадал, он стоял рядом с ним, белый как мел, застывший — только изредка встряхивал головой, отгоняя комаров.

— Закройте же окно,— напомнил ему Егор.

Профессор с опаской шагнул к окну, но замер на полпути. Он тоже вел себя как в гипнотическом, недобром сне. И все-таки — как ясно он понимал то, что тут творилось! Теперь все связалось: тошнотворная баранина первого вечера и загадочные речи экономки, вымершая птица... и этот пес, который бросился им под ноги, его панический вой, его дыхание — дыхание зверя, которого травит невидимая погоня.

— Что же вы не закрываете? — снова раздался голос Егора.

Какой промозглый, неестественный холод! Откуда эти воздушные провалы в комнате, где только что витал запах девичьей крови?..

Г-н Назарие подошел к окну. Ему было страшно выглянуть наружу — глупый, нервный страх, который он не мог перебороть. Он взялся за оконную ручку. В первый момент ему показалось, что из сада за ним пристально следит женщина, ловя каждый его жест, будто ожидая от него чего-то, какого-то важного поступка. Было еще достаточо светло, краски неба выцвели и размылись; пространство здесь было другим и другим — воздух. Моргнув, г-н Назарие увидел в цветнике напротив окна Симину. От растерянности он изобразил что-то вроде улыбки. Девочка склонила головку с неописуемой грацией. Но тут же выдала себя, стрельнув глазами куда-то высоко, много выше окна. «Она не меня ожидала увидеть,— понял г-н Назарие.— Она ждала кого-то другого, и не здесь, в окне, а там...» Симина тут же осознала свою ошибку и выбежала из цветов, протягивая руки к г-ну Назарие. Но он уже без улыбки и молча, опустив глаза, захлопнул створки окна. Холод в комнате стал как будто не таким гнетущим. Профессор долго, в изнеможении, простоял не двигаясь. Комариный звон приблизился и охватывал его теперь со всех сторон, навязчивый, выматывающий, рождая в голове профессора страшную мысль — что, если он никогда не очнется от этого томительного сна, не вырвется из этого горячечного, бредового мира?..

VIII

Егор вернулся со станции уже около десяти вечера. Ему с трудом удалось дозвониться в Джурджу, вызвать врача. К местному, живущему в селе по соседству, он доверия не испытывал.

Усадьба казалась освещенной слабее, чем обычно. Г-жа Моску, г-н Назарие и Симина поджидали его в столовой. У накрытого стола хлопотала пожилая женщина в платке, замотанном наподобие тюрбана. Все молчали. Г-н Назарие, бледный, смотрел в пустоту, как узник сквозь решетку.

— Сегодня мы поужинаем весьма и весьма скромно, господа,— объявила г-жа Моску.— Кухарка ушла в деревню и не вернулась. Боюсь, что мы остались без кухарки... Сегодня нам будет прислуживать кормилица...

«Итак, это кормилица»,— сказал себе Егор, глядя на нее повнимательнее. Странная женщина, без возраста, а какая походка! Как будто она всю жизнь прикидывалась хромой, а теперь решила вдруг бросить притворство

и с непривычки то и дело натыкалась на мебель. Тюрбан был низко надвинут на лоб — виднелся только белый нос, широкий, расплющенный, и рот — как подмерзшая рана, с синюшными, шершавыми губами. Глаза прочно смотрели в пол.

— Как бы то ни было, но мамалыга с молоком и брынзой для нас найдется,— закончила г-жа Моску.

Сели за стол. При этом г-н Назарие проявил признаки беспокойства, словно его только что разбудили.

— Как чувствовала себя Санда? — спросил Егор.

Никто не ответил. Г-жа Моску уже принялась за еду и, без сомнения, не услышала вопроса. Симина с видом примерной девочки тянулась за солонкой. Г-н Назарие снова ушел в себя.

— Что-то случилось? — обратился к нему Егор после долгих минут молчания.

— Нет,— ответил профессор.— Когда мы уходили, она спала. По крайней мере, хочется надеяться... Если это был не обморок...

Он поднял глаза от тарелки и жестко взглянул на Егора.

— Лучше бы вы вернулись с доктором.

— Он приедет утром, первым же поездом,— заверил Егор.— Надо оповестить кучера, чтобы с ночи приготовил коляску...

Г-жа Моску прислушивалась к разговору с большим любопытством.

— Боюсь, что скоро у нас не станет и кучера,— задумчиво сказала она.— Кучер сегодня попросил расчет... Кормилица, не плати ему, пока он не привезет со станции гостей...

— Приедет один доктор,— поправил ее Егор.

— Но мало ли кто еще может нагрянуть,— живо возразила г-жа Моску.— Сезон в разгаре. Сентябрь. В прежние годы об эту пору мы не знали, как разместить всех гостей. Сколько наезжало молодежи, барышни, кавалеры — компания для Санды...

Печалью повеяло от ее слов, и еще сиротливее стало в огромной комнате.

— В этом году тоже было много гостей...— попытался утешить хозяйку Егор.

— Но они так быстро разъехались! — перебила его г-жа Моску.— Должен же еще хоть кто-нибудь нас навестить. Может быть, родственники...

Симина усмехнулась. Она знала, что кого-кого, а уж родственников давно никаким калачом сюда не заманишь.

— Сейчас не самое подходящее время принимать гостей,— сказал Егор.— Санда все-таки серьезно больна...

Г-жа Моску, казалось, только сейчас осознала, что ее дочь не сидит вместе со всеми за столом, а без сил лежит в постели. Она обвела комнату глазами и убедилась, что это так, Санды за столом нет.

— Я должна пойти ее проведать,— объявила она, внезапно поднимаясь.

Симина спокойно осталась сидеть на своем месте. И даже как будто забыла, что за столом гости, потому что принялась баловаться ножом, нарезая мамалыгу на тарелке тоненькими ломтями.

— Зачем ты учишь девочку всяким гадким сказкам, любезная? — спросил Егор, повернувшись к кормилице.

Застигнутая врасплох, та от удивления оступилась на ровном месте. Она явно была польщена, что с ней заговорил молодой и такой видный барин. Хоть она и распоряжалась слугами, но в барский дом обычно при гостях не заходила.

— Я ее, ваша милость, ни единой сказке не учила,— ответила она без всякой робости.— Я их отродясь не знала. Это сама барышня меня и учит...

Голос у нее был тусклый и надтреснутый. Егор почему-то вспомнил одну пьесу, знаменитую лет пятнадцать назад, и ее героиню, торговку

птицей. Но голосом кормилица вовсе не напоминала ту бабу. Ни голосом, ни глазами, как голубая плесень, которые она держала все время долу. Такие бывают у слепых, остановившиеся, сырые, только у тех посадка головы прямая, неподвижная.

— ...наша барышня умница, которая все книжки прочла,— продолжала кормилица, осклабясь и исподлобья сверля глазами Егора.

«Это она улыбается»,— с содроганием сообразил Егор. Но еще больше его ошеломили кормилицыны глаза. В них бродила, набухала, просверкивала отвратительная похоть старой женщины. Егор чувствовал, как она раздевает его, как присасывается к нему голодным взглядом. Он покраснел и отвернулся, от стыда и омерзения забыв, о чем спрашивал. Его привел в себя смех Симины: девочка запрокинула голову на спинку стула, под резкий свет лампы, и хохотала, показывая все зубки.

— Вот врунья,— едва выговорила она сквозь смех.

Это было как пощечина для обоих гостей. Кормилица тоже скалилась, стоя поодаль. «Они над нами издеваются,— думал Егор,— особенно Симина. Она заметила, как старуха на меня смотрит, и прекрасно понимает, что означают эти взгляды».

Симина делала вид, что хочет перебороть смех, прикрывала ротик салфеткой, щипала себя за руку. Но при этом то и дело поглядывала на кормилицу и разражалась новым приступом хохота. В конце концов она схватила ножик и стала быстрыми короткими взмахами резать воздух, как будто пытаясь с помощью этих манипуляций отвлечься и вернуться в рамки приличий.

— Не играй с ножом,— вдруг сказал г-н Назарие.— Ангел-хранитель улетит!..

Голос его грянул неожиданно, но так строго и серьезно, словно профессор долго взвешивал свои слова. У Симины мгновенно прошел весь смех. Она съежилась, как от холода, лицо стало необыкновенно бледным, а глаза засверкали бессильной яростью. «Молодец профессор, меткий удар,— одобрил про себя Егор.— Будь ее воля, эта маленькая колдунья сожгла бы нас сейчас заживо...» Наблюдая за Симиной, он не мог противиться чувству злой радости при виде ее унижения.

Г-н Назарие заметил, что кормилица вытаращилась на дверь. Он тоже повернул голову и увидел г-жу Моску, которая, нахмурясь, в раздумье, стояла на пороге.

— Странное дело! — воскликнула она.— Санды там нет. Ума не приложу, куда она могла деться!..

Егор и г-н Назарие одновременно вскочили и, не говоря ни слова, бегом бросились по коридору.

— Фонарик...— бормотал на бегу Егор.— Сейчас бы карманный фонарик...

В эти минуты все его мысли сосредоточились на электрическом фонарике, таком удобном. Почему он не прихватил его с собой?

В комнате Санды было темно, Егор чиркнул спичкой и отыскал лампу. Фитиль оказался сухим, холодным. У Егора слегка дрожали руки. Дрожал сквозь облачко копоти и язычок огня.

— Не следовало оставлять ее одну,— сказал г-н Назарие.— Теперь просто не знаю что и думать!

В голосе профессора слышалась искренняя забота, но Егор не ответил. Он прикрыл лампу колпаком и осторожно прибавил огня. Когда пламя установилось, Егор взял лампу, намереваясь выйти из комнаты. Но ему показалось, что на кровати кто-то лежит. Высоко держа лампу, он подошел и увидел Санду, одетую, наспех прикрытую одеялом.

— Что такое? — с трудом спросила она.

Щеки ее раскраснелись, дыхание было частым, как будто она только что вбежала — или очнулась от страшного сна.

— Где ты была? — спросил, в свою очередь, Егор.

— Нигде!

Она явно лгала — судя по усилившейся краске в лице, по тому, как она стиснула пальцами одеяло.

— Неправда,— твердо сказал Егор.— Госпожа Моску заходила сюда несколько минут назад и не застала тебя.

— Я спала,— защищалась Санда.— Вы меня разбудили.

Голос у нее дрожал, сквозь слезы она заискивающе смотрела на Егора, но раз перевела просящий взгляд и на г-на Назарие, который стоял на почтительном расстоянии от кровати.

— Я же вижу, что ты одета,— уличал ее Егор.— Ты даже туфли снять не успела!

Он сдернул с нее одеяло. Так оно и было: Санда бросилась в постель одетой от силы минуту назад. Но куда она уходила и как вернулась незамеченной? «Давит на меня эта комната»,— подумал Егор.

— Где ты была, Санда? — снова спросил он, нагибаясь к ней.— Скажи мне, где ты была, скажи, моя дорогая! Я хочу тебя спасти. Хочу спасти, понимаешь? — Он перешел на крик. Лампа прыгала у него в правой руке. Санда испуганно отодвинулась к стене, прижав пальцы к губам.

— Не подходи, Егор,— вырвалось у нее.— Я тебя боюсь! Что тебе от меня надо?

В самом деле, свет косо бил Егору в лицо, и его глаза сверкали так неистово, что г-н Назарие тоже испугался.

— Что вам от меня надо? — повторила Санда.

Егор поставил лампу на столик и, пригнувшись к Санде, встряхнул ее за плечи. Он встретил то же сопротивление, что и тогда, на закате. «Они отнимут ее у меня, они и ее околдуют».

— Ну, ну, Санда,— заговорил он ласково.— Скоро придет доктор. Почему ты не хочешь сказать мне, где была?

Вместо ответа Санда только кусала губы и судорожно сплетала пальцы.

— Ты меня любишь, Санда, скажи, любишь? — допытывался Егор.

Она забилась, стараясь спрятать лицо в подушки, но Егор взял ее голову в ладони и принудил глядеть на него, а сам в ожесточении повторял один и тот же вопрос.

— Я боюсь! Закройте дверь! — вскрикнула вдруг Санда.

— Там никого нет,— сказал Егор.— К тому же дверь закрыта, вот посмотри...

Он отодвинулся в сторону, чтобы не загораживать ей дверь, Санда взглянула, потом схватилась за голову и разрыдалась, всхлипывая, захлебываясь слезами.

Егор сел на кровать рядом с ней, она с минуту смотрела ему в глаза, как если бы решив наконец раскрыть свою тайну, но только снова бессильно схватилась за голову.

— Где ты была? — шепотом спросил Егор.

— Я не могу сказать,— сквозь слезы проговорила она,— не могу!..

Она обвилась вокруг Егора, припала к нему,— исступленно, отчаянно,— к его теплу, его живительной силе. Но вдруг отпрянула, как будто ее оттащили, крикнув в ужасе, с неожиданной силой:

— Я не хочу умирать, Егор! Они меня тоже убьют!..

Егор и г-н Назарие едва успели подхватить ее на руки, когда она рухнула без чувств.

IX

Перед тем как расстаться, г-н Назарие сказал Егору:

— У меня такое впечатление, что я сегодня не просыпался. Сплю без просыпу вторые сутки и вижу сон.

— Если бы так,— ответил Егор.— Но я почти уверен, что мы не спим... К несчастью.

Они пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись. Егор запер за собой дверь на ключ, затворил окно. Он двигался по комнате, контролируя каждый свой жест, словно допуская чье-то невидимое присутствие. Страха не было — только болезненная усталость во всех членах, в крови — как после сильного жара. Он решил подольше не засыпать. Дело шло к двум. Он прикинул, что еще час — и можно спокойно ложиться, рассвет обезопасит его от видений. Однако стоило ему облачиться в пижаму, как всякое сопротивление сломилось. Напрасно он мотал головой, хлопал себя по щекам — ничем было не отогнать сонную негу, вдруг растекшуюся по жилам. Он уснул с зажженной лампой, успев отметить напоследок, как несколько комаров снялись с потолка, закружились все ниже и ниже...

Очнулся он в просторном салоне с позолотой на стенах, с огромными канделябрами, украшенными хрустальными подвесками. Это начинается сон, понял Егор и заметался, пытаясь проснуться. Но его сковало зрелище незнакомой, нарядно одетой публики. Особенно хороши были дамы — в бальных туалетах, с осиной талией.

— Vous êtes à croquer![1] — раздался подле него мужской голос, вызвав у дам смешки.

«Где я слышал эту фразу? — заволновался Егор.— Слышал или прочел в какой-то давней книжке?..» Однако, припомнив, что дело происходит во сне, он успокоился. «Побыстрее бы только проснуться...»

Очень странная — и в то же время хорошо знакомая музыка — грянула вдруг, навевая радость с привкусом грусти и какие-то смутные воспоминания — не о былом, а скорее о детских, давно забытых снах. Егор шагнул в гущу элегантной танцующей толпы. Стараясь не мешать парам, он пробирался вдоль стены. «Да, это начало века,— определил он.— Если бы публика увидела, как я одет...» Он с опаской опустил глаза на свой костюм — костюм был чужой, старинного покроя. Но первое недоумение тут же улетучилось. Рядом заговорили по-французски. Приятный голос молодой женщины, которая знает, что ее слушают. «Она знает, что я здесь»,— со сладким замиранием сердца подумал Егор. Он подошел к зеркалу, чтобы увидеть женщину. Они встретились глазами. Нет, он видел впервые это лицо с очень красными губами. Дама стояла в окружении нескольких мужчин и, вероятно, ждала, что ей сейчас представят Егора, потому что улыбнулась ему. Мужчины тем не менее смотрели на него довольно враждебно. Он никого не узнавал в этом салоне, где оказался по чьей-то воле. Заглянув в соседнюю комнату, он увидел столы с зеленым сукном. Карточные игры его не занимали. Любопытно было лишь то, что игроки шевелили губами в разговоре совершенно беззвучно.

Он вернулся в бальную залу. Теперь здесь стало несколько душно. Дамы замахали большими шелковыми веерами. Егор спиной почувствовал чей-то укоризненный взгляд. Обернувшись, он увидел знакомые черты, но не сразу вспомнил имя: Раду Пражан. Его-то как сюда занесло? И что за вид — как у ряженого. Было очевидно, что Пражан чувствует себя не в своей тарелке на этом пышном балу, среди богатой публики. С ним никто не заговаривал. Егор направился в тот угол, откуда Пражан, прислонясь к стенке, смотрел на него не мигая. Он прочел во взгляде приятеля, что должен спешить, должен пробиться к нему как можно скорее...

Но как трудно передвигаться по бальной зале в разгар танцев! Все новые и новые пары преграждали ему путь. Пришлось поработать локтями — вначале с оглядкой, поминутно прося прощения, потом — уже бесцеремонно, распихивая, расталкивая дам и кавалеров. Те несколько метров, что отделяли его от Пражана, оказались неправдоподобно длинными. Сколько бы он ни пробивался вперед, расстояние между ними не уменьшалось. Пражан настойчиво звал его глазами, и как ясно он понимал этот зов!..

[1] Вы сногсшибательны! (*франц.*)

Чья-то рука обвила Егора за талию. Мгновение — и будто запотевшее стекло отделило его от танцующей публики. Глаза Пражана глядели теперь с высоты, из-под потолка, и он еще нелепее выглядел там в своем маскараде.

— Ну же, взгляни на меня, друг мой любезный! — заговорила девица Кристина, обдавая Егора тревожным веяньем фиалки, влекущим теплом дыхания, одновременно воскрешая в нем ужас и отвращение.— Тебе не по вкусу наше веселье?

Каждое слово болью отдавало в его голове, с каждым звуком он проваливался в иное пространство, в иные сферы.

— Мы у себя дома, душа моя,— продолжала девица Кристина.

Она провела его за собой, мановением руки призывая оглядеть комнату, через которую они проходили. Егор узнал столовую, разве что вид у мебели был посвежее, не столь унылый.

— Поднимемся ко мне, хочешь? — вдруг сказала девица Кристина и потянула его вверх по лестнице, но он, вырвав руку, отскочил к окну и выговорил через силу:

— Ты мертвая. *И ты знаешь,* что мертвая.

Девица Кристина горько усмехнулась и снова подступила к нему. Она была бледнее обычного. «Это от луны. Как внезапно взошла луна», — подумалось Егору.

— Что с того, ведь я люблю тебя, Егор,— прошептала девица Кристина.— Ради тебя я прихожу из такой дали...

Егор смерил ее ненавидящим взглядом. Где же силы — крикнуть, проснуться?.. Кристина как будто читала его мысли, потому что ее улыбка стала еще грустнее, еще безнадежнее.

— Ты всегда здесь,— наконец-выдавил из себя Егор.— Ниоткуда ты не приходишь...

— Что ты понимаешь, любезный друг,— тихо возразила Кристина.— Поверь: тебя я не хочу терять, твоя кровь мне не нужна. Позволь мне только иногда любить тебя, вот и все!

Такая страсть, такой голод по любви сквозили в ее голосе, что Егор содрогнулся и кинулся прочь, надеясь спастись бегством. Он бежал по бесконечному, зловещему коридору и остановился, лишь отбежав на порядочное расстояние. Он стоял, тяжело дыша и плохо понимая, где он и куда теперь податься. Мысли рассыпались, воля была слепа. Коридор уходил вниз, как рудниковая шахта. Вдруг его ноздри защекотал слабый запах фиалки. Охваченный паникой, Егор вломился в первую попавшуюся дверь. В висках стучало, он привалился к двери, замер, прислушиваясь, не раздадутся ли снова шаги девицы Кристины. Тишина тянулась долгие-долгие минуты. Егор в изнеможении повернул голову, огляделся — и узнал свою комнату. Он попал прямо в свою комнату. Все тут было точь-в-точь как днем, вплоть до портсигара на столике и стакана с остатками коньяка. Вот только как-то странно, как будто в зеркале, преломлялся на всем свет.

Он бросился на кровать с одной мыслью — заснуть. Тут-то его и настигла снова фиалковая напасть. Сил противиться, спасаться бегством больше не было. Девица Кристина сидела рядом на постели, как будто поджидала его здесь давно.

— Зачем ты бежишь от меня, Егор? — сказала она, глядя на него в упор.— Зачем не позволяешь любить себя? Или все дело в Санде?

Она умолкла, не сводя с него глаз. Что было в них — тоска, нетерпение, угроза? Егор не мог разобраться. Не мог верно прочесть ее лицо — такое живое и такое ледяное,— ее глаза, неправдоподобно большие и неподвижные, как два хрустальных ободка.

— Если дело в Санде,— продолжала Кристина,— это поправимо. Она долго не протянет, бедняжка.

Егор дернулся было в негодовании, хотел угрожающе взмахнуть рукой, однако у него достало сил лишь скрестить с девицей Кристиной свой взгляд.

— Но ты же мертвая! — крикнул он.— Ты не можешь любить!

Кристина засмеялась. Он первый раз слышал ее смех, и, как ни странно, смеялась она точно так, как он себе представлял, когда несколько дней назад разглядывал ее портрет — чистым, искренним девичьим смехом.

— Не надо поспешных суждений, любезный друг,— сказала она наконец.— Я прихожу из таких пределов... Но я все равно женщина, Егор! И если иные девушки влюблялись в утренние звезды, в Лучафэров, почему бы тебе не полюбить меня?!

Она выжидательно замолчала.

— Не могу,— признался Егор, поколебавшись.— Я боюсь тебя.

И ему тут же стало стыдно за свою трусость. Надо было не сдаваться, твердить, что она мертвая, а он живой... Кристина протянула руку... Егор снова испытал это ни с чем не сравнимое прикосновение, от которого кровь застывала в жилах.

— Придет час, и я узнаю тепло твоих рук,— нашептывала она, придвигаясь ближе и ближе.— Ты полюбишь меня. А о Санде не думай, вам больше не быть вместе...

Она помолчала, не переставая ласкать его.

— Какой ты красивый! Какой ты большой и теплый! И я ничего не боюсь. Куда бы ни завела меня любовь, во мне нет страха... Что же ты колеблешься, Егор, ты, мужчина?..

Егор еще раз попытался сбросить Кристинины чары, рвануться прочь из сна. Фиалковый дурман кружил ему голову, близость ее тела изнуряла. Но все, что он смог — это чуть отодвинуться от нее к стене.

— Я люблю Санду,— почти без голоса произнес он.— Помоги мне, Господи Боже, помоги, Пречистая Божья Матерь...— Последние слова ему удалось произнести достаточно твердо.

Кристина вспорхнула с его постели и спрятала лицо в ладонях. Так она простояла долго.

— Мне стоит только захотеть — и мозг твой обледенеет, а язык отсохнет,— заговорила она.— Ты весь в моей власти, Егор! Захочу — сделаю из тебя все что мне угодно, захочу — приворожу, и ты пойдешь за мной как другие... Их было много, Егор... Что мне твои молитвы! Ты всего лишь смертный. А я пришелица из иных краев. Тебе этого не понять, никому не понять... Но тебя я не хотела губить, ты мне мил, с тобой я хочу обручиться... Скоро, скоро ты увидишь меня *по-другому*. И тогда полюбишь, Егор... Уже сегодня страх твой пошел на убыль... И сейчас тебе не будет страшно, любезный друг. *Сейчас* ты проснешься, такова моя воля, ты проснешься...

...Егор вдруг понял, что уже давно лежит с открытыми глазами, без единой мысли в голове. «Я проснулся по ее приказу»,— сообразил он, сразу все вспомнив. Он знал, где оставил во сне девицу Кристину: посреди комнаты,— и резко повернул голову, ожидая встретить ее глаза с хрустальным блеском. Нет, девицы Кристины там не было. «Значит, приснилось, все-таки приснилось...» Кровь прихлынула к его голове, и приятная усталость растеклась затем по всем членам, как будто он выдержал тяжкий поединок и теперь мышцы предвкушали отдых.

Однако фиалковый дурман не ушел из комнаты. И несколько минут спустя Егор стал чувствовать чье-то невидимое присутствие — не девицы Кристины на этот раз, а кого-то неизмеримо чудовищнее. Страх теперь давал себя знать совсем по-другому: Егор как бы оказался в чужом теле, чья плоть, кровь и пот были ему отвратительны. Чужая оболочка, невыносимо тесная, сжимала ему горло, душила, не давала вздохнуть. А кто-то в это время смотрел на него, рассматривал его вблизи, и эти взгляды тоже принадлежали не девице Кристине.

Он не помнил, сколько продолжалась эта медленная пытка удушьем, это состояние невыносимого омерзения, перевернувшее все его существо. Иногда сквозь муть и ужас слабо веяло фиалками — Егор судорожно втягивал в ноздри их запах, мысль о девице Кристине казалась теперь куда

менее жуткой. По сравнению с леденящим кровь наваждением, которое он переживал сейчас, ее приходы были не в пример милосерднее.

Когда он потерял уже всякую надежду, его вдруг отпустило. Он с облегчением перевел дух. Тот *кто-то* исчез без следа. Зато с новой силой нарастал фиалковый аромат, жаркий, женский, оплетающий. Однако теперь совсем не страшный. Егор напряг глаза, вглядываясь в темноту. Когда она успела приблизиться? Что за невесомая, неслышная походка! Она снова улыбалась. Смотрела на него, как раньше, во сне, и улыбалась. Лицо ее будто бы светилось изнутри — Егор различал изогнутые в улыбке губы, тонкие ноздри, полуопущенные ресницы. «Видишь, ты меня больше не боишься,— говорили ее глаза.— Право, есть вещи пострашнее, чем моя близость. Я только явила тебе *кое-кого*, чтобы ты почувствовал, какие бывают страсти, какая дьявольщина — что там я...»

«Она заставляет меня читать свои мысли, она диктует, что мне думать,— понял Егор.— Но почему она не заговорит сама, почему не подойдет? Ведь я больше не смогу защищаться!..»

Чья была эта мысль, непроизвольно возникшая в его мозгу? Он ли подумал, что беззащитен перед ней, или она, девица Кристина, принудила его так подумать, готовя к дальнейшему?..

Кристина по-прежнему улыбалась. «Вот видишь, ты меня уже не боишься,— внушали ее глаза.— Ступени страха уходят гораздо глубже, друг мой любезный. Ты еще будешь домогаться меня, домогаться моих объятий, у тебя будет одна надежда, одно спасение — припасть к моей груди!..» Как ясно слышал Егор эти слова, хотя Кристина не разжимала губ!

«Ты полюбишь меня,— читал он в ее глазах.— Ты видел, как легко я могла бы задушить тебя кошмаром. Я только подослала к тебе *кое-кого*, и ты потерял себя. Ты не знаешь, кто это был, но тебе его не забыть никогда. Таких, как он, сотни и тысячи, и все послушны моему приказу... Егор, ненаглядный... Как же ты кинешься обнимать меня! И какими жаркими будут бедра мои для тебя!»

Мысль шла за мыслью, неспешно, плавно, четко, и Егору оставалось только прислушиваться к ним. Девица Кристина безусловно знала все, что с ним творилось, знала, что он сломлен и безропотен,— и потому наконец сделала шаг к его постели. Потом еще и еще — и вот она рядом. *Теперь уже не во сне.* Это противное природе создание перемещалось в пространстве! Егор явственно ощущал теплые колебания воздуха при ее приближении. «Придет час — и ты узнаешь мою наготу,— раздалось в Егоровой голове.— Как слитны, как долги будут наши объятия, любимый... Привыкай к моей близости, Егор. Вот моя рука, она ласкает тебя, и тебе не страшно, она несет тебе радость, чувствуешь — вот, я прижимаю ее к твоей щеке — ну как?..»

Но Егор уже ничего не чувствовал. В тот миг, когда рука девицы Кристины коснулась его щеки, из него ушла вся кровь, дыхание стекло в глубь грудной клетки — побелев, с ледяным лбом, он распластался на постели.

X

Доктора пригласили остаться на обед. Когда г-н Назарие вошел в столовую, г-жа Моску встала и торжественно представила ему лысеющего молодого человека в охотничьем костюме:

— Господин Панаитеску, доктор, выдающийся ученый муж и неутомимый апостол добра!

Затем состоялось представление профессора:

— Господин Назарие, университетский профессор, гордость румынской науки!

Г-н Назарие глядел в пол. Ему по-прежнему казалось, что длится дурной сон. Нервы шалили, к тому же одолевала усталость. Пожав доктору

руку, он сел на свое место. Его поразило лицо Егора — белое как мел, с глубокой синевой под глазами, и он попенял себе за то, что ушел с утра в поле, в курганы за селом, не повидав товарища. А теперь вот его не узнать. Г-н Назарие искал глаза Егора — понять по ним, что могло случиться. Но Егор глаз не поднимал — то ли был слишком подавлен, то ли просто занят своими мыслями.

— Господин профессор приехал в наши края на археологические раскопки,— завела беседу г-жа Моску.— Для нас большая честь принимать такого гостя...

— Обнаружили что-нибудь заслуживающее внимания, господин профессор? — поинтересовался доктор.

— О, мы едва начали...— нехотя ответил г-н Назарие.

Симина разочарованно посмотрела на него, профессор явно не собирался разражаться длинной и пылкой речью, а всего лишь спросил, чуть ли не с укором глядя на медика:

— Как вы нашли больную?

Доктор непроизвольно пожал плечами, но тут же опамятовался. Провел рукой ото лба к макушке, как бы сам ужасаясь, что это его череп так гладок и гол, и нерешительно промямлил:

— Одним словом не определишь... В любом случае, ничего, что внушало бы опасения. Анемия и, возможно, начало гриппа; впрочем, гриппа довольно редкой разновидности... Я даже подумал сначала, не малярия ли...

Он говорил, спотыкаясь на каждом слове, с паузами после каждого предложения. «Ему, похоже, сейчас не до больных»,— подумал г-н Назарие, невольно оглядывая охотничий костюм доктора. Тот перехватил его взгляд и покраснел.

— Вас, может быть, удивляет эта куртка,— сказал он, теребя на ней пуговицу.— Но она очень удобная... И потом, я подумал, такие прекрасные деньки, недурственно было бы... Я, знаете, не то чтобы заядлый охотник, но люблю иногда пройтись по полям с ружьецом... Мы, интеллектуалы... да вы лучше меня знаете, какая у нас жизнь, редко когда удается... У меня, правда, нет охотничьей собаки, а так, одному, это, конечно, не то...

И он, совсем смешавшись, принялся за еду. Г-н Назарие уже давно смотрел в тарелку.

— Когда же вы пойдете на охоту, господин доктор? — деликатным голоском осведомилась Симина.

Доктор неопределенно развел руками. Но он был очень рад, что хоть кто-то поддержал тему охоты. Он боялся показаться смешным, скомпрометировать себя в глазах этого общества, хотя и довольно-таки странного.

— А меня вы с собой не возьмете? — загорелась вдруг Симина.— Я никогда не была на охоте... Мне так хочется поохотиться или хотя бы посмотреть...

— Почему же нет? Буду весьма и весьма рад,— отвечал доктор.

Егор медленно перевел взгляд с г-жи Моску на Симину.

— Совсем ни к чему маленькой девочке ходить на охоту,— сказал он строго.— Смотреть, как умирают ни в чем не повинные звери. Слишком много крови...

При последних словах он в упор взглянул на Симину, но та не проявила ни малейших признаков беспокойства. Опустила глазки, как положено благовоспитанной девочке, когда ее распекают взрослые. И ни на секунду не дала Егору понять, что его слова имеют для нее и другой, недоступный присутствующим смысл.

— И правда, это, наверное, не самое подходящее зрелище для ребенка,— примирительно подхватил доктор.— Вот когда барышня вырастет большая...

Симина, по своему обыкновению, усмехнулась. Г-н Назарие различал

в ее едва заметной усмешке торжество и презрение. Он начинал бояться эту девочку. Его приводил в смущение, а порой и парализовывал Симинин взгляд, дерзкий и уничтожающий, выражение ледяного сарказма, неприложимого к столь ангельскому лику.

— Я рад, что наша милая Санда скоро поправится,— заговорил он, чтобы нарушить молчание.— И заставит господина художника поработать кистью.

Егор просиял, обернувшись к нему. Но все же у него подрагивали губы и в лице была необыкновенная бледность. «Как это никто не замечает, что с ним»,— еще раз удивился г-н Назарие, но, перехватив жесткий, проницательный взгляд Симины, залился краской. Она как будто услышала его, прочла его мысли. «Симина заметила, она одна все понимает»,— в волнении подумал г-н Назарие.

— Несколько дней, и она поправится, так ведь, доктор? — спросил Егор.

Доктор пожал плечами, но мину сделал вполне бодрую.

— А как же охота? — вдруг вспомнила г-жа Моску.— Вы ничего не рассказали нам про охоту. И потом, я сгораю от нетерпения отведать дичи. Сколько новых ощущений, дичь — что может быть лучше!

На миг она воодушевилась, руки затрепетали, как бы предвкушая прикосновение к чудесным охотничьим трофеям.

Только тут Егор заметил, что в дверях столовой обосновалась кормилица. За обедом подавала какая-то новая прислуга. «Возможно, она за ней просто присматривает»,— подумал Егор себе в успокоение. Ему совсем не нравилось, что кормилица явилась сюда. У него было гадкое чувство поднадзорности: он читал издевку в кормилицыных глазах, улавливал, как они с Симиной переглядываются, как будто знают, что с ним происходит по ночам...

— Милостивая государыня,— с пафосом начал доктор,— должен вам признаться, что в охоте я дилетант. Все же я льщу себя надеждой...

В эту минуту кормилица подкралась к стулу г-жи Моску и выпалила:

— Большая барышня за вами послали.

— Что же ты стоишь тут и молчишь! — в сердцах крикнул на нее Егор, вскакивая.

Кормилица вместо ответа только стрельнула глазами в Симинину сторону и поджала губы. Г-жа Моску поднялась с растерянным видом. Но Егор уже выбежал из столовой, не дав ей вымолвить ни слова.

* * *

Санда с покорным видом лежала высоко на подушках. Она вздрогнула, увидев входящего Егора.

— Что случилось? — с порога спросил он.

Санда молча смотрела на него с бесконечной любовью и страхом — слишком велико было это счастье и слишком поздно оно пришло к ней.

— Ничего не случилось,— слабым голосом сказала она наконец.— Я хотела видеть маму...— И добавила быстро: — Чтобы она мне почитала.

Егор возмутился: «Ложь без всякой логики, сама себя выдает... С утра ее утомляло чтение, а сейчас ей, видите ли, хочется послушать стихи, для этого она отрывает мать от обеда...»

— Госпоже Моску здесь нечего делать,— резко сказал он.— По крайней мере сейчас.

Он прикрыл за собой дверь и повернул ключ в замочной скважине. Его бросило в краску от собственной смелости, но решение было принято. Он должен узнать все, любой ценой...

— Ну, говори, прошу тебя,— ласково приказал он.

В глазах Санды мелькнул ужас. Столько мыслей проносилось в голове, столько чувств — она спрятала лицо в ладонях. Минуту спустя рука Егора легла ей на лоб.

— Говори же, родная моя,— тихо просил он.

Санда не отрывала ладоней от лица. Дыхание ее стало судорожным, плечи тряслись.

— Ведь и я должен тебе многое сказать,— продолжал Егор.— Доктор посвятил меня в тайну твоего недомогания...

Санда встрепенулась, подняла голову и пытливо заглянула ему в глаза.

— Но прежде,— продолжал он,— я хотел спросить у тебя одну вещь. *Ты часто видишь Кристину?* Я имею право спросить, потому что я ее — вижу...

Санда потеряла бы сознание, если бы Егор не склонился над ней, не стиснул с силой ей руки. Боль от этого пожатия причащала к жизни.

— ...Я ее вижу,— снова заговорил Егор,— как вы все тут. Но это безумие, Санда, долго не продлится. Вампиру надо пронзить сердце, и я это сделаю!..

Он сам содрогнулся от звуков своего громоподобного голоса. Слова слетали с губ как бы помимо его воли. Еще минуту назад он не собирался так открыто, так беспощадно говорить с Сандой.

— Я думала прежде всего о тебе, любовь моя,— угасающим голосом вдруг проговорила она.— Ты-то ни в чем не виноват, по крайней мере *ты* должен спастись, уехать отсюда как можно скорее.

— Однако вчера ты просила меня остаться,— заметил Егор.

— Это мой грех,— ответила Санда.— Если бы я могла предположить... но во мне говорила любовь, Егор, я люблю тебя...

Она расплакалась. Егор отпустил ее руки и погладил по голове, по щекам.

— И я люблю тебя, Санда, и ради твоего же блага...

— Нет, не делай ничего, Егор,— прервала она его.— Нам обоим будет только хуже... Тебе особенно... Я за тебя беспокоюсь. Тебе надо уехать, уехать как можно дальше отсюда. Я потому и позвала маму — сказать ей, что ты... что ты в ее отсутствие вел себя со мной... дерзко... Что тебя нельзя больше пускать ко мне в комнату... *В общем, чтобы тебе указали на дверь...*

Она заплакала еще отчаянней. Егор выслушал ее спокойно, так же ласково, по-братски гладя по голове. Он готов был воспринять самую чудовищную, самую убийственную весть. Но Кристина приказала всего-навсего выгнать его. «И Санда полагает, что делает это для моей же пользы, что так она меня спасет...»

Тут снаружи нажали на дверную ручку. Санда вздрогнула, залилась румянцем. «Краска стыда,— подумал Егор,— значит, еще не все потеряно, чары еще можно перебороть».

— Заперто? Почему? — послышался голос г-жи Моску.

Егор поднялся и, подойдя к двери, заговорил, тщательно подбирая слова:

— Это Санда просила меня запереть дверь на ключ, сударыня. И не пускать кого бы то ни было из вас. Она боится. Ей надо отдохнуть... Она задремала, и ей привиделась тетя Кристина, ее *покойная* тетя...

Г-жа Моску не откликнулась ни единым словом, вероятно, там, в коридоре, на нее нашла полнейшая оторопь. Егор вернулся к Санде, взял ее за руку и, наклонясь, шепотом сказал на ухо:

— Они подумают, что мы заперлись как любовники. Пусть думают что хотят. Это тебя скомпрометирует, и тебе придется выйти за меня замуж... Мы должны объявить о нашей помолвке прямо сейчас, Санда...

Г-жа Моску снова затрясла дверную ручку.

— Но это недопустимо! — крикнула она изменившимся голосом.— Что вы себе позволяете!

Санда собралась подняться и отпереть дверь, но Егор обхватил ее обеими руками.

— Господин Пашкевич! — зазвенел голосок Симины.

Егор снова подошел к двери.

— С этой минуты Санда — моя невеста, мы помолвлены,— твердо сказал он.— Она просит моей защиты и не велит открывать никому. Она не хочет сейчас видеть никого, кроме меня...

— Хорошенькая помолвка, заперлись на ключ в спальне! — отчетливо сказала Симина.

Санда с плачем зарылась головой в подушки. Егор с трудом овладел собой.

— Мы готовы уехать в любую минуту, госпожа Моску,— объявил он.— Санде здесь больше нечего делать...

Он услышал, как удаляются по коридору шаги, и сжал виски ладонями. «Что я сделал? Что сделал?» Как это вырвалось у него вдруг? Откуда вдруг эта смелость и безрассудство?

— Ты не жалеешь, Санда? — спросил он, возвращаясь к ее постели.— Не жалеешь, что поневоле стала моей невестой?!

Она затихла и со страхом в глазах обвила руками его шею. Это было первое движение любви, и Егор снова почувствовал прилив сил, уверенности, счастья.

— Нет, правда не жалеешь? — еще раз повторил он дрогнувшим голосом.

— Только бы дожить до свадьбы!.. — прошептала Санда.

XI

Несколько часов спустя Егор встретился в гостиной с г-ном Назарие. Тот казался чрезвычайно взволнованным, в глазах была растерянность, движения — дерганые, суетливые.

— Что происходит? — громким шепотом спросил он.— Хозяйка дома заперлась у себя, вы заперлись у Санды, младшая девочка вообще куда-то пропала... Что происходит?

— Да я и сам толком не знаю что,— устало ответил Егор.— Знаю одно: мы с Сандой обручились. Я люблю ее и хочу забрать отсюда как можно скорее...

Г-н Назарие слушал, ломая пальцы.

— Я боюсь за нее, за ее жизнь,— понизив голос, добавил Егор.— От этих маньяков всего можно ждать — они и задушить способны...

Г-н Назарие прекрасно понимал, что Егор лукавит, что отнюдь не безумие г-жи Моску держит его в страхе. Но все же он одобрительно закивал головой.

— Вы очень хорошо сделали, что обручились,— сказал он.— Это кладет конец всем недомолвкам. Теперь никто не посмеет ничего сказать.

Егор не сумел сдержать нетерпеливого жеста.

— Обручиться-то обручились, но она лежит в обмороке,— глухо сказал он.— Уже полчаса она лежит в обмороке, и я не смог привести ее в чувство. Ума не приложу что делать!..

Он зашагал по гостиной, дымя сигаретой.

— Нам надо бежать отсюда, пока еще не поздно. Но сначала ее должен посмотреть доктор... Где доктор?

— Пошел на охоту,— виновато ответил г-н Назарие.— Сразу после обеда и пошел. Я ничего не знал. Только что узнал от экономки... Правда, к вечеру обещал вернуться...

Егор опустился на стул, докурил в молчании.

— Я запер ее на ключ,— резко сказал он, порывшись в карманах и с победоносным видом предъявляя профессору ключ.

«И у него тоже нехороший блеск в глазах,— подумал г-н Назарие.— Как бы он чего не натворил...»

— Разве что они попробуют через окно,— продолжал Егор, глядя в пустоту.— Особенно сейчас, когда скоро закат.

— И что вы намерены делать? — спросил г-н Назарие.

Егор усмехнулся, как бы колеблясь, раскрывать ли до конца свой замысел.

— Пойду поищу Симину,— сказал он наконец.— Кажется, я знаю, где может прятаться маленькая колдунья...

— Я надеюсь, вы не будете воевать с ребенком,— предупредил г-н Назарие.— Я хочу сказать, надеюсь, вы ей ничего не сделаете...

Егор рывком поднялся и взял профессора под руку.

— Вы знаете, где комната Санды? — спросил он, торжественно передавая профессору ключ.— Я попрошу вас охранять ее до моего возвращения. Запритесь на ключ изнутри... Я боюсь их,— шепотом добавил он.— Когда я подумаю, что так надолго оставил ее одну...

Они вместе вышли из гостиной, и Егор проводил профессора до комнаты Санды. Дом как будто вымер: ни одной живой души, ни малейшего шума. Шторы на окнах были опущены, как в летний полдень, отчего тишина угнетала еще сильнее.

— Ждите меня и, кроме меня, не открывайте никому, что бы ни случилось,— наказал Егор, отпирая дверь.

Г-н Назарие, волнуясь, вошел. На первый взгляд, серьезных перемен в комнате не произошло. Санда по-прежнему спала глубоким сном — таким глубоким, что дыхания не было слышно.

* * *

Егор направился прямиком в старый каретный сарай. В быстро тускнеющем свете из подслеповатых окошек разыскал рыдван девицы Кристины и принялся его осматривать. Рыдван был старый, источенный дождями, с покоробленными сиденьями. Симины там не оказалось. «Спряталась»,— подумал Егор, постоял в сомнении несколько минут, прикидывая, где ее искать.

Когда он вышел из сарая, солнце уже тонуло за кромкой поля. «Вот-вот стемнеет,— с тревожным чувством подумал Егор.— Налетит комарье...»

Решительно не зная, куда идти, он задумчивым шагом побрел наугад к дворовым постройкам. Ни один человек не попался ему по дороге. И это безлюдье, когда кругом дома и всякое хозяйственное обзаведение, выглядело особенно зловещим. Люди, казалось, все побросали и поспешно снялись с места — причем совсем недавно. Тут и там — кострища, зола и недогоревший хворост, тряпки, забытые глиняные горшки, навоз и рассыпанное зерно. Тишина тоже свидетельствовала о полном запустении. Ни квохтанья кур, ни собачьего лая.

Он поравнялся со входом в подземелье. В первый день по приезде Санда привела его сюда с целой ватагой веселых гостей, показала каменные ступени времен Тудора Владимиреску [1] и замурованную нишу в глубине, где какой-то их предок безвылазно скрывался три недели и куда верный слуга приносил ему по ночам крынку молока и калач, передавая их через брешь в стене, которую они тоже осмотрели. Сколько воды утекло с того теплого и ясного осеннего дня, когда у Санды лукаво блестели глаза, когда своды подземелья звенели от молодых голосов... Целая вечность отделила его от этой счастливой поры — а прошли-то, подумать только, всего считанные дни.

Он закурил и уже двинулся было дальше, к кухням, как вдруг сзади послышались тихие шаги. Он обернулся. Никого. Но звук шагов раздавался вполне отчетливо, его нельзя было спутать с неясными ночными шорохами. Он подождал несколько секунд, пока в дверях подземелья не возникла Симина. Она шла крадучись, стараясь ступать неслышно. Натолкнувшись взглядом на Егора, она вздрогнула, но тут же, заложив руки за спину, чинно подошла к нему.

— Я не разбираюсь в этикетках,— сказала она без предисловий, глядя

[1] Тудор Владимиреску (1780—1821) — предводитель народного восстания 1821 года в Румынских княжествах.

ему прямо в глаза.— Мама послала меня за бутылкой содовой воды, но там столько разных бутылок... И я не думала, что там так темно...

— С каких это пор тебя стали посылать в погреб за бутылками? — спросил Егор.— Разве слуг не хватает?

Симина пожала плечами.

— Не знаю, что случилось, но осталась одна кормилица. Остальные ушли вон туда,— она махнула рукой,— кажется, убирать виноград... Есть еще новая экономка, но она заболела... А мне одной очень трудно управляться.

Егор погладил ее по головке, по мягким, теплым, душистым волосам. Девочка стояла смирно, опустив ресницы.

— Мне очень жаль, малышка, что мы оставляем тебя тут одну со всем управляться. Завтра утром мы уезжаем. Санда и я.

Симина слегка отстранилась, выскользнула из-под Егоровой руки, запротестовала:

— Но Санда же больна, господин доктор ее не отпустит.

— Это не болезнь,— возразил Егор,— она просто очень напугана. Ей привиделась покойная тетя.

— Неправда! — выпалила Симина.

Егор рассмеялся. Бросил сигарету, пригладил волосы, потер руки — ненужные, суетливые жесты,— лишь бы показать Симине, что ее вмешательство бессильно.

— Так или иначе завтра мы едем...

Симина вдруг заулыбалась.

— Мама, наверное, заждалась содовой,— сказала она вкрадчиво.— Не будете ли вы так любезны мне помочь?

«Вот и ловушка»,— подумал Егор, и мороз прошел у него по коже, когда Симина кивнула головой на подземелье. Но взгляд ее был так нескрываемо презрителен, что ему волей-неволей пришлось изобразить невозмутимость и ответить:

— С радостью.

Однако ее предложение могло хоть кого озадачить. «Она и не думает скрывать от меня, где была. Уж не послали ли ее и впрямь за бутылкой содовой?..»

— Ну, и где же тут бутылки? — спросил он, спускаясь по каменным ступеням.

Дыхание Симины, шедшей за ним следом, выдавало волнение. «Если она так дышит, значит, я попался»,— подумал Егор.

— Они дальше, дальше,— проронила Симина.

Ступени кончились, и Егор почувствовал под ногами влажный песок.

— Погоди, я зажгу спичку,— сказал он.

Симина перехватила его руку — резким, повелительным жестом.

— Еще видно,— сказала она.— Или вы боитесь?

И засмеялась. Ледяные струи ужаса, как прошлой ночью, пробежали по спине Егора. Смех был не ее, не Симинин. И голос не ее — властный, чувственный, женский. Егор сжал кулаки. «Болван»,— мысленно выругал он себя. Потом все же чиркнул спичкой и строго, с угрозой поглядел на девочку. Но вызвал только новый взрыв смеха.

— Наш храбрый Егор! — выговорила она с неподражаемым презрением.

Дунула на спичку и пошла в глубину подземелья.

— Когда мы выйдем отсюда, Симина, я тебе надеру уши,— пригрозил Егор.

— Почему же не сейчас? — откликнулась Симина и остановилась, заложив руки за спину.— Посмей только!

Егора затрясло. Непонятная дрожь охватила все члены. «Наверное, так это начинается, так сходят с ума...»

— Если тебе страшно, что же ты не идешь обратно? — прозвучал голос Симины.

Совсем незнакомый голос, совсем чуждый маленькому алому ротику! Голос, ядом проникший в кровь Егору, похотью — сумасшедшей, звериной — отозвавшийся во всем теле. Он зажмурился, пытаясь мысленно вызвать перед собой лицо Санды. Но он не видел больше ничего — один красный туман. Не слышал ничего — один колдовской голос Симины.

— Ну-ну, иди смелее,— приказала девочка.

Следом за ней Егор вошел в кладовую. Еле различимые стояли по стенам старые, ветхие шкафы. Окошечко под потолком, забранное решеткой, еще чуть светилось усталым, мутным светом. В углу валялись старые корзины, драные мешки.

— Ну, что ты, что? — спрашивала Симина, беря его за руку.

Он не сопротивлялся. Дыхание стеснилось, глаза застлала пелена. Начиналось давнее, долгожданное сновидение, и он тщетно пытался нащупать в памяти момент, когда и зачем он вышел из него, для какой еще другой жизни. «Как дивно, как дивно вот так, с Симиной!..»

— Сядь! — повелела девочка.

Да, давно бы так, броситься на мешки, отдохнуть. Все тело горело, руки дрожали. Он почувствовал опустившуюся рядом Симину.

— *Она* здесь? — почти невольно вырвалось у Егора.

— Нет. Ей еще рано,— шепотом ответила девочка.

— Но это *ее* место, да? — допытывался сквозь свой сон Егор.

Симина заколебалась. Потом решила, что бояться нечего: из Егора — такого, с помутненным рассудком — можно было вить веревки.

— Да. Почти там, где мы!

Егор задрожал сильнее, как будто у него началась лихорадка.

— А тебе не страшно? — спросил он.

Симина со смехом приподнялась, потрепала его по волосам.

— С ней хорошо, совсем не страшно. И тебе больше не будет страшно!..

— Симина, не бросай меня одного! — взмолился Егор, слепо, отчаянно прижимая ее к себе.

— Успокойся! — прикрикнула на него девочка и, помолчав, защептала на ухо: — Сегодня ночью не запирай дверь. Она придет на самом деле. Придет к тебе, в постель...

Она расхохоталась, но Егор даже не услышал ее хохота. Все распалось, все поплыло перед глазами, в мозгу, в памяти.

— О, какой слюнтяй! — обругала его Симина.— Тряпка тряпкой. Если бы я ушла, ты бы умер со страху!

— Не бросай меня, Симина,— хрипло умолял Егор.— Накажи меня! Но только не бросай одного!..

Он стал судорожно целовать ее руки. Дыхание было трудным, жарким, на лбу каплями выступил пот.

— Не так, Егор, не так! — подстрекала Симина.— Целуй меня так, как я хочу!..

Она юрко прильнула к его губам, вонзив в них свои зубки. В неземной, мучительной неге Егор запрокинул голову, отдаваясь этим поцелуям из меда и крови. Девочка кусала его губы, а ее грациозное, свежее, детское тельце оставалось холодным. Почувствовав кровь, Симина жадно собрала ее языком и тут же вскочила на ноги.

— Даже целоваться не умеет! Вот дурак!

— Да, Симина,— смиренно согласился Егор.

— Целуй мою туфельку!

Она выставила вперед ножку. Трясущимися руками Егор обнял ее голень и покрыл поцелуями.

— Туфельку!

Еще одна сладость — ядоносная сладость унижения! Егор поцеловал ее туфельку.

— Нет, что за дурак! Тебя надо бы высечь! А при мне как назло ничего нет, даже плетки!

Егор тихо заплакал, уронив голову на мешки.

— Не хнычь, слышать не могу! — прикрикнула на него Симина.— Раздевайся!

Егор, размазывая слезы, стал снимать рубашку. Лицо его было в грязных потеках, вокруг рта — пятна крови. Запах крови окончательно распалил Симину. Она набросилась на Егора, неистово царапаясь и кусаясь. И чем глубже боль проникала в его плоть, тем слаще становились причиненные Симиной раны. Только раз он сказал себе: «Надо бы проснуться. Пора проснуться. Иначе я сойду с ума. Я не вынесу этого, больше не вынесу!..»

— Почему ты не кричишь, почему даже не стонешь? — спрашивала Симина.— Почему не защищаешься?

И она с новым исступлением впивалась в него ногтями. Но Егору не было надобности защищаться. Блаженство, о существовании которого он не подозревал, блаженство, недоступное смертному, давало ему это унижение.

— Трус! — сквозь зубы процедила Симина.— И такой же болван, как другие!.. Не понимаю, как она могла в тебя влюбиться! — И вдруг замерла, словно испугавшись чего-то. Насторожилась.

— Кто-то идет, Симина? — слабым голосом спросил Егор.

— Нет. Но нам надо возвращаться. Боюсь, не умерла ли там Санда...

Егор разом очнулся, содрогнувшись от ужаса, сжал виски в ладонях. Резкой болью пронзило мозг. Где он и что с ним тут было, он помнил, но в голове не укладывалось, как он мог это допустить, как стерпел...

Сильнейшее отвращение к самому себе, к скверне маленького тела, отвращение к жизни охватило его. Но сил не было, он не смог даже взглянуть в глаза Симине.

— Не забудь, что я тебе сказала,— напомнила Симина, отряхивая платьице.— Не запирайся ночью на ключ...

«Она даже не дает себе труда припугнуть меня чем-нибудь,— подумал Егор.— Так она уверена, что я не посмею ее выдать, пожаловаться...»

Симина ждала, пока он встанет с мешков, наденет рубашку. Она не помогала ему. Только смотрела с неприязненной, брезгливой усмешкой.

XII

Г-н Назарие томился в комнате Санды, считая минуты. Начало смеркаться. Он отошел к окну, сам удивляясь своему присутствию здесь, подле больной в летаргическом сне. У окна было хотя бы посветлее: виднелось опаловое небо и еще пылали верхушки деревьев. О стекло снаружи бились, как всегда, комары. Г-н Назарие, робея, наблюдал за ними. Их тучи, как клубы пыли, сгущались и распадались под неслышимую музыку, тщетно пытаясь проникнуть внутрь, и это упорное биение об оконное стекло усиливало ощущение угрозы. «Что, если они разом навалятся в комнату?..» — мысль оборвалась. Профессор круто обернулся. Тишина давила, угнетала. «Какой бесконечный сон,— подумалось ему.— И хоть бы дышала... Вдруг она уже умерла, а я даже об этом не знаю?!»

Он сжал кулаки. Ладони были влажные, горячие, а пальцы ледяные. Лихорадка, страх. «Но она не могла умереть незаметно, пока я здесь, я бы услышал... Люди не умирают просто так, во сне. Они стонут, они борются. Смерть является в черном плаще, с серебряной косой... А просто так, безо всего, это невозможно...»

Г-н Назарие издали посмотрел на Санду. Она лежала в прежней позе, и ее лицо еще можно было различить в полумраке комнаты. «Скоро уже вернется доктор,— подбадривал себя г-н Назарие.— Конечно, мне следовало бы подойти к ее постели, потрогать лоб... А вдруг он будет

холодным — или покажется мне холодным?.. Нет, лучше бежать. Пока есть силы...»

Он шагнул к двери. «Какой странный сон, не тревожимый сновидениями. Даже не застонет, словно ее ничто не мучит. Лежит — не шелохнется — там, далеко. И грудь не вздымается от дыхания. А что, если она шевелила губами, звала его, много раз звала, а он не услышал?.. Уйти сейчас? Но сейчас в коридоре еще темнее. И может быть, кто-то там, прямо под дверью, его и караулит. Так всегда: встанут под дверью, приложат к ней ухо, затаят дыхание и подслушивают, часами подслушивают и подстерегают тебя. Ждут, что ты будешь делать... Да, так и бывает. Кто-то, невидимый, неуловимый, ходит за тобой по пятам, не спускает с тебя глаз, читает твои мысли, выжидает. *Ждет, что ты будешь делать...* Как долго нет Егора. Ушел и запер меня на ключ, отдал меня на растерзание...»

Г-н Назарие подкрался к двери, встал на колени, приложил ухо к замочной скважине. Ничего не было слышно, но тишина навела на него еще больше ужаса, совсем бездыханная тишина. Хоть бы прошел кто по коридору, хоть бы что упало, громыхнуло, зазвенело, хоть бы собака залаяла во дворе. Дом стоял как вынутый из небытия или из давнего сна — даже сам воздух в нем был выдохшийся, нездешний, остуженный. Егор рыщет сейчас где-то вне этих стен — а может, и вовсе бежал...

Темнота сгустилась теперь по-настоящему. Г-н Назарие со страхом наблюдал, как она идет волнами, захлестывая прозрачность окна, туша блеск стекол. Следовало бы зажечь лампу. Но свет оживляет тени, даже от спички все начинает ходить ходуном. «Лучше побуду так. Притаюсь. Послушаю. Не только они меня, но и я их...»

И вдруг тишина разразилась глубоким вздохом — раз начавшись, он нарастал без остановки. Г-н Назарие заткнул уши. «Только бы не сойти с ума, только бы не сойти с ума... Раз, два, три, четыре... Пресвятая Богородица, спаси и помилуй!..» Но ничего не помогало, вздох не кончался, а набирал силу, он шел как будто изнутри, из его собственного сердца, бушуя в висках оглушительно, победоносно, безудержно. Г-н Назарие не отваживался взглянуть на Санду. Он попятился, прижался к стене. «Может, так она меня не заметит. А то еще испугается, если вдруг увидит меня в своей комнате. А так, может, и не заметит, что уже умерла, так, может, и не поймет...»

Вдруг его позвали:

— Господин профессор!

Голос шел снаружи. Бесконечный и жуткий вздох достиг двери и бил в нее тяжелыми кулаками.

— Откройте же, господин профессор!

Голос доносился то ли из далекого далека, то ли из-под земли. Но все же профессор слышал его — глухой, искаженный. Он отнял руки от ушей. Удары загрохотали рядом. Он подошел к двери.

— Господин профессор!

Он потрогал руками замок и нащупал ключ. Чудеса! Кто же вложил его в скважину изнутри так, что он даже не заметил?..

Он повернул ключ. Белой тенью на пороге возникла Симина. Постояла, сторожко прислушиваясь, потом спросила:

— Умерла?

— Н-не знаю...

Девочка пошла к кровати и, приложив ухо к груди Санды, долго слушала.

— Где вы? — окликнула она профессора.

— Здесь, у двери,— покорно отозвался г-н Назарие.— Ты меня не видишь?

Симина промолчала. Направилась к окну и приникла лбом к стеклу, как будто силясь разглядеть лицо того, кто смотрел в комнату из парка, тоже прильнув к стеклу, выжидая.

Вид белого силуэта Симины на фоне окна вогнал г-на Назарие в дрожь.

— Где Егор? — вырвалось у него.

— Право, не знаю... Где-то во дворе. Ждет доктора... А почему вы заперли дверь на ключ? Вы что, тоже помолвились с Сандой?

Г-н Назарие сконфуженно опустил голову. Но уйти не решился. Слишком темно было в коридоре, слишком страшно без Егора.

— Что Санда? — спросил он.

— Жива... Сердце бьется...— тихо ответила Симина и тут же рассмеялась.— А вы тут натерпелись страху, да?

— Нет, девочка,— сухо ответил г-н Назарие.

— Но подойти к ней боялись... Где вы? — снова спросила она.— Я вас не вижу.

— Здесь, у двери.

— Подите ко мне.

Г-н Назарие повиновался. Девочка уцепилась за его руку своими холодными маленькими ручками.

— Господин профессор,— зашептала она.— С мамой что-то творится... Мы должны все идти к ней... Поищите, будьте добры, Егора и приходите оба наверх, в ее комнату.

Г-н Назарие содрогнулся. Голос девочки изменился до неузнаваемости — он отсылал к воспоминаниям, к забытым снам...

— Я его поищу,— хрипло ответил профессор, отдергивая руку.— Но как мне пройти по коридору — я боюсь в темноте наткнуться на мебель. Тут нет спичек?

— Нет,— отрезала Симина.

Г-н Назарие, помявшись, вышел. Симина подождала, пока стихнут его шаги, закрыла дверь, повернула ключ в замке и снова приблизилась к окну. Постояла в раздумье, потом взобралась на стул, чтобы достать до оконной ручки, и распахнула створки окна. Далеко, посреди неба, над вязом, тьму рассекал свет луны. Безжалостный, белый, мертвенный.

* * *

Г-н Назарие нашел Егора на веранде. Опершись о перила, тот стоял с бессильно поникшей головой, как будто не в силах держать ее прямо, и смотрел вниз, в пустоту.

— Санда так и не очнулась! — обратился к нему профессор.— У нее сейчас Симина.

Ему показалось, что Егор не слышит, и он потрогал его за рукав.

— Отчего вы так долго? Где вы до сих пор были?..

— Искал ее,— неопределенно ответил Егор.— Я искал ее везде...

Он вздохнул, отер ладонью лоб. При свете керосиновой лампы г-н Назарие заметил на лице Егора, вокруг рта, следы крови. И только тогда разглядел, что платье его в беспорядке, а волосы влажны и прилипли ко лбу.

— Что с вами? — в волнении спросил он.— Что у вас с губами?

— Оцарапался... Об акации,— через силу ответил Егор, вяло вытягивая руку в сторону парка.— Там.

Г-н Назарие смотрел на него с растущим страхом. Кто зажег лампу на веранде этого пустого дома, где не слышно ни звуков, ни голосов?

— Кто зажег лампу? — шепотом спросил он.

— Не знаю. Я ее нашел уже так... Может, кормилица...

— Надо уезжать,— не повышая голоса, сказал г-н Назарие.— Как только появится доктор, уедем с ним вместе.

— Слишком поздно,— после долгого молчания проговорил Егор.— Теперь это уже не имеет никакого смысла.— Он закрыл лицо руками.— Если бы знать, что со мной было, если бы понять, что это такое...

Он запрокинул голову — лицом к безжизненно-белой луне над вязом.

— Хорошо бы позвать священника,— сказал г-н Назарие.— Невозможно гнетет этот дом, все эти люди.

Егор вдруг спустился с веранды и пошел к большой цветочной клумбе. Белые душистые цветы росли на ней, и ток воздуха был как будто свежее и чище.

— Но с вами что-то случилось,— нагоняя его, сказал г-н Назарие.

Он не хотел отпускать Егора слишком далеко от дома. Темнота парка была невыносима, темнота и резкие тени акаций.

— Нет, это как во сне,— добавил он.

— У меня тоже такое ощущение,— подхватил Егор.— Вы правы, что-то случилось, но я хотел бы понять что... Я искал Симину, везде... А вы вот встретили ее, не ища...— Он устало остановился.— Я же просил вас побыть с Сандой, постеречь ее. Я за нее боюсь, как она там одна...

— Симина попросила нас пойти посидеть с госпожой Моску,— извиняющимся голосом объяснил профессор.— С ней что-то тоже неладно.

Егор, казалось, начинает стряхивать с себя морок сна, в котором его застал г-н Назарие.

— Но я даже не представляю себе, как мы сможем найти госпожу Моску,— заговорил он.— Надо бы позвать на помощь... хоть *кого-нибудь*.

Г-ну Назарие пришлись не по душе эти слова — мыслимое ли дело говорить такое здесь, в темноте! К тому же Егор норовил углубиться в аллею, и г-н Назарие снова попытался вопросами удержать его:

— Как же вас угораздило так сильно пораниться? Как это произошло?

Егор шел вперед, не отвечая. Как будто что-то звало его оттуда, из-за цветов, из вольных зарослей сирени и рожковых деревьев, переплетшихся корнями. Пахло ночью под сенью их листьев, живых и лукавых. Бесчисленные души умерших, которые давно смолкли и лопотали теперь только листьями, обмениваясь друг с другом вестями и пересмешничая.

— Доктор должен скоро быть,— не унимался г-н Назарие, которого пугало молчание.

Ему здесь не нравилось. Тянуло вернуться. Бросить Егора одного и вернуться на веранду, где горит керосиновая лампа. А там и доктор подойдет.

— Я не понимаю, что вы задумали,— решился он наконец.— Я иду обратно. Дождусь доктора и уеду. А этому дому нужен священник... Иначе тут все сойдут с ума...

Как твердо, как четко он говорил, проясняя для самого себя не названные до сих пор мысли. Священник, служба, много народа, много огней...

— У меня болит голова,— не сразу ответил Егор.— Я хочу немного пройтись, подышать воздухом...

Он глубоко вздохнул, глядя вверх, на макушки акаций. Луна была теперь ближе, теперь она отливала серебром, и тьма вокруг расступилась, давая ей дорогу.

* * *

Наконец-то появился доктор со связкой убитых птиц. Г-н Назарие, волнуясь, встретил его на веранде. Слава богу, теперь он будет не один. К тому же доктор — человек здравомыслящий, несуеверный.

— Вы не слышали, как я стрелял? — спросил доктор.— Я охотился в окрестностях парка. Так мне казалось, по крайней мере. И все равно заблудился... Я стрелок, конечно, аховый,— добавил он, указывая на свои трофеи.— Попадаю только в растяп...

Он поднялся на веранду и упал в соломенное кресло.

— А что, людей никого нет? — спросил он.— Я так мечтал о стакане воды...

— Да, похоже, никого нет,— сдержанно ответил г-н Назарие.— Все на винограднике... Однако воду найти нетрудно...

Они вместе вошли в столовую, г-н Назарие освещал путь лампой. Доктор налил себе два стакана воды.

— Господин Пашкевич,— начал он, повеселев,— так его, кажется, зовут... у господина Пашкевича, по-моему, свиданье при луне...

Он неловко хмыкнул и потрогал пальцами лоб, как будто нащупывая невидимые ушибы. Но вовремя вспомнил, что в доме, где есть больной, неприлично смеяться, и, изобразив на лице внимание, поинтересовался:

— А как себя чувствует наша барышня?

— Все еще в обмороке,— сообщил г-н Назарие.— Потеряла сознание час спустя после вашего ухода... Если только еще не умерла...

Тон профессора, философски невозмутимый, привел доктора в полнейшую оторопь, даже взгляд у него на минуту остекленел.

— Я надеюсь, это шутка,— выдавил он, пытаясь улыбнуться.— Однако нам, медикам, чувство юмора не положено. Я должен немедленно ее посмотреть!..

Он с озабоченным видом прошел в комнатушку при столовой, вымыл руки.

— Спрашивается, как можно всех отпускать в такой момент,— проворчал он нахмурясь.

Г-н Назарие, высоко держа лампу в правой руке, пошел вперед, указывая дорогу.

— Мне говорили, что это все же весьма богатое семейство...— шепотом начал доктор.

Г-н Назарие не поддержал разговора. Его занимали перемены, произошедшие в коридоре. Здесь даже пахло теперь по-другому, и воздух был свежий, согретый жизнью. Пустота больше не угнетала. Где-то совсем близко раздавались молодые голоса.

— Стоп,— произнес г-н Назарие, останавливаясь у двери в комнату Санды.

Затаив дыхание, доктор постучал. Они вошли. В комнате горела сильная лампа под большим, персикового цвета абажуром. Г-жа Моску с сердечной улыбкой поднялась навстречу гостям. Симина сидела на краешке кровати, благочинно опустив глазки.

— Как чувствует себя наша барышня? — вполголоса осведомился доктор.

— Она очень хорошо выспалась,— отвечала г-жа Моску.— Спала почти до сих пор. Я едва ее добудилась...

Она с непритворной нежностью улыбнулась Санде, лежащей высоко на подушках с усталым, но спокойным, примиренным лицом. Доктор взял руку больной, нащупал пульс. Недоуменно насупил брови, затем недоумение перешло в тревогу, в испуг.

— Как странно,— шепнул он, пытаясь поймать взгляд г-на Назарие, но тому недостало храбрости встретиться с доктором глазами. Он упорно смотрел мимо. «Что за бредовые страхи я тут испытал, что за бредовые сны — и каких-то пару часов назад...» Теперь тут все дышало теплом и уютом, как будто так было всегда.

— Странно,— повторил доктор.— У меня такое впечатление, что жар усиливается... Вы мерили температуру?

— Мне гораздо лучше,— проронила Санда.

Г-н Назарие вздрогнул. Какой угасающий голос... Он выдавал приближение конца, и профессор почувствовал это всей кожей. Бесслезный голос, который приготовился к вечному молчанию.

— У нее сегодня было большое волнение,— вмешалась г-жа Моску.— Представьте себе, она совершенно неожиданно обручилась с господином Пашкевичем.— Г-жа Моску засмеялась, переводя взгляд с доктора на г-на Назарие.— Не поднимаясь с постели! — воскликнула она.— Вообразите себе!

Казалось, ее ничуть не расстроила эта странная помолвка. Услышав фамилию Егора, доктор снова обернулся к г-ну Назарие и на этот раз перехватил его взгляд. «Он что, сумасшедший, этот Пашкевич? — спрашивал доктор глазами.— Ничего не понимаю».

— Она у меня такая нетерпеливая невеста...— продолжала г-жа

Моску.— Ее жених, господин Пашкевич, намерен немедленно увезти ее и сыграть свадьбу уже в Бухаресте...

— Да нет же, мама,— еле слышно возразила Санда.— Я сделаю так, как ты скажешь...

Симина заулыбалась. Доктор смотрел на нее удивляясь: какие жесткие глаза, какая уничтожающая улыбка... Не по летам созревшее дитя...

— Но пора ужинать! — вспомнила г-жа Моску.— Симина, вели кормилице подавать на стол.

* * *

Когда все общество подошло к столовой, кормилица встретила их в дверях.

— Ничего нет, кроме сыра и молока,— заявила она г-же Моску.

— Надо найти, строго ответила г-жа Моску.— Должно же быть что-то в кладовой — ну, там, варенье, фрукты, сухари по крайней мере.

Доктор, услышав этот разговор, залился краской. Как нелепо и оскорбительно! Остался на ужин без приглашения... Он оглянулся на г-на Назарие, ища поддержки, но его лишь еще больше обескуражила брезгливая усмешка Симины. Профессор пошел на веранду за Егором — увидел, как тот приближается к дому по главной аллее развинченной, неторопливой походкой, и понял, что его надо встряхнуть, разбудить.

— Санде лучше, мы с доктором к ней наведывались. Она еще очень слаба, но уже вне опасности,— поспешно сообщил он, бегло осматривая при этом Егора.

Кажется, тот пришел в себя, потому что волосы у него были приглажены, платье почищено.

— Мне тоже было худо, но теперь все прошло,— сдержанно сказал он.— После ужина нам с вами надо будет непременно переговорить... Посоветоваться...

Входя в столовую, Егор встретился глазами с Симиной. Она смотрела на него кротко и почтительно, как положено смотреть на гостя благовоспитанному ребенку. «Господи боже мой, что же там на нас нашло? — в ужасе подумал Егор.— Что было на самом деле, а что примерещилось?»

— Примите наши поздравления с помолвкой, господин Пашкевич,— не без иронии произнесла г-жа Моску.

Егор поклонился, прикусив губу, чтобы сдержать себя, но распухшая рана живо напомнила ему только что пережитый кошмар. Он снова взглянул на Симину. Девочка не подавала виду, что замечает его состояние. Она смирно ждала знака занять свое место за столом. Кормилица что-то запаздывала с ужином.

Г-н Назарие и доктор тихо переговаривались на пороге веранды. Отдавая себе отчет, что поступает крайне невежливо, Егор все же оставил г-жу Моску одну с Симиной и подошел к ним. Разговор шел о Санде. При виде подошедшего Егора доктор смущенно осекся.

— Что же вы вернулись один? — спросил он после паузы с заговорщической улыбкой.— Где оставили свою даму?.. Или это была барышня?!

Егор смотрел на него, часто моргая, силясь понять вопрос.

— Даму, с которой вы гуляли по парку час назад,— несколько растерявшись, стал объяснять доктор.— Я возвращался с охоты и увидел вас, сам того не желая, конечно...

Он снова улыбнулся, перебегая глазами с Егора на профессора.

— Я действительно долго гулял по парку, но я гулял *один*...— тихо проговорил Егор.

— Может быть, это неделикатно с моей стороны...— счел нужным извиниться доктор.

— Отнюдь нет, сударь,— возразил Егор.— Но, смею вас уверить, я гулял в одиночестве. Впрочем, вокруг на десятки километров нет никакого другого поместья. А с семейством Моску, я полагаю, вы познакомились в полном составе.

Доктор, весь красный, слушал, не веря своим ушам. То г-н Назарие позволил себе сомнительно пошутить насчет состояния Санды, теперь — его снова хотят поднять на смех?

— Тем не менее я видел даму,— сказал он, надувшись.— Меня еще удивило издалека, как она изысканно и нарядно одета. Чересчур, пожалуй, изыскано для прогулки по парку...

Г-н Назарие вздрогнул и опустил глаза. Егор с неприкрытым волнением прислушивался к словам доктора.

— И если я поступил нескромно... вроде бы подглядывал... то только из-за наряда дамы...

Внезапно возникшая в их кругу Симина как нельзя более учтиво позвала мужчин к столу.

— А то молоко остынет,— объяснила она.

Озадаченные мужчины, переглядываясь, вошли в столовую.

XIII

Доктор очень устал и потому первым ушел в комнату, которую приготовила для него кормилица. Его утомила не только охота, но и эта странная трапеза в обществе явно больных, издерганных людей, невпопад ронявших реплики. И какой стыд — уплел самый большой кавал сыра и выхлебал две тарелки молока! Кроме него и г-жи Моску никто не проявил признаков аппетита. В жизни он не попадал на столь нескладный ужин — вот вам и господа богатые помещики! Однако хозяйка, встав из-за стола, тотчас же вручила ему конверт с тысячью лей. Хоть это по-барски.

Ему совсем не понравилась комната, куда его проводили,— из нее как будто только что выехал кто-то, кто прожил тут долго и наложил на все свою печать. В самой расстановке мебели чувствовалась рука, приверженная к определенному порядку, который ему претил. В комнате пахло увядшими цветами — наверняка какой-нибудь старый букет осыпался где-то за шкафом или за сундуком. Над кроватью красовалась картина, выцветшая и засиженная мухами. Картина, без сомнения, любимая этим кем-то, потому что вид у нее не был ни грустный, ни бесхозяйный,— она висела уверенно, составляя как бы целое с еще не остывшей постелью. «Отсюда уехали не далее как несколько дней назад,— определил доктор.— Очень удобно, меблировано и белье под рукой, поэтому меня сюда и законопатили».

Он быстро разделся, погасил лампу и забрался в постель. Ночь предстояла короткая — завтра чуть свет его разбудит прислуга, к первому поезду на Джурджу. А гости, какие чудаки! Но притом сама любезность. Вызвались завтра встать вместе с ним, проводить его на станцию. Даже не стали прощаться. Им, видите ли, доставит удовольствие его проводить. Гм!..

Он был уверен, что заснет мгновенно. Наискосок, в окне, стояла на карауле луна.

* * *

— Мы должны вместе встать на молитву,— сказал профессор, стараясь казаться спокойным.— Это нам поможет... — Он говорил, а сам заражался ужасом, который читал в глазах Егора.— Вы верите, что доктор *на самом деле* видел? Неужели возможны такие страсти господни?

Кто-то уже спрашивал это — давно, посреди поля, тоже ночью. Тогда было похолоднее, из-за ветра, но он не помнит такой неправдоподобной, такой непробиваемой тишины. Даже их шаги по комнате при зажженной лампе не могли ее всколыхнуть. Что-то тушило, как об войлок, все шумы.

— Давайте помолимся.— убеждал Егора г-н Назарие.— Это придаст нам храбрости.

Для храбрости Егор, не отвечая, плеснул себе в стакан еще коньяка. Он улыбался, но рука его дрожала, когда он ставил бутылку на стол.

— Если я и боюсь, то за Санду,— сказал он.— Может, нам лучше было бы вообще не ложиться в эту ночь, а караулить ее... Мне по крайней мере...

Г-н Назарие подошел к окну. Распахнутое, оно щедро впускало половодье ночи, тьму.

— Вы не закроете? — спросил профессор.— Собираетесь спать так?

Егор засмеялся.

— Я не боюсь открытых окон,— резко сказал он.— *Это* идет не оттуда...

Он показал рукой на парк под лунным небом.

— Даже луны, даже ее не боюсь,— добавил он.— Впрочем, она скоро сгинет.. Луна заходит после полуночи...

Как жестоко точит его ужас, г-н Назарие почувствовал по голосу. И слова падали как в забытьи. Или его разобрало от коньяка? Так скоро?

— Хотите, я сегодня лягу в вашей комнате? — предложил г-н Назарие.

Егор снова ответил смехом. Он бросился на кушетку, зажимая в пальцах дымящуюся сигарету. Голос его был нарочито груб теперь, тон нарочито развязен.

— Ну, нет. Я должен выдержать все один. Один, и будь что будет. Спать я вовсе не намерен... «А мое ли это решение, точно ли мое? — ворочалась тем временем в мозгу пугающая мысль.— Не *она* ли внушает мне, что говорить, что делать?»

Вдруг все вещи в комнате завертело каруселью, и он обхватил голову руками. Полузакрыв глаза, г-н Назарие начал молиться. Но слова вылетали из его уст словно наобум, обрывками, без связи, без смысла.

— Вспомнить бы все, как оно было, вспомнить бы...— повторял тем временем Егор.

Их прервал отдаленный глухой стук, и они, побелев, переглянулись. Кто-то споткнулся в недрах коридора и упал, налетев на мебель, сшиб ее с места. «У нас старушек не найдешь угрюмых — никогда...» — вдруг отчетливо пришло на память г-ну Назарие, и по глазам Егора он понял, что они думают об одном и том же.

— Кто-то из людей вернулся с виноградника,— произнес Егор, внятно, раздельно выговаривая каждое слово.

— Да, по звуку это шаги,— согласился г-н Назарие.

Они прислушались. Шаги раздавались все ближе, тяжелые, заплетающиеся. Как будто человек, который топал в темноте, волок на спине другого.

— Уж не случилось ли чего с Сандой?

Егор вскочил с места и бросился к двери. Открыв ее, он встал на пороге, сжимая кулаки. Несколько мгновений спустя появился доктор — в ночной сорочке и охотничьих ботинках. Он трясся от холода и волок в правой руке ружье.

— Я вас не обеспокою? — пробормотал он, заходя в комнату и поспешно захлопывая за собой дверь.— Мне не спалось, и я подумал, что...

Нещадно стуча ботинками, он доковылял до кровати и в изнеможении опустился на край.

— Не спалось,— повторил он,— вот я и подумал...

Он вдруг осознал комизм положения: ввалился в чужую комнату в одной сорочке и с ружьем — как бы он хотел, чтобы ружье каким-нибудь образом стало маленьким, незаметным или вовсе исчезло.

— Я не знал точно, где ваша комната,— клацая зубами, стал оправдываться он.— Вот и прихватил с собой ружье... чтобы не натыкаться на мебель... В коридоре такая темень...

— По крайней мере оно заряжено? — с иронией спросил Егор.

— Я с ним целый день проохотился,— обиделся доктор.— Это доброе ружье...

Он помолчал, глядя поочередно то на Егора, то на г-на Назарие.

— Прошу вас, продолжайте вашу беседу,— сказал он, видя в их глазах непроходящее недоумение.— Надеюсь, я вам не помешал?

— Нисколько,— сказал г-н Назарие.— Мы как раз собирались лечь спать.

— Вы спите в одной комнате? — встрепенулся доктор, таращась на него с испугом и в то же время с завистью.

— О нет, это комната господина Пашкевича. Самая лучшая в доме, с балконом,— ответил г-н Назарие.

— И кровать тут какая хорошая, отличнейшая кровать,— прошептал доктор, жадно приглядываясь к искусной выделке дерева и с трудом отводя от нее глаза.

Егор налил в стакан коньяка.

— Чтобы вы не простудились,— мягко сказал он, протягивая доктору стакан.

Тот выпил залпом. Жгучее тепло взбодрило его, он уверенней оперся о ружейный ствол. Насколько светлей и надежней в этой комнате... И кровать тут наверняка под тобой не трясется, и мебель не сдвигается с места, и пол не колышется от лунных лучей. Да и луна не подкатывает к самому окну, и ночных бабочек не больше, чем надо...

— Удивительно, как у меня весь сон прошел...

Усталость, правда, давала о себе знать. Но доктор был уверен, что если закроет глаза, то снова под ним забьется в ознобе кровать, задрожат мелкой дрожью подушки — он подозревал, что наваждение поджидает его, стоит ему вернуться в *ту* комнату. Поджидает это колыхание во сне, этот ужас, который разбудил его, как будто он застал под своим матрацем огромную ручищу, заползшую туда, чтобы раскачивать кровать...

— Надеюсь, я вас не обеспокоил,— повторил он, отчаянно вцепляясь в ружье.

Что бы он без него делал, как преодолел бы один, безоружный, этот путь по бесконечному, пустому и темному коридору?..

— Нас тоже сегодняшняя ночь не слишком располагает ко сну,— сказал Егор.— Мы рады принять вас в компанию.

— Сколько сейчас может быть времени? — спросил доктор.

— Четверть двенадцатого,— с улыбкой доложил Егор точное время.

— А ведь мне так рано вставать,— простонал доктор.— Станция далеко?

— В шести километрах. Надеюсь, вы не собираетесь отправиться туда тотчас же?

Доктор, не отвечая, еще раз с завистью оглядел кровать, потом встал и прошелся по комнате.

— По правде говоря, меня больше не клонит ко сну,— пробубнил он, не поднимая глаз.— И мне совсем не нравится комната, которую мне отвели... Она как-то на отшибе... И все там такое ветхое — мебель скрипит... только задремлешь, а она...

Егор посмотрел на профессора, но тот, глядя мимо, предложил доктору:

— Если хотите, можете лечь спать в моей комнате.

— А вы? Останетесь здесь?

— Нет, пойду с вами. У меня там две кровати...

Просияв от счастья, доктор бросился к нему.

— У нас к тому же ружье, так что вы можете не бояться,— взахлеб проговорил он.— Я положу его рядом... Лишь бы только заснуть,— добавил он озабоченно,— а то что-то весь сон как рукой...

* * *

На пороге Егор спросил его:

— Между нами, как вы оцениваете состояние Санды?

Доктор заморгал.

— Ей осталось, по-видимому, недолго,— брякнул он не подумав.

— Она моя невеста,— сурово напомнил Егор, глядя ему в глаза.

— Ах да,— залепетал доктор.— Да, да, конечно, будем надеяться, может быть, все же...

Егор долго простоял у двери, слушая, как удаляются их шаги. Каким чудом беспокойство вдруг отпустило его? Он был тих и ясен, неустрашим и могуч. Сунув руки в карманы, он прошелся по комнате. Скоро полночь, припомнил он. Но час не имел значения, никакого значения не имели эти бабкины-прабабкины суеверия... Только надежда и вера, только любовь к Санде...

Все шумы стихли, стихли шаги. Луна зашла за деревья парка. Егор чувствовал свое полное одиночество, но теперь это укрепляло, это придавало храбрости. «Только бы не заснуть,— твердил он себе.— Или, на худой конец, быстро проснуться...» Он хлопнул в ладоши. Нет, он не спал. Вот горит лампа, вот темнота входит в окно, вот стул и стол и почти допитая бутылка коньяка. Все предметы выглядят как обычно, все на местах. Точно так же, как днем... точно так же, как во сне...

Он снова стал мерить комнату широкими, ровными шагами. «Надо будет сразу проснуться,— настраивал он себя.— Если я на самом деле засну, не смогу же я не проснуться. Услышу ее голос, вдохну фиалковые духи — и проснусь».

Он несколько раз прошел мимо двери, не зная, запирать ее или нет. «Пусть будет так, открытой. Как мне было велено во сне. Если моя любовь сильнее, если...— он хотел продолжить,— если мне помогут бог и Пречистая Матерь...» — но не сумел закрепиться до конца в своей надежде, своей опоре. Рассудок на долю секунды затмился. Ему почудилось, что он силится проснуться. Он вытянул руки — вот они, только чуть дрожат. Он не спит. «Сегодня все будет *по-другому*...»

Решено: *он не запрет дверь*. Только окно закроет. От ночной свежести. От холода.

С каким спокойным сердцем сел он за стол, как вольно оперся подбородком в ладони, глядя на дверь. Лоб его был чуть нахмурен, но глаза лучились молодой силой.

XIV

Время тянулось невероятно медленно. Егор вдруг заметил, что его сигарета догорела на холодном краю пепельницы. Что он делал с тех пор, как безотчетно зажег ее, где витал?.. Лампа слегка коптила, огонь подрагивал, как от чужого, неуловимого дыхания. И все же в комнате никого не было. *Еще* не было. Ничего не изменилось вокруг: то же оцепенение, тот же избыток пространства. Егор обнаружил, что сидит за столом — неподвижно, без мыслей. Спокойствие уступило место всепоглощающему безразличию. Его не удивило бы сейчас никакое чудо: так странен был сон, в котором он очнулся,— словно на перекрестке сновидений множества людей, чье присутствие рядом только угадываешь, не видя...

Он с усилием встал и прикрутил фитиль у лампы. Ему показалось, что комната выстужена, но холод существовал как бы сам по себе, не касаясь его. Он проверил окно — закрыто — и на минуту прижался лбом к стеклу, глядя наружу, в ночь. Неясный звук донесся вдруг откуда-то из недр дома. Егор отвернулся от окна, напряженно прислушался. Стон ли это или скрипнула половица под чьей-то ногой? «Не запирай дверь на ночь»,— так сказала Симина. «Запирай не запирай, будто *та* не войдет как угодно: через окно, через сон... И все-таки это кто-то застонал в забытьи. Господин Назарие, вероятно, а еще вероятнее — доктор».

Он вернулся за стол. «Что же обманывать себя, что себе самому отводить глаза? Это ее шаги, никуда не денешься. Никуда». Потрескивание и поскрипывание перешло в звук легких, быстрых шагов, приближающихся из глубин коридора. «Только бы проснуться»,— отчаянно подумал Егор. И это снова был, он знал, самообман, он просто тешил себя надеждой, что спит, что все, с ним происходящее,— не более чем сон.

Пришло время пожалеть, что он до сих пор бездействовал, что никак не подготовился, а просто бессмысленно ждал. Теперь оставалось только загнанно следить, как несется вперед время: мгновенья пожирали друг друга, тяжелые, пустые, безвозвратные. Уже целую вечность шел гул шагов по коридору, но у него как будто заложило уши — он едва различал тихие, приглушенные шорохи.

Шаги замерли у двери. Потянулись минуты. «Кто-то стоит за дверью, стоит и выжидает. А может быть, дверь и правда заперта? — цеплялся как за соломинку Егор.— Может быть, я во сне ее запер? И она не посмеет войти?..»

И тут раздался короткий и быстрый стук в дверь — так стучит женщина, когда волнуется.

Страшно побледнев, Егор встал и, опираясь руками о крышку стола, уставился на дверь больными, горячечными глазами. Стук раздался снова, еще более нетерпеливый.

— Войдите! — не сказал, а простонал Егор.

В горле было сухо, груди не хватало воздуха. Дверь тихо отворилась и впустила девицу Кристину. Ее взгляд на мгновенье скрестился с Егоровым. Потом с великолепной улыбкой она оборотилась назад и повернула ключ в замке.

* * *

С открытыми в темноту глазами, лежа на спине и стараясь не дышать, г-н Назарие прислушивался к тому, что происходило в комнате. Неужели это доктор проснулся, встал и шарит теперь по столу, спотыкаясь предметы и тут же подхватывая их, чтобы не нашуметь? Стуки и звяки возникали и замирали, словно останавливаемые чьей-то рукой. Предметы будто вскрикивали с болезненной звонкостью, и тут же их душило войлоком, а после делалось еще тише, еще томительней.

Г-н Назарие слушал, стиснув зубы, не смея ни пошевельнуться, ни отереть со лба капли холодного пота. Он был мокрый как мышь — когда он успел так взмокнуть? И что происходит — может быть, доктору что-то приснилось и он бродит теперь по комнате не просыпаясь? А если очнется — что это будет за вопль, еще бы, в такой жуткой темноте со всех сторон!..

И тут совсем рядом с ним, за стеной, заскребло — огромный коготь неторопливо пробовал стену в разных местах, как бы пытался процарапать ся насквозь. Г-н Назарие сорвался с постели и, одним прыжком выскочив на середину комнаты, налетел на кого-то, неподвижно стоящего. Доктор — это был он — отчаянно взвизгнул.

— Что вы здесь делаете? — с трудом выговорил г-н Назарие.

— Мне показалось, что кто-то ходит,— продребезжал доктор.— Что кто-то царапается снаружи... Вы разве не слышали?

— Птица, наверное, залетела в соседнюю комнату,— неуверенно предположил профессор.

Он прекрасно понимал, что никакая это не птица. Коготь корябал стену с нажимом, для птиц непосильным.

— Что вы там искали на столе, доктор? — спросил он.— Вы меня напугали.

— Это не я,— возразил доктор.— Это духи, это злые духи...

Он весь дрожал. А ружье как назло осталось у кровати, и сейчас он ни за что не отошел бы от г-на Назарие, не выпустил бы его руку, за которую уцепился в страхе.

— У вас есть спички? — с натугой произнес г-н Назарие.

— Там, на столе, коробок...

Держась друг за друга, они пошли к столу, стараясь не спотыкаться о стулья. Г-н Назарие долго шарил в полной тьме на столе среди мелких предметов и когда наконец чиркнул спичкой, его руки тоже дрожали.

— Может, мы зря испугались,— прошептал он.

— Нет, я уверен, уверен,— горячо возразил доктор.

Левой рукой он скомкал рубаху на груди, у сердца, и застыл в судорожной позе, бормоча что-то нечленораздельное.

— Надо уходить,— выговорил он наконец отчетливо.— Я больше в этой комнате не останусь.

— До света недолго,— попытался успокоить его г-н Назарие.— Лучше подождать.

Они взглянули друг на друга, но это только прибавило им обоим страху.

— А до тех пор можем помолиться,— предложил г-н Назарие.

— Я только это и делаю,— признался доктор.— Не помогает. Они все равно шебаршатся.

Лампа горела слабым огнем. В наступившей полной тишине их дыхание казалось хрипами больного.

— Вы ничего не слышите? — вдруг спросил доктор.

Г-н Назарие резко обернулся. Звуки были другие, не те, что в комнате. Скорее это снаружи, в парке, поскрипывал гравий под чьей-то осторожной ногой. Г-н Назарие подошел к окну. Сначала ничего не было видно, бледный свет лампы мутил оконное стекло.

— И все же я слышу совершенно ясно,— прошептал доктор, присоединяясь к г-ну Назарие.

Скоро их глаза привыкли к темноте. В самом деле, на аллее виднелась чья-то маленькая фигурка.

— Симина! — узнал г-н Назарие.— Может быть, ее послали за нами? Что-нибудь с Сандой...

Однако девочка, обогнув большую клумбу, направилась в глубь парка. Она шла крадучись, почти невесомо. Доктор, онемев, провожал ее глазами.

— Какого дьявола она гуляет ночью одна? — с волнением проговорил г-н Назарие.— Боюсь, не случилось бы чего...

Он еще немного постоял у окна, пытаясь не потерять из виду Симину. Потом решительно принялся искать ботинки.

— Надо посмотреть, куда она пошла,— приговаривал он.— Узнать, что происходит.

Он торопливо одевался. Доктор смотрел на него ошалело, как бы силясь понять смысл его действий.

— Вы не идете? — спросил г-н Назарие.

Доктор закивал головой, влез в ботинки и накинул пальто прямо на ночную сорочку.

— Как это она нас не заметила? — удивлялся он.— Мы же были у окна, с лампой, а она шла как раз мимо...

Г-н Назарие прикрыл глаза.

— Неужели сомнамбула? — прошептал он с ужасом в голосе.— Не осознает, что делает... Мы должны догнать ее, пока не поздно!

* * *

Железный щелчок замка был последним живым звуком, который услышал Егор. Шаги девицы Кристины, хотя и вполне отчетливые, принадлежали иным пределам, и их тихая мелодическая дробь оплетала как наваждение.

Она вышла на середину комнаты, держа Егора взглядом. «Если бы я мог закрыть глаза»,— подумал он. «Не надо, друг мой любезный,— раздались в его голове слова, хотя Кристина молчала.— Не бойся же меня!..»

Мысли девицы Кристины всходили в его мозгу так ясно, что он без труда отличал их от своих. И страх был не так велик, как он ожидал; правда, ее приближение давило, воздух, которым он дышал, делался все реже и раскаленней, но при всем том ему удавалось оставаться на ногах, руки не дрожали и рассудок не мутился. Он не спускал глаз с Кристины, и ни одно движение ее воскового лица не ускользало от него. Фиалковый

запах заполнил всю комнату. По дыханию Кристины Егор видел, что и она взбудоражена — его близостью, предвкушением ласк. «Нам не нужен свет, любимый, погаси»,— раздалось в его мозгу. Но он не поддался, собрав все силы. Теперь можно было ожидать, что она сама задует лампу и подступит к нему. Однако Кристина так и стояла посреди комнаты, с трепетом глядя ему в глаза, отрываясь лишь затем, чтобы скользнуть взглядом по его сильным рукам, опирающимся о крышку стола. Егор сделал нечеловеческое усилие и опустился на стул. «А ведь ты раз признался, что хотел бы написать мой портрет,— услышал он мысль Кристины.— Написать так, как только ты умеешь...»

Она натянуто улыбнулась и пошла к его постели. Бесшумно, легко-легко присела на край и стала стягивать перчатки. Замедленность, мягкость, непередаваемая грация были в ее движениях. От прилива крови у Егора на миг остановилось сердце. «Почему ты мне не поможешь? — порозовев, спрашивала девица Кристина.— Какой же ты робкий любовник, Егор... И как гадко с твоей стороны сидеть так далеко от меня. Разве ты не хочешь увидеть меня всю?.. Я никого еще не подпускала к себе, мое сокровище... Но у тебя такие глаза... от них я потеряла голову, Егор! И что, что я могу дать им — только себя, только свою наготу. Ты знаешь, я белее снега, Егор, ты очень хорошо это знаешь!..»

Егор попытался сомкнуть веки, но они не слушались, и его глаза остались прикованы к девице Кристине. Неподражаемо царственным жестом она сняла шляпу и приложила ее к черным шелковым перчаткам на столике. Сквозь спокойную величавость ее повадки проскальзывала все же неясная тревога. «Ты никогда не поймешь, Егор, на что я иду ради тебя!.. На что осмелилась... Если бы ты только знал, что за кара меня ожидает... За любовь к смертному!» В ее улыбке проступила мучительная тоска, в глазах стояли слезы. Но Егор был здесь, рядом — и одним своим присутствием уничтожал все ее страхи, все тревоги. Она встала. Вот соскользнул с ее шеи воздушный шарф, и шея нежно заблистала белизной. Она повернулась в профиль. Ее грудь на бледном фоне стены круглилась триумфально и дерзко — грудь девственницы, крепкая и маленькая, высоко поднятая пластинами корсета.

«Сейчас она разденется»,— содрогнулся Егор. Вместе с ужасом и отвращением, навалившимися на него как бредовый сон, он почувствовал и укол больного вожделения, ядовитой неги. Это было столь же унизительно, сколь сладко, сладко до помрачения ума. Кровь закипела, забилась в висках. Фиалки пахли теперь куда более тонко и вкрадчиво, дурманя его. Над постелью стоял нескончаемый гул легких женских шорохов, шелест шелков, соскальзывающих с нежной кожи,— и наконец по теплому душистому дуновению он понял, что ее грудь вышла из тесноты одежд. «Я твой Лучафэр, горний дух...» — услышал Егор непроизнесенное вслух Кристиной. Улыбка ее была все так же горька. «Ты будешь мне невестой!» Лицо ее исказилось желанием, необузданным, смутным, глаза заволок иной огонь — томительный, палящий, тревожный. «Мне плохо одной, любовь моя,— услышал Егор.— Помоги же мне! Мне холодно... Приласкай меня, сядь рядом, возьми меня в объятия, Егор...»

Он взглянул, и в глазах у него потемнело. Медленно распуская шнуровку, туго сковывающую ее талию, девица Кристина высвобождала себя из шелков. «Сейчас она подойдет и обнимет меня вот этими голыми руками...» И все же из бездны отвращения волной поднималась сладостная отрава — его ждали ласки, какие ему и не снились...

«...Не хочу больше сниться,— подхватила девица Кристина.— Я устала от холода и бессмертия, Егор, любовь моя!..»

* * *

Санда ждала, прислонясь к косяку открытого окна. Еще немного подождать — и все кончится. Это будет так, как начиналось. Как во сне. Луна ушла глубоко вниз; мрак — кромешный. Никто не увидит, как она стоит тут. Никто не услышит крика. Все спят, даже ночные бабочки, даже комары...

Санда очнулась от звука шагов за спиной и покорно обернула назад голову. Сначала придет *она*, потом все остальные, тень за тенью...

— Ты почему встала среди ночи? — раздался голос г-жи Моску.

Как незаметно вошла ее мать. И, вероятно, по дороге из парка, потому что была одета и закутана в шаль.

— Я ждала,— проронила Санда.

— Она уже не придет,— сказала г-жа Моску.— Можешь ложиться.

Санда заметила, что мать сжимает в левой руке темный живой комочек. В другой раз ее вывернуло бы от отвращения и гадливости. Но сейчас она только тупо смотрела на материнский кулак, сжимавший маленькую тварь.

— Где ты это поймала? — еле сумела выговорить она.

— В гнезде,— возбужденно прошептала г-жа Моску.— Он еще не умеет летать...

— И так жестоко?..— простонала Санда.

Ей пришлось взять виски в ладони: так сразу навалились на нее все муки, все страхи самой первой бредовой ночи, страхи, смешанные с омерзением. Она замотала головой. Распахнутое окно щедро впускало в комнату промозглость ночи.

— Ложись! — с металлом в голосе приказала г-жа Моску.— Простудишься!

Дрожа, Санда вернулась в постель. Голова раскалывалась, жгло в висках.

— Не закрывай окно,— шепнула она матери.— Может, все-таки придет...

* * *

Дойдя до середины аллеи, г-н Назарие и доктор чуть не наткнулись на Симину, которая стояла спиной к ним, высматривая что-то за деревьями.

— Недалеко же она ушла, — прошептал доктор.— За столько-то времени...

Симина без всякой робости смотрела в темноту, не оборачиваясь на них. Не нарочно ли она подпустила их поближе, чтобы потом увести за собой?

— Она ничего не слышит,— сказал г-н Назарие.— Наверное, даже не отдает себе отчета, где она находится.

И тут девочка тронулась с места — уверенным, собранным шагом. Свернув с аллеи, она пошла напролом, не ища тропинки, не опасаясь мертвых веток, целящихся в нее.

— Как бы нам не заблудиться,— пробормотал доктор.

Г-н Назарие не ответил. Его словно отпустило после долгого приступа страха, и он очнулся больной и оглушенный, с ощущением, что ввязался в какое-то бессмысленное преследование, что его заманивают в ловушку, что еще немного — и он провалится в глубокую сырую яму.

— Я потерял ее из виду,— сказал доктор, останавливаясь среди деревьев.

«Ветки так хрустят под ногами,— думал он,— как можно нас не услышать?»

— Вот она! — сухо откликнулся г-н Назарие, указывая рукой на белую фигуру вдалеке, у кустов.

Вероятно, там начиналась другая, перекрестная аллея, потому что темнота теряла там свою плотность, а деревья выстраивались по линейке.

Доктор сделал в ту сторону несколько шагов, продираясь сквозь плешивые и кривые ветки, низко провисшие, словно под невидимой тяжестью, и вперил взгляд в белую фигуру.

— У меня хорошие глаза,— прошептал он, и ужас был в его голосе.— Это не она.

Тогда и г-н Назарие заметил, что фигура возле кустов слегка колышет-

ся и ее руки вздымаются, как будто зовут кого-то, им невидимого, издалека. Конечно, какая там Симина! Он оцепенел, дух перехватило. Фигура была не человеческая. Скорее она напоминала его давешние видения — бесплотность, неестественное колыхание пустых одежд.

— Вернемтесь! — услышал он осипший голос доктора.

И тут мимо них прошла Симина. Г-н Назарие догадался по ее широко раскрытым глазам, по испугу во взгляде, который она бросила на них искоса, по крепко сжатым губам, что она пытается исправить свою оплошность. Вероятно, она считала ту аллею вполне надежным местом, где не встретишь чужих, и теперь, растерявшись при виде гостей, хотела увлечь их в противоположный конец парка. Итак, миновав их, она быстрым, сосредоточенным шагом направилась к северным воротам. Доктор сорвался было с места, чтобы бежать за ней, но г-н Назарие удержал его за руку.

— Сначала посмотрим, что *там*,— сказал он решительно.

Осторожно ступая, они пошли к перекрестной аллее. Фигура исчезла. То ли пустилась вслед за Симиной, то ли ее просто скрыли кусты. Г-ну Назарие стало казаться, что он уже переживал это приключение, что когда-то давно уже преследовал среди неподвижных деревьев существо с мягкими тряпичными движениями.

— Скрылось,— прошептал доктор.— Я по крайней мере ничего не вижу...

Зато г-н Назарие снова заметил в нескольких шагах от себя Симину. Прижавшись спиной к стволу дерева, она в отчаянии смотрела на приближение мужчин. Перехватив взгляд г-на Назарие, девочка попыталась, как и раньше, подчинить его своему внушению, удержать на месте, сломить его волю, но г-н Назарие не поддался и, твердо пройдя мимо, увлек доктора на обочину аллеи.

— Стойте и не двигайтесь! — приказал он.

Наискосок от них, посреди аллеи, виднелся рыдван допотопного образца, старая, потрепанная помещичья коляска, запряженная парой сонных лошадей. Кучер в белесом, вылинявшем от дождей зипуне и потертой кожаной шапке уснул на козлах. Похоже было, что он приготовился к долгому ожиданию, так основательно он спал, даже не подрагивая во сне. И лошади как будто соскользнули в такой же мертвый сон, неподвижный, бездыханный. Как темные изваяния, застыли они в упряжке и оцепенело ждали.

У доктора глаза вылезли из орбит, он снова уцепился обеими руками за г-на Назарие, свистящим шепотом спрашивая:

— Видите? Видите?

Г-н Назарие кивнул.

— Они живые? — вопрошал доктор.— Или нам блазнятся?

В эту минуту фигура, которая на время скрылась, вышла прямо на них. Это был старик изможденного вида, со впалыми щеками, одетый, как одевались в старые времена дворовые люди. Он проколыхался мимо, как будто не замечая их, глядя под ноги. Но г-н Назарие почувствовал, что тот *знает* об их присутствии в непосредственной близости от себя — он уловил момент, когда старик зыркнул на них стеклянными, усталыми, больными глазами. Доктор заслонил глаза ладонью, рванулся было прочь, но пожатие холодной маленькой руки парализовало его. Симина!

XV

Девица Кристина ждала, обнажив грудь, распустив волосы. «Егор, ты унижаешь меня! — услышал он ее мысль. Погаси лампу, иди ко мне!» Приказ звучал в мозгу, в кровь проникал ее манящий яд, и сопротивляться было выше человеческих сил. «Если она меня поцелует, я пропал»,— мелькнула мысль. Но в то же время он чувствовал, как овладевает им наваждение, как он хочет эту плоть, такую живую и сулящую такую ярость

содроганий. Под натиском ее зова Егор против воли шагнул к постели. Его шатало, с дьявольской четкостью он понимал, что гибнет, чувствовал, как захлестывает его сквозь тошноту вожделение. Шаг, еще шаг...

Прямо перед ним раскрылись губы Кристины. Когда же он успел подойти так близко? Он протянул руки и обнял лилейные плечи. И тогда его обожгло — сразу и льдом, и пламенем — так нещадно, что он рухнул на постель. Было нестерпимым прикосновение к этому не имеющему себе подобия огню, прикосновение к тому, чего нельзя, невозможно коснуться... Но губы Кристины уже искали его — и снова, как ожог, первая секунда отозвалась только пронзительной болью во всем теле. Потом сладкая отрава просочилась в его кровь. Больше противиться он не мог. Их дыхания смешались, и он отдал свои губы на сожжение ее губам, во власть мучительного, больного блаженства. Восторг был таким всепоглощающим, что у Егора слезы навернулись на глаза, ему казалось, у него расходятся швы черепа, размягчаются кости, и вся его плоть содрогнулась в великолепии спазма.

Кристина откинула голову назад и посмотрела на него сквозь ресницы. «Как ты хорош, Егор!» Она провела рукой по его волосам, потом тихонько пригнула его лицо к своей маленькой, затрепетавшей груди. Егору показалось, что он слышит прямо над ухом текучий протяжный голос:

Аральд, склонить не хочешь ко мне на грудь чело?
Ты, черноглазый бог мой... О! Дивные глаза...
Тебе на шею локон спущу я, как лоза...
И мы в раю, любимый, счастливее нельзя,
И в ночь очей смотреться убийственно светло! [1]...

Голос не походил на Кристинин, каким она говорила во сне; ни на тот ее неслышный голос, каким она подчиняла себе его мысли. Нет, кто-то третий читал рядом с ними эти стихи, смутно напомнившие Егору лицейские времена, минуту острого одиночества в осеннюю ночь. «А у тебя какие глаза, Егор?» — Кристина приподняла его голову своими маленькими руками, взглянула пристально и лукаво. «Ты, черноглазый бог мой!.. Они у тебя — фиалковые, отчаянные... Сколько женщин отражалось в них, а, Егор?! Как бы я растопила их лед губами, суженый мой! Почему ты не дождался меня, почему не хотел любить меня одну?!»

Егора трясло, но то был уже не страх, а нетерпение тела, сгорающего в предвкушении небывалых ласк, и чем унизительнее душило его вожделение, тем неистовее бушевала плоть. Рот Кристины имел вкус запретного плода, вкус недозволенных, упоительных, бесовских грез. Но ни в какой самой сатанинской грезе яд и роса не соседствовали так тесно. Объятия Кристины пронзали Егора остротой самых темных радостей и причащали к небесам, растворяли во всем и вся. Инцест, переступание черты, безумие — любовница, сестра, ангел... все сплеталось и тасовалось от близости ее плоти, пылающей и все же безжизненной.

— Кристина, я сплю? — глухо прошептал он с помутившимся взглядом.

Девица Кристина улыбнулась ему. Но роса ее губ не дрогнула, хотя Егор ясно услышал ответ:

«...Что, как не греза духа, есть мир?..»

«Да, да,— мысленно соглашался Егор.— Она права. Я грежу. И никто не принудит меня проснуться».

«Говори со мной, Егор! — раздался беззвучный приказ.— Какая боль, какая пытка — твой голос, как бередит он душу... Но я не могу без него!»

— Что тебе сказать, Кристина? — в изнеможении спросил Егор.

Зачем она приблизила его к своей груди, а сама заставляет говорить, изматывая его, оттягивая полноту объятий? Зачем так нетерпеливо звала его и приводила в беспорядок одежды, а теперь словно забыла и про свет,

[1] Строфа из поэмы Эминеску «Вурдалаки».

который мешал ей, и про свою роль соблазнительницы, и про его неподатливость.

— Что тебе сказать? — повторил он, глядя ей в глаза.— Ты мертвая или просто мне снишься?

Лицо девицы Кристины безнадежно угасло. Она не плакала, но глаза ее разом потеряли блеск, заволоклись пеленой. Улыбка стала принужденной, а с губ отлетело ядотворное ароматное веяние, так взбудоражившее его чувственность.

«Почему ты все время об этом, Егор, любовь моя? — услышал он ее мысль.— Тебе так нужно подтверждение, что я мертвая, а ты смертный?.. Если бы ты мог остаться со мной, если бы мог быть только моим — какое бы чудо исполнилось!»

— Но вот же, я люблю тебя,— простонал Егор.— Я не хотел любить тебя сначала, я тебя боялся! А теперь люблю! Что ты дала мне выпить, Кристина? Какое зелье я отведал с твоих губ?!

Как будто морок вдруг обуял его. Отрава разошлась по крови, проникла в мозг и в речи. Он заговорил в беспамятстве, клонясь к груди девицы Кристины, шепча и целуя, судорожно ища снежное тело, в котором хотел потерять себя.

Кристина улыбнулась. «Так, любимый, так, говори мне страстные слова, говори, что ты без ума от моей наготы, глядись в мои глаза и забудь про все!..»

— Дай мне поцелуй! — вне себя прошептал Егор.

И тогда его еще раз опалило тем нездешним блаженством, которое давали ее губы. Проваливаясь в пропасть, лишаясь чувств, он зажмурился. Ее мысль приказала: «Раздень меня, Егор! Ты, сам, раздень меня!..» И он погрузил пальцы в точащие яд шелка. Пальцы горели, как будто он перебирал льдинки. Сердце бешено стучало под напором крови. Желание накатило слепо и безумно, не желание — угар, горячка, дьявольский соблазн распасться, растаять в последнем спазме. Тело Кристины отвечало дрожью его чутким пальцам. Но при всем том ни дыхания, ни слабейшего вздоха он не мог уловить на ее губах, полураскрытых и влажных. Эта плоть жила по иным меркам, замкнутая сама в себе, безуханно, безгласно.

«Кто тебя научил ласкать, залетный мой? — звучало в его голове.— Откуда у тебя такие жгучие руки, такой смертельный поцелуй?» Распустив на ней корсет, Егор провел пальцами вдоль безропотной спины — и вдруг в ужасе замер, как будто очнулся на краю гнилого болота, еле удержавшись, чтобы не упасть. Кристина взглянула долгим, вопросительным взглядом, но Егор не поднял на нее глаз. Его пальцы наткнулись на влажную теплую рану, *единственное теплое место* на неестественном теле Кристины. Зачарованное скольжение оборвалось, рука отдернулась, угодив в кровь. Рана была настолько свежая, словно только что, считанные минуты назад, открылась. Она обильно кровоточила. Но почему же тогда кровь не натекла за корсет, не залила платье?!

Он поднялся, шатаясь, обхватив голову руками. Ужас и омерзение снова пронизали его до мозга костей. «Слава богу, что это сон,— сказал он себе,— и что я вовремя проснулся». Но тут его взгляд упал на полуобнаженную, брошенную им девицу Кристину, и он услышал в мыслях: «Да, это моя рана, Егор! Туда попала пуля, туда выстрелил этот скот!..» Ее глаза снова заискрились. Тело, раскинувшееся на его постели, как будто излучало нездешний свет. Но мара рассеялась. Егор посмотрел на свою руку. Пальцы были в крови. Он застонал, обезумев, и отскочил в другой конец комнаты. «И ты, как все, Егор, ты, любовь моя! Боишься крови!.. Тебе дороже всего твоя жизнь, твой жребий смертного. Я за час любви пренебрегла самой страшной карой. А ты не можешь пренебречь капелькой крови. Все вы таковы, смертные, и ты тоже, Егор...»

Кристина встала с постели, гордая, скорбная, неласканная. Егор в панике смотрел на ее приближение.

— Ты мертвая, мертвая! — завопил он, не помня себя, забиваясь в угол, за стол.

Кристина спокойно сделала к нему несколько шагов. «Ты будешь искать меня всю жизнь, Егор, и никогда не найдешь! Ты истомишься, ты иссохнешь по мне... И умрешь молодым, унося в могилу вот эту прядь волос!.. На, храни ее!» Она наступала, захлестывая его фиалковым дурманом. Но он не протянул руки. Он не вынес бы еще раз прикосновения к этому бездыханному телу. Когда Кристина сама протянула ему прядь волос, Егор отчаянным рывком тряхнул стол. Лампа упала, разбившись с глухим звоном. Полыхнуло желтым пламенем. Резко запахло керосином. В язычках огня, побежавших по ковру, по полу, фигура Кристины, освещенная снизу, казалась еще зловещей. «Просыпаюсь! — радовался Егор.— Конец кошмару!» Он только не понимал, почему стоит, сгорбясь, вцепившись в крышку стола, и что это за огонь лижет балки, окружает его кровать, пожирает на ней белье. «Это был сон, девица Кристина приходила во сне»,— повторял он, пытаясь охватить разом столько сверхъестественных событий. Девицу Кристину тем временем как бы уносило от него. С презрением глядя ему в глаза, одной рукой она подбирала рассыпавшиеся по плечам волосы, другой запахивала шелка на груди. Только миг он видел ее такой.

Потом — он не уловил как — комната опустела.

Он остался один, посреди огня.

XVI

Г-н Назарие, доктор и Симина долго стояли вместе, глядя на рыдван со спящими лошадьми. Время замерло. Листья перестали шевелиться на ветках, затаились ночные птицы. Смолк человеческий разум. Г-н Назарие стоял без единой мысли, без воли. С той минуты как к ним подошла Симина, он не решался сделать ни шагу и так и стоял подле доктора, на которого тоже нашло оцепенение. Одна Симина напряженно ждала, и дыхание ее было взволнованным.

— Вы должны уйти,— не выдержала она наконец.— Она вот-вот вернется... И рассердится на меня, если увидит вас здесь...

Шепот Симины словно пробивался издалека. Мужчинам пришлось напрячь слух, чтобы расслышать.

— Она рассердится,— повторила Симина.

Г-н Назарие стал тереть глаза. Озадаченно посмотрел на своих спутников, потом снова на рыдван, на неподвижных лошадей, покорно поникнувших головами.

— Как же мы долго спали,— пробормотал он.

Симина усмехнулась, беря его под руку.

— Мы не спали,— сказала она тихо.— Мы все время стоим здесь и ждем ее...

— Да, так,— согласился профессор тоже чуть слышно и, по-видимому, не понимая, что говорит. Разум замер, и ничем было не рассуеверить его.

— Она и вас тоже позовет,— добавила Симина.— Придет и ваш черед. А сейчас она у Егора, сейчас она с ним...

Г-н Назарие содрогнулся. Но у него не было ни сил, ни мыслей. Чары Симины отуманивали, усыпляли даже волнение, даже страх.

— Кристинин кучер — из наших крестьян,— прошептала Симина, указывая рукой.— Вы его не бойтесь, он добрый.

— Я не боюсь,— послушно сказал г-н Назарие.

В ту же минуту ледяная игла кольнула его под левую лопатку, и от этой боли он в страхе очнулся. Сразу стало холодно, его забил озноб. С другого конца аллеи быстрым шагом к ним приближалась разъяренная девица Кристина. Поравнявшись с людьми, она полоснула по ним угрожающим взглядом — кажется, она превратила бы их в ледяные столбы: так сверкали

ее глаза. Г-н Назарие отшатнулся, как от удара. Теперь он имел дело не с призраком из тумана и жути и не с гнетущим присутствием невидимого духа. Кристина пригвоздила их взглядом из пространства — не из сна. Он видел ее с ясностью, от которой можно было сойти с ума, в двух шагах от себя. Больше всего поражала ее походка, очень женская, стремительная и гневная. Девица Кристина забралась в рыдван, обеими руками собирая края шелков вокруг шеи. Платье на ней было в беспорядке, лиф распущен. Длинная черная перчатка соскользнула по ступеням коляски на гравий аллеи.

Симина первая заторопилась к рыдвану, не спуская с тетушки преданных глаз. Ее бледное личико было копией перламутрового лица Кристины. Она простерла руки и замерла, не произнося ни слова. Чего она ждала — знака, поощрения, приказа? Девица Кристина улыбнулась ей очень горько, очень устало, глядя прямо в глаза, как будто одним взглядом сказала обо всем, что было,— и рыдван бесшумно тронулся, покачиваясь над землей, как тяжелое облако тумана. Спустя несколько минут он скрылся из виду.

Симина осталась стоять, удрученно потупясь. Г-н Назарие тяжело дышал. Доктор, по-прежнему не шевелясь, зачарованно уставился на черное пятно, видневшееся в нескольких метрах от них, посреди аллеи.

— Она обронила перчатку, — наконец сдавленно сказал он.

Симина встрепенулась, заволновалась, как будто решая, трогать или нет оброненное. Но доктор уже подскочил и, дрожа, подобрал с земли самую настоящую черную перчатку, слабо пахнущую фиалкой. Он держал ее на ладони, не понимая, откуда берутся эти токи огня и стужи, пронизывающие его. Симина, шагнув к нему, процедила:

— Вы зачем руками хватаете?

Подошел г-н Назарие, он тоже смотрел, оторопело, бессмысленно, с перекошенным от ужаса и непонимания лицом. Потом потянулся потрогать шелковую вещицу, выпавшую из сна. Но перчатка незаметно истлела на ладони доктора, как будто ее пожирал скрытый огонь, и, превратясь в горсточку старой, залежавшейся золы, грустно просыпалась на гравий в том месте, где проехал рыдван. Наклонив ладонь, доктор сонно смотрел на сыпучую пыльную струйку.

* * *

Огонь быстро распространялся по комнате. Уже занялся шкаф с одеждой, кровать и занавески. Задыхаясь от дыма, Егор все же долгое время тупо простоял на прежнем месте у стола. «Надо что-то делать»,— думалось ему, как сквозь сон. Взгляд упал на кувшин с водой; по горящему ковру он кое-как добрался до него и стал брызгать куда попало. Силы его покидали. Воды, которая нашлась в комнате, не хватило даже, чтобы погасить пол у двери, куда он отступил. Решив позвать на помощь, он нажал на ручку. Дверь оказалась запертой. «Я не запирал»,— похолодев, вспомнил он. Ужас, снова вернувшийся, придал ему силы. Он нащупал ключ в замке — железо было горячим, закоптелым; ключ повернулся тяжело, по дереву уже прошлись несколько языков огня, запятнав сажей желтое лаковое покрытие.

Егор побежал по коридору, зовя на помощь. Из открытой двери позади него вырывались тонкие струйки дыма, подсвеченные пламенем. Егор кричал, звал г-на Назарие. Но на всем протяжении коридора его встречала безответная тишина, которую он не мог себе объяснить. В кромешной тьме он не узнавал дверь профессора — иначе он заколотил бы в нее ногами, чтобы тот проснулся. Он бросился вниз и выскочил из дому, так никого и не встретив. Некоторое время потоптался во дворе, силясь понять, что с ним происходит, все еще надеясь проснуться, если это сон. Поднес к глазам руки, но даже их не разглядел в темноте. Вдруг неуловимо повеяло мертвыми цветами, слежавшимся в сундуке бельем, и, вскинув глаза, он увидел сильное пламя, вырвавшееся из его окна и быстро достигшее крыши. «Сгорят заживо!» — испуганно подумал он и снова закричал. Но когда на аллее, за его спиной, послышался шум шагов, он, не оборачиваясь, в панике

пустился бегом к флигелю, который занимало семейство Моску. Только сейчас он сообразил, в какой опасности Санда.

«Лишь бы не опоздать! — приговаривал он про себя.— Лишь бы меня не заметили...»

Он столько раз звал на помощь — и никто не проснулся; не залаяла ни одна собака; все так же пуст оставался двор и так же давила на него со всех сторон темная громада парка. Люди на виноградниках, сказала Симина. Но как же она-то его не услышала — или кормилица, или г-жа Моску? Он оглянулся. Черный воздух начал расцвечиваться заревом. Тени ближайших к дому акаций и кустов сирени дрожали под напором усталого, кровавого света. «Весь дом сгорит,— апатично подумал он.— Назарие, конечно, сбежал. Улепетнул с доктором, бросили меня одного, на верную гибель. Спасают шкуру».

Он тихо, с бесполезной осторожностью обошел хозяйский флигель. Скоро все проснутся, соберется народ с виноградников, набегут деревенские. Огонь горел далеко, бесшумно. Еще есть время, еще есть время спасти ее, взять на руки и бежать...

Вдруг он поймал на себе чей-то взгляд и, поискав глазами, увидел высоко в окне Санду. Она была в одной рубашке, без кровинки в лице, локти на подоконнике, подбородок в ладонях — как будто она устала ждать и ее одолевал сон. Егор вздрогнул, наткнувшись глазами на ее отсутствующее лицо. *«Она все знает...»*

— Ты? — тускло обронила Санда.— Мама сказала, что ты сегодня уже не придешь... Ночь...

Она смотрела прямо ему в глаза, но без всякого выражения, даже не удивляясь, что он вдруг оказался здесь в столь поздний час.

— Набрось что-нибудь на плечи и спускайся вниз, быстро,— сказал Егор.

Но Санда не двинулась с места. Только начала дрожать. Как будто до ее сознания дошел, наконец, холод ночи, промозглость тумана, сковавшего ей плечи, руки, шею.

— Нет, я не смогу, брр! — прошептала она, передернувшись.— Меня не заставляйте. Не могу!.. Мне их жалко...

Егор слушал в оторопи. Он понял, что Санда говорит не с ним, а с кем-то невидимым, кто, вероятно, стоит за его спиной и чей приход она в страхе подстерегала. Он подошел прямо под окно. Как жаль, что нельзя тут же взобраться по стене в ее комнату, укутать, взять на руки и унести отсюда силой...

— ...я давеча видела одного,— замирающим голосом говорила Санда.— Мама поймала в гнезде... Но я не смогу, мне жалко... Не выношу... Ни капли крови...

— С кем ты говоришь, Санда? — громко спросил Егор.— Кого ты ждешь здесь, среди ночи?..

Она осеклась, пристально и непонимающе вглядываясь в него.

Боясь отвести от нее глаза, словно она могла ускользнуть куда-нибудь, если он зазевается хоть на секунду, Егор вскинул руки и, цепляясь за камни стены, крикнул:

— Я пришел за тобой!

— Да, мама говорила,— пробормотала, дрожа, Санда.— Но мне страшно... Спуститься вниз? Прямо отсюда?!

Егор окаменел. Санда поднялась на цыпочки и налегла всем телом на подоконник. Вероятно, она была слишком слаба, чтобы сразу одолеть такую высоту. Тогда она повторила попытку, очень спокойно, но упрямо — как будто выполняла чей-то приказ, не подлежащий обсуждению.

— Что ты собираешься делать? — крикнул он.— Стой на месте! Не двигайся!..

Санда то ли не слышала, то ли до нее не доходил смысл слов. Ей удалось наконец забраться на подоконник. Теперь она ждала знака — или только прилива храбрости, чтобы прыгнуть. До земли было метра четыре.

не больше. Но из той позы, в которой, покачиваясь, стояла Санда, готовая нырнуть головой вниз, прыжок мог оказаться фатальным. Егор в ужасе кричал на нее, махал руками, чтобы она услышала его, опомнилась.

— Не бойтесь,— раздался рядом сухой голос.— Она упадет нам на руки. Тут невысоко.

Он повернул голову. Г-н Назарие, потный, помятый, стоял, не глядя на него, наблюдая за безотчетными телодвижениями Санды.

— Вы бы пошли к ней в комнату, может, успеете,— шепотом добавил г-н Назарие.— А мы посторожим тут. С доктором.

В самом деле, в нескольких шагах позади них, опершись о ружье, расположился среди роз доктор. Его, казалось, уже ничем нельзя было удивить — такая неестественная уверенность была в его фигуре, такое строгое, застывшее внимание на лице.

— Кто поджег? — спросил г-н Назарие, подходя под окно.

— Я,— ответил Егор.— Опрокинул керосиновую лампу. Во сне опрокинул, нечаянно... Мне привиделась девица Кристина...

Г-н Назарие дотронулся до его руки.

— Я тоже ее видел,— спокойно сказал он.— Там, в парке...

В эту секунду Санда мягко взмахнула руками, как раненая птица крылами, и без звука рухнула вниз. Она упала на грудь Егора, свалив его на землю. С минуту Егор пролежал, прижимая к себе оголившееся при падении сонное и холодное девичье тело. Санда была неподвижна, руки повисли.

— Надеюсь, вы не очень ушиблись,— сказал г-н Назарие, помогая оглушенному ударом Егору подняться.

Потом приложил ухо к сердцу упавшей.

— Ничего,— прошептал он.— Сердце пока бьется...

XVII

Пламя вздымалось теперь высоко над домом, освещая парк до верхушек акаций. Летала стая разбуженных ворон. Где-то далеко проснулись наконец и глухо залаяли собаки.

— Надо отнести ее в тепло,— сказал Егор, укутывая своим пиджаком плечи Санды.— Пока она еще очнется...

Встряска от падения пошла ему на пользу — он как будто бы снова обрел чувство реальности.

— А вещички-то наши все... тю-тю,— прошептал доктор, не сводя глаз с огня и напряженно пытаясь вспомнить, что он сделал со своим гонораром. Где эта тысяча лей — при нем, в кармане пальто, или осталась на столе вместе с часами и патронташем?

— Дом сгорит дотла,— мрачно сказал г-н Назарие.— Может, оно и к лучшему. Окаянное место...

В дальнем конце двора раздались первые человеческие голоса.

— Идут с виноградников.— Егор заторопился.— Надо скорее отнести Санду.

Он взял девушку на руки. Ее голова безвольно запрокинулась, лицо было слегка запачкано — то ли сажей, то ли грязью с Егоровой одежды. «Просто чудо, что она ничего не сломала, не вывихнула,— радовался Егор.— От боли она бы, конечно, закричала, пришла в себя. Или это опять обморок?..»

— Вы кто? — окликнул г-н Назарие темные фигуры, бегом приближавшиеся к ним со стороны дворовых построек.

— Свои, барин,— раздался голос.— Мартиновы, с виноградника.

— Пропащее дело,— вступил другой.— Пока подоспеют деревенские, все сгорит...

— Пусть его,— строго ответил г-н Назарие.— Пусть сгинет упырь.

Люди ошарашенно замерли. Переглянулись.

— Вы тоже видели? — робко спросил первый.— Это она была, покойная барышня?..

— Она, девица Кристина,— четко сказал Егор.— Это она опрокинула лампу,— добавил он уже на ходу, направляясь к заднему крыльцу флигеля.

Ему становилось жутко держать на руках бесчувственное молодое тело, биение сердца в котором почти не улавливалось.

Г-н Назарие остался с людьми.

— Оно и к лучшему,— говорил он.— Будет покончено с чертовщиной...

Народ прибывал со всех сторон. Сбившись в кучу поодаль от огня, люди стояли не двигаясь, ничего не предпринимая и только ахали. Из уст в уста передавалось сказанное Егором.

— У нас тоже скотина пала,— слышал г-н Назарие обращенное явно к нему.— Нынешней осенью — вся, и мелкая, и крупная...

— А ежели какой помрет из младенцев, как раз в упыря обернется...

Никто не подходил ближе к дому, никто ни о чем не спрашивал. Никто, кажется, не собирался тушить пожар. Теперь с треском рушились перекрытия и время от времени осыпались, в клубах дыма, потолки.

Г-н Назарие вдруг оказался один на один с толпой. Он не знал, что надо сказать этим поднятым с постели крестьянам, еще не отдышавшимся от бега. Не знал, надо ли просить их о чем-то, и его уже начинал разбирать страх от их числа, от их угрюмого и как будто все более зловещего молчания. Столбы пламени поднимались к небу так мощно, а колеблющаяся тень толпы распространилась так широко, что г-ну Назарие невольно пришла на ум мысль о крестьянском бунте. Только пока люди держались молча, думая свою суровую думу, и ничего не требовали, ничьей жизни. Разве что жизни девицы Кристины, а вернее, ее настоящей смерти, не наступившей тогда, давно, в большой смуте девятьсот седьмого, от пули управляющего...

Г-н Назарие торопливо пошел в дом вслед за Егором. В окна проникало теперь довольно света, чтобы свободно пройти по коридору. Дверь к Санде была открыта, Егор стоял на пороге.

— Не знаю, хорошо ли я сделал, что опять принес ее сюда,— сказал он.— Хочется надеяться, что она спит... Но может проснуться с минуты на минуту, и тогда мало ли что ей взбредет в голову...

— Надо ее постеречь,— предложил г-н Назарие.— Позовемте и доктора...

— Но у меня есть дело к людям...— задумчиво продолжал Егор.— Ваша помощь при этом мне тоже понадобится...

Он не знал, на что решиться. Снова вошел в комнату. Санда лежала по-прежнему неподвижно.

— Что же доктор не идет? — с раздражением сказал Егор.— Не могу понять, что с ней, почему сон такой тяжелый...

— Что доктор,— тихо заметил г-н Назарие.— Доктор, боюсь, тут не поможет.

* * *

Когда стали рушиться стены, народ подался назад. Можно было подумать, что горит нежилой дом: так безучастно они топтались перед ним прямо на клумбах с розами. Почти все молчали, словно на их глазах исполнялся наконец-то давний обет, столь долго и столь тщетно желанный, что в душах уже не осталось места для радости.

— Расступитесь! — прозвучал вдруг голос Егора.

Он как будто вырос и стоял, на голову возвышаясь над толпой. Лицо осунулось, глаза запали.

— Заклятье кто-нибудь умеет снимать, заговор от упыря кто знает? — спрашивал он направо и налево, пробивая себе путь в молчащей толпе.

Люди жались, пряча глаза.

— Это к бабкам надо...— сказал один, как-то странно жмурясь.

Егор не понял, то ли он ухмыляется, то ли подмигивает. Это был явно самый бойкий, самый храбрый из всех.

— А топоры у кого-нибудь найдутся? Или ножи? — прогремел Егор.— Сделаем вместе одно дело...

Слова попали в точку. Люди зашевелились, заволновались. Колоть, бить — вот на что у них чесались руки. Просто так смотреть на гибель в огне проклятого дома было мало.

— За мной! — крикнул Егор тем, кто первыми вышли из толпы.

Г-н Назарие подскочил к нему, схватил новоявленного атамана за руку, спросил, перепуганный:

— Что вы намерены делать?

С той минуты как Егор покинул комнату Санды, словно бы разгневавшись на ее непонятный обморок, с пеной у рта пытая всех встречных-поперечных, где спальня г-жи Моску, профессор не знал что и думать. Уж не сошел ли Егор с ума? Г-н Назарие не смел смотреть ему в глаза — таким диким блеском они горели.

— На что вам топор? — допытывался он, теребя Егора за рукав.

— Мне нужно железо,— отвечал тот. Все железное, что есть. Чем больше, тем лучше — против злых чар.

И хотя слова прозвучали ясно, отчетливо, все же Егор провел рукой по лбу, как будто отгоняя слишком страшное воспоминание, слишком свежий ужас. Затем размашисто пошел к дому, за ним гурьбой повалили крестьяне.

— С кем Санда? — на ходу спросил он у г-на Назарие.

— С доктором. И там еще две женщины из деревни,— ответил оробевший профессор.

Ему не нравились ни решительная, отчаянная походка Егора, ни клич, который тот бросил над окаменевшими головами толпы. Слишком быстро оживились крестьяне от этого клича. Сейчас, при пожаре, железо обретало смысл магического орудия, орудия мести. Но призвать людей взяться за ножи и повести их в барский дом!..

— Вы хотите впустить их всех в дом? — спросил г-н Назарие.

Крестьяне в нерешительности затоптались на пороге. Егор махнул рукой, чтобы они следовали за ним.

— Факелы нужны! Сделайте из чего придется, да побыстрее! — приказал он.

В доме было темно. Кто-то внес горящую ветку акации, но она сразу погасла, напустив едкого дыма. Егор метался в нетерпении. Он не желал искать лампу. Свет горел в одном месте дома — в комнате Санды, но сейчас он не пошел бы туда. Заметив в коридоре на окнах полотняные шторы, он указал на них людям.

— Вот это нельзя приспособить?

Тот, что все время то ли жмурился, то ли подмигивал, схватился за штору и, дернув, сорвал вместе с карнизом. Грохот падения стал как бы прологом к той утехе, которую обещал Егоров клич. Люди тяжело задышали, постепенно разъяряясь, еще не зная против кого.

— Смотри не подожги ничего! — строго предупредил Егор, видя, что его незнакомый товарищ уже зажигает факел.

— Это уж, барин, будьте покойны, присмотрим,— отвечал человек.

Он намотал кусок шторы на дубинку и поджег с одного конца. Кто-то еще тоже сделал факел, по его примеру, и поджег с такой же осторожностью. При слабом, колеблющемся свете от горящих и дымящихся тряпок Егор повел людей по коридору. Воздух был как в погребе, влажный и удушливый.

Профессор, забегая сбоку, попытался снова урезонить Егора, но поперхнулся дымом и закашлялся. Они шли мимо ряда дверей, и Егор смотрел внимательно, насупясь, пытаясь вспомнить, угадать нужную. В конце коридора он столкнулся лицом к лицу с перепуганной кормилицей. Она вытаращила на него свои мутные, сырые глаза.

— Что ты здесь делаешь? — грозно спросил Егор.

— Я барыню стерегу,— скрипучим голосом ответила женщина.— Неужто вы пришли весь двор поджечь?

Несмотря на страх во взгляде, голос ее выдавал злорадство и насмешку.

— Где госпожа Моску? — хладнокровно осведомился Егор.

Кормилица ткнула рукой в ближайшую дверь.

— У барышни...

— У Кристины в комнате, ты хочешь сказать? — уточнил Егор.

Почувствовав дыхание наступающей толпы, кормилица лишилась языка и только кивала. Егор повернулся к людям, приказал:

— Эту возьмите и не спускайте с нее глаз, она тоже не в себе. Но чтобы никто ее пальцем не тронул...

Он толкнул дверь в комнату Кристины, не постучав. Горела керосиновая лампа. Зловещим огоньком дрожала в углу лампада. Г-жа Моску встретила толпу, величественно стоя посреди комнаты. Егор на секунду замер, оробев от торжественной позы этой женщины с белым гордым лбом и ясными глазами.

— Вы пришли за землей? — произнесла г-жа Моску.— У нас больше нет земли...

Она смотрела сквозь Егора и обращалась прямо к людям, сгрудившимся за его спиной, к ожесточенным лицам, к глазам, раздразненным видом этой барской опочивальни, в которой давно уже никто не спал.

— ...я могла бы позвать жандармов,— продолжала г-жа Моску.— Я могла бы приказать слугам побить вас палками. Капитан Дарие из Джурджиу — мой хороший знакомый, я могла бы послать за ним, он привел бы сюда свой полк... Но я не хотела кровопролития. Если вы пришли за землей, я говорю вам: земли у нас нет. Землю у нас уже забрали...

Егор понимал, что г-жа Моску заговаривается, что ей мерещится крестьянский бунт, и он выставил руку, пытаясь остановить ее, боясь, как бы кто-нибудь из людей не потерял терпения, не сорвался. Пожар полыхал рядом, толпа с ножами и топорами перхала от чада самодельных факелов, но г-жу Моску было не удержать.

— Вы взбунтовали всю деревню и подожгли дом... Вы забыли, что у меня тоже есть дети...

Тут Егор почувствовал на себе чей-то взгляд, ледяной, беспощадный, убийственный. Поднял голову и встретился глазами с девицей Кристиной на портрете. Она больше не улыбалась ему. Полузакрыв веки, она пронзала его недоумением и жестоким укором. Егор вздрогнул и закусил губу. Потом вдруг бросился к ней, оттолкнув с дороги г-жу Моску. Та упала на постель Кристины и, трясясь, прошептала:

— Убить меня хотите?

Егор выхватил у кого-то из рук топор и, размахнувшись, рубанул по портрету. Ему показалось, что глаза девицы Кристины мигнули, грудь вздрогнула. И еще ему показалось, что у него отсохла рука и повисла, бесчувственная, от локтя. Однако минуту спустя он снова поднял топор на эту цветущую невинность в кружевах и лентах.

Он слышал отчаянные стоны г-жи Моску, но только неистовее закипала в нем кровь.

— Остановитесь, вы стену проломите,— кричал сзади г-н Назарие.

Егор обернулся: лоб в саже и крупных каплях пота, губы дрожат. Люди смотрели на него, распаляясь и крепясь из последних сил, потому что оскал разрубленного надвое портрета дразнил их. Барин пустил в ход железо, и теперь их тоже подмывало бить, крушить и топтать, испепелить эту барскую опочивальню на углях своей мести.

— За что вы ее убили? — раздался вдруг вопль г-жи Моску.— Она теперь вас всех задушит, всех!..

Егор, сдерживая дрожь, подошел к г-ну Назарие.

— Возьмите ее отсюда,— попросил он, указывая на постель, где распростерлась г-жа Моску.— И стерегите хорошенько...

Двое парней поспешили на помощь г-ну Назарие и вынесли за дверь бьющуюся г-жу Моску как раз в ту минуту, когда лампада зачадила и погасла.

— Это она и есть упырь — барышня! — прошептал кто-то от окна.

Вновь навалилась на Егора та лихорадка, что сливала для него сон с явью. Он схватился за голову руками, выронив топор, тут же кем-то подобранный. И вдруг в исступлении крикнул:

— Это — спальня девицы Кристины! Кто боится — уходи, а кто не боится, оставайся со мной! Разнесем все в щепы!

Он первый кинулся к столику подле кровати и обрушил на него кулаки. Потом яростно сбросил со стены раскромсанный портрет. Вслед за ним люди растеклись по комнате, круша топорами мебель, убранство и стены, разбивая окна...

— Смотрите не подожгите! — истошно кричал Егор.

Но его голоса никто уже не слышал. Молча, задыхаясь в дыму, в пыли от щебня, натыкаясь друг на друга, люди почти вслепую громили опочивальню девицы Кристины.

— Только не подожгите! — кричал Егор, пробираясь к выходу и защищая лицо руками от нечаянных ударов. Коридор был полон людьми.

XVIII

По дороге он остановился у одного из окон — взглянуть на пожар. Пламя грозило перекинуться на хозяйский флигель. Народа собиралось все больше и больше. «Подходят из соседних сел»,— отметил Егор. Возбуждение не оставляло его. Из Кристининой комнаты слышались удары топора. В коридоре густо сновали люди, наполняя воздух разгоряченным дыханием, запахом своих рубах, хмельным биением крови. «Лишь бы не начали грабить»,— содрогнувшись, подумал Егор.

Он с трудом добрался до комнаты Санды. Та по-прежнему бессильно лежала на подушках, бледная, с закрытыми глазами. Вокруг кровати теснилось много женщин. В углу Егор увидел доктора, сосредоточенно вцепившегося обеими руками в ружейный ствол. В изголовье у Санды старая бабка бубнила заговор:

...Вот он, красненький сморчок,
Кровушки хотел испить,
Жизнь младую погубить.
Жизнь тебе не погубить,
Кровушки тебе не пить.
Я иголкой заклятье сниму,
Я метлой его замету,
Я в осоку его зашвырну,
Я в Дунай его окуну.
С гуся вода,
С нашей Санды хвороба!

Санда словно бы услыхала свое имя из глубин сна, потому что заворочалась, заметалась на подушках. Старуха поймала ее руку и кольнула острием ножа. Девушка застонала. Егор закрыл глаза, зажал виски в ладонях. Откуда эти глухие, непонятные шумы, как будто что-то осыпается. Как будто кряхтит фундамент дома, как будто трещат, раскалываясь, огромные крылья. Сонный, смутный звон заполонил собой пространство. Сам воздух этой комнаты был давящий, а летаргия Санды так напоминала небытие, что Егор бросился к доктору и тряхнул его за плечо.

— Почему она никак не проснется?

Доктор смерил его долгим, укоризненным взглядом. Казалось, его удивляло, что Егор не понимает таких простых вещей.

— Вампир еще не сгинул,— тихо и веско произнес он.

Вошедший г-н Назарие метнулся к Егору.

— Подите к людям,— попросил он.— Они разбушевались, того и жди разнесут весь дом!

В самом деле, из коридора все ближе к ним подступали звуки ударов и разрушения. Время от времени среди этих низких глухих стуков звонко тенькало разбиваемое стекло.

— Остановите их! — продолжал г-н Назарие.— Они уже столько комнат разгромили!.. Вас привлекут к ответу!

Егор снова сжал виски в ладонях и закрыл глаза. В голове мутилось, воля слабела.

— Пусть, это даже лучше,— тяжело проговорил он.— Пусть все порушат.

Г-н Назарие схватил его за грудки и затряс — так некстати была сейчас эта слабость.

— Вы с ума сошли! — шипел он.— Вы не отдаете себе отчета в том, что делаете. Здесь же приданое Санды!

Егор с усилием встряхнулся. Нахмурив брови, сжав кулаки, он поспешил к людям.

— Все назад! — крикнул он.— Назад! Жандармы!

Он с трудом проложил себе дорогу почти до комнаты Кристины. Коридор был неузнаваем. Окна везде разбиты, мебель покорежена, стены — в выбоинах.

— Назад! Назад! — надрывался Егор.— Жандармы пришли! Полк жандармов!..

Егора никто не слушал. Погром затихал сам собой — распространилась весть, что умирает барынина старшая дочка, и люди, присмирев, стали отступать. Постепенно — по двое, по трое — они выбирались во двор, взлохмаченные, припорошенные штукатуркой, перепачканные сажей, и снова собирались в толпу, молчаливую, настороженную.

— Пойдемте со мной! — глухо позвал Егор г-на Назарие и, запрокинув голову к небу, добавил: — Эта ночь кончится когда-нибудь? Я уже не помню, когда видел дневной свет...

Однако заря приближалась, пока еще невидимая. Воздух стал особенно холоден и недвижим. Звезды поблекли в полыхании зарева. Егор взял у кого-то из рук керосиновую лампу и осторожно, чтобы не погасла на ходу, нес ее. Видя, что он решительно направляется в глубь парка, г-н Назарие испуганно спросил:

— Что вы задумали?

Ему было страшно удаляться от людей, от огня. Страшно, потому что затянувшийся обморок Санды все время напоминал ему о силе злых чар.

Егор не ответил. Он торопился к старому каретному сараю. Было очень темно, еще темнее от дрожащего, светящегося клубочка лампы. Огненный столб над усадьбой остался далеко позади. Когда Егор открыл ворота сарая и шагнул внутрь, г-н Назарие начал понимать, в чем дело, и похолодел, не смея поднять глаза. Егор устремился прямиком в дальний конец сарая. Коляска девицы Кристины стояла на своем месте как ни в чем не бывало.

— Эта? — спросил Егор, поднимая лампу, чтобы посветить г-ну Назарие.

Профессор кивнул побледнев. Он признал коляску, ту самую, ветхую и сонную, что несколько часов назад, на отдаленной аллее, поджидала легкую поступь девицы Кристины.

— ...и дверь была заперта... — улыбаясь, прошептал Егор.

Улыбка получилась вымученной, а голос прозвучал неверно, тоскливо. Г-н Назарие смотрел в землю.

— Уйдем отсюда,— сказал он.— Мало ли что там может случиться, в доме.

Но Егор мыслями был далеко. При свете коптящей лампы он смотрел на потертые кожаные подушки рыдвана и не мог оторваться. Выходит, *все правда, все было.* Девица Кристина приходила наяву... *она есть*...Он смотрел и словно видел это существо, не подчиненное законам природы, на сиденье коляски. Вот и фиалковые духи еще не развеялись...

— Уйдемте же, Егор! — нетерпеливо позвал г-н Назарие.

«Неужели все окажется явью, все до последнего?» — думал Егор, устало поникнув головой. Он вспомнил, как первый раз обнаружил рыдван девицы Кристины.

— Интересно,— сказал он вдруг.— Интересно, что нам еще ни разу не попалась на глаза Симина!

Они пошли назад. Г-н Назарие особенно спешил, боясь даже обернуться.

— Да, правда,— заметил он,— с тех пор как начался пожар, я ее не видел. Куда-нибудь забилась от страха...

— Я знаю, где ее искать,— снова улыбаясь, сказал Егор.— Знаю, где прячется маленькая колдунья...

И все же — какой тяжелый камень лег ему на сердце; словно он опять оказался совсем один, как проклятый, без надежды прорвать огненный круг ворожбы, умилостивить судьбу...

* * *

Доктор вышел из комнаты. Подле Санды остались только женщины и г-жа Моску, которую почтительно принесли сюда на руках крестьяне. Смешавшись с толпой во дворе, доктор стоял и смотрел на догорающий дом. Он ни о чем не думал и не мог бы даже сказать, в какой момент наступила эта приятная пустота в голове, это благостное изнеможение. Он видел, как Егор снова появился в толпе и куда-то позвал крестьян. Слов Егора доктор не слышал — только видел его вскинутые вверх руки, потемневшее лицо. Несколько человек пошли за ним, не слишком торопясь, держась кучно, глядя в землю. Пошел и доктор. Кто-то прихватил с собой факел. Егор нес в левой руке керосиновую лампу, в правой — железный посох.

— Я спущусь первый,— сказал он, приведя людей ко входу в подземелье.— Ждите здесь, пока я не крикну. Тогда спускайтесь тоже.

Г-н Назарие с воспаленными от бессонной ночи и волнения глазами вцепился в него, стараясь удержать.

— Вы с ума сошли, как можно туда одному?!

Егор рассеянно взглянул на него. «Откуда он берет силы верховодить?» — подумал г-н Назарие, угадав по Егоровым глазам, что тот страшно устал и почти невменяем.

— Вас я возьму,— сказал Егор, с трудом шевеля пересохшими губами.— Но запаситесь чем-нибудь железным... На случай, если придется защищаться,— добавил он чуть слышно, увлекая профессора вниз по ступеням.

Люди остались наверху. Сдерживая дыхание, они жались друг к другу, как бы удостоверяясь, что пока еще целы и невредимы.

Прежде чем потеряться в черной пасти подземелья, Егор бросил последний взгляд наверх. Далеко, на краю неба, темнота стала редеть.

— Скоро рассвет,— сказал Егор, обернувшись к г-ну Назарие, и улыбнулся.

Затем стал быстро спускаться по холодным ступеням, держа лампу прямо перед собой.

Г-н Назарие не отставал. Почувствовав под ногами влажный песок, он вздрогнул и попытался вглядеться в темноту. Ничего не было видно — только стены, вдоль которых они шли при дрожащем свете лампы. Егор без колебаний направился в самую глубину подземелья. Чем дальше они уходили, тем глуше становился шум пожара, рушащихся стен.

Тут, под землей, снова владела всем тишина.

— Страшно? — вдруг спросил Егор, целя лампой в лицо профессору.

Тот заморгал, ослепленный. «Что с ним? — подумал он.— Какое безумие он еще затевает?» И твердо сказал:

— Нет, мне не страшно, потому что при мне и железо, и крест. К тому же рассвет близко. И тогда уже ничего плохого не сможет случиться.

Егор, не возразив, сосредоточенно двинулся дальше, поигрывая железным посохом. Они вошли в кладовую. Егор с замиранием сердца узнавал дорогу. Через окошечко в потолке пробивался слабый красноватый отблеск. «Мы снова у пожара»,— подумал г-н Назарие. Однако наружные шумы почти не проникали сюда. Тяжелый свод, толстые стены душили звуки, умеряли голоса.

— Вы видите — *там?!* — шепотом спросил Егор, останавливаясь и указывая лампой на темный угол.

— Ничего не вижу,— отвечал г-н Назарие.

— И все-таки это — там,— повысив голос, сказал Егор и двинулся вперед широким, решительным шагом. Влажность и духота усилились. Низко, давяще нависли над головами древние своды.

...Симина лежала, распластавшись на мягкой земле, взрыхленной вокруг ее пальцами. Она, казалось, не слышала мужских шагов и не переменила застывшую позу плакальщицы. Егор задрожал, наклонясь над ее маленькой скорбной фигуркой.

— *Она* здесь, правда? — шепотом спросил он, беря девочку за плечо.

Та подняла голову, взглянула безучастно, не узнавая, и снова припала к земле, царапая, разрывая ее ногтями, напряженно прижимая к ней ухо. Руки у нее были изранены до крови, чулочки запачканы, платьице в пятнах от зеленого сока растений, которые она раздавила на бегу, пробираясь ночным парком.

— Напрасно ты ждешь ее, Симина,— резко сказал Егор.— Кристина уже умерла раз, давно, а сейчас умрет окончательно!..

Он яростно подхватил девочку с земли, встряхнул.

— Очнись! Кристина отправится сейчас в преисподнюю, гореть на адском огне!..

Странная вялость охватила его, когда он произнес эти слова. Девочка бессильно повисла у него на руках с остекленевшим, невидящим взглядом, с искусанными в кровь губами. Но рассудок Егора забил тревогу: «Надо решаться тотчас же, немедля. Была не была. Надо добыть спасение для всех...»

— Подержите ее и не забывайте про крестное знамение! — сказал он г-ну Назарие, передавая ему обмякшее тело девочки.

Г-н Назарие широко перекрестился и завел тихую молитву. Егор нагнулся над тем местом, где только что лежала Симина, сверля его глазами, как будто пытаясь пробить взглядом толщу земли, угадать, где она скрыла нечистое, окаянное сокровище. Потом размахнулся и что было силы всадил посох острием в землю. Капли холодного пота выступили у него на лбу.

— *Здесь* ее сердце, Симина?! — вскричал он не оборачиваясь.

Девочка, словно обезумев, забилась в руках профессора. Егор вытащил посох, вошедший в землю только до половины, и вонзил его чуть поодаль с удвоенной яростью.

— Здесь? — хрипло допытывался он.

Судорога прошла по телу Симины, глаза закатились. У Егора дрогнула рука. «Я попал»,— решил он и, зажмурясь, с воплем, всей своей тяжестью навалился на посох. Он чувствовал, как входит железо в живую плоть и как она сопротивляется ему. Его трясло: это медленное пронзание тянуло в бездну, топило в темноте безумия, в бреду. Как сквозь сон доносились до него крики Симины. Ему показалось, что г-н Назарие сделал движение остановить его, и тогда в полном исступлении он упал на колени, налегая на

посох, хотя железо поранило ему ладони до кости. Глубже, еще глубже, в самое его сердце, в средостение чертовщины...

Вдруг мучительный восторг, от которого перехватило дыхание, захлестнул его. Он с изумлением узнал стены своей комнаты, старинную кровать, бутылку коньяка на столике. Заблагоухали фиалки. То ли напев, то ли наговор зазвучал, как тогда:

...Мне больно от твоих очей,
Огромных, тяжких, жгучих...

Куда делись Симина и г-н Назарие, куда подевались низкие серые своды?.. Далекий-далекий голос со щемящей тоской позвал:

— Егор!.. Егор!..

Он обернулся. Никого. Он остался один, навеки один. Больше он никогда не увидит ее, никогда не вдохнет фиалковое веяние ее духов, и ее губам, знающим вкус крови, никогда уже не пить его дыхания... Он рухнул наземь. Снова мрак стал густым и холодным. Он чувствовал себя похороненным заживо — там, где никто его не найдет, где неоткуда ждать спасения...

Однако из каких-то других пространств к нему приближались человеческие шаги. Им предшествовала музыка, мелодия старого вальса, луч света. Кто-то спрашивал, низко склонясь над ним:

— Знаешь Раду Пражана? Взгляни!

Егор в страхе приподнял голову. Он опять кого-то изображает, этот Раду Пражан, и как нелепо! Теперь он был похож на г-на Назарие. Он не осмеливался подойти к Егору, не говорил ни слова — только смотрел ему в глаза, зовя взглядом, заклиная приблизиться, намекая на грозящую опасность. На руках он держал Симину с побелевшими губами, со спутанными, упавшими на лоб прядями волос. «Вот, она тоже умерла!» — казалось, говорили его взгляды.

Но, может быть, все это было обманом, маскировкой, чтобы его не узнали. Он, Пражан, тоже испытывал страх, безысходный страх, оттого и смотрел такими застывшими, немигающими глазами...

* * *

Очнувшись, Егор увидел вокруг множество людей. Мелькали факелы, топоры, дубинки. Перед ним из влажной земли торчал конец железного посоха. *«Значит, правда!»* — подумал он, страдальчески улыбаясь. Все было правдой. Он сам, собственной рукой, убил ее; а теперь — откуда ждать надежды, кому молиться и какое чудо в силах придвинуть к нему теплое бедро Кристины?!

— Вас наверх кличут,— услышал он незнакомый голос.— Барышня умирает.

Он поник головой не отвечая. Мыслей не было. Только одиночество. Как жребий, как рок, как судьба.

— Умерла...— прошептал чей-то еще голос.

Он почувствовал, что его берут под руки, поднимают. Снова, над самым ухом, прозвучало:

— Барышня умерла, Санда! Ступайте наверх, а то беда!

Чей это голос проник в его безмерное одиночество, в эту ночь, куда не было доступа никому, никаким человеческим звукам?!

Его вели под руки. Вокруг как по волшебству менялись комнаты. Сначала они прошли через большую бальную залу, освещенную канделябрами с позолотой и хрустальными подвесками. Элегантные пары — кавалеры во фраках, дамы с шелковыми веерами — на секунду останавливали танец, чтобы скользнуть по ним удивленным взглядом. Потом — через залу, где за столами с зеленым сукном незнакомые люди молча играли в карты. Они тоже недоуменно оборачивались — посмотреть, как его волочат под руки невидимые спутники... Вот начались ступени, ведущие в столовую со старинной мебелью. Остался один коридор... Но коридор впереди вдруг заклубился, и из голубоватых клубов дыма

вырвался огромный огненный столб. Егор зажмурился. *«Значит, правда»,*— напомнил он себе.

— Хозяйский флигель занялся! — услышал он голос и попытался оглянуться на того, кто все время говорил с ним. Но глаза встретили только крыло огня, без начала и без конца, и сомкнулись сами собой.

— Вот так и пропала барская фамилия...

Это был все тот же незнакомый голос, пробившийся к нему, минуя все заставы сновидения.

ДЕТЛЕФ ФОН ЛИЛИЕНКРОН

Чертовы заботы

Перевод с немецкого ЕВГ. РАЕВСКОГО

ДЕТЛЕФ ФОН ЛИЛИЕНКРОН (1844—1909) (наст. имя — барон Фридрих Адольф Аксель фон Детлеф) — видный немецкий поэт и прозаик, был очень популярен в начале века как «последний романтик». Потомственный военный, принимал участие во франко-прусской войне 1870—1871 гг. Помимо многочисленных сборников стихотворений, в которых преобладает жанр баллады, автор монументального поэтического эпоса «Погфред» (1896), автобиографического романа «Жизнь и ложь» (1908) и др. произведений. Творчество Лилиенкрона оказало влияние на немецкоязычную поэзию XX века (Рильке, Бенн). На русский язык Лилиенкрона переводили В. Шершеневич, В. Левик, Е. Витковский и др.

Был граф богач и самодур,
Он драл с крестьян по десять шкур —
И влип в лихое дело.
Я помню бабушкин рассказ,
Она внучат в вечерний час
Поразвлекать умела.

Являли гордость и красу
Дубы в помещичьем лесу,
Один — являл сугубо:
Он был по толщине таков,
Что шесть здоровых мужиков
Не обхватили б дуба.

И вот помещик как-то раз
Дает крестьянину наказ,
Понятный и короткий:
«Пойди-ка к дубу, ну а там
За час его сруби к чертям,
Не то пойдешь под плетки».

Узнав про эдакий оброк,
Крестьянин возопил, что в срок
Не выполнить такое!
На всё помещику плевать —
То ль почивать, то ль пировать
Ушел в свои покои.

Бедняк в лесу дрожит, один.
Но кто сей грозный господин,
Откуда он, о Небо?
«Чьего я зрю в тебе слугу?» —
«Я вырвать с корнем дуб могу,
Уж если в том потреба».

Листву зарницы обожгли,
Повержен дуб, лежит в пыли;
Поблизости готова
Телега с тройкой черных кляч —
«А ну-ка прямо к графу, вскачь,—
Пусть крепко держит слово!»

Три клячи потащили воз,
Топча копытами навоз,
Дорога долго длится,
Тяжел, видать, свистящий кнут,
И нравом сам изрядно крут
Загадочный возница.

Поводья в левой сжал руке,
Кнут — в правом, страшном кулаке,—
Но вид у пальцев странен:
Из них — убей Господь меня! —
Струятся капельки огня;
Дрожмя дрожит крестьянин.

За голову схватился граф,
Телегу с дубом увидав:
«Ведь мой, и не иначе!
Да кто ж его сюда припер?
Кто прикатил ко мне во двор?
Кто возчик, что за клячи?»

И молвил возчик: «Цыц, подлец!
Конь посредине — твой отец,
А поправей который —
Твой дед, а слева — прадед твой,
Вот так-то платят головой
Все трое, живодеры.

А сам я — черт, имей в виду!
Тебя, мерзавца, в пекле жду:
Как явишься — с разбегу
Начнешь работать на меня,—
Как славно будет четверня
Таскать мою телегу!»

РИЧАРД ХЬЮЗ

Незнакомец

РАССКАЗ

Перевод с английского В. ГОЛЫШЕВА

РИЧАРД ХЬЮЗ (1900—1976) — английский писатель-романист, новеллист, драматург. В классику английской прозы XX века вошли его романы «Сильный ветер на Ямайке» (1929), цикл романов «Удел человеческий», морская повесть «Наудачу» и др. Рассказ «Незнакомец» взят из сборника «Лучшие английские рассказы 1923 года».

I

Улица в Килфанте была так крута, что если несильно прыгнуть с верха деревни, то на землю опустишься только в самом низу; правда, можно ушибиться.

Каждый дом сидел на левом плече у соседа, по всей улице, так что печной дым миссис Джонс-Бакалейной тянуло в полуподвал миссис Джонс-Сапожной, а из ее верхних окон — в подвал почты, а из окна спаленки Почтовой Дочки — в окно Мясницкой Тети (парализованной и жившей внизу) и так далее, словно по дымоходу, до самого верха, где он коптил животы овцам, пасшимся на склоне холма.

Но этим не объяснить, почему в Килфант явился Незнакомец — разве из любопытства? — и что он делал в этой блюдущей субботу анабаптистской деревеньке, зная, по всей вероятности, что там недолго угодить в передрягу, и зачем вообще очутился так далеко от дома.

Мистер Уильямс был пастырем Килфанта и, наверное, тридцати миль окрест: такой толстый старик, что с трудом ходил между своими церквами. Лицо он имел тяжелое, глаза маленькие, но с мечтательностью, а в кармане всегда носил липкие сласти. Он был глух, как тетерев, и то ревел, как бык, то шептал, как влюбленный юноша. Рев его можно было услышать через долину. У него был один черный костюм с заплатами и один стихарь, каковой он иногда подвергал штопке. Жил он с того, что сдавал дом на лето, а когда билль об отделении церкви от государства отнял у него годовое жалованье в восемь фунтов, он стал прирабатывать стиркой: вы могли наблюдать, как он стоял перед домом, широко расставив ноги, погрузив могучие руки по локоть в пену, с полотенцем, пришпиленным к плечам, чтобы не выгорал пиджак, и ревом приветствовал каждого прохожего.

Килфант очень гордился малочисленностью своего прихода: в Уэльсе иметь много прихожан в деревне считается весьма зазорным. Они всегда мошенники, эти люди, которых изгнали из их церквей,— и хотя на рай рассчитывать не приходится, они надеются все же, что на том свете им будет не так неуютно, если они не откажутся вовсе от веры. Ходили в килфантскую церковь лишь три семьи, если не считать гувернантки сквайра. Мистер Уильямс терпеть не мог стихи, но проповеди его были — чистая поэзия; он обладал таким воображением, что когда размышлял об анатомии ангелов, вокруг его головы как будто появлялись непонятные

летающие предметы, а страстным ревом и шепотом своим он мог прикрепить Христа даже к полированному медному алтарному кресту.

Долго ли, коротко ли, женился он на барышне, которая играла на фисгармонии; но у нее была одна нога.

Она-то, Минни, и впустила Незнакомца. Однажды вечером они сидели в гостиной, и мистер Уильямс читал книгу проповедей, сильно углубившись в нее, чтобы забыть о своей потере: в тот день на его часовой цепочке открылся замок, и пропал золотой крестик, с которым он не расставался. Минни утверждала, что крестик висел на месте, когда они начали взбираться по улице; но фонаря у них не было; ветер же воем оглашал темноту, так что до утра искать не имело смысла, даже если крестик лежал у самого порога. Мистер Уильямс залпом прочел три проповеди и закрыл книгу. Можно только диву даваться, что человек, с такой жадностью читавший такие скучные поучения, вкладывал так много жара и так мало назиданий в свои собственные проповеди.

Он захлопнул книгу, громко вздохнул и, раздувая щеки, посмотрел с прищуром мимо подбородка на широченную грудь своей рубашки. Минни пошла убавить огонь в лампе — она всегда так делала, по причине бережливости, когда муж переставал читать,— и вдруг услышала голос во тьме, пронзительный и будто детский — простодушный, испуганный крик. Она отворила дверь и увидела на дороге свернувшееся калачиком тельце. Он него шел слабый, неровный голубоватый свет, и она сразу поняла, что явление это больше чем естественное. Она твердо поставила свою деревянную ногу на ступеньку, нагнулась, подхватила Незнакомца на руки и перенесла через порог. Он лежал и моргал, глядя на лампу: нелепое создание с неровными ушами и широким приплюснутым носом. Конечности у него были корявые, а кожица на суставах — желтая и нежная, как на змеином брюхе. У него были смятые крылья, тонкие, как пленка керосина на луже; даже в таком исковерканном виде их красота не могла ускользнуть от глаз. Видимо, он страдал от боли: на боку у него был глубокий крестовидный ожог, словно он наткнулся на раскаленную докрасна железку.

— Бедное создание,— сказал мистер Уильямс, повернув голову в кресле.— Кто это?

— Такого урода я в жизни не видела,— ответила Минни.— Может быть, это ангел — женщина не могла такого родить.

— Нам надо быть смиреннее,— возразил ее муж.— Кто мы такие, чтобы Бог посылал своих ангелов для нашего испытания?

— Но я-то думаю, что нет,— сказала Минни.— Посмотрим.

Она взяла книгу проповедей и углом тронула его лоб. Он пронзительно закричал от боли.

— Господи, прости мне мою жестокость! — воскликнула она.— Это наверное...

— Это незнакомец,— быстро закончил за нее мистер Уильямс.

Минни повернулась и посмотрела на него.

— Что будем делать? — крикнула она ему в ухо.— Ведь если приютим его, будем прокляты непременно. Мы не должны помогать врагам Божиим.

— Нас учат любить наших врагов,— прошептал мистер Уильямс.— А кто Богу враг, тот и нам враг.

— Но он не ведает благодарности,— сказала Минни.— Он отплатит нам злом за добро.

— Если творим добро в надежде на благодарность, нам уже воздалось,— взревел мистер Уильямс.

— Значит, ты оставишь его?

— Значит...— застонал старик,— я не знаю, что делать, ну совсем прямо.

Но гость сам разрешил их затруднение. Он подполз к камину и, усевшись на самые яркие угли, улыбнулся им, рот до ушей.

II

Так поселился чертенок в доме священника. Он был очень обаятельный и, когда крестовидный ожог немного зажил — ранка затянулась быстро под действием огня,— совсем воспрянул духом. Глядя в открытую дружелюбную мордочку, человек невольно забывал о карикатурной красоте фигуры. Жилец сразу привязался к старому священнику, да и тот к нему втайне чувствовал симпатию. В первую ночь он наладился за супругами в постель; мистеру Уильямсу пришлось захлопнуть и запереть дверь у него перед носом. Но не успели они войти, как увидели на филенке голубоватое свечение, а вскоре чертенок уже сидел на спинке кровати и с глубоким интересом наблюдал за тем, как Минни отстегивает деревянную ногу. Даже молитва — которую Минни прочла застенчивой скороговоркой, опасаясь причинить ему боль, - нисколько его не смутила. Когда крепко уснули, он снял с полки ее старую деревяшку, утащил в угол и что-то такое сделал. Потом лег в лужице лунного света, и утром, когда священник встрепенулся на кровати, он все еще крепко спал. Старик разбудил Минни, она выкарабкалась из постели, начала пристегивать ногу для приготовления завтрака; но тут произошло нечто чудесное: едва вставила она в кожаное гнездо свою натруженную культышку, как кожа превратилась в тело, и дерево превратилось в тело, и сделалась у нее самая изящная и соблазнительная нога из всех, когда-либо останавливавших взгляд мужчины; мало того, не успела она опомниться от удивления, а на ней чулок шелковый, на ней туфелька парижская с высоким каблуком. Она стала натягивать скатанный пестрый бумажный чулок на другую лодыжку, красную, толстую, и подумала, что такой пары ног никто на свете не видывал. Оглянулась виновато; но муж ее поместил лицо перед зеркалом и брился. Не заметил ничего. Она быстренько влезла в платье и спорхнула вниз по лестнице. Подняла шторы, подмела пол; новая нога действовала так, словно она с ней родилась; но стоило ей распахнуть дверь, чтобы вытрясти коврик, нога стала спотыкаться и волочиться, и началось в ней колотье, и стала она своевольно дергаться и лягаться. Минни сразу поняла причину: на мостовой, где она давеча нашла приблудного Незнакомца, валялся священников золотой крестик.

— Сомнения нет,— сказала про себя Минни,— откуда взялась эта нога.

Да, не было сомнения. Она доковыляла до мостовой и подобрала крестик; и тут же послышались шаги по булыжнику. Это был Тощий Ивен, почтальон. Первой ее мыслью было спрятать ногу — нога ведь требовала объяснений. Но нога не желала прятаться: бесстыжая выставила точеную лодыжку чуть не под нос Тощему Ивену. Ивен только начал приветливо: «Утро до...» — и ахнул; бедная Минни, сгорая со стыда, кинулась в дом, а чертова нога еще выкидывала по дороге кокетливые коленца.

Что́ рассказал Тощий односельчанам, мы можем только гадать; но что-то, видно, рассказал, иначе с какой бы стати потянулись к Минни в то утро гости? Первый пожаловал чуть ли не к завтраку; Незнакомец же тихо сидел на шестке и ковырял в зубах хвостиком. Минни не растерялась. Она подбежала к дровяному ящику, выхватила оттуда недоштопанную нижнюю юбку из красной фланели, завернула в нее Незнакомца, быстро запихнула в ящик и прерывающимся шепотом попросила лежать тихо. Лицо миссис Уильямс выражало мужественную покорность судьбе. Черт или не черт, она не собиралась отрекаться от гостя. Минни открыла дверь: там стояла миссис Джонс-Бакалейная.

— Доброе утро,— сказала она.— Я зашла узнать, вы не едете сегодня в Инислланбедрабахдойдретгерилан?

Она умолкла и принюхалась, потом снова принюхалась.

Ошибки быть не могло — где-то горела сера.

— Не едем,— ответила Минни.— Дела дома, осы просто жить не дают. Мистер Уильямс еле выкурил одно гнездо, а от них все равно спасу нет.

Миссис Джонс так и ахнула.

— Осы среди зимы?

— Я не сказала осы,— поправилась Минни.— Я сказала обои — доктор думает, что в них поселилась скарлатина, пришлось весь дом окуривать.

Слава богу, подумала Минни, что муж глухой. Он бы ей никогда не простил.

— Ой, что делается! — сказала миссис Джонс. Ее глаза привыкли к сумраку, и она увидела, что из ящика на нее смотрит плоская морда с желтыми глазами-бусинками.— А это что же у вас там, кошка, миссис Уильямс?

— Это свинья! — крикнула она с внезапным пылом, потому что нога выразила явное желание пинком выставить миссис Джонс за дверь.— У нее запал, и мы решили, что ей лучше побыть в доме.

— Ой, что делается! — опять сказала миссис Джонс.

Нога у Минни прямо дрожала, но она сумела с ней совладать. Миссис Джонс глядела мимо нее на свинью, словно не могла оторвать взгляд. И в самом деле, не могла: вдруг отлетела спиной вперед на середину мостовой, стремительно, как пуля, и, только тут освободившись, помчалась по улице, «словно черт за мной гнался», рассказывала она потом, а Незнакомец, завернутый в красную нижнюю юбку, сидел на подоконнике и дружелюбно улыбался ей вслед.

III

Проживи мистер Уильямс подольше, в деревне Килфант случились бы кое-какие странные события; однако он не прожил. Весь день в голове у него происходило жужжание, а вечером он забрался в постель, лег на спину и стал смотреть в потолок. Потолок сделался ярко-зеленым. Вскоре, так и не закрыв глаза, священник захрапел. Минни не заметила ничего необычного, а под утро он громко всхрапнул раз-другой и вовсе перестал.

Когда ему полегчало, он обнаружил, что душа его рассталась с телом. Она была не совсем такой, как он себе представлял, а оказалась довольно круглой и состояла из чего-то, похожего на яичный белок. Он осторожно взял ее на руки и стал парить; тело его исчезло. Немного погодя он заметил, что Незнакомец по-прежнему наблюдает за ним.

— Ты будешь проклят за это, даже сугубо проклят — за то, что приютил дьявола,— ведь ты богослужитель.— Незнакомец вздохнул.— Как тяжело,— невесело продолжал он,— даже чертям тяжело побеждать в себе доброе. Да, я очень стараюсь. Ох, стараюсь. Семена добра сидят в нас с самого Падения; как ни стараемся мы, они проклевываются.

Хоть вилами гони Природу,
Она свое берет.

Искушение вечно подстерегает нас; это долгая и трудная борьба — Сил Зла против Сил Добра. Но все же мы победим: Зло на нашей стороне, и мы неминуемо победим.— На лице его был восторг, ни с чем на свете не сравнимый по безобразию.

— Наконец-то,— продолжал он,— я совершил вполне безнравственное деяние, деяние, в котором добра нет ни капли — ни в побуждении, ни в результате. Ты будешь проклят, и Минни будет проклята, даже если поскачет в ад на дареной ноге. Но трудно это было, трудно.

Старик Уильямс отплыл в сторонку.

— Я грешный человек,— сказал он,— очень грешный человек. Я не заслужил Рая.

Черт поглядел на него с удивлением.

— Да нет, наоборот! — серьезно сказал он.— Совсем наоборот! Ты был истинным...

Он вдруг смолк. Уильямс ощутил очень неприятное соседство. Он

обернулся: позади него стоял кто-то высокий, с узкими поджатыми губами и слезящимися глазами и сразу же заговорил, быстро, будто вызубрил слова наизусть:

— Я официально требую эту душу.

— Официально,— нараспев ответил маленький черт,— она принадлежит мне.

— De qua causa? [1] — отчеканил ангел.

— De diabolo consortando [2],— пропел чертенок на еще более поганой латыни.

— Quae sit evidentia? [3]

— Tuos voco oculos ipsos [4].

— Quod vidi, vero, atque affirmo... Satis,— сказал ангел.— Tuumst [5].— И повернулся уходить.

— Постой! — крикнул вдруг Незнакомец, и злой его решимости как не бывало.— Постой! — крикнул он и быстро заговорил: — Я отступник, знаю, но нет больше мочи, мало во мне настоящей дьявольщины. Бери его, бери — не было в Уэльсе лучшего христианина, могу поклясться. Только за то и проклят — за чистое милосердие.

— О чем разговор? — раздраженно отрезал ангел.— Дело решенное — я отказываюсь от своих притязаний.

— И я! — взволнованно крикнул черт.— И я отказываюсь.

Ангел пожал крыльями.

— К чему этот спектакль? — сказал он.— Ни разу за всю мою службу не видел я, чтобы дьявол так скис и так забыл себя. Вы делаете себя посмешищем, сэр! Кроме того, если мы оба откажемся, ему некуда идти. Я умываю руки.

Он пожал крыльями и взмыл.

— Рай, или Ад, иль земля Уиппергинни,— пробормотал Уильямс, в изумлении своем вдруг обратясь к полузабытому Нэшу. Вдвоем смотрели они на прямую спину ангела, уносимого пурпурными крылами; Незнакомец показал нос ему вдогонку.

— Куда теперь? — спросил священник.

— Теперь куда? В Рай! Подождем, пока скроется из виду.

Он повернулся и подмигнул Уильямсу, отставя босую ногу так, словно собирался сунуть руку в карман.

— Давай-ка за мной,— сказал он.— Я знаю, как тебя там пристроить!

[1] По какой причине? (*лат.*)
[2] Сообщничество с дьяволом (*лат.*)
[3] Какие доказательства? (*лат.*)
[4] Посмотри своими глазами *(лат.)*
[5] Увидел, убедился и подтверждаю... Довольно... Твой он (*лат.*)

ЭНН БРИДЖ

«Бьюик»

РАССКАЗ

Перевод с английского ОЛЬГИ ВАРШАВЕР

ЭНН БРИДЖ (настоящее имя — Мэри Доллинг Сандерс О'Мэлли; 1889—1974) — английская писательница, автор книг «Пекинский пикник» (1932), «Иллирийская весна» (1935) и др. Рассказ «Бьюик» взят из сборника «Сто лет страшных рассказов» (1934).

Миссис Джеймс Сент-Джордж Бернард Баулби выздоровела окончательно, и ничто больше не удерживало ее в Англии. Муж как раз продвинулся по службе, пересев из кресла первого помощника в кресло управляющего банком «Гранд Ориентал» в Пекине. А раз ее здоровье и его материальное положение поправились одновременно, значит, это перст судьбы и ей пора в Китай. Миссис Баулби написала мужу. Он, разумеется, обрадовался, и она пустилась в путь. Джим хотел встретить ее в Шанхае; однако дела службы принудили его отправиться в Гонконг. И миссис Баулби добралась до Пекина одна. Квартира управляющего по традиции помещалась в здании банка, в большом уродливом доме из серого кирпича, что высится на Посольской улице. Кряжистые шкафы красного дерева, зеленые кожаные кресла тоже когда-то приобрел банк. Прежние хозяйки, жены бывших управляющих, так и не сладили с этой монументальной казенщиной, и миссис Баулби принялась наводить уют, непрестанно дивясь, как муж прожил так долго в подобном — только более скромном, «заместительском» — интерьере, не облагороженном женской рукой. Она накупила драпировочного шелку, резных фигурок черного дерева, по стенам развесила восточные картинки-свитки. Еще она, по совету мужа, приобрела машину. «Тебе непременно понадобится,— заранее предупредил он.— И покупай закрытую, здесь очень пыльно».

Новыми автомобилями в Пекине обзаводиться не принято. Если ваш остался в Европе, к вашим услугам множество несильно подержанных машин: то дипломатов в другие страны переводят, то прогоревшие дельцы имущество распродают, то устроители конференций спешат сбыть машины, едва уедет последний гость. И в одно прекрасное утро миссис Баулби в сопровождении Томпсона, сменившего мужа на посту первого помощника, отправилась в Нань Ши Цзу за машиной. В комиссионном гараже Максона старший продавец, канадец, принялся на все лады расхваливать товар. Длилось это долго. Наконец она остановила свой выбор на закрытом «бьюике», каких на Дальнем Востоке пруд пруди. Машина была совсем как новенькая: снаружи заново покрашенная в благородный синий цвет, изнутри заново обитая мягким плюшем — серым, по вкусу миссис Баулби. Канадец без устали перечислял достоинства машины. Подвеска идеальная («Для наших дорог это главное, миссис Баулби»). Шофер с напарником сидят впереди, отдельно («Мистер Томпсон, так куда лучше, а то эти проходимцы, как ни запрещай, вечно надаются чеснока»). Томпсон не спорил, китайскую кухню он знал преотлично. Миссис Баулби никогда еще

не покупала подержанные машины и поинтересовалась, кто владел ею прежде. От прямого ответа канадец уклонился. Однако сообщил, что машина эта не сдана на комиссию, а куплена у прежних владельцев перед отъездом. «Очень достойные люди, из Квартала». Томпсона это удовлетворило вполне, поскольку в Посольском Квартале жили только европейцы.

Так был приобретен этот «бьюик». В клубе Томпсону шепнули, что шофер прежнего управляющего банком «Гранд Ориентал» пьет бензин. И Томпсон тут же его рассчитал, хотя обычно вся прислуга переходит «по наследству» к новому начальнику. Для миссис Баулби наняли парня, который возил раньше управляющего Франко-Бельгийским банком. Когда Джеймс Баулби вернулся из Гонконга, шофер с напарником уже щеголяли в ливреях (на лето им сшили белые, на зиму — цвета хаки, все отороченные золотой тесьмой), а миссис Баулби уже приступила к визитам и вовсю разъезжала по Пекину на синем «бьюике».

В Пекине новоприбывших ждет тяжкое испытание: они наносят визиты первыми. Таков здешний обычай, и он угнетает даже закаленных светских львиц. Миссис Баулби закаленной никто бы не назвал; была она маленькая, застенчивая, хрупкая; носила, в основном, серое, да и сама выглядела серенькой, невзрачной. Ни глаза, ни волосы, ни цвет лица не приковывали чужого взгляда. Она к этому и не стремилась; если и знала за собой достоинства — тонкость натуры, изысканный вкус,— то напоказ их не выставляла, будучи существом ненавязчивым. Визиты давались ей мучительно. Но миссис Баулби, помимо прочего, была крайне добросовестна и потому скрепя сердце ежедневно усаживалась в «бьюик» и отправлялась с визитами. Впереди, за стеклом, маячили две фигуры в хаки с золотой тесьмой, и миссис Баулби утешала себя тем, что они хоть чесноком на нее не дышат. Она ездила в Квартал к супругам дипломатов; наведывалась к женам чиновников в Солт Габель; навещала жен английских, итальянских, американских и французских таможенников и жен торговых представителей — французских, американских, итальянских и английских. Ежегодный оборот визитных карточек, вероятно, достигает в Пекине нескольких тонн, и миссис Баулби внесла в него щедрую лепту. В мягком сером уединении своего автомобиля она изучала список; составить его помог Первый Бой — начальник банковской челяди (столь же неотъемлемая принадлежность банка, как двери, окна и стены). В списке, помимо имен, значились титулы и адреса дам, которых ей надлежало посетить, и названия фирм и учреждений, где служили их мужья. Шофер, поработав во Франко-Бельгийском банке, прекрасно владел французским; то же самое без ложной скромности могла бы сказать о себе и миссис Баулби — французский был одним из немногих серьезных достижений ее жизни. Однако никакой китаец, как известно, не дает себе труда произносить европейские имена как подобает, и европейцам поневоле приходится переходить на их птичий язык.

— Та чин чай тай-тай, Туркофу,— читала по бумажке миссис Баулби, собираясь с визитом к супруге немецкого посла.

— Oui, Madame [1],— отвечал шофер Шуан.

— Пэй тай-тай, Кун Сянь хутун,— произносила она, желая навестить жену доктора Брея. Только вот беда: и миссис Беннетт, жена коменданта английского гарнизона, и миссис Бейнс, жена капеллана, тоже почему-то оказались Пэй тай-тай, что привело миссис Баулби в совершенное замешательство.

Странности начались неделю спустя. А может, и раньше, просто она их не замечала, поглощенная списками и труднопроизносимыми китайскими именами. Так или иначе, к концу недели миссис Баулби могла бы поклясться, что слышит возле себя в машине французскую речь. Однажды — она ехала за мужем в клуб по улице Марко Поло — голос отчетливо произнес: «C'est lui!» [2] — страстно, с придыханием, так ей, во

[1] Да, мадам (*франц.*)
[2] Это он! (*франц.*)

всяком случае, показалось. Стекла в машине были опущены, и миссис Баулби решила, что слуги говорят между собой по-французски.

Но странности на этом не кончились. Несколько раз она различила тихий вздох. «Нервы»,— подумала миссис Баулби; Пекин явно вреден для ее расшатанных нервов.

Еще два-три дня она грешила на «нервы», но потом вдруг поняла, что не права. Она ехала по Да Цяньаньцзе, большой шумной улице, что тянется вдаль к востоку и западу от Посольского Квартала; позвякивая, торопились по ней трамваи — мимо красных стен и золотых крыш Запретного города; мерно брели груженные корзинами с углем верблюды; веками эта улица принадлежала им безраздельно, теперь же они шли, по-прежнему не останавливаясь, а «доджи» и «даймлеры» терпеливо ожидали своей очереди: новый Китай уступал дорогу старому. Стоял нежаркий, ясный апрельский день; в Квартале на Посольском спуске мелькали велосипедисты; игроки в поло тоже вышли на площадку: на подъезде к улице Хэдамэнь миссис Баулби различила сквозь пыльное облако белые и красные футболки. Тут машина остановилась на перекрестке, пропуская к огромным воротам чинную цепочку верблюдов.

Радуясь передышке, миссис Баулби вольготно откинулась на подушки. Ее завораживал и погожий день, и непривычная красота чужого города. Воистину, волшебна пекинская весна! Настроение омрачал лишь предстоящий матч. И что Джим находит в этом поло? Ужасная игра. Вдруг ее размышления прервал голос — кто-то совсем рядом произнес: «Au revoir, mon très-cher! Ne tombes pas, je t'en prie» [1]. Последний верблюд пересек улицу, машина двинулась вперед, и тут же — на сей раз сомневаться не приходилось — раздался вздох и прежний голос в сердцах проговорил: «Ce polo! Quel sport affreux! Dieu, que je le déteste [2]».

— Это уж точно не шофер! — Миссис Баулби поймала себя на том, что и сама заговорила вдруг вслух. Так, ага, переднее стекло поднято. Да и голос — низкий, чуть хрипловатый женский голос, с хорошей дикцией и богатыми интонациями — не шел ни в какое сравнение с гортанным говором Шуана. И с чего бы шоферу вздумалось такое говорить, смешно даже. «Но это и не нервы,— рассудила миссис Баулби, припомнив услышанное еще раз.— Она и в самом деле говорила!» А мгновение спустя на миссис Баулби снизошло озарение: «Значит, и «C'est lui» тоже говорила она!»

Миссис Баулби была озадачена, встревожена, но, как ни странно, отнюдь не напугана. Итак, красивый голос говорит у нее в машине по-французски. Бред? Да. Немыслимо? Да. Но почему-то совсем не страшно. Вообще, миссис Баулби гордилась своим здравым смыслом, хотя ничем, по обыкновению, этой гордости не выказывала. Разъезжая в тот день по магазинам, проставляя галочки в списке, она неустанно обдумывала ситуацию, крутила и так, и эдак — со всех точек зрения. Факт, однако, оставался фактом, а недоуменных вопросов не убавлялось. К концу поездки миссис Баулби хотела лишь одного — услышать голос снова. Да-да, это смешно, нелепо, но пусть зазвучит опять! И желание ее исполнилось. Через час «бьюик» свернул обратно на Посольскую улицу. На матч миссис Баулби явно опоздала, последний тайм уже закончился, игроки разъезжались на рикшах и автомобилях, над площадкой еще курилась в закатном солнце красноватая пыль. Едва «бьюик» поравнялся с воротами, миссис Баулби услышала голос — на этот раз не рядом, а перед собой, как если бы говорившая высунулась в окно. «Le voilà» [3],— прошептал голос, а потом вдруг громко окликнул: «Jacques!» [4]. Миссис Баулби тоже потянулась было к окну — посмотреть на Жака, но быстро одумалась и откинулась обратно на подушки. И тут рядом с ней прозвучало: «Il ne m'a pas vue» [5].

---

[1] До свидания, мой драгоценный. Только не упади, прошу тебя! (*франц.*)
[2] Ох уж это поло! Какой ужасный спорт! Господи, как же я его ненавижу! (*франц.*)
[3] Вот и он (*франц.*)
[4] Жак! (*франц.*)
[5] Он меня не заметил (*франц.*)

Чудеса, да и только! Она сидит в машине, и за окном все так реально: Посольская улица, Бельгийский парк, немецкое посольство; впереди трусцой бегут рикши, с тротуара приветственно машет мадам де Рин... Но и женский голос рядом с нею реален: зовет какого-то Жака; печалится, что Жак играет в поло; ненавидит игру за то, что Жак может упасть, расшибиться... Какой удивительный, нежный голос! Кто эта женщина? И кто такой Жак? «Mon très-cher»,— говорила она. Какие чудные слова. И как совпали, слились они с этим днем, с этим городом, с ее собственным настроением там, на перекрестке, когда она любовалась весной и ненавидела поло — из-за Джима. Ей захотелось вдруг тоже назвать мужа «mon très-cher», только он к такому обращению не привык, не поймет.

Вспомнив про Баулби, она задумалась. Что скажет он об этом наваждении? И она поняла, что не признается мужу, смолчит. Поняла тотчас, но все же, порядка ради, поспорила немного сама с собой. И осталась при прежнем мнении: пока лучше помолчать. Баулби и так не слишком доволен машиной: и велика она непомерно, и бензина много съедает. Кроме того, опять всплывет вопрос о ее нервах. Не дай бог, муж не услышит голоса! Зачем ставить себя в дурацкое положение? Но и это не главное. Миссис Баулби не покидало ощущение, что она, пусть невольно, подслушивает чужие тайны. И не имеет теперь права выдавать голос, который страстно шепчет: «Mon très-cher».

Дни шли, и миссис Баулби чувствовала себя все более причастной к чужим секретам. Голос раздавался теперь в «бьюике» каждую поездку, точно орнаментом обрамлял тягостную череду визитов и приемов; говорила неизвестная женщина только по-французски и только о Жаке; порою обращалась к этому тоже неизвестному, но, как видно, очень любимому Жаку, и миссис Баулби понимала, что слышит половину разговора, как если б женщина говорила рядом с нею по телефону. Впрочем, угадать ответы мужчины было нетрудно. Разговоры велись вполне обыденные: условливались о встречах — на поло, на званых обедах, на пикниках, которые устраивали по выходным в Баомашане их общие друзья. Миссис Баулби тоже знала этих людей, и жутко ей было слышать: «Alors, dimanche prochain, chez les Milne» [1]. Столкнувшись вскоре после этого с les Milne, она пристально и смятенно разглядывала их, точно занимавшая все ее мысли незримая незнакомка могла в их присутствии предстать во плоти. Голос ее был явью, и живые люди из-за него превращались в призраков. Но главное — за пустыми беседами о друзьях и лошадях, за уговорами о встречах непременно проступала нежность — то робкая, то откровенная, в каждом слове сквозила неиссякаемая забота и тревога о Жаке, а еще это был голос счастливой женщины, которая любит и оттого всегда и во всем права.

Миссис Баулби недоумевала: почему машина хранит лишь женский голос? Но разве только это было ей неясно? Почему, например, Баулби, сидя рядом, ничего не слышит? А он действительно не слышал — как же хорошо, что она вовремя прикусила язык! Она навсегда запомнила поездку, когда голос зазвучал при муже впервые. Они ехали в гостиницу «Пекин», на прощальный вечер какого-то посланника. Машина свернула с Нефритового канала, миновала полицейских, чьи штыки поблескивают в конце Посольского спуска, и тут голос, по обыкновению неожиданно и по обыкновению по-французски, произнес: «Так я тебя покидаю... Пришли машину, ладно?» Когда же «бьюик» тяжело, поочередно всеми колесами, перевалил через трамвайное полотно и затормозил около огромного здания в европейском стиле, голос сказал: «Но ведь сегодня танцы! n'est-ce pa».

— Боже, какая толпа! — промолвил Баулби.— Представляю, до чего там душно. Давай смотаемся побыстрее. Как думаешь, получаса для приличия хватит?

Миссис Баулби не отвечала, ошарашенно глядя на мужа. Неужели не

[1] Итак, в следующее воскресенье, у Милнов (*франц.*)

слышал? Она была настолько потрясена, что даже не нашлась с ответом, когда Баулби раздраженно спросил:

— В чем дело? Почему ты так смотришь?

Он не слышал ни единого слова!

Миссис Баулби вывела и другие закономерности. В некоторых местах голос «пробивался» чаще и отчетливее, нежели в других. Обрывки разговора, отдельные слова, иногда едва различимые, всплывали бессистемно. Но где ждать пространных речей, она знала теперь заранее. Около площадки для игры в поло голос раздавался всегда: незнакомка то тревожилась за Жака, то гордилась им. Сюда миссис Баулби приезжала часто, поскольку Джим тоже был большим любителем поло. Играл он хорошо, но у миссис Баулби все равно сжималось сердце от страха, и страх этот, казалось, роднил ее с незримой спутницей. Еще голос часто слышался неподалеку от улицы Хэдамэнь и в переулках Восточного города, который так любила миссис Баулби. Он вроде тихой заводи меж бойкой круговертью Хэдамэнь — с людскими толпами, трамваями, пылью, машинами и верблюдами — и величавой немотой Татарской Стены, что высится над одноэтажным предместьем. Тут живут многие европейцы, и миссис Баулби всегда радовалась, если ей предстоял визит в Восточный город. Ей нравилось, как пробирается машина по узеньким переулкам-хутунам, то переваливаясь через кучи мусора, то буксуя в глубокой грязи; нравилось, как рикши отступают в подворотни, чтобы дать им дорогу. Многие улочки кончались обширными пустырями, где мальчишки рылись в мусоре вместе со свиньями и пели высоко и гнусаво, на одной ноте, то обрывая песню, то затягивая вновь. Иногда, пока привратник неспешно отпирал красные двери, миссис Баулби различала звуки флейты: пронзительной чистоты мелодия устремлялась ввысь, оросив раскаленный, зажатый в каменной теснине воздух. Кое-где за заборами виднелись цветущие деревья; на мраморных плитах правили ремесло медных дел мастера; во двориках храмов, подле белых и алых стен, лежали, разморившись на солнце, собаки и нищие. В этих краях голос звучал особенно ясно и живо, лились длинные фразы, округлые французские гласные сыпались точно звезды с небес; согласные щелкали, порхали, дразнили, а потом вдруг все звуки сливались в низкий, приглушенный шепот, полный неизъяснимого блаженства. В эти мгновения миссис Баулби слушала неотрывно, чудесный голос вел ее за собой в мир чужой страстной и тайной любви, и она шла точно завороженная колдовскими чарами. С мужем ей жилось счастливо, но такой любви они не знали. Ее муж никогда бы не принял, а она никогда не рискнула бы произнести те нежные слова, которыми так щедро дарила своего возлюбленного бывшая хозяйка «бьюика».

Теперь миссис Баулби знала о них достаточно много и пристально следила за развитием романа. Они не упускали возможности повидаться на людях, но где-то в Восточном городе было у них и место для тайных встреч — «notre petit asile» [1]. Миссис Баулби собрала картинку по осколкам, точно мозаику, и вскоре могла бы описать этот райский уголок во всех подробностях. У них имелся каменный стол «под нашей белой сосной», «завтра» они намеревались пить там чай. Был и бассейн для рыбок в форме трилистника, символа Ирландии; однажды в бассейне умерла золотая рыбка — «pourtant en Irlande cela porte bonheur, le trèfle, n'est-ce pas?» [2] А однажды раскрошился бетонный борт, и когда его чинили, Жак написал по сырой известке какие-то чудесные слова, потому что голос звенел от счастья: «Maintenant il se lit là pour toujours, ton amour!» [3] Миссис Баулби ярко представляла ту волшебную весну: сперва в саду цвела сирень, и долгие часы за столом под белой сосной были пронизаны ее ароматом; потом вокруг водяного трилистника цвела акация... Жизни обеих женщин сплета-

[1] Наше маленькое убежище (*франц.*)

[2] Рыбка в Ирландии приносит счастье, верно? (*франц.*)

[3] Теперь твоя любовь останется здесь навсегда! (*франц.*)

лись все теснее — у миссис Баулби в садике за серой громадой банка тоже расцветала сирень, и аромат ее проникал в квартиру. А потом настал черед акации. Раз они с Джимом ехали на обед в британское посольство, и она обратила внимание мужа на благоухающие возле особняка кусты. Но он передернулся от отвращения, заявил, что акации пахнут чересчур приторно, приказал шоферу ехать побыстрее и даже выругал его по-французски (которым владел еще лучше, чем жена).

Миссис Баулби жаждала узнать о любовниках как можно больше: кто они, чем закончился их роман? Увы, выяснить это представлялось делом совершенно безнадежным. Природная сдержанность не позволяла ей искать сопровождающего, чтобы снова ехать в гараж и расспрашивать там о прежних владельцах машины. Но однажды случай подарил ей путеводную нить. Она спускалась со ступеней одного из особняков французского посольства; возле дверей почтительно склонились слуги в серебряно-голубых ливреях; ее лакей распахнул дверцу «бьюика». Не успела она сесть в машину, знакомый голос отчетливо приказал: «Deux cent trente, Por Hua Shan Hut'ung!» [1] И миссис Баулби вдруг повторила: «Deux cent trente, Por Hua Shan Hut'ung!» Повторила, удивляясь самой себе. И тут на лицах слуг, стоявших на пороге дома, отразилось не то удивление, не то узнавание, она успела заметить его на обыкновенно непроницаемых китайских лицах прежде, чем ее лакей, послушно поклонившись, захлопнул дверцу. Померещилось? Нет! Она могла бы поклясться: китайцы что-то знают! В Пекине посольские слуги переходят от владельца к владельцу вместе с домом и мебелью. Судя по всему, эти два китайца уже слышали когда-то произнесенный ею адрес.

Сердце миссис Баулби взволнованно трепетало, когда машина, вырулив на Посольскую улицу, понеслась неведомо куда. Куда? Где этот По Хуа Шань хутун? Приблизится ли она хоть на шаг к разгадке тайны, занимающей все ее мысли? Возле улицы Хэдамэнь «бьюик» свернул к югу и понесся вниз по Посольскому спуску. Отлично. Затем они повернули на Сучжоу хутун, потом на Дун Сунпу хутун и оказались в самом центре Восточного города. У миссис Баулби бешено колотилось сердце. Похоже, ее догадка верна! Машина пробиралась теперь по краю помойного пустыря, впереди высилась громада Татарской Стены. Свернули налево, по улочке, параллельной Стене, потом — направо, и Стена стала еще ближе. Притормозив, Шуан обратился к блинщику, который раскатывал тесто прямо на ступенях дома; они живо обсудили что-то по-китайски, и машина медленно двинулась дальше по расселине меж домов; впереди, в тупике уже виднелась мощная кладка Стены; не доезжая ярдов сто, они остановились около высокой красной двери с золочеными ручками; по таким ручкам с углублениями для пальцев в старые времена можно было безошибочно узнать жилище знатного китайского вельможи.

Лю распахнул дверцу и протянул руку в тонкой бумажной перчатке за визитной карточкой миссис Баулби. Только тут она сообразила, что не знает, как поступить. Нельзя же приехать с визитом к голосу! Лю был не силен во французском, и, подозвав Шуана, она сказала: «Спроси, кто тут живет — как зовут тай-тай». Шуан позвонил. Но дверь не открывали. Он позвонил снова. Послышалось шарканье, дверь со скрипом приотворилась, и выглянул старик китаец с жидкой бороденкой, в черной шапочке. Поговорив со стариком, Шуан вернулся к машине.

— В доме никто не живет, — сказал он.

— Спроси, кто жил тут раньше,— велела миссис Баулби. На этот раз они говорили куда дольше. Наконец Шуан подошел к окошку и сказал, что здесь жила иностранка, по-видимому Фако тай-тай (французская дама), но она уехала. Тем миссис Баулби и пришлось удовольствоваться. Впрочем, разве это мало? Возможно, очень немало. Машина двинулась вперед,

[1] Двести тридцать, По Хуа Шань хутун! (*франц.*)

к Стене, шофер искал, где бы повернуть, и тут миссис Баулби пришла в голову замечательная мысль. Попросив Шуана остановиться, она спрыгнула на землю и, взглянув направо и налево вдоль Стены, заметила ярдах в двухстах огромный скат; когда-то по таким скатам повозки въезжали на самый гребень, теперь же сюда не вело ни дорог, ни тропинок, и миссис Баулби пришлось пробираться меж вывалившихся из Стены камней да старого хлама, что пылился у подножья. Она торопливо шла к скату, боясь недоброй усмешки слуг за спиной, боясь, что скат окажется перекрыт и она не сможет взобраться на Стену. Движение по гребню Татарской Стены запрещено давным-давно — после боксерского [1] восстания; туристам оставили лишь короткий отрезок над Посольским Кварталом, а в других местах все скаты крепко-накрепко заперли. Так, по крайней мере, было задумано. Но в Китае практика зачастую далека от теории. Миссис Баулби на это и рассчитывала и все ускоряла шаг.

Надежды ее оправдались. У подножья, конечно же, высился крепкий деревянный барьер, но чуть выше в обветшавшей каменной кладке бокового ограждения не хватало камней, и в проем вполне могла проникнуть коза или очень маленький человек. Миссис Баулби протиснулась в щель и по крутому, мощенному булыжником скату взобралась на Стену. На миг остановилась, чтобы отдышаться. По гребню в обе стороны тянулась выложенная плитняком дорога, на ней вполне могли бы разъехаться два грузовика; меж плит густо пророс колючий кустарник, среди которого вилась тропа; ходили тут, верно, лишь козы да пастухи. Далеко внизу простирался Пекин; благодаря деревьям, которые росли около каждого дома, он казался сверху зеленым, точно лес, и посреди этого леса золотились крыши Запретного города; совсем далеко, на горизонте, тянулась неровная лиловая гряда Западных холмов.

Однако миссис Баулби было не до красот. Осторожно высунувшись из-за зубчатого края Стены, она отыскала взглядом свой «бьюик» — блестящий, аккуратный, современный, такой чуждый убогости и запустению, царившим вокруг. «Бьюик» помог ей сориентироваться, и с замирающим сердцем она двинулась по тропинке, обдирая ноги о цепкие колючки. Из-под ног с криком вспархивали удоды и тут же, прерывисто дыша, садились чуть поодаль. Но миссис Баулби не обращала на птиц никакого внимания; не заботили ее и вдрызг порванные шелковые чулки. Наконец она над машиной. Так, вот улочка, по которой они ехали, а вот там, должно быть, дом, который ей нужен. Она даже разглядела на пороге старого китайца — он все стоял у красной двери, изучая машину; сверху китаец походил на куклу. За домом был сад, и тянулся он до самой Стены. Вскоре миссис Баулби оказалась прямо над ним. Теперь дом, дворики и сад с аккуратно подстриженными кустиками и деревцами виднелись ясно, как на ладони; все это вместе напоминало детскую постройку, возведенную на полу из игрушечных деталей. Миссис Баулби глядела как зачарованная. К незримому голосу в машине она давно привыкла, но вот ее глазам предстало все, о чем он поведал. Непостижимо! Это — греза, сон, мираж!.. Посреди сада возвышалась величественная сосна с темными длинными иглами и светящимися, словно побеленными, ветками и стволом; под нею, в окружении кустов сирени, располагался круглый каменный стол. Дальше был еще один сад, отделенный от первого заборчиком с дверью в форме опахала; здесь, в тесном квадрате акаций, поблескивал бассейн-трилистник с золотыми рыбками. Повсюду, в вазонах и кадках, пестрели цветы... Вот оно — потаенное гнездышко любовников; тут, в залитом солнцем благоуханном саду разворачивалась милая ее сердцу идиллия, сокрытая от людских глаз недреманным стражем — Великой Стеной. И, перегнувшись через каменный парапет, миссис Баулби пытливо вглядывалась в покинутый сад, чувствуя, что найдет здесь разгадку тайны. Ей вдруг захотелось

[1] Боксерское (ихэтуаньское) восстание — антиимпериалистическое восстание в Северном Китае в 1899—1901 гг., подавленное иностранными войсками.

привести сюда Джима, поселиться с ним в этом доме, вернуть саду живое дыхание любви. Жаль, что им не нужно потаенное гнездышко в Восточном городе, что жизнь их упорядочена супружеством и романтике в ней места нет. Вспомнив о муже, миссис Баулби вернулась к действительности. Пора домой... Она бросила прощальный взгляд на сад и торопливо зашагала к машине.

День или два миссис Баулби неустанно размышляла о своем открытии. Она сделала его волею случая, но теперь все складывалось в единое целое: дом во французском посольстве, возле которого голос дал ей нужный адрес; удивленные лица слуг, оставшихся на пороге; слова старика китайца о том, что хозяйкой его была Фако тай-тай... Похоже, бывшая владелица «бьюика» жила в том самом посольском доме, куда миссис Баулби заезжала в тот знаменательный день. Узнав о таинственной незнакомке столь много, миссис Баулби решила не отступать. Пускай она робка и застенчива, но она заставит себя расспросить людей и узнает все до конца.

Несколько дней спустя, на званом ужине, ее соседом по столу оказался американец, мистер ван Эйдем, старейшина пекинской элиты, он жил здесь еще до боксерского восстания и знал все обо всех — этакий ходячий справочник, кладезь бесценной информации. И миссис Баулби, набравшись смелости, приступила к расспросам. Не напрямик, разумеется, а весьма искусно. Заговорила о посольских домах, садах и парках вообще, потом о французских — в частности. Затем вскользь упомянула о доме, куда приезжала с визитом; похвалила сад. И, наконец, невзначай поинтересовалась:

— А кто там жил до Верне?

Затаив дыхание ждала она ответа. Мистер ван Эйдем взглянул на нее искоса и, как ей показалось, с любопытством и ответил, что жил там некий граф д'Арден.

— Он был женат? — тут же спросила миссис Баулби.

— Да, разумеется,— ответил старик, но отчего-то не погрузился в воспоминания, хотя обычно, назвав какое-нибудь имя, не упускал случая рассказать об этом человеке забавный или пикантный анекдот. Почувствовав в собеседнике некую скованность, миссис Баулби слегка смутилась, но все же полюбопытствовала, хороша ли была графиня д'Арден.

— Женщина-сирена,— не раздумывая, ответил мистер ван Эйдем и тут же добавил: — Очаровательнее не бывает.

От более подробного ответа он уклонился, так, во всяком случае, показалось миссис Баулби, но она и тут не остановилась и отважно спросила:

— А машина у них была?

Мистер ван Эйдем опешил, а потом рассмеялся:

— Машина-то? Конечно, была. Графиня разъезжала повсюду в желтом «бьюике», мы его называли «канарейкой».

Тут разговор перешел на марки машин, а миссис Баулби тем временем обдумывала, как бы половчее выведать самое главное. Она боялась, что ее любопытство вызовет пересуды — оказывается, не так-то легко узнать хоть что-нибудь, не привлекая внимания. Удобного предлога для дальнейших расспросов все нет и нет, а выдумывать слишком рискованно, того и гляди выдашь себя с головой. Уклончивость словоохотливого ван Эйдема подсказывала, что роман графини закончился скандалом. Да, без скандала явно не обошлось, но спросить о нем напрямик было немыслимо, она же не из тех, кто расспрашивает на званом ужине о чужих скандалах. Уже разносили сладкое, и миссис Баулби, совсем отчаявшись, поспешно и неловко спросила:

— А д'Ардены давно уехали?

Мистер ван Эйдем на миг задумался.

— Да, пожалуй, скоро год. Графиня, говорят, не отличалась крепким здоровьем, на вид — так совсем была хилая. Она вернулась во Францию,

а графа вскоре перевели в Бангкок. Я и не знаю, приехала она к нему, когда выздоровела, или нет. Восточный климат не для нее.

— Бедняжка,— пробормотала миссис Баулби. Как жаль эту незнакомую женщину с красивым голосом и красивой фамилией — даже сердце сжимается... «Никакой самой сильной любви не справиться с бренным телом, не побороть болезнь»,— размышляла миссис Баулби, которая почти нигде и никогда не чувствовала себя хорошо. Вот и графиню болезнь разлучила с ее Жаком... Дамы поднялись, и миссис Баулби тоже вышла, длить беседу с мистером ван Эйдемом было выше ее сил.

Вскоре наступило лето. В июле и августе в Пекине настоящее пекло, и женщины со слабым здоровьем обычно отправляются на эти месяцы к морю. Миссис Баулби выбрала Бэйтайхо, беспорядочно раскинувшееся вдоль берега курортное местечко с песчаными дорогами. Автолюбителям проезд по ним запрещен, и это правило равняет всех: и миссионеры, и дипломаты принуждены ездить на рикшах или в тележках, запряженных осликами. «Бьюик» остался в Пекине, у Джима, который при малейшей возможности вырывался к жене на выходные. На новом месте, расставшись с машиной, миссис Баулби попробовала взглянуть на эту историю отстраненно. Но — не смогла. Она купалась, часами лежала на знойном пляже, бродила по тропинкам меж маисовых полей, скрывалась после обеда в благословенной тени, но ни на миг не забывала о той, чью сокровенную тайну берегла, как свою. Как ни странно, желание расспрашивать у миссис Баулби угасло. Она знала теперь, что незнакомку зовут мадам д'Арден, и знание это усилило в ней прежнюю щепетильность — вправе ли она подслушивать чужие разговоры, заглядывать в чужую жизнь?.. Одна деталь ее несколько озадачила: если эта связь и в самом деле закончилась скандалом, почему ей о нем ничего не известно? И это в Пекине, который чопорен лишь на вид, а на самом деле скандалам тут несть числа, и обсуждаются они широко и достаточно откровенно. Впрочем, быть может, она неверно истолковала уклончивость мистера ван Эйдема, и скандала не было вовсе? А может, ее вдруг осенило, Жак — это сын самого мистера ван Эйдема, Джек, который служил в Таможенном управлении и уехал в прошлом году на родину? Ведь его звали именно Джек! Миссис Баулби поежилась от собственной бестактности. Нашла у кого наводить справки!

Там же, в Бэйтайхо, миссис Баулби с изумлением осознала, что измена графини ее никак не шокирует, хотя прежде ее взгляды на супружескую верность были по-викториански традиционны. Бывшая хозяйка «бьюика» эти взгляды явно не разделяла, но миссис Баулби и в голову не приходило ее порицать. Она даже немного обиделась на мистера ван Эйдема за прозвище «сирена». Сирены же существа жестокосердные, они заманивают мужчин на верную гибель из пустой прихоти. Нет, голос в «бьюике» был совсем иной. И миссис Баулби была на его стороне. «Разве такая любовь не оправдывает все?» — спрашивала она себя, поняв, что не может осудить изменницу, что пошатнулись нравственные устои, которые служили ей опорой с самого детства. «Если бы другим людям повезло, как мне,— думала миссис Баулби,— и они узнали о чужой любви изнутри, они тоже не стали бы судить любящих чересчур строго».

Миссис Баулби не спешила расставаться с Бэйтайхо, она прожила там добрую половину сентября и собралась в столицу, лишь когда с моря задули первые кусачие ветерки, зелень выцвела и побурела, а от маиса осталась колючая стерня. В Пекине на нее сразу же навалились светские обязанности, поскольку, вернувшись с курортов, дамы принимаются объезжать друг друга заново. И миссис Баулби, совершая «круг почета», проводила в «бьюике» целые дни, по-прежнему вместе с голосом. Голос, однако, заметно погрустнел; счастье, звеневшее весной в каждом слове, потухло, сменилось предчувствием беды. Что тревожило и пугало графиню, понять было трудно, ведь миссис Баулби не слышала ее спутника. Но голос становился все несчастнее, и однажды, в середине октября, на улицах

Восточного города, «бьюик» наполнился душераздирающими рыданиями. Сидя в машине рядом с чужим горем, миссис Баулби не находила себе места и мучилась от собственного бессилия — ни утешить бедняжку, ни помочь ей она не могла. Потянулась было обнять, но под рукой лишь пустота, на сиденье сумочка, книга да визитный список. Повинуясь внезапному порыву, словно голос всецело завладел ее волей, миссис Баулби велела Шуану ехать не к очередной по списку даме, а на По Хуа Шань хутун. Вблизи дома рыдания утихли, и голос тихонько извинился за un peu énervée [1].

Миссис Баулби вышла из машины и прежним путем взобралась на Татарскую Стену. Трава и колючки на гребне пожухли; не кричали в кустах, не срывались из-под ног удоды. Вот и место меж зубцов, с которого сад виден как на ладони. Сирень уже опала, куда-то унесли кадки с цветами, ветер гоняет меж акаций последние листья; лишь белая сосна упорно тянется ввысь, не тронутая всеобщим увяданием. Еще не оправившись от рыданий в машине, миссис Баулби глядела на покинутый, разоренный осенью сад, и сердце у нее щемило. Совершенно подавленная, она отошла от края Стены и медленным шагом спустилась к «бьюику». Ее тоже охватило предощущение неизбежной беды, она смутно чуяла: что-то кончилось, только не знала — что...

Она собралась уже сесть в машину, но ее остановил новый безотчетный порыв. Ей вдруг безумно захотелось войти в сад, рассмотреть его вблизи, в этом виделось единственное спасение от нахлынувшей всепоглощающей тоски. Порывшись в кошельке, она вынула пять долларов.

— Отдай каймэньти [2], — велела она удивленному Шуану,— и скажи, что я желаю погулять в саду.

Шуан, послушно поклонившись, позвонил в дверь; миссис Баулби дрожала от нетерпения; пятидолларовая бумажка решила исход долгих переговоров — привратник пригласил миссис Баулби в дом. Она последовала за ним. Китайские дома строятся без плана, и этот дом был хаотичен подобно прочим, хотя и слегка осовременен. Окна, крест-накрест заклеенные бумажными лентами, слепо глядели на миниатюрные озерца и каменистые «горные» ландшафты внутренних двориков. Миновав несколько таких двориков, они вышли через круглую дверь в сад под Татарской Стеной. Поклонившись, привратник отступил в сторону и предоставил ей гулять одной.

Впереди высилась белая сосна; миссис Баулби прошла под ее сень и, усевшись на мраморную скамью возле круглого каменного стола, окинула взглядом сад. Печальный, тихий, прекрасный даже в осеннем своем разоре, он лежал под неприступной Стеной, уставившей зубцы в белесое октябрьское небо. Вот так же сидела здесь та женщина, надежно укрывшись от недобрых глаз, и рядом с нею был любимый... Неожиданно для самой себя миссис Баулби расплакалась навзрыд. До чего жестока жизнь! Отчего разлучает она любящие сердца? Может, и той женщине выпало сидеть тут одной? Миссис Баулби резко поднялась, не стерпев собственного одиночества; напрасно она пришла сюда, на душе стало не легче, а тяжелее, словно на нее камнем легла чужая разлука. Миссис Баулби потерянно побрела через дверь-опахало дальше, к бассейну с золотыми рыбками. Заливаясь слезами, остановилась у воды. Вот тут треснул когда-то борт, и Жак написал на сырой известке о вечной любви. Она подошла ближе — известковая заплатка явственно белела на сером камне. «Maintenant il se lit là pour toujours, ton amour»,— пробормотала она слова, что врезались в ее память навечно. Наклонившись, прочла надпись, ровно и аккуратно выдавленную острием перочинного ножа:

Douce sépulture, mon coeur dans ton coeur,
Douce paradis, mon âme dans ton âme [3].

---

[1] Волнение (*франц.*)
[2] Привратник, швейцар (*кит.*)
[3] Мое сердце навеки в твоем,
И душою мы слиты навеки (*франц.*)

А ниже инициалы:

А. де А.
и
Дж. Сент-Дж. Б. Б.

Тронутая двустишием, миссис Баулби снова расплакалась и не сразу осознала, чьи инициалы выведены в последней строке. Но, взглянув на них снова, она вздрогнула, точно ужаленная, и отшатнулась. Вслепую нашарила в сумочке свою визитную карточку и положила на борт бассейна около надписи, как бы сравнивая. «Миссис Дж. Сент-Дж. Б. Баулби» — черные изящные буквы глядели с белого прямоугольничка строго и ясно, а рядом белели точно такие же — на бортовом камне. Ошибка исключена. Тайна разгадана, но постичь разгадку она пока не в силах. «Джим? — неуверенно произнесла миссис Баулби.— Жак?» Все вставало на свои места; сперва медленно, а потом все быстрее время раскручивалось вспять, каждое слово находило неумолимое подтверждение и звучало с неумолимой сокрушительной силой. Чувство, предчувствие, объявшее ее на Стене, оказалось верным: что-то и вправду кончилось в этот день в осеннем саду. Она стояла у трилистника с недвижной водой, а первые валы отчаянья уже накатывали, сбивали с ног. Плохо понимая, что говорит, она прошептала: «Pourtant cela porte bonheur, le trèfle, n'est-ce pas?» [1]

И чужой вопрос, вопрос той женщины, пробудил ее от оцепенения. Нет, невозможно! Она не станет больше слушать этот голос! Почти бегом миновала она сад с белой сосной и дала знак старику каймэньти проводить ее к выходу. Поклонившись, он чередой двориков вывел миссис Баулби к открытой красно-золотой двери, и еще издали она увидела в проеме «бьюик» — темно-синий, блестящий... С каким гордым удовольствием смотрела она на него прежде, десятки раз, выходя из десятков дверей. Она остановилась и затравленно оглянулась: сзади сад, впереди «бьюик»! Заметив ее, Лю бросился открывать дверцу. Но миссис Баулби не села в машину. Она послала Шуана за рикшей и, когда тот прибыл, велела отвезти себя домой. Преданный и внимательный Шуан осмелился напомнить, что она собиралась заехать на поло, за лао-е [2] Баулби. И тут, к его удивлению, хозяйка задрожала с ног до головы и нетерпеливо, порывисто повторила:

— Домой, домой!..

Старый каймэньти раскурил черную с серебром трубку и застыл на пороге, провожая их взглядом по пыльной улочке. Впереди бежал рикша с маленькой поникшей женщиной в серых одеждах, сзади пусто громыхал «бьюик»...

[1] Рыбка приносит счастье, верно? (*франц.*)
[2] Хозяин, господин (*кит.*)

ЯН ЯКОБ СЛАУЭРХОФ

Корабль дураков

Перевод с нидерландского ЕВГЕНИЯ ВИТКОВСКОГО

ЯН ЯКОБ СЛАУЭРХОФ (1898—1936) — нидерландский поэт и прозаик, неоромантик. По профессии судовой врач. Автор множества поэтических сборников и прозаических произведений, известный далеко за пределами своей страны. Сборник «Эльдорадо», из которого взято стихотворение «Корабль дураков», датирован 1928 г.
Стихотворение «Корабль дураков» — вариация на широко известную в европейской литературе тему «Летучего Голландца» (легенда о корабле, капитан которого проклял Бога, за что корабль обречен вечно скитаться в море); очевидна и аллюзия на известную картину И. Босха «Корабль дураков».

Средь моря наше призрачное судно
в тумане заблудилось. С этих пор
мы поняли, что разум — сущий вздор,
что вспоминать о прошлом безрассудно.

Да что там смерть — игра пошла почище:
мы бесконечный завели картёж,
еще у нас имелся табачище
убийственный, затянешься — уснешь.

И женщина, которая хотела,
чтоб очередью и по доброй воле
мы шли на зов ее нагого тела —
как соблюдали вахту мы дотоле.

Картографической татуировкой
весь торс ее сверкал и напрягался,—
она сердилась, если мы неловко
не совершали выгодного галса.

Две глобуса разъятых половинки
ее грудей являла нагота;
поверх сосков, студеных, словно льдинки,
всегда была в снегу ее фата.

Но, повторяя путь по многу раз,
ее пресытить мы бессильны были,—
и в ярости она честила нас:
«Нет, не во мне вам место, а в могиле!»

Мы ухмылялись: «Вправду, Мессалина!
В могилку хочет гвардия твоя,
но нас не примут ни песок, ни глина —
придется быть добычей воронья!»

И был таков ее ответ на шутки:
«Уж я-то знаю — есть мужик могутный,
как раз погостный сторож; так что — дудки!
Ловите ветер, сволочи, попутный!»

Идея очень полюбилась нам:
судьба способна, значит, на уступки!
Посудина помчалась по волнам,
утихли свары, и погасли трубки.

Так плыли мы, едва ли не века,
решительно не ведая — куда;
но стала желтой за бортом вода,
земля — мы поняли — недалека.

Вверх по реке был наш подъем непрост,
сплетались в ней жгуты древесных жил,—
но наконец-то нам предстал погост,
а рядом сторож в самом деле жил.

При удочке, над глинистым затоком,
он восседал — с седою головой.
Он ухо сына старшего брелоком
привесил на цепочке часовой.

Он рявкнул нам: «Здесь больше нет ни пяди!
И захочу, так не смогу помочь!
Забито все, что спереди, что сзади!
Себе ни метра нет!.. Плывите прочь!»

Он обменялся взглядом с нашей бабой,
замолк, привстал, забыв про поплавок,
и, черепом тряся на шее слабой,
пошел к ограде отпирать замок.

(Нам представлялся ряд сравнений шалый:
Отелло с Дездемоной? Или нет,
нет, Гретхен с Мефистофелем, пожалуй.
Нет, не видал подобной пары свет!)

Мы, вожделея, ожидали тупо;
вот, обнажаясь под блистаньем звезд,
она пошла в объятья полутрупа,
открыв для нас дорогу на погост.

Мы поползли, пытаясь меж надгробий
найти хотя бы фут пустой земли,
скелеты вороша и воя в злобе:
мы для себя ни дюйма не нашли,—

и возвратились, и пришла усталость.
А ей на память о могутном муже
одно лишь смертное тавро осталось;
он вновь сидел, держа уду все ту же.

И мы постигли жизненный итог,
вползли по трапу и ушли в туман,—
мы поняли, что слишком жаден Бог,
чтоб дать покой нам,— только океан

он отдает нам, синий и пустой,
и женщину, что спорить с Ним решилась,—
мы — слуги моря, слуги шлюхи той,
что нам одна явить хотела милость.

ХАНС ХАЙНЦ ЭВЕРС

Паук

РАССКАЗ

Перевод с немецкого

ХАНС ХАЙНЦ ЭВЕРС (1871—1943) — немецкий прозаик, поэт, драматург, эссеист. Автор романов «Ученик чародея, или Охотник за дьяволом» (1910), «Альрауне» (1911), «Вампир» (1920), «Всадник в германской ночи» (1932), многих книг рассказов, в том числе «Ужасы» (1908), «Мои похороны» (1917).
Рассказ «Паук» взят из сборника «Одержимые» (СПБ, Издательство товарищества А. Ф. Маркса, 1908). Автора перевода установить не удалось. Особенности лексики и синтаксиса в переводе по преимуществу сохранены.

Лилит.

И в этом — воля, не ведающая смерти...
Кто постигнет тайны воли во всей мощи её?
Джозеф Гленвилл [1]

Студент медицинского факультета Ришар Бракемон переехал в комнату № 7 маленькой гостиницы «Стевенс» на улице Альфреда Стевенса, № 6, после того как три предыдущие пятницы подряд в этой самой комнате на перекладине окна повесились трое человек.

Первый из повесившихся был швейцарский коммивояжер. Его тело нашли только в субботу вечером; врач установил, что смерть наступила между пятью и шестью часами вечера в пятницу. Тело висело на большом крюке, вбитом в переплет окна в том месте, где переплет образует крест, и предназначенном, по-видимому, для вешания платья. Самоубийца повесился на шнурке от занавеси, окно было закрыто. Так как окно было очень низкое, то ноги несчастного коленями касались пола; он должен был проявить невероятную силу воли, чтобы привести в исполнение свое намерение. Далее было установлено, что самоубийца был женат и что он оставил после себя четверых детей; кроме того, было известно, что его материальное положение было вполне обеспеченное и что он отличался веселым и беззаботным нравом.

Второй случай самоубийства в этой комнате мало отличался от первого. Артист Карл Краузе, служивший в ближайшем цирке «Медрано» и проделывавший там эквилибристические фокусы на велосипеде, поселился в комнате № 7 два дня спустя. Так как в следующую пятницу он не явился в цирк, то директор послал за ним в гостиницу капельдинера. Капельдинер нашел артиста в его незапертой комнате повесившимся на перекладине окна — в той же обстановке, в какой повесился и первый жилец. Это самоубийство было не менее загадочно, чем первое: популярный и любимый публикой артист получал очень большое жалованье, ему было всего двадцать пять лет, и он пользовался всеми радостями жизни. И он также не оставил после себя никакой записки, никакого объяснения своего поступка.

[1] Джозеф Гленвилл (1636—1680) — английский священник и философ, автор трактата «Тщета догматики» (1661). (*Прим. ред.*)

После него осталась только мать, которой сын аккуратно каждое первое число посылал 200 марок на ее содержание.

Для госпожи Дюбоннэ, содержательницы этой гостиницы, клиенты которой почти исключительно состояли из служащих в близлежащих монмартрских варьете, это второе загадочное самоубийство имело очень неприятные последствия. Некоторые жильцы выехали из гостиницы, а другие постоянные ее клиенты перестали у нее останавливаться. Она обратилась за советом к своему личному другу, комиссару IX участка, и тот обещал ей сделать все, что только от него зависит. И действительно, он не только самым усердным образом занялся расследованием причины самоубийства двух постояльцев, но отыскал ей также нового жильца для таинственной комнаты.

Шарль-Мария Шомье, служивший в полицейском управлении и добровольно согласившийся поселиться в комнате № 7, был старый морской волк, одиннадцать лет прослуживший во флоте. Когда он был сержантом, то ему не раз приходилось в Тонкине и Аннаме [1] оставаться по ночам одному на сторожевом посту и не раз приходилось угощать зарядом лебелевского ружья желтых пиратов, неслышно подкрадывавшихся к нему во мраке. А потому казалось, что он создан для того, чтобы должным образом встретить «привидения», которыми прославилась улица Альфреда Стевенса. Он переселился в комнату в воскресенье вечером и спокойно улегся спать, мысленно благодаря госпожу Дюбоннэ за вкусный и обильный ужин.

Каждый день утром и вечером Шомье заходил к комиссару, чтобы сделать ему короткий доклад. Доклады эти в первые дни ограничивались только заявлением, что все обстоит благополучно и что он ничего не заметил. Однако в среду вечером он сказал, что напал на кое-какие следы. На просьбу комиссара высказаться яснее он ответил отказом и прибавил, что пока еще не уверен, имеет ли это открытие какую-нибудь связь с двумя самоубийствами в этой комнате. Он сказал между прочим, что боится показаться смешным и что выскажется подробнее, когда будет уверен в себе. В четверг он вел себя менее уверенно и в то же время более серьезно, но нового ничего не рассказал. В пятницу утром он был сильно возбужден; сказал полушутя, полусерьезно, что как бы там ни было, но окно это действительно имеет какую-то странную притягательную силу. Однако Шомье утверждал, что это отнюдь не имеет никакого отношения к самоубийству и что его подняли бы на смех, если бы он еще к этому что-нибудь прибавил. Вечером того же дня он не пришел больше в полицейский участок: его нашли повесившимся на перекладине окна в его комнате.

На этот раз обстановка самоубийства была также до мельчайших подробностей та же самая, что и в двух предыдущих случаях: ноги самоубийцы касались пола, вместо веревки был употреблен шнурок от занавеси. Окно открыто, дверь не была заперта; смерть наступила в шестом часу вечера. Рот самоубийцы был широко раскрыт, язык был высунут.

Последствием этой третьей смерти в комнате № 7 было то, что в этот же день все жильцы гостиницы «Стевенс» выехали, за исключением, впрочем, одного немецкого учителя из № 16, который, однако, воспользовался этим случаем, чтобы на треть уменьшить свою плату за комнату. Слишком маленьким утешением для госпожи Дюбоннэ было то обстоятельство, что на следующий же день Мэри Гарден, звезда Opera-Comique, приехала к ней в великолепном экипаже и купила у нее за двести франков красный шнурок, на котором повесился самоубийца. Во-первых, это приносит счастье, а кроме того — об этом напишут в газетах.

Если бы все это произошло еще летом, так, в июле или в августе, то госпожа Дюбоннэ получила бы втрое больше за свой шнурок; тогда газеты целую неделю заполняли бы свои столбцы этой темой. Но в разгар сезона

[1] Административное название центрального Вьетнама в 1884—1945. (*Прим. ред.*)

материала для газет более чем нужно: выборы, Марокко, Персия, крах банка в Нью-Йорке, не менее трех политических процессов — действительно, не хватало даже места. Вследствие этого происшествие на улице Альфреда Стевенса обратило на себя гораздо меньше внимания, чем оно того заслуживало. Власти составили короткий протокол — и тем дело было окончено.

Этот-то протокол только и знал студент медицинского факультета Ришар Бракемон, когда он решил нанять себе эту комнату. Одного факта, одной маленькой подробности он совсем не знал; к тому же этот факт казался до такой степени мелким и незначительным, что комиссар и никто другой из свидетелей не нашел нужным сообщить о нем репортерам. Только позже, после приключения со студентом, о нем вспомнили. Дело в том, что когда полицейские вынимали из петли тело сержанта Шарля-Мария Шомье, изо рта его выполз большой черный паук. Коридорный щелкнул паука пальцем и воскликнул:

— Черт возьми, опять это поганое животное.

Позже, во время следствия, касавшегося Бракемона, он заявил, что когда вынимали из петли тело швейцарского коммивояжера, то совершенно такой же паук сполз с его плеча. Но Ришар Бракемон ничего не знал об этом.

Он поселился в комнате № 7 две недели спустя после третьего самоубийства, в воскресенье. То, что он пережил там, он ежедневно записывал в свой дневник.

Дневник Ришара Бракемона,
студента медицинского факультета

Понедельник, 28 февраля

Вчера я поселился в этой комнате. Я распаковал свои две корзины и разложил вещи, потом улегся спать. Выспался отлично; пробило девять часов, когда меня разбудил стук в дверь. Это была хозяйка, которая принесла мне завтрак. Она чрезвычайно внимательна ко мне,— это видно было по яйцам, ветчине и превосходному кофе, который она сама подала мне. Я вымылся и оделся, а потом стал наблюдать за тем, как коридорный прибирает мою комнату. При этом я курил трубку.

Итак, я водворился здесь. Я прекрасно знаю, что затеял опасную игру, но в то же время сознаю, что много выиграю, если мне удастся напасть на верный след. И если Париж некогда стоил мессы — теперь его так дешево уж не приобретешь,— то я, во всяком случае, могу поставить на карту свою недолгую жизнь. Но тут есть шанс; прекрасно, попытаю свое счастье.

Впрочем, и другие также хотели попытать свое счастье. Не менее двадцати семи человек являлись — одни в полицию, другие прямо к хозяйке — с просьбой получить комнату; среди этих претендентов были три дамы. Итак, в конкуренции недостатка не было; по-видимому, все это были такие же бедняки, как и я.

Но я «получил место». Почему? Ах, вероятно, я был единственный, которому удалось провести полицию при помощи одной «идеи». Нечего сказать, хороша идея! Конечно, это не что иное, как утка.

И рапорты эти предназначены для полиции, а потому мне доставляет удовольствие сейчас же сказать этим господам, что я ловко провел их. Если комиссар человек здравомыслящий, то он скажет: «Гм, вот потому-то Бракемон и оказался наиболее подходящим».

Впрочем, для меня совершенно безразлично, что он потом скажет: теперь я, во всяком случае, сижу здесь. И я считаю хорошим предзнаменованием то обстоятельство, что так ловко надул этих господ.

Начал я с того, что пошел к госпоже Дюбоннэ; но она отослала меня в полицейский участок. Целую неделю я каждый день шатался туда, и каждый день получал тот же ответ, что мое предложение «принято к сведению» и что я должен зайти завтра. Большая часть моих конкурентов очень

быстро отстала от меня; по всей вероятности, они предпочли заняться чем-нибудь другим, а не сидеть в душном полицейском участке, ожидая целыми часами. Что же касается меня, то мое упорство, по-видимому, вывело из терпения даже комиссара. Наконец он объявил мне категорически, чтобы я больше не приходил, так как это ни к чему не приведет. Он сказал, что очень благодарен мне, так же как и другим, за мое доброе желание, но «дилетантские силы» совершенно не нужны. Если у меня к тому же нет выработанного плана действия...

Я сказал ему, что у меня есть план действия. Само собой разумеется, что у меня никаких планов не было и я не мог сказать ему ни слова относительно моего плана. Но я заявил ему, что открою свой план — очень хороший, но очень опасный,— могущий дать те же результаты, какие дает деятельность профессиональных полицейских, только в том случае, если он даст мне честное слово, что сам возьмется за его выполнение. За это он меня очень поблагодарил и сказал, что у него совсем нет времени на что-либо подобное. Но тут я увидел, что имею точку опоры, тем более что он спросил меня, не могу ли я ему хоть как-нибудь раскрыть свой план.

Это я сделал. Я рассказал ему невероятную чепуху, о которой за секунду перед тем не имел ни малейшего понятия; сам не знаю, откуда мне это вдруг пришло в голову. Я сказал ему, что из всех часов в неделю есть час, имеющий на людей какое-то странное, таинственное влияние. Это — тот час, в который Христос исчез из своего гроба, чтобы сойти в ад, то есть шестой вечерний час последнего дня еврейской недели. Я напомнил ему, что именно в этот час, в пятницу, между пятью и шестью часами, совершились все три самоубийства. Больше я ему ничего не могу сказать, заметил я ему, но попросил обратить внимание на Откровение Святого Иоанна.

Комиссар состроил такую физиономию, словно что-нибудь понял, поблагодарил меня и попросил опять прийти вечером. Я был пунктуален и явился в назначенное время в его бюро; перед ним на столе лежал Новый Завет. Я также в этот промежуток времени занимался тем же исследованием — прочел все Откровение и — ни слова в нем не понял. Весьма возможно, комиссар был умнее меня, во всяком случае он заявил мне очень любезно, что, несмотря на мой неясный намек, догадывается о моем плане. Потом он сказал, что готов идти навстречу моему желанию и оказать мне возможное содействие.

Должен сознаться, он действительно был со мной крайне предупредителен. Он заключил с хозяйкой условие, в силу которого она обязалась целиком содержать меня в гостинице. Он снабдил меня также великолепным револьвером и полицейским свистком; дежурным полицейским было приказано как можно чаще проходить по маленькой улице Альфреда Стевенса и по малейшему моему знаку идти ко мне. Но важнее всего было то, что он поставил в мою комнату настольный телефон, чтобы я мог всегда быть в общении с полицейским участком. Участок этот всего в четырех минутах ходьбы от меня, а потому я очень скоро могу иметь помощь, если только в этом случится надобность. Принимая все это во внимание, я не могу себе представить, чего мне бояться.

Вторник, 1 марта

Ничего не случилось ни вчера, ни сегодня. Госпожа Дюбоннэ принесла новый шнурок к занавеске из соседней комнаты — ведь у нее достаточно пустых комнат. Вообще она пользуется всяким случаем, чтобы приходить ко мне; и каждый раз она что-нибудь приносит. Я попросил ее еще раз рассказать мне со всеми подробностями о том, что произошло в моей комнате, однако не узнал ничего нового. Относительно причины самоубийств у нее было свое особое мнение. Что касается артиста, то она думает, что тут дело было в несчастной любви: когда он за год перед тем останавливался у нее, к нему часто приходила одна молодая дама, но на этот раз ее совсем не было видно. Что касается швейцарца, то она не знает, что заставило его принять роковое решение,— но разве влезешь человеку

в душу? Ну, а сержант, несомненно, лишил себя жизни только для того, чтобы досадить ей.

Должен сказать, что объяснения госпожи Дюбоннэ отличаются некоторой неосновательностью, но я предоставил ей болтать, сколько ее душе угодно: как бы то ни было, она развлекает меня.

Четверг, 3 марта

Все еще ничего нового. Комиссар звонит мне по телефону раза два в день, я отвечаю ему, что чувствую себя превосходно; по-видимому, такое донесение не вполне удовлетворяет его. Я вынул свои медицинские книги и начал заниматься; таким образом, мое добровольное заключение принесет мне хоть какую-нибудь пользу.

Пятница, 4 марта, 2 часа пополудни

Я пообедал с аппетитом; хозяйка подала мне к обеду полбутылки шампанского. Это была настоящая трапеза приговоренного к смерти. Она смотрела на меня так, словно я уже на три четверти мертв. Уходя от меня, она со слезами просила меня пойти вместе с ней; по-видимому, она боялась, что я также повешусь, «чтобы досадить ей».

Я тщательно осмотрел новый шнурок для занавеси. Так, значит, на нем я должен сейчас повеситься? Гм, для этого у меня слишком мало желания. К тому же, шнурок жесткий и шершавый, и из него с трудом можно сделать петлю; нужно громадное желание, чтобы последовать примеру других. Теперь я сижу за своим столом, слева стоит телефон, справа лежит револьвер. Я не испытываю и тени страха, но любопытство во мне есть.

6 часов вечера

Ничего не случилось, я чуть было не сказал — к сожалению! Роковой час наступил и прошел — и он был совсем такой же, как и все другие. Конечно, я не буду отрицать, что были мгновения, когда я чувствовал непреодолимое желание подойти к окну — о да, но из совсем других побуждений! Комиссар звонил по крайней мере раз десять между пятью и шестью часами, он проявлял такое же нетерпение, как и я сам. Но что касается госпожи Дюбоннэ, то она довольна: целую неделю жилец прожил в комнате № 7 и не повесился. Невероятно!

Понедельник, 7 марта

Я начинаю убеждаться в том, что мне не удастся ничего открыть, и я склонен думать, что самоубийство моих троих предшественников было простой случайностью. Я попросил комиссара еще раз сообщить мне все подробности трех самоубийств, так как был убежден, что если хорошенько вникнуть во все обстоятельства, то можно в конце концов напасть на истинную причину. Что касается меня самого, то я останусь здесь так долго, как это только будет возможно. Парижа я, конечно, не знаю, но я живу здесь даром и отлично откармливаюсь. К этому надо прибавить, что я много занимаюсь; я сам чувствую, что вошел во вкус с моими занятиями. И, наконец, есть и еще одна причина, которая удерживает меня здесь.

Среда, 9 марта

Итак, я сдвинулся на один шаг. Кларимонда...

Ах, да ведь я о Кларимонде ничего еще не рассказал. Итак, она моя «третья причина», вследствие которой я хочу здесь остаться, и из-за нее-то я и стремился к окну в тот «роковой» час, а отнюдь не для того, чтобы повеситься. Кларимонда — но почему я назвал ее так? Я не имею ни малейшего представления о том, как ее зовут, но у меня почему-то явилось желание называть ее Кларимондой. И я готов держать пари, что ее именно так и зовут, если только мне удастся когда-нибудь спросить ее об ее имени.

Я заметил Кларимонду в первый же день. Она живет по другую сторону очень узкой улицы, на которой находится моя гостиница; ее

окно расположено как раз против моего. Она сидит у окна за занавеской. Кстати, должен сказать, что она начала смотреть на меня раньше, чем я на нее,— видно, что она интересуется мной. В этом нет ничего удивительного, вся улица знает, почему я здесь живу,— об этом уж позаботилась госпожа Дюбоннэ.

Уверяю, что я не принадлежу к числу очень влюбчивых натур, и отношения мои к женщинам всегда были очень сдержанны. Когда приезжаешь в Париж из провинции, чтобы изучать медицину, и при этом не имеешь денег даже на то, чтобы хоть раз в три дня досыта наесться, тут уж не до любви. Таким образом, я не отличаюсь опытом и на этот раз, быть может, держал себя очень глупо. Как бы то ни было, она мне нравится такой, какая она есть. Вначале мне и в голову не приходило заводить какие бы то ни было отношения с соседкой, живущей напротив меня. Я решил, что здесь я живу только для того, чтобы делать наблюдения; но раз оказалось, что при всем моем желании мне здесь все равно нечего делать, то я и начал наблюдать за своей соседкой. Нельзя же весь день, не отрываясь, сидеть за книгами. Я выяснил, между прочим, что Кларимонда, по-видимому, одна занимает маленькую квартирку. У нее три окна, но она всегда сидит у того окна, которое находится против моего; она сидит и прядет за маленькой старинной прялкой. Такую прялку я когда-то видел у моей бабушки, но она никогда ее не употребляла, а сохранила как воспоминание о какой-то старой родственнице; я даже и не знал, что в наше время эти прялки еще употребляются. Впрочем, прялка Кларимонды маленькая и изящная, она вся белая и, по-видимому, сделана из слоновой кости; должно быть, она прядет на ней невероятно тонкие нити. Она весь день сидит за занавесками и работает не переставая, прекращает работу, только когда становится темно. Конечно, в эти туманные дни темнеет очень рано на нашей узкой улице — в пять часов уже наступают настоящие сумерки. Но никогда не видал я света в ее комнате.

Какая у нее наружность — этого я не знаю как следует. Ее черные волосы завиваются волнами, и лицо у нее очень бледное. Нос у нее узкий и маленький с подвижными ноздрями; губы также бледные; и мне кажется, что ее маленькие зубы заострены, как у хищных животных. На веках лежат темные тени, но когда она их поднимает, то ее большие темные глаза сверкают. Однако все это я гораздо больше чувствую, нежели действительно знаю. Трудно как следует рассмотреть что-нибудь за занавеской.

Еще одна подробность: она всегда одета в черное платье с высоким воротом; оно все в больших лиловых крапинках. И всегда у нее на руках длинные черные перчатки,— должно быть, она боится, что ее руки испортятся от работы. Странное впечатление производят эти узкие черные пальчики, которые быстро-быстро перебирают нитки и вытягивают их — совсем как какое-то насекомое с длинными лапками.

Наши отношения друг к другу? Должен сознаться, что пока они очень поверхностны, и все-таки мне кажется, что в действительности они гораздо глубже. Началось с того, что она посмотрела на мое окно, а я посмотрел на ее окно. Она увидела меня, а я увидел ее. И, по-видимому, я понравился ей, потому что однажды, когда я снова посмотрел на нее, она улыбнулась мне, и я, конечно, улыбнулся ей в ответ. Так продолжалось два дня, мы улыбались друг другу все чаще и чаще. Потом я чуть не каждый час принимал решение поклониться ей, но каждый раз какое-то безотчетное чувство удерживало меня от этого.

Наконец я все-таки решился на это сегодня после обеда. И Кларимонда ответила мне на мой поклон. Конечно, она кивнула головой чуть заметно, но все-таки я хорошо заметил это.

Четверг, 10 марта

Вчера я долго сидел над книгами. Не могу сказать, что я усердно занимался, нет, я строил воздушные замки и мечтал о Кларимонде. Спал я очень неспокойно, но проспал до позднего утра.

Когда я подошел к окну, то сейчас же увидел Кларимонду. Я поздоровался с нею, и она кивнула мне в ответ. Она улыбнулась и долго не сводила с меня глаз.

Я хотел заниматься, но не мог найти покоя. Я сел у окна и стал смотреть на нее. Тут я увидел, что и она также сложила руки на коленях. Я отдернул занавеску в сторону, потянув за шнурок. Почти в то же мгновение она сделала то же самое. Оба мы улыбнулись и посмотрели друг на друга.

Мне кажется, что мы просидели так целый час.

Потом она снова принялась за свою пряжу.

Суббота, 12 марта

Как быстро несется время. Я ем, пью и сажусь за письменный стол. Закурив трубку, я склоняюсь над книгами. Но не читаю ни одной строчки. Я стараюсь сосредоточиться, но уже заранее знаю, что это ни к чему не приведет. Потом я подхожу к окну. Я киваю головой, Кларимонда отвечает. Мы улыбаемся друг другу и не сводим друг с друга глаз целыми часами.

Вчера после обеда в шестом часу меня охватило какое-то беспокойство. Стало смеркаться очень рано, и мне сделалось как-то жутко. Я сидел за письменным столом и ждал. Я почувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет меня к окну — конечно, я не собирался вешаться, я просто только хотел взглянуть на Кларимонду. Наконец я вскочил и спрятался за занавеской. Никогда, казалось мне, не видал я ее так ясно, несмотря на то, что стало уже довольно темно. Она пряла, но глаза ее были устремлены на меня. Меня охватило чувство блаженства, но в то же время я почувствовал смутный страх.

Зазвонил телефон. Я был вне себя от злобы на этого несносного комиссара, который своими глупыми вопросами оторвал меня от моих грез.

Сегодня утром он приходил ко мне вместе с госпожой Дюбоннэ. Последняя очень довольна мной, для нее уже совершенно достаточно того, что я прожил две недели в комнате № 7. Комиссар, однако, требует, кроме того, еще каких-нибудь результатов. Я сделал ему несколько таинственных намеков на то, что напал, наконец, на очень странный след; этот осел поверил мне. Во всяком случае, я могу еще долго жить здесь, а это мое единственное желание. И не ради кухни и погреба госпожи Дюбоннэ,— Боже мой, как скоро становишься равнодушным ко всему этому, когда каждый день наедаешься досыта,— но только ради ее окна, которое она ненавидит и которого боится и которое я люблю, потому что вижу в нем Кларимонду.

Когда я зажигаю свою лампу, то перестаю ее видеть. Я все глаза высмотрел, чтобы подметить, выходит ли она из дому, но так ни разу и не видел ее на улице. У меня есть большое удобное кресло и на лампу зеленый абажур, и эта лампа обдает меня теплом и уютом. Комиссар принес мне большой пакет табаку; такого хорошего я еще никогда не курил... и все-таки, несмотря на все это, я не могу работать. Я заставляю себя прочесть две или три страницы, но после этого у меня сейчас же является сознание, что я не понял ни единого слова из прочитанного. Один только мой взор воспринимает буквы, но голова моя отказывается мыслить. Странно! Как будто к моей голове привешен плакат: «вход воспрещается». Как будто в нее разрешен доступ одной только мысли: Кларимонда.

Воскресенье, 13 марта

Сегодня утром я видел маленькое представление. Я прогуливался в коридоре взад и вперед, пока коридорный прибирал мою комнату. На маленьком окне, выходящем на двор, висит паутина, толстый паук-крестовик сидит в центре паутины. Госпожа Дюбоннэ не позволяет убрать паука: ведь пауки приносят счастье, а в доме и без того было достаточно несчастья. Вдруг я увидел другого паука, который был гораздо меньше первого; он осторожно бегал вокруг сети — это был самец. Неуверенно он пополз по

колеблющейся нити паутины к середине, но стоило только самке сделать движение, как он сейчас же испуганно бросился назад. Он подполз к другой стороне и попытался приблизиться оттуда. Наконец самка, сидевшая в середине, вняла его мольбам: она не двигалась больше. Самец дернул сперва осторожно за одну нить, так что паутина дрогнула; однако его возлюбленная не двинулась. Тогда он быстро, но с величайшей осторожностью приблизился к ней. Самка приняла его спокойно и отдалась его нежным объятиям; несколько минут оба паука неподвижно висели посреди большой паутины.

Потом я увидел, что самец медленно освободил одну ножку за другой; казалось, он хотел потихоньку удалиться и оставить свою возлюбленную одну в любовных мечтах. Вдруг он сразу освободился и побежал так быстро, как только мог, вон из паутины. Но в то же мгновение самка выказала сильнейшее беспокойство и быстро бросилась за ним вдогонку. Слабый самец спустился по одной нити, но его возлюбленная сейчас же последовала его примеру. Оба паука упали на подоконник; всеми силами самец старался спастись от преследования. Но поздно, его подруга уже схватила его своими сильными лапками и потащила снова в середину паутины. И это же самое место, которое только что служило ложем любви, послужило местом казни. Сперва возлюбленный пытался бороться, судорожно протягивал свои слабые ножки, стараясь высвободиться из этих ужасных объятий. Однако его возлюбленная не выпустила его больше. В несколько минут она обволокла его всего паутиной, так что он не мог больше двинуть ни одним членом. Потом она сдавила его своими цепкими клещами и стала жадно высасывать молодую кровь из тела своего возлюбленного. Я видел, как она, наконец, с презрением выбросила из паутины изуродованный до неузнаваемости комочек — ножки и кожу, переплетенные нитями паутины.

Так вот какова любовь у этих насекомых! Ну что ж, я очень рад, что я не молодой паук.

Понедельник, 14 марта

Я совершенно перестал заглядывать в свои книги. Я целые дни провожу у окна. Даже когда темнеет, я продолжаю сидеть у окна. Тогда я уже не вижу ее, но закрываю глаза, и ее образ стоит передо мной.

Гм, в своем дневнике я рассказываю о госпоже Дюбоннэ и о комиссаре, о пауках и о Кларимонде. Но ни одного слова о тех открытиях, которые я должен был сделать в этой комнате. Виноват ли я в этом?

Вторник, 15 марта

Мы придумали странную игру, Кларимонда и я; и мы играем в эту игру целый день. Я киваю ей, и она сейчас же отвечает мне кивком. Потом я начинаю барабанить пальцами по стеклу; едва она это замечает, как сейчас же начинает делать то же самое. Я делаю ей знак рукой, и она отвечает мне тем же; я шевелю губами, как бы говоря с ней, и она делает то же самое. Я откидываю свои волосы назад, и сейчас же она также подносит руку к своему лбу. Это выходит совсем по-детски, и оба мы смеемся над этим. Впрочем, она, собственно, не смеется, а только улыбается тихо и нежно, и мне кажется, что я сам улыбаюсь совсем так же.

Однако все это вовсе уж не так глупо, как могло бы казаться. Это не простое подражание друг другу — оно очень скоро надоело бы нам обоим,— нет, тут играет роль сродство мыслей. Дело в том, что Кларимонда мгновенно подражает малейшему моему движению: едва она замечает то, что я делаю, как тотчас делает то же самое,— иногда мне даже кажется, что все ее движения одновременно совпадают с моими. Вот это-то и приводит меня в восхищение; я всегда делаю что-нибудь новое, непредвиденное, и можно прямо поражаться, как быстро она все схватывает. Иногда у меня является желание застать ее врасплох. Я делаю множество движений, одно за другим, потом повторяю еще раз то же самое и еще раз. В конце концов

и в четвертый раз проделываю то же самое, но в другом порядке или пропускаю какое-нибудь движение и делаю новое. Это напоминает детскую игру «Птицы летят». И это прямо невероятно, что Кларимонда никогда ни разу не ошибется, хотя я проделываю все это так быстро, что, казалось бы, нет возможности разобраться в моих движениях.

Так я провожу целые дни. Но у меня ни на секунду не является такое чувство, будто я бесполезно провожу время; напротив, мне кажется, что я никогда не был занят более важным делом.

Среда, 16 марта

Не странно ли, что мне никогда не приходит в голову перенести мои отношения с Кларимондой на более реальную почву, а не ограничиваться только этой игрой? Прошлую ночь я долго думал над этим. Ведь стоит мне только взять шляпу и пальто и спуститься со второго этажа. Пройти пять шагов через улицу и потом снова подняться по лестнице на второй этаж. На дверях, конечно, висит дощечка, на которой написано «Кларимонда». Кларимонда, а дальше что? Не знаю, что именно: но имя Кларимонды написано на дощечке. Потом я стучу и...

Все это я представляю совершенно ясно, каждое малейшее движение, которое я сделаю, я представляю себе отчетливо. Но зато я не могу никак представить себе, что будет потом. Дверь откроется, это я еще могу представить себе. Но перед дверью я останавливаюсь и всматриваюсь в темноту, в которой я ничего, ничего не могу различить. Она не появляется — я ничего не вижу, да и вообще там ничего нет. Я вижу только черный, непроницаемый мрак.

Иногда мне кажется, что только и существует та Кларимонда, которую я вижу там, у окна, и которая со мной играет. Я даже не могу себе представить, какой вид имела бы эта женщина в шляпе или в каком-нибудь другом платье, а не в этом черном с лиловыми пятнами; я не могу себе представить ее даже без ее черных перчаток. Если бы я встретил ее на улице или в каком-нибудь ресторане за едой или питьем или просто болтающей,— нет, даже смешно подумать об этом, до такой степени невозможной представляется мне эта картина.

Иногда я спрашиваю себя, люблю ли я ее. На это я не могу дать ответа, потому что никогда еще не любил. Но если то чувство, которое я испытываю к Кларимонде, действительно любовь, то это нечто совсем-совсем другое, чем то, что я видел у моих товарищей или о чем читал в романах.

Мне очень трудно дать отчет в моих ощущениях. Вообще мне очень трудно думать о чем-нибудь, не имеющем прямого отношения к Кларимонде или, вернее, к нашей игре. Ибо нельзя отрицать, что в сущности эта игра и только эта игра занимает меня, а не что-нибудь другое. И это я, во всяком случае, понимаю.

Кларимонда... ну да, меня, конечно, влечет к ней. Но к этому примешивается другое чувство, как если бы я чего-нибудь боялся. Боялся? Нет, это не то, это скорее застенчивость, смутный страх перед чем-то для меня неизвестным. Но именно этот-то страх и представляет собой нечто порабощающее, нечто сладостное, не позволяющее мне приблизиться к ней. У меня такое чувство, будто я бегаю вокруг нее в широком кругу, время от времени приближаюсь к ней, потом опять отбегаю от нее, устремляюсь в другое место, снова приближаюсь и снова убегаю. Пока наконец — я в этом твердо уверен — я все-таки не приближусь к ней окончательно.

Кларимонда сидит у окна и прядет. Она прядет длинные, тонкие, необычайно тонкие нити.

Из этих нитей она соткет ткань, не знаю, что из нее будет. Я не понимаю даже, как она соткет ткань из этих нежных тонких нитей, не перепутав и не оборвав их. В ее ткани будут удивительные узоры, сказочные животные и невероятные рожи.

Впрочем, что я пишу? Ведь я все равно не вижу, что она прядет; ее нити слишком тонки. И все-таки я чувствую, что работа ее именно такая, какою

я себе представляю ее, когда закрываю глаза. Именно такая. Большая сеть со множеством фигур в ней — сказочные животные с невероятными рожами.

Четверг, 17 марта

Странное у меня состояние. Я почти не разговариваю больше ни с кем; даже с госпожой Дюбоннэ и с коридорными я едва только здороваюсь. Я едва даю себе время, чтобы поесть; мне только хочется сидеть у окна и играть с нею. Эта игра возбуждает меня, право, возбуждает.

И все время у меня такое чувство, будто завтра должно нечто случиться.

Пятница, 18 марта

Да, да, сегодня должно что-то случиться. Я повторяю это себе — совсем громко, чтобы услышать свой голос,— я говорю себе, что только для этого я нахожусь здесь. Но хуже всего то, что мне страшно. И этот страх, что со мной может случиться то же самое, что с моими предшественниками в этой комнате, смешивается со страхом перед Кларимондой. Я не могу больше отделить одного от другого.

Мне страшно, мне хочется кричать.

6 часов вечера

Скорее два слова, потом — за шляпу и пальто.

Когда пробило пять часов, силы мои иссякли. О, теперь я хорошо знаю, что есть что-то особенное в шестом часу предпоследнего дня недели — теперь я уже не смеюсь больше над той шуткой, которую проделал с комиссаром. Я сидел в своем кресле и всеми силами старался не сходить с него. Но меня тянуло, я рвался к окну. Я хотел во что бы то ни стало играть с Кларимондой — но тут примешивался страх перед окном. Я видел, как на нем висит швейцарец, большой, с толстой шеей и седоватой бородой. Я видел также стройного артиста и коренастого, сильного сержанта. Я видел всех троих, одного за другим, а потом всех троих зараз, на том же крюке, с раскрытыми ртами и высунутыми языками. А потом я увидал и себя самого среди них.

О, этот страх! Я чувствовал, что мною овладел ужас как перед перекладиной окна и отвратительным крюком, так и перед Кларимондой. Да простит она мне, но это так, в моем подлом страхе я все время примешивал ее образ к тем троим, которые висели, спустив ноги на пол.

Правда, ни на одно мгновение у меня не было желания повеситься; да я и не боялся, что сделаю это. Нет, я просто боялся чего-то страшного, неизвестного, что должно было случиться. У меня было страстное, непреодолимое желание встать и, вопреки всему, подойти к окну. И я уже хотел это сделать...

Тут зазвонил телефон. Я взял трубку и, не слушая того, что мне говорили, сам крикнул: «Приходите! Сейчас же приходите!»

Казалось, словно этот резкий крик в одно мгновение окончательно прогнал все страшные тени. Я успокоился в одно мгновение. Я вытер со лба пот и выпил стакан воды; потом я стал обдумывать, что сказать комиссару, когда он придет. Наконец я подошел к окну, кивнул и улыбнулся.

И Кларимонда кивнула мне в ответ и улыбнулась.

Пять минут спустя комиссар был у меня. Я сказал ему, что наконец-то я напал на настоящий след, но сегодня он должен пощадить меня и не расспрашивать, в самое ближайшее время я ему все объясню. Самое смешное было то, что когда я все это сочинял, то был твердо уверен в том, что говорю правду. Да и теперь, пожалуй, мне это так кажется... вопреки моей совести.

По всей вероятности, он заметил мое странное душевное состояние, в особенности, когда я затруднился объяснить ему мой крик в телефон и тщетно пытался выйти из этого затруднения. Он сказал мне только очень любезно, чтобы я с ним не стеснялся; он в моем полном распоряжении, в этом заключается его обязанность. Лучше он двенадцать раз приедет

напрасно, чем заставит себя ждать, когда в нем окажется нужда. Потом он пригласил меня выйти с ним вместе на этот вечер, чтобы рассеяться немного; нехорошо так долго быть в одиночестве. Я принял его приглашение — хотя мне это было очень неприятно: я так неохотно расстаюсь теперь со своей комнатой.

Суббота, 19 марта

Мы были в «Gaite Rochechouart», а потом в «Cigale» и в «Lune Rousse». Комиссар был прав: для меня было очень полезно выйти и подышать другим воздухом. Вначале у меня было очень неприятное чувство, как будто я был дезертиром, который бежал от своего знамени. Но потом это чувство прошло; мы много пили, смеялись и болтали.

Подойдя сегодня утром к окну, я увидел Кларимонду, и мне показалось, что в ее взоре я прочел укор. Но, может быть, это мое воображение: откуда ей, собственно, знать, что я вчера вечером выходил из дому? Впрочем, это мне показалось только на одно мгновение, потом я снова увидел ее улыбку.

Мы играли весь день.

Воскресенье, 20 марта

Только сегодня я могу писать. Вчера мы играли весь день.

Понедельник, 21 марта

Мы весь день играли.

Вторник, 22 марта

Да, сегодня мы делали то же самое. Ничего, ничего другого. Иногда я спрашиваю себя: зачем я, собственно, это делаю? Или: к чему это поведет, чего я этим хочу добиться? Но на эти вопросы я никогда не даю себе ответа, потому что ясно, что я ничего другого и не хочу, как только этого одного. И то, что должно случиться, и есть именно то, к чему я стремлюсь.

Эти дни мы разговаривали друг с другом, конечно, не произнося ни одного слова вслух. Иногда мы шевелили губами, но по большей части мы только смотрели друг на друга. Но мы очень хорошо понимали друг друга.

Я был прав: Кларимонда упрекнула меня в том, что я убежал в прошлую пятницу. Тогда я попросил у нее прощения и сказал, что это было глупо и скверно с моей стороны. Она простила меня, и я обещал ей не уходить в следующую пятницу. И мы поцеловались, мы долго прижимались губами к стеклу.

Среда, 23 марта.

Теперь я знаю, что я люблю ее. Так это должно быть, я проникнут ею весь, до последнего фибра. Пусть для других людей любовь представляет собой нечто иное. Но разве есть хоть одна голова, одно ухо, одна рука, которые были бы похожи на тысячи подобных им? Все отличаются друг от друга, так и любовь всегда различна. Правда, я знаю, что моя любовь совсем особенная. Но разве от этого она менее прекрасна? Я почти совсем счастлив в своей любви.

Если бы только не было этого страха! Иногда этот страх засыпает, и тогда я забываю его. Но это продолжается только несколько минут, потом страх снова просыпается во мне жалкой мышкой, которая борется с большой, прекрасной змеей, тщетно пытаясь вырваться из ее мощных объятий. Подожди, глупый, маленький страх, скоро великая любовь поглотит тебя.

Четверг, 24 марта

Я сделал открытие: не я играю с Кларимондой, это она играет со мной. Вот как это вышло.

Вчера вечером я думал — как и всегда — о нашей игре. И записал пять новых серий различных движений, которыми я собирался удивить ее на следующий день,— каждое движение было под известным номером.

Я упражнялся в них, чтобы потом скорее проделывать их, сперва в одном порядке, потом в обратном. Это было очень трудно, но это доставило мне величайшее удовольствие, это как бы приближало меня к Кларимонде даже в те минуты, когда я ее не вижу. Я упражнялся целыми часами, наконец все пошло как по маслу.

И вот сегодня утром я подошел к окну. Мы поздоровались друг с другом, и потом началась игра. Прямо невероятно, как быстро она понимала меня, как она подражала мне в то же мгновение.

В эту минуту кто-то постучал в мою дверь; это был коридорный, который принес мои сапоги. Взяв сапоги и возвращаясь потом к окну, я случайно посмотрел на листок, на котором записал серии моих движений. И тут я увидел, что только что, стоя перед окном, не сделал ни одного из тех движений, которые записал.

Я пошатнулся, ухватился за спинку кресла и опустился в него. Я этому не верил, я еще и еще раз просмотрел то, что было записано на листочке. Но это было так: я только что перед окном проделывал целый ряд движений, но ни одного из моих.

И снова у меня явилось такое чувство: широко раскрывается дверь, ее дверь. Я стою перед раскрытой дверью и смотрю — ничего, ничего, лишь густой мрак. Тогда мне стало ясно: если я сейчас выйду, то буду спасен; и я почувствовал, что теперь могу уйти. Но, несмотря на это, я не уходил, и это было потому, что я ясно чувствовал, что держу в своих руках тайну. Крепко, в обеих руках. Париж — ты завоюешь Париж!

Одно мгновение Париж был сильнее Кларимонды.

Ах, теперь я совсем больше не думаю об этом. Теперь я чувствую только мою любовь и с ней вместе тихий, блаженный страх.

Но в то мгновение этот страх придал мне силы. Я еще раз прочел мою первую серию движений и старательно запомнил их. Потом я подошел к окну.

Я отдавал себе ясный, совершенно ясный отчет: я не сделал ни одного движения из тех, которые хотел сделать.

Тогда я решил потереть указательным пальцем нос, но вместо этого поцеловал стекло. Я хотел побарабанить по стеклу, но вместо этого провел рукой по волосам. Итак, мне стало ясно: не Кларимонда подражает тому, что делаю я, а скорее я подражаю ей. И делаю это так быстро, так молниеносно, что у меня создалось впечатление, будто инициатива исходит от меня.

А я, который так гордился тем, что влияю на нее, сам попадаю под ее влияние. Впрочем, это влияние такое нежное, такое ласкающее, что мне кажется, нет на свете ничего более благодетельного.

Я произвел еще несколько опытов. Я засунул обе руки в карманы и решил не двигаться; я стоял и пристально смотрел на нее. Я видел, как она подняла свою руку, как она засмеялась и слегка погрозила мне указательным пальцем. Я не шевелился. Я чувствовал, как моя правая рука стремится высвободиться из кармана, но я вцепился пальцами в подкладку. Потом медленно, через несколько минут, пальцы разжались, и я вынул руку из кармана и поднял ее. И я улыбнулся и тоже погрозил ей пальцем. Мне казалось, что это делаю не я, а кто-то другой, за кем я наблюдаю. Нет, нет, это было не так. Я, я делал это, а кто-то другой был тот сильный, который хотел сделать великое открытие, но это был не я.

Я — какое мне дело до каких бы то ни было открытий,— я здесь для того, чтобы исполнить волю Кларимонды, которую люблю в сладостном страхе.

Пятница, 25 марта

Я перерезал телефонную проволоку. Я не хочу, чтобы меня каждую минуту беспокоил этот глупый комиссар, да еще как раз в то время, когда наступает этот странный час.

Господи, зачем я все это пишу? Во всем этом нет ни слова правды. Мне кажется, будто кто-то водит моим пером.

Но я хочу, хочу, хочу записывать то, что со мной происходит. Это стоит мне громадного напряжения воли. Но я это сделаю. Еще только один раз то... что я хочу.

Я перерезал телефонную проволоку... ах!

Я должен был это сделать. Вот! Наконец-то! Потому что я должен был, должен был.

Сегодня мы стояли у наших окон и играли. Со вчерашнего дня наша игра изменила свой характер. Она делает какое-нибудь движение, а я сопротивляюсь до тех пор, пока могу. Пока я, наконец, не уступаю и безвольно не подчиняюсь тому, чего она хочет. И я не могу выразить, какое блаженство сознавать себя побежденным, какое счастье отдаваться ее воле.

Мы играли. Потом вдруг она встала и ушла в глубь комнаты. Было так темно, что я не мог ее больше видеть; она как бы растаяла во мраке. Но потом она снова появилась у окна, держа в руках настольный телефон, совсем такой же, как и у меня. Она с улыбкой поставила его на подоконник, взяла нож, перерезала шнурок и снова отнесла телефон.

Я сопротивлялся добрых четверть часа. Страх мой был сильнее, чем раньше, но тем сладостнее было чувствовать себя мало-помалу порабощенным. Наконец я взял свой аппарат, поставил его на окно, перерезал шнурок и снова отнес его на стол.

Так это случилось.

Я сижу за своим письменным столом: я напился чаю, коридорный только что вынес посуду. Я спросил его, который час,— мои часы идут неверно. Четверть шестого, четверть шестого.

Я знаю, стоит мне только поднять голову, как Кларимонда что-нибудь сделает. Она сделает что-нибудь такое, что и я должен буду сделать.

И я все-таки поднял голову. Она стоит в окне и смеется. Теперь — если бы я только мог отвернуться от нее;— теперь она подошла к занавеске. Она снимает шнурок,— шнурок красный, совсем как у моего окна. Она делает петлю. Она прикрепляет шнурок к крюку на перекладине.

Потом она, улыбаясь, садится.

Нет, то, что я чувствую, это уже не страх. Это холодный, леденящий ужас, который я тем не менее не согласился бы променять ни на что на свете. Это какое-то невероятное порабощение, но в то же время в этом непредотвратимом ужасе есть какое-то своеобразное наслаждение.

Я был бы способен подбежать к окну и сейчас же сделать то, что она хочет, но я жду, во мне происходит борьба, я сопротивляюсь. Я чувствую, что с каждой минутой та сила становится все непреодолимее.

. . . . . .

Ну, вот, теперь я опять сижу за столом. Я быстро подбежал к окну и исполнил то, что она от меня ждала: взял шнурок, сделал петлю и повесил шнурок на крюк.

Теперь я уже больше не встану, теперь я буду смотреть только на бумагу. Я хорошо знаю, что она сделает, если я только на нее посмотрю в этот шестой час предпоследнего дня недели. Если я посмотрю на нее, то я должен буду исполнить то, что она хочет, тогда я должен буду...

Не буду смотреть на нее...

Вот я засмеялся громко. Нет, я не засмеялся, это во мне что-то засмеялось. И я знаю над чем: над моим «не хочу»...

Не хочу и все-таки знаю наверное, что должен это сделать. Я должен посмотреть на нее, должен, должен сделать это... и потом остальное.

Я только жду, чтобы продлить муки — эти страдания, от которых захватывает дыхание и которые в то же время доставляют величайшее наслаждение. Я пишу и пишу, чтобы подольше сидеть за столом, чтобы продлить эти секунды страдания, которые до бесконечности увеличивают счастье моей любви...

Еще немного, еще...

Опять этот страх, опять! Я знаю, что я посмотрю на нее, что встану, что повешусь; но я боюсь не этого. О нет — это прекрасно, это дивно.

Но есть нечто, нечто другое... что случится потом. Я не знаю, что это такое, но это случится наверное, ибо счастье моих мук так невероятно велико. О, я чувствую, чувствую, что за этим последует нечто ужасное.

Только бы не думать...

Писать что-нибудь, что попало, все равно что. Только скорее, не раздумывая...

Мое имя — Ришар Бракемон, Ришар Бракемон, Ришар... о, я не могу больше... Ришар Бракемон... Ришар Бракемон... теперь... теперь... я должен посмотреть на нее... Ришар Бракемон... я должен... нет еще... Ришар... Ришар Браке...

. . . . . .

Комиссар IX участка, который не мог добиться ответа на свои звонки по телефону, вошел в гостиницу «Стевенс» в пять минут седьмого. В комнате № 7 он нашел студента Ришара Бракемона повесившимся на перекладине окна совершенно при той же обстановке, при какой повесились в этой комнате его трое предшественников.

Только на лице его было другое выражение: оно было искажено ужасом, глаза его были широко раскрыты и почти выходили из орбит. Губы были раздвинуты, но зубы были крепко стиснуты.

И между ними был раздавлен большой черный паук со странными лиловыми крапинками.

На столе лежал дневник студента. Комиссар прочел его и сейчас же пошел в дом на противоположной стороне улицы. Там он констатировал, что весь второй этаж уже в течение нескольких месяцев стоит пустой, без жильцов...

ДЖОВАННИ ПАПИНИ

Невозвращенный день

РАССКАЗ

Перевод с итальянского Ю. БАЛТРУШАЙТИСА

ДЖОВАННИ ПАПИНИ (1881—1956) — итальянский поэт, прозаик, критик, философ. Приверженец и пропагандист философии прагматизма. Автор сборников новелл «Трагическая повседневность» (1906), «Слова и кровь» (1912), «Странная история» (1954), автобиографии «Конченый человек» (1912), поэтического сборника «Хлеб и вино с рассуждениями о поэзии» (1926), религиозных сочинений «История Христа» (1921), «Дьявол» (1953), публицистической книги «Гог» (1931), книг по истории искусства. Рассказ «Невозвращенный день» взят из сборника «Трагическая повседневность».

Я знаю много принцесс, немолодых, но прекрасных, впрочем, обедневших настолько, что могут позволить себе лишь единственную, вечно в черном, горничную и живут на какой-нибудь всеми позабытой тосканской вилле, из тех заброшенных вилл, где два пыльных кипариса сторожат ворота в каменной ограде.

Если вы встретитесь с ними в гостиной какой-нибудь овдовевшей графини и не по-модному назовете их «высочествами» и заговорите на французском языке, на этом международном, классическом, бесцветном языке, которому вы можете научиться у аббата Мармонтеля, то мои принцессы почти всегда откроют вам свои сердца, и, проникнув в их бедные души,— маленькие, полные пыли и безделушек, как часовни семнадцатого века,— вы убедитесь, что жизнь приемлема и что, рождая нас на свет, наша мать была не так глупа, как могло казаться.

Сколько необычных тайн прошептали мне мои прекрасные немолодые принцессы. Они очень любят пудру, но, пожалуй, еще больше любят беседу, и хотя все они немки, только одна русская, их восхитительный французский язык старого режима вызывает во мне иногда далеко не обычные ощущения, и порою мое сердце тает, и, сознаюсь, у меня почти возникает желание плакать слезами глупого влюбленного.

Однажды вечером, не слишком поздно, в гостиной одной тосканской виллы, сидя в старинном кресле у столика, где мне был предложен жидкий чай, я молчал в обществе одной старой и самой прекрасной из моих принцесс.

Она была в черном, ее лицо было закрыто черной вуалью, и ее волосы, седые, как мне было известно, и всегда слегка курчавые, были закрыты черной шляпой. Казалось, она была окружена как бы ореолом темноты. Это мне нравилось, и я старался думать, что эта женщина была лишь призраком, вызванным моей собственной волей. Это было не трудно, так как в комнате было почти совсем темно, и единственная зажженная свеча слабо освещала только ее напудренное лицо. Все остальное сливалось с сумраком, и мне могло казаться, что я просто вижу перед собой голову, отделенную от туловища, приблизительно в метре от земли.

Но принцесса начала говорить, и всякая другая фантазия была невозможна в этот миг.

— Послушайте, господин,— сказала она,— что со мной случилось

сорок лет тому назад, когда я была еще достаточно молода, чтобы иметь право совершать безумства.— И своим слабым голосом она рассказала мне одну из своих бесчисленных любовных историй: какой-то французский генерал из любви к ней стал актером и был убит ночью пьяным паяцем.

Но я уже знал ее выдумки в этом роде, и мне хотелось чего-нибудь более странного, более отдаленного, более неправдоподобного. Принцесса хотела быть любезной до конца.

— Вы принуждаете меня,— сказала она,— поделиться последней тайной, какая у меня остается и которая всегда оставалась тайной именно потому, что она — самая неправдоподобная из всех. Но я знаю, что через несколько месяцев я умру, до конца зимы, и я не уверена, что найду другого человека, которого занимали бы эти нелепые вещи.

Эта моя тайна началась в двадцать два года. Я была в то время самой прелестной принцессой в Вене и еще не успела убить своего первого мужа. Это произошло позднее, через два года, когда я влюбилась в... Но вы уже знаете эту историю. Passons [1]. Итак, случилось, что к концу моего двадцать второго года ко мне явился какой-то старик в орденах и без бороды и попросил у меня позволения поговорить со мной две минуты наедине. И как только мы остались одни, он сказал мне: «У меня есть дочь, которую я безмерно люблю и которая очень больна. Мне необходимо поддержать ее жизнь и силы, и вот я стараюсь купить годы молодости или достать их взаймы. Если вы хотите одолжить мне один год из вашей жизни, то я вам верну его мало-помалу, день за днем, прежде, чем кончится ваша жизнь. Когда вам исполнится двадцать два года, то вместо того чтобы вступить в двадцать третий, вы окажетесь старше на один год и вступите в двадцать четвертый. Вы еще очень молоды и почти не заметите скачка, но я вам верну сполна все триста шестьдесят пять дней, по два или по три сразу, и, состарившись, вы получите возможность по вашему усмотрению переживать часы подлинной молодости, неожиданный возврат здоровья и красоты. Не думайте, что вы разговариваете с насмешником или дьяволом. Я просто-напросто бедный отец, воссылавший столько молитв всевышнему, что мне даровано делать невозможное. С большим трудом я уже собрал три года, но мне нужно еще много. Дайте мне один год из ваших, и вы никогда не раскаетесь».

Я привыкла к странным происшествиям, и в среде князей, где я жила, ничто не считалось невозможным. Поэтому я согласилась на странный заем и через несколько дней стала старше на один год. Этого почти никто не заметил, и до сорока лет я весело прожила свою жизнь, не прибегая к году, который я отдала на хранение и который мне обязались возвратить.

Старый господин оставил мне свой адрес вместе с контрактом и просил меня предупредить его по крайней мере за месяц, когда я пожелаю день или неделю молодости, обещая мне возместить то, что я потребую, в заранее условленное мгновение.

После моего сорокового года, когда моя красота готова была поблекнуть, я удалилась в один из немногих замков, оставшихся у моей семьи, и ездила в Вену лишь дважды или трижды в год. Я заблаговременно писала моему должнику и потом отправлялась на придворные балы, в столичные гостиные, молодая и красивая, какою я была бы в двадцать три года, изумляя всех, кто знавал мою красоту в упадке. Как все было странно накануне моего появления. Вечером я засыпала усталая и отцветшая, как всегда, а утром вставала радостная и легкая, как птица, недавно научившаяся летать, и бежала к зеркалу. Морщинки исчезли, у меня было свежее и нежное тело, волосы стали совсем светлыми, и губы были красивые, такие красивые, что я сама была готова неистово целовать их. В Вене поклонники теснились вокруг меня, изумленно восклицали, обвиняли меня в колдовстве и, в сущности, ничего не понимали. Но лишь только начинал иссякать срок молодости, которого я требовала, я садилась в карету и скакала в замок,

[1] Не будем на этом задерживаться (*франц.*)

где я никого не стеснялась. Однажды молодой чешский граф, жестоко влюбившийся в меня в одну из моих вылазок в Вену, ухитрился, не знаю как, проникнуть в мою комнату и чуть не умер от изумления, увидев, насколько я была некрасивее и старше той, которой он пленился в салонах Вены.

Никому с тех пор не удалось нарушить мое добровольное затворничество, которое прерывалось только странной радостью и глубоким унынием редких промежутков молодости в плачевном беге моего неизменного упадка. Можете представить эту мою фантастическую жизнь в долгие месяцы одинокой старости, лишь изредка прерываемой блуждающими огоньками немногих дней красоты и страсти.

На первых порах эти триста шестьдесят пять дней казались мне неисчерпаемыми, и я не думала, что когда-нибудь они могут кончиться. Поэтому я слишком расточала мои сбережения и писала слишком часто таинственному Должнику Жизни. Но он ужасно точный человек. Я как-то заглянула к нему и видела его счетоводные книги. Такие же контракты он заключил не со мной одной, и я знаю, что он крайне аккуратно отмечает убыль своей дани. Я видела даже его дочь: бледную, бледную женщину, сидевшую на заставленной цветами террасе.

Я никогда не могла узнать, откуда у него берется жизнь, которую он возвращает так точно дневными взносами, но у меня есть некоторое основание думать, что он прибегает к новым долгам. Кто были эти женщины, одолжившие ему возвращенные мне дни? Мне очень хотелось бы познакомиться с кем-нибудь из них, но, как часто и искусно я ни допытывалась, мне ничего не удалось узнать. Но, может быть, они не так странны, как я думаю.

Во всяком случае, этот человек чрезвычайно интересен, и он отлично ведет свои счета. Вы не можете представить себе, как ужасна стала моя жизнь, когда со спокойствием банкира он объявил мне, что в моем распоряжении у него осталось всего одиннадцать дней. За весь этот год я ни разу не писала ему, и у меня была минута искушения подарить ему оставшиеся дни и не мучить себя больше. Вы отлично понимаете причину, не правда ли? Ведь всякий раз, когда я снова делалась молодой, миг пробуждения становился все мучительнее, потому что разница между моим обычным состоянием и моими двадцатью тремя годами с течением лет становилась все значительнее.

С другой стороны, устоять было невозможно. Как вы думаете, может ли бедная, одинокая старушка отказаться от двух или трех дней красоты и любви, изящества и радости? Быть любимой один день, желанной один час, счастливой один миг! Вы слишком молоды, чтобы понять весь мой восторг.

Но дни подходят к концу,— мой кредит скоро закроется навсегда, навеки. Подумайте: я могу требовать только один день. После этого дня я буду окончательно стара и обречена на смерть. День света, и потом сумрак навсегда. Взвесьте хорошенько, я вас прошу, всю непредвиденную трагедию моей жизни... Когда я потребую возвращения этого последнего дня, что я буду делать с ним? Вот уже более трех лет, как я не была молода, и в Вене уже почти никто не помнит меня, вся моя красота показалась бы призрачной. И все же мне нужен возлюбленный, смелый возлюбленный, полный огня. Еще раз я должна почувствовать ласку. Это мое морщинистое лицо еще раз станет свежим и румяным, и мои губы еще в последний раз будут сулить наслаждение. Бедные, бедные и сморщенные губы! Они хотят быть румяными и теплыми еще один единственный день, для последнего любовника, для последних губ.

Но я не могу решиться. У меня нет сил истратить последнюю мелкую монету истинной жизни, и я не знаю, как ее истратить, и я горю безумным желанием истратить ее...

Бедная и милая принцесса. Уже несколько минут, как была приподнята ее вуаль, и я видел, что слезы провели тонкие бороздки по напудренному

лицу. В этот миг рыдания, как аристократично она ни подавляла их, помешали ей продолжать. И тогда мною овладело глубокое желание во что бы то ни стало утешить милую старушку, и я припал к ее ногам,— к ногам морщинистой и одетой в черное принцессы,— и я сказал, что буду любить ее безоглядней всякого безумца, и я самыми нежными словами просил ее отдать мне, одному мне, последний день ее прекрасной молодости.

Я не помню точно всего, что я ей сказал, но мое движение и мои речи глубоко тронули ее, и несколько театральной фразой она позволила мне быть ее последним возлюбленным, на один только день, через месяц. Она назначила мне свидание на определенное число в той же вилле, и я простился с ней в большом замешательстве, поцеловав ее худые и бледные руки.

Когда я возвращался в город ночью, не совсем полная луна неотступно глядела на меня с жалостью, но я слишком много думал о прекрасной принцессе, чтобы обращать на луну должное внимание.

Этот месяц был очень долог, это был самый долгий месяц в моей жизни. Я обещал своей будущей возлюбленной не видеться с нею до условленного дня, и я сдержал свое рыцарское слово. Несмотря на все, день настал, и это был самый длинный день этого длинного месяца. Но в конце концов настал и вечер, и, одевшись как можно наряднее, с дрожью в сердце и неверным шагом я отправился на виллу.

Издали я увидел ярко, как никогда, освещенные окна и, приблизившись, нашел ворота открытыми и балкон утопавшим в цветах... Вошел в дом, и меня отвели в гостиную, где в двух фантастических люстрах горели две свечи.

Мне приказано было ждать, и я ждал. Никто не являлся. Весь дом был безмолвен. Свечи пылали, и цветы благоухали в пустыне. Через час волнения и ожидания я не в силах был сдержать себя и вошел в столовую. На столе были приготовлены два прибора, и цветы, и плоды в большом изобилии. Я перешел в маленькую, нежно освещенную и пустынную гостиную. Наконец я добрался до двери, которая, как мне было известно, вела в комнату принцессы. Дважды или трижды постучал, но не получил ответа. Тогда я проникся отвагой, полагая, что возлюбленному можно позабыть про этикет, открыл дверь и остановился на пороге.

Комната была наполнена пышными платьями, которые были разбросаны всюду, словно в бешенстве грабежа. Четыре канделябра бросали радостный свет кругом. Принцесса вытянулась в кресле перед зеркалом, одетая в одно из самых удивительных платьев, какие мне приходилось видеть.

Я окликнул ее, и она не отвечала.

Подошел, тронул, не шевельнулась.

И тогда я заметил, что ее маленькое и бледное лицо, каким я видел его всегда, было лишь несколько печальнее обычного и слегка испуганное. Я положил руку на ее рот и не почувствовал дыхания, положил на грудь и не почувствовал никакого биения.

Бедная принцесса умерла,— умерла тихо, внезапно, поджидая перед зеркалом свою красоту.

Письмо, которое я нашел на полу подле нее, разъяснило мне тайну ее неожиданной кончины.

Оно содержало несколько строк, набросанных прямым, военным почерком, и сообщало:

«Дорогая принцесса, мне искренно прискорбно, что не могу вернуть вам последний день, который я вам должен. Я больше не нахожу достаточно умных женщин, которые поверили бы моему невероятному обещанию, и моя дочь в опасности. Сделаю еще несколько попыток и сообщу вам о результатах, потому что мне очень хотелось бы удовлетворить вашу последнюю просьбу».

ЭЙНО ЛЕЙНО

Синий крест

Перевод с финского ВЛАДИСЛАВА ХОДАСЕВИЧА

ЭЙНО ЛЕЙНО — литературный псевдоним Армаса Эйно Леопольда Лёнбума (1878—1926). Признанный глава неоромантического направления, автор многих романов и драм, авторитетнейший критик, Эйно Лейно интересен прежде всего как лирик: его считают не просто первым, но неоспоримо первым во всей истории лирики Финляндии. По словам литературоведа Эйно Карху, «как в использовании фольклорных сюжетов и мотивов, так и в смысле метрики лирика Лейно чрезвычайно индивидуальна. В рамках традиционного стиха в ней всегда различимы только одному ему присущие интонации. Эта мелодическая индивидуальность особенно ярко выражена в балладах из циклов «Песни Троицына дня», справедливо причисляемых к шедеврам финской поэзии».

Эту особую интонацию виртуозно передает на русском языке блестящий мастер стиха Владислав Ходасевич. Стихи Эйно Лейно были им переведены для «Сборника финской литературы», изданного в 1917 г. в Петрограде под редакцией В. Брюсова и М. Горького.

А. П.

Были странные виденья
Деве юной Катерине,—
Что пасла стада у речки.
В небеса она глядела,
Слушала деревьев говор,
И однажды превратились
Перед нею тучи в башни;
В зареве зари вечерней,
Над густыми облаками
Златоглавые воздвиглись
И сияющие храмы.
Рассказала Катерина
Про свое виденье людям:
Сном сочли они виденье,
Помолиться ей велели
И пойти к причастью в церковь.
Но запомнилось виденье
Катерине... А однажды
На холме шептались ели:
«Не клубится дым священный
В вековых карельских дебрях,
Не звонят в церквах к обедне,
Не святят во храмах воду.
Дымные горят пожары,
Кровь алеющая брызжет,
Да звенит топор военный

Возле рек, журчащих тихо,
В некрещеных, темных странах».
И запомнила те речи
Катерина. Помолилась,
Причастилась, пред иконой
День и ночь клала поклоны,—
Не стихает в сердце пламя.
И пошла она однажды,
Силой чуждою влекома,
Странствовать по дальним землям.
По лесным брела дорогам:
Сосны выше, дом все дальше,
И казалось Катерине,
Что столбы святых часовен
Возникают в отдаленьи,
Что звучат молений хоры,
Что напевом златогласным
Колокол звучит над лесом.
Так, ведомая виденьем,
Шла она навстречу звукам,
Шла, куда манило сердце,—
И пришла на берег моря,
К голубым широким водам.
На море виднелся остров.
Сто церквей на нем стояло,
Золотом горели крыши.
Челн у берега качался,
Дул попутный легкий ветер.
Скоро с острова монахи,
На песчаном стоя мысе,
Увидали Катерину
И спросили: «Кто ты, дева,
И зачем на остров едешь?»
И донес ответ им ветер:
«Я — зачавшая от Бога,
На Господень еду остров».
Тотчас с берега монахи
Убежали: поскорее
Крепко заперли ворота
И цепных собак спустили.
И затих над морем остров,
Стал похож на город мертвых.
Дева на берег ступила —
Все колокола запели;
Вот стучит она в ворота —
С грохотом упали цепи;
Вот на двор она приходит —
Злые псы ей лижут руки;
В Божий дом она вступила —
Преклоняются иконы.
Удивляются монахи:
«Кто же дева эта, если

Злые псы пред ней смирились
И запели колóкольни?»
Говорит ей сам игумен:
«Как нашла ты к нам дорогу?»
— Солнце метило деревья,
Белый месяц ставил вехи:
Вот как я нашла дорогу.—
Стал расспрашивать игумен:
«А вкушала ли ты мяса?»
— О страстях Христовых мысля,
Я дерев внимала говор,
Тем мои крепились силы.—
И еще спросил игумен:
«Отдыхала ли ты, дева,
У кого-нибудь под кровом?»
— Слезы я лила о душах
Некрещеных да смотрела
В небо: это был мой отдых.—
И воздел игумен руку:
«О, зачавшая от Бога!
Прочь ступай, оставь наш остров.
Да родится цвет прекрасный,
Да падет благое семя».
Отвезли ее на берег,
Провожатого ей дали
Из мирян; в густые дебри
Побрела с ним Катерина.
Лес все гуще, реки шибче;
Водопады льются с громом;
Все мрачней и выше горы,
Все прохладнее овраги,
А в лесу рычат медведи.
Вот пришли они к озерам.
Воспылал к ней страстью спутник,
Обнимать он стал девицу,
Соблазняя льстивой речью.
И воскликнула девица:
— Господи, меня ты слышишь!
Велико мое несчастье,
Но Твои заботы больше.
Обо мне Ты не заботься,
Помни темных, некрещеных! —
Услыхал Господь тот возглас,
Обратил он Катерину
В синий крест, стоящий тихо
Средь бушующего бора,
Между двух озер глубоких,—
Да обнимет крест тот грешник,
Да обнимет покаянно.
Время шло, сменялись годы,
Изменился мир Господень.
Заклубился дым священный,

Колокольни зазвонили,
Полилась вода святая
В вековых карельских дебрях.
Долго сказывали люди,
Будто синий крест явился
На пустынном, диком месте,
Средь густых лесов шумящих,
Между двух озер глубоких.
Но хранилась память дольше
О святом и мудром муже,
Что часовню там построил
И крестил народ водою,
Поучая вере Божьей.
Но запомнили навеки
Люди крест, что над проливом
У моста стоял когда-то,
У часовни деревенской,—
Синий крест воспоминали,
Внемля колокол вечерний,
Глядя, как покойны воды,
Как вдали проходит путник.

СТЕФАН ГРАБИНЬСКИЙ

Месть огнедлаков

РАССКАЗ

Перевод с польского Л. ЕРМИЛОВОЙ

СТЕФАН ГРАБИНЬСКИЙ (1887—1936) — польский прозаик. Автор романов «Саламандра» (1924), «Тень Бафомета» (1926). В 20-е годы были изданы сборники новелл: «На взгорье роз», «Демон движения», «Чудовищная история» и др.
Рассказ «Месть огнедлаков» взят из сборника «Книга огня» (1922).

Антоний Чарноцкий, начальник пожарной службы города Ракшавы, отложил в сторону свой трактат по статистике пожаров и, устало растянувшись на диване, с наслаждением раскурил кубинскую сигару.

Был третий час пополудни, время жаркое, июльское.

Сквозь опущенные жалюзи комнату тускло золотил дневной свет, невидимыми волнами струилась знойная духота. Глухо долетал дремотный от жары уличный гул, на окнах отрывисто и немощно жужжали разморенные мухи. Пан Антоний анализировал просмотренные записи, сопоставляя даты, сортировал скопившиеся за долгие годы материалы, делал выводы.

Кто бы мог подумать, что из бесстрастных статистических данных сложится такая любопытная картина,— а все потому, что изучались они методично и с предельным вниманием. Кому бы в голову взбрело, что из этих сухих, на первый взгляд ничего не говорящих дат можно добыть такие ошеломляющие результаты, заметить в хаосе вроде бы неразличимых, однообразно повторяющихся фактов столь удивительные, прямо-таки курьезные явления!

Но чтобы разглядеть нечто такое, чтобы ухватить эдакое, тут уж нужно особое чутье, какое не у каждого найдется, нужен особый нюх, может, даже особый физический склад. Чарноцкий, без сомнения, принадлежал именно к таким исключительным личностям и отдавал себе в том полный отчет.

Он уже не один год занимался пожарами, изучая их в Ракшаве и где только придется, самым тщательным образом собирал выписки из газет, копался в специальной литературе, просматривая множество сравнительных статистических выкладок.

Немалую службу в необычных исследованиях сослужили ему очень подробные, скрупулезно составленные карты почти всех регионов мира; толстенными кипами заполняли они утробу его библиотечных шкафов. Были там планы столиц, городов и поселков со всеми лабиринтами улиц и улочек, площадей и закоулков, садов, парков, скверов, строений, церквей и домов — словом, планы, проработанные до мелочей: любой человек, окажись он впервые в одной из этих местностей, смог бы по такому путеводителю ориентироваться легко и свободно, как у себя дома. Самым аккуратным образом пронумерованные, разложенные по уездам и округам, все они лежали наготове: стоило хозяину лишь руку протянуть, и перед ним покорно расстилались квадратные и прямоугольные, холщовые, клеенчатые или бумажные листы, услужливо посвящая во все детали и тонкости.

Чарноцкий часами просиживал над картами, изучая и сравнивая расположение домов и улиц разных городов.

Труд этот, до крайности кропотливый, требовал адского терпения. Не всегда выводы напрашивались сами собой, нередко приходилось долго выжидать, пока не проклюнется тот или иной результат. Но Чарноцкий был въедлив как клещ. Заметив раз-другой какую-нибудь подозрительную деталь, он вцеплялся в нее мертвой хваткой и, не давая себе ни роздыху, ни сроку, рано или поздно находил предшествовавшие ей или последующие звенья.

Многолетние его страдания увенчались особыми «картами пожаров», а кроме того, так называемыми «модификациями пожаров». На первых были помечены места, строения и дома, когда-либо пострадавшие от огня,— независимо от того, устранен ли ущерб и повреждения, или пепелище брошено на произвол судьбы. На чертежах же, названных «модификациями пожаров», отмечались перемены, происшедшие в планировке домов и прочих строений после катастрофы; все передвижки и малейшие отклонения от прежней застройки фиксировались на них с предельной дотошностью.

Сопоставляя карты обоих типов, пан Антоний пришел с годами к удивительным выводам. Если соединить линиями точки пожарищ в той или иной местности, то в восьмидесяти случаев из ста точки эти укладываются в очертания каких-то странных существ: порой они напоминают детей-уродцев, но чаще всего силуэты маленьких занятных зверушек — лемуров с длинными, чудно закрученными хвостами, юрких, дугой изогнутых белок, смешных до безобразия мартышек.

Чарноцкий откопал в своих планах целую такую коллекцию и, раскрасив яркой киноварью, заселил этими существами оригинальный, единственный в своем роде альбом с надписью на обложке: «Альбом огнедлаков».

Вторую часть его собрания составляли «фрагменты и эскизы» — множество неясных гротескных фигур, не до конца прорисованных контуров, смутно угадываемых силуэтов. Были здесь наброски каких-то голов, обрубки туловищ, культи конечностей, абрисы косматых растопыренных лап; кое-где проступали геометрические фигуры, размытые очертания клякс или что-то вроде колоний щупальцевидных полипов.

Альбом Чарноцкого напоминал коллекцию курьезов или творения художника, наделенного безудержной фантазией; наслаждаясь стихией гротескного демонизма, он заселил чистые листы сонмом зловещих тварей — химеричных, существующих лишь за пределами здравого смысла. Человек непосвященный решил бы, что рассматривает исполненную в красном серию гротесков гениального живописца, запечатлевшего фантастические свои сны. Но от некоторых фантазий мороз пробегал по коже...

После долгих лет оригинальный исследователь открыл еще одну закономерность, которую ему подсказали личные наблюдения: пожары чаще всего случаются по четвергам. Статистика подтверждала, что, как правило, пагубная стихия просыпается от спячки именно в этот день недели.

И это вовсе не простая случайность. Чарноцкий даже нашел более-менее подходящее объяснение. Такова, по его мнению, сама суть четверга, нередко отраженная даже в символическом его названии. Ведь этот день издавна считается днем Зевса-громовержца; отсюда и его название на многих языках. Неспроста германская раса окрестила четверг днем Громовержца: Donnerstag и Thursday, A giovedi, jueves u jeudi [1], с их истинно латинской мощью — разве не созвучны эти слова имени Юпитер?

Придя к двум этим важнейшим выводам, Чарноцкий пошел дальше путем умозаключений. Любитель философии и метафизических обобщений, в часы досуга он читал мистиков раннего христианства и дотошно штудировал интересующие его средневековые трактаты.

Долгие годы изучая пожары и сопутствующие им явления, он стал склоняться к мысли, что, по всей вероятности, существуют до сих пор

[1] Четверг (*нем., англ., итал., испан., франц.*).

неизвестные нам создания, что-то вроде промежуточного звена между людьми и животными, и обнаруживают они себя при всяком губительном разгуле стихии.

Доказательства в пользу своей теории Чарноцкий находил в верованиях крестьян и древних легендах о дьяволе, русалках, гномах, саламандрах и сильфах. Ныне у него уже не оставалось никаких сомнений насчет того, что огнедлаки и в самом деле существуют. Он ощущал их присутствие на каждом пожаре и с поразительной хваткой подавлял их бесчинства. Мало-помалу тайный этот мир, сокрытый от глаз людских, стал для него столь же реальным, как и его собственный мир, то есть мир человеческий. Со временем он раскусил психологию этих необычных существ, познал их нрав, хитрый и коварный, научился пресекать злые их козни против людей. И завязалась борьба, упорная и непримиримая, теперь уже вполне осознанная. Если прежде Чарноцкий сражался с огнем как со слепой, необузданной стихией, то теперь он постепенно, по мере познания истинной его натуры, стал относиться к противнику иначе. В иррациональной всепожирающей силе он с годами рассмотрел злонамеренного, алчущего пагубы и опустошения хищника, с которым надлежит считаться. А потом по некоторым признакам стало ясно, что противная сторона уловила перемену в его тактике. И тогда война приобрела характер индивидуальный.

Надо сказать, что Антоний Чарноцкий, начальник пожарной стражи в Ракшаве, для такой войны был прямо-таки создан, может быть, как никто другой на свете.

Сама природа, одарив его исключительными способностями, как будто заведомо определила его на роль укротителя стихии. Тело пожарника наделено было абсолютной нечувствительностью к огню; среди сильнейшего пламени, среди оргии пожарища он орудовал совершенно безнаказанно, не рискуя получить ни малейшего ожога.

Хотя положение начальника не требовало личного участия в тушениях, он, однако, себя не щадил и первым бросался в самое пекло. Его фигура — рослая и гибкая, с буйной львиной гривой, выбивающейся из-под каски,— высилась ангелом-хранителем посреди змеиных клубков, щерившихся тысячами кровавых жал. Порой казалось, что шел он на верную гибель, туда, куда уже ни один пожарный не посмел бы носа сунуть, и — о чудо! — появлялся из преисподней целым и невредимым, с неизменной добродушной, слегка загадочной усмешкой на мужественном, освещенном алыми отблесками лице; и снова, набрав воздуху в прокаленную жаром грудь, нырял в огонь. Бледнели лица товарищей, когда он с беспримерной отвагой взбирался на залитые огненным потоком этажи, карабкался на полуобгоревшие балконы, безоглядно лавировал среди хищно оскаленной арматуры.

— Ну и дьявол! Вот дьявол! — шептались между собой пожарные, с ужасом и почтением взирая на своего начальника.

Вскоре он получил прозвище «Огнестойкий» и стал кумиром пожарных и всего городского люда. О нем кружили были и небылицы, в них он фигурировал неким двуликим существом — архангелом Михаилом и одновременно демоном. Фигура его обрастала множеством слухов, в которых самым удивительным образом переплетались страх и преклонение. На сегодняшний же день за Чарноцким накрепко утвердилась слава доброго чародея, знающегося с таинственными силами. Каждый шаг, каждый жест Огнестойкого был исполнен для людей особого значения.

Более всего поражало их, что «асбестовые» свойства Чарноцкого как будто бы передаются его одежде, которая на пожарах тоже не обгорает.

На первых порах считали, что он надевает для работы костюм из особого, огнеупорного материала, но оказалось — ничего подобного. Бывали случаи, когда бесстрашный начальник, поднятый в морозную ночь по тревоге, натягивал в спешке комбинезон первого спавшего с краю пожарного, а из огня все равно выходил невредимым.

Кто-нибудь другой на его месте использовал бы исключительный свой дар для заработка — подался бы в странствующие чудотворцы либо шар-

латаны, но пану Антонию довольно было людского почета и восхищения. Единственно, что он себе позволял, так это бескорыстные «эксперименты» в кругу коллег или хороших знакомых, повергающие зрителей в оторопь. Без всяких признаков боли держал, например, на голой ладони минут по пятнадцать и дольше пылающие угли, а когда бросал их снова в огонь, на руке не оставалось ни следа ожогов.

Не меньший восторг вызывало его умение передавать свою огнестойкость другим. Стоило ему подержать человека за руку, как тот на какое-то время становился нечувствительным к огню. Группа местных врачей заинтересовалась им и предложила дать несколько «сеансов» за солидную плату. Чарноцкий возмущенно отверг предложение и после этого долго не показывал свои опыты даже в узком кругу.

Рассказывали о нем и другие прелюбопытнейшие истории. Пожарные из тех, что служили под его началом уже немало лет, заверяли всеми святыми, что Огнестойкий на пожарах двоится и троится: не раз, мол, замечали его среди бушующего пожара одновременно в двух-трех самых опасных местах. Кшиштоф Случ, хорунжий дружины, клялся и божился, что однажды, когда пожар уже шел на убыль, своими глазами видел в глубине уцелевшего эркера три фигуры пана Антония, похожие между собой как близнецы,— они слились в одну, и пан Чарноцкий сошел себе как ни в чем не бывало по лестнице.

Сколько в этих пересудах было правды, а сколько фантастических домыслов — как знать. Одно несомненно — Чарноцкий был человеком необыкновенным и как бы созданным для борьбы со зловредной стихией.

Он и сражался с нею — все ожесточенней, сознавая свою силу, совершенствуя из года в год методы защиты, возводя все новые преграды на пути всепожирающего огня.

Со временем эта борьба сделалась для Чарноцкого смыслом жизни; дня не проходило, чтобы он не изобрел еще один надежный способ пожарной профилактики. Вот и сегодня, этим жарким июльским полднем, он просматривал последние записи, сортировал материал, накопленный для будущей книги о пожарах и противопожарных мерах. А задумал Чарноцкий обширное двухтомное собрание, плод многолетних исследований.

Попыхивая ароматной кубинской сигарой, Чарноцкий размышлял над общим планом книги, очередностью глав...

Докурив сигару, он загасил ее в пепельнице и с довольной улыбкой встал с дивана.

— Неплохо! — похвалил он себя, удовлетворенный прикидками.— Все вроде бы в порядке.

И, переодевшись, отправился в любимое свое кафе на шахматную партию...

Прошло несколько лет. Деятельность Антония Чарноцкого набирала вес и размах. О нем говорили не только в Ракшаве. Об Огнестойком заговорили далеко за пределами родного города. Люди наезжали из дальних сторон, чтобы повидать его и воздать должное. Его книга о пожарах получила широкий резонанс, и не только среди пожарных; за короткое время вышло несколько переизданий.

Но не так уж гладко все шло. Неуемный начальник стражи, лично принимая участие в операциях, уже не раз пострадал на пожарах.

Когда полыхали дровяные склады в Вителувке, неожиданно рухнула горящая балка и ему серьезно повредило правую ключицу; при двух других вызовах обвалился потолок, ранив его в ногу и плечо; а последним рождественским постом он чуть было не потерял правую руку: тяжелый крепежный брус из железа упал с самой верхотуры и задел его концом — еще миллиметр-другой, и кость раздробило бы начисто...

Молодчина Чарноцкий относился к своим злоключениям на редкость хладнокровно.

— Насчет огня спасовали, вот и швыряются балками,— говаривал он с пренебрежительной усмешкой.

Но пожарные в последнее время следили за каждым его шагом и не позволяли слишком глубоко нырять в огонь, особенно в местах, грозящих обвалом. И все же опасность подстерегала его с удивительным постоянством, причем там, где ее менее всего можно было ожидать. Казалось, разрушительные силы притягиваются самим присутствием Чарноцкого: рядом с ним ни с того ни с сего падали едва тронутые огнем бревна, валились не охваченные еще пламенем потолочные настилы, сыпались обломки величиной с пушечные ядра, иногда же на то место, где стоял Чарноцкий, вдруг обрушивались увесистые каменные глыбы.

А пан Антоний знай себе ухмылялся в усы, невозмутимо попыхивая сигарой. Зато его товарищи озабоченно хмурились и опасливо отходили подальше. До них наконец дошло, что соседство с ним небезопасно.

Случалось и еще кое-что в таком роде, но уже в самом жилище их начальника, а потому никто об этом не знал.

Все началось с удушливого чада: в один из дней дом заполнился такой сильной гарью, словно в закутках тлела какая-то ветошь. Жуткий смрад невидимыми волнами пошел гулять по коридорам, застоялой вонью оседал в комнатах, тяжелой пеленой нависал с потолка. Насквозь пропитались мебель и одежда, белье и постель. Не помогали ни вентилятор, ни проветривание. И хотя двери и окна почти на весь день распахивались настежь — и это при восемнадцатиградусном морозе на дворе,— омерзительная вонь и не думала улетучиваться. Не брали ее ни сквозняки, ни холод — хоть топор вешай. Все попытки отыскать источник зловония ни к чему не привели, оставалось только смириться.

Когда наконец через месяц воздух в жилище стал более-менее сносным, свалилась другая беда: в доме поселился угар. В первые дни еще можно было списать его на нерасторопность прислуги — дескать, по рассеянности закрыла раньше времени печи, но затем пришлось признать, что дело вовсе не в этом,— уж как ни старались уследить, а удушливый угарный газ отравлял воздух все сильнее. Мало что дала и замена топлива: хотя Чарноцкий велел топить дровами и заслонки вовсе не закрывать, кое-кто из домашних ночью порядком угорел, а сам он наутро встал с адской головной болью и тошнотой. Дошло до того, что он вынужден был ночевать не дома, а у знакомых.

Через несколько недель угар выдохся, и пан Чарноцкий с облегчением вернулся в родные стены.

Не сразу удалось ему сориентироваться, отчего это на его дом посыпались напасти, но, прикинув так и эдак, он наконец понял, что за всем этим стоит одна цель: запугать, сбить с него воинственный пыл.

Но всякие такие каверзы только подлили масла в огонь — задело его за живое, и положил он взять во что бы то ни стало верх.

Чарноцкий в ту пору работал над новой системой пожарных насосов; предполагалось, что по своей эффективности они превзойдут все дотоле применявшиеся. Гасить теперь будет не вода, а особый газ — окутывая густыми клубами пылающее здание и перекрывая доступ кислороду; тем самым он сможет в зародыше гасить огонь.

— Ручаюсь, для пожаров это будет бич божий,— ребячески похвалялся он перед знакомым инженером за шахматной партией.— Не исключено, что, когда мое изобретение запатентуют, вред от огня сведется почти к нулю.

И он самодовольно подкручивал свой ус.

Было это где-то в середине января; за каких-нибудь два-три месяца Чарноцкий рассчитывал доработать проект в деталях и отослать в министерство. А пока что из вечера в вечер трудился над своими чертежами, нередко засиживаясь до полуночи...

Однажды, вот так же полуночничая над бумагами, он рассеянно следил, как старый слуга Мартин выгребает из печки уголья, и вдруг головешки эти приковали к себе его внимание.

— Погоди-ка, старче,— задержал он слугу уже на пороге.— А высыпь-ка ты мне золу сюда на стол, на газету.

Мартин, слегка сбитый с толку, сделал что было велено.

— Вот так. Хорошо. А теперь иди к себе.

Оставшись один, Чарноцкий еще раз осмотрел как следует угольки. Бросалась в глаза их форма. По странному капризу огня они приобрели очертания букв. С изумлением вглядывался он в четко обрисованные контуры; сомневаться не приходилось, перед ним лежали крупные, мастерски сработанные из угля литеры.

Оригинальная головоломка, думал он, с любопытством раскладывая головешки то так, то эдак. Может, удастся что-то из них составить?

И вот не прошло и четверти часа, как под его рукой появились слова: «Жаровник» — «Искряк» — «Водопугало» — «Дымодуй».

— Веселенькая компания,— буркнул он, записывая для памяти мудреные имена.— Огневой сброд в полном составе. Будем теперь знать, как вас кличут-величают. Ничего не скажешь, оригинальный визит, но еще оригинальней визитные карточки.

Усмехнувшись, он спрятал листок в шкаф.

С этого дня велено было всякий раз приносить ему золу из печки, и всякий раз он обнаруживал в ней почту.

А корреспонденция что ни день поступала все более любопытная. После визиток настал черед посланий с того света — обрывочных фраз с остраткой и наконец даже с угрозами.

«Убирайся!», «Оставь нас в покое!», «С нами шутки плохи», «Ох, худо тебе будет!» — так заканчивались обыкновенно пламенные наставления.

Чарноцкий все эти советы всерьез не принимал, относился к ним скорее с юмором. Потирал в азарте руки и готовился к сокрушительному удару. Нечего и сомневаться, победа будет за ним. Кстати сказать, всякие неприятные неожиданности, подстерегавшие его на пожарах, больше не повторялись, прекратились и злокозненные сюрпризы в собственном доме.

«Зато уж без переписки ни дня не обходится, как и положено среди хороших знакомых,— усмехался он, каждое утро просматривая «печную почту».— Похоже, эти твари не умеют направлять свою злую энергию на несколько пакостей сразу. Сейчас они переключились на fire-message [1], так что чего-либо другого пока не предвидится. В этом смысле мне повезло — пускай себе пописывают, да подольше, во мне они всегда найдут самого благодарного читателя».

Но в начале февраля «корреспонденция» вдруг перестала поступать. Некоторое время головешки еще напоминали контуры букв, но, как ни старался пан Чарноцкий, сложить из них хотя бы одно более-менее внятное слово не удавалось; получались лишь невразумительные сочетания из согласных или длинные ряды гласных. «Почта» явно шла на убыль, и наконец угли вовсе утратили всякое подобие литер.

«Fire-message» приказало долго жить»,— резюмировал пан Антоний, красным росчерком подводя черту под «Журналом огненных посланий».

Неделю-другую все было спокойно. Чарноцкий за это время доработал конструкцию газового огнетушителя и стал хлопотать насчет патента. Но работа над изобретением, видать, не на шутку изнурила его — в марте он почувствовал серьезный упадок сил; время от времени возобновлялись приступы каталепсии, которой он давно уже страдал на нервной почве. Для постороннего взгляда приступы оставались незамеченными, поскольку случались чаще всего ночью, во сне. Просыпаясь под утро, он ощущал себя совсем разбитым — как после долгой дороги. Надо сказать, и сам он не замечал этих припадков, так как переход из одного состояния в другое проходил легко и совершенно безболезненно, только сон становился более глубоким, постепенно переключаясь с нормального на каталептический. Пробуждение наряду с усталостью приносило с собой череду удивительно живых и ярких воспоминаний о странствиях, которые он совершал во сне.

[1] Огненное послание (*англ.*)

Всю ночь Чарноцкий взбирался по горам, посещал далекие города, бродил по экзотическим краям. Нервное истощение, под утро вконец изнурявшее его, казалось, было вызвано не чем иным, как ночными его скитаниями. И странное дело — именно этим он и объяснял себе свою слабость. Снившиеся путешествия воспринимались им как что-то вполне реальное.

Но Чарноцкий ни с кем на сей счет не делился — и без того чересчур он у всех на виду. Зачем посвящать других в тайную жизнь своей души?

А ведь держись он с людьми поближе, до слуха его, быть может, и донеслись бы их шепотки, и тогда он наверняка встревожился бы за себя.

Первым делом стоило обратить внимание на Мартина — тот поглядывал теперь на хозяина со странной подозрительностью и даже с опаской.

У него было к тому основание, и не одно. Как-то в первой половине марта шел он поздней ночью со свечой в руке из кухни в свою боковушку, примыкавшую к хозяйской спальне, как вдруг в глубине коридора увидел быстро удалявшуюся фигуру Чарноцкого. Слегка удивившись, он решил проверить, не померещилось ли ему, и поспешил следом. Но пока дошел до конца коридора, хозяин исчез, как сквозь землю провалился.

Озадаченный слуга прокрался на цыпочках в спальню — и что же он увидел? Чарноцкий спал на своей постели как ни в чем не бывало.

Спустя несколько дней, тоже ночной порой, Мартин снова заметил своего хозяина, но теперь уже на лестничной клетке — тот стоял на ступенях и, перегнувшись через перила, с отрешенным видом глядел вниз. У Мартина мурашки пробежали по спине, он кинулся к нему с криком:

— Что вы удумали? Побойтесь Бога, ведь это ж грех!

Но не успел он подбежать, как фигура Чарноцкого странно как-то скукожилась, расплылась и без единого звука впиталась в стену. Осенив себя крестным знамением, Мартин не долго думая юркнул в спальню — глядь, хозяин, как и давеча, спит мертвым сном.

— Тьфу! — буркнул старикан.— Нечистая сила или наваждение какое? Не во хмелю ведь я.

И уже собрался было вернуться к себе, как вдруг увидал в глубине комнаты новое чудо: над головою спящего, где-то в метре от него, трепетало в воздухе кровавое пламя. Формой оно напоминало горящий куст, и вроде бы длинные огненные щупальца тянулись от него, как бы стараясь ухватить пана Антония.

— Всяк сущий да славит Господа Бога нашего! — вскричал Мартин и отчаянно кинулся на огненную химеру.

И тут пылающий куст вмиг вобрал свои вытянутые к Чарноцкому побеги, свернулся в плотный, монолитный столб огня и тотчас угас, издав напоследок тихое шипение усмиренной стихии.

В спальне воцарилась темнота, слабо освещаемая огоньком свечи, поставленной Мартином прямо на пол. Чарноцкий спал, одеревенело вытянувшись на постели...

Назавтра Мартин осторожно намекнул хозяину, что вид у него неважный и не позвать ли врача, но пан Аитоний отделался шуткой, не ведая, что за этим последует.

А через две недели грянула беда...

Случилось это в памятную для горожан ночь с 28 на 29 марта. Чарноцкий вернулся поздно вечером смертельно усталый — в тот день команде довелось тушить большой пожар на станционных складах. Начальник проявил себя героем, не однажды рискуя жизнью, спас из полымя нескольких железнодорожников, которые спали сном праведников, забившись куда-то в складские закутки. Возвратившись домой около десяти, он повалился прямо в одежде поперек кровати и заснул мертвецким сном.

Последние дни, тревожась за него, Мартин верным псом стерег его покой рядом в боковушке, не гася лампы, и время от времени заглядывал в спальню. В ту ночь и его сморил сон; седая голова тяжело склонилась к плечу и наконец упала на стол.

Пробудил его тревожный стук. Стряхнув с себя остатки сна, он протер

глаза и прислушался. Стук не повторился. Тогда он схватил лампу и кинулся в спальню.

Увы, слишком поздно. Открыв дверь, он увидел хозяина как бы в ореоле пламени: казалось, тысячи огненных присосков впиваются в его тело.

И не успел старик подбежать к кровати — огненное марево уже без следа впиталось в тело спящего — словно пламени и не бывало.

Дрожа как осиновый лист, Мартин ошалело пялился на хозяина.

Внезапно лицо Чарноцкого странным образом переменилось: дотоль неподвижное, оно исказилось, как бы в конвульсии или в нервном спазме, до неузнаваемости исковеркавшей черты гримасой, застывшей на устах. Чарноцкий, одержимый таинственной силой, предательски завладевшей его телом, вдруг сорвался с постели и с диким воплем бросился прочь из дому.

. . . . . .

Было четыре часа утра. Над городом тянулись хороводы сонных видений, уныло складывали фантасмагорические свои крыла демоны кошмаров, нехотя готовясь в обратный путь, а задумчиво склоненные над детскими кроватками ангелы спешили запечатлеть на младенческом челе прощальный поцелуй...

На восточном рубеже небосклона замаячили фиолетовые блики. Иссиня-серая заря, трепеща от рассветного озноба, катилась к городу волнами пробужденья, просветленья, обновленья. Стаи городских галок, очнувшись от ночной дремоты, раз и другой и третий очертили над ратушей черные кольца и, возбужденно галдя, расселись на голых предвесенних деревьях. Беспризорные псы, набродившись по ночным закоулкам, теперь жировали на рынке...

Неожиданно в разных точках города взметнулись вверх фонтаны огня; выпуская красные лепестки, пышным цветом заалел он над крышами, потянулся к небесам. Заохали церковные колокола, раскромсали рассветную немоту вопли, гул, всполошенные голоса:

— Пожар! Пожар!

Семь кровавых парусов разрезали утренний горизонт, семь огненных стягов заплескались полотнищами над городом. Горели монастырь отцов-францисканцев, здание суда, управа, монастырь Святого Флориана, пожарные казармы и два частных дома.

— Пожар! Пожар!

По рыночной площади метались людские толпы, неслись автомобили, грохотали пожарные машины. Какой-то человек в униформе пожарного, с разлетающимися волосами и факелом в руке лихорадочно продирался сквозь толпу.

— Кто это? Кто?

— Держите его! Держите! Поджигатель!

Тысячи рук жадно тянулись к беглецу.

— Поджигатель! Злодей! — рычала безумная от ярости толпа.

Кто-то выбил у него из рук факел, кто-то схватил в охапку. Он вырвался, с пеной на губах расшвыривая скопище... Наконец его усмирили. И вот уже ведут по площади — скрученного веревками, в свисающей лоскутами одежде. Люди всматриваются в лицо, освещенное бледной зарей.

— Кто это?

У конвойных невольно опустились руки.

— Кто это?

А у стражи в ужасе отнялась речь, перехватило охрипшее от крика горло.

— Вроде бы лицо знакомое?!

С плеч безумца свисают содранные в потасовке эполеты начальника пожарной охраны, на рваной рубахе блестит медаль «За тушение», сверкает золотой крест «За доблесть». И это лицо — лицо, искаженное звериной гримасой, со скошенными, налитыми кровью глазами!..

. . . . . .

Целый месяц, из ночи в ночь после страшного того пожара, дотла спалившего семь лучших городских строений, старый слуга Чарноцких видел призрак хозяина. Тень безумца проскальзывала в спальню, склонялась над пустой кроватью, шарила по ней, отыскивая тело,— может, чтобы вернуться в него? Увы, искала понапрасну...

И лишь в конце апреля, после того как начальник пожарной службы, заточенный в клинику доктора Жеготы, в беспамятстве выбросился из окна и тут же на месте скончался, его тень перестала навещать старое свое жилище...

Но и до сего дня живут среди людей легенды о душе Огнестойкого: оставила она во сне свое тело, а вернуться в него уже не смогла — завладели им огнедлаки.

26 ноября 1919 г.

ДИДЕРИК ЙОХАННЕС ОППЕРМАН

Брандан

(Цикл сонетов)

Перевод с африкаанс ЕВГЕНИЯ ВИТКОВСКОГО

ДИДЕРИК ЙОХАННЕС ОППЕРМАН (1914—1985) — всемирно известный южноафриканский поэт и драматург. Автор восьми книг стихотворений, трех драм в стихах, составитель антологии «Большая книга стихотворений» — по сей день самого полного свода африканерской поэзии. В русском переводе опубликована эпическая поэма-антиутопия «Журнал Йорика» (Худ. лит., 1988), подборкой стихов «ИЛ» отметила семидесятилетие поэта (1984, № 6).

Цикл «Брандан» взят из сборника «Каменный ангел» (1950); Св. Брандан — ирландский монах V века н. э., чье житие содержит описание странствия, полного фантастических образов и приключений. Одновременно в заглавии цикла содержится германский корень слова «гореть»: в пламени проходят перед поэтом образы мифов и реальной жизни народов, живущих на Юге Африки.

Горящая книга

Вот — ночь на Троицу, и я пишу,
гляжу в огонь и постигаю ныне,
что только зло стихами приношу,
что место им — в пылающем камине,
и я швыряю — и уже зола
трепещет... Но из огненного зева,
воздев изжелта-синие крыла,
выходит некий ангел, полный гнева:
— Ты истину похоронил в огне,
и потому опять пиши, покуда
не распознаешь в собственной стране,
в глуши и в дебрях, проявленья чуда.
— Но чем докажешь ты, гонец ночной,
что прислан Богом, а не Сатаной?..

Черная голова

Где на задворках города клоаки,
разверстые, бурлят от торжества,
с курчавой шевелюрой голова
лежит, размером с хижину, во мраке.
И взгляд грибообразных глаз — свинцов.
Я стал креститься — защититься нечем.
Но рта провал заговорил наречьем
зулусов древних, доблестных бойцов:
— Поживши на одной земле с тобою,
в твой белый рай задаром не пойду:
я лучше буду с предками в аду
готовиться и к празднику и к бою.
Не бойся, ибо злобы не таю:
ты голову уже отсек мою.

Цепень

Я в почву тьмы приоткрываю люк
и вижу, ужас подавив бессильный,
как дергается, гадок и упруг,
в утробе мира червь тысячемильный.
Палеозойской, кажется, волне
плескаться довелось на рыле плоском,
и кратеры, что зримы на луне,
подобны бледным, мерзостным присоскам.
И по ступеням я сошел во мрак,
предельно напрягая силы, чтобы
не ощущать, как мой поспешный шаг
отраден мускулам его утробы.
Живущих на разряды не деля,
он всех сжирает. Он — сама земля.

Токолош [1]

Призывный свист летит изглубока,
из омута, затянутого ряской,—
и, дотянувшись из воды, рука
ее по икрам гладит с грубой лаской,
и человекоящер восстает,
колебля ил, оказываясь рядом,
ее соски, и бедра, и живот
придирчивым ощупывает взглядом.
Смятение, испуг в ее душе,
она бежит — но, потеряв свободу,
бессильно отдается в камыше,
а он, насытясь, вновь уходит в воду,—
и девять лун ей думать все больней
о том, какая жизнь созреет в ней.

Огнеходцы

Стволы бананов у подножья храма
вдруг озаряются костром,— тотчас
над тяжкою волною фимиама
заводит песню флейта-калебас;
и новички босые узкой тропкой,
омытые, приходят из реки,
но от квадрата алых углей робко
отпрядывают, словно жеребки.
Козленок дикий, тыква — жертвы богу.
И жрец, чтоб вера к людям низошла,
кропит зеленой ветвью понемногу
и дерн, и жар, и потные тела —
и вскоре обнаженными стопами
они легко идут по углям — к Браме.

[1] Токолош — мифологический образ многих африканских народов, на четверть крокодил, на четверть человек и т. д., в разных вариациях, похотливый водяной, охотящийся за молодыми женщинами. (*Прим. перев.*)

Кронос

Пурпурный мрак перед приходом дня
за окнами свивается в удава,
как склянку в кулаке, зажав меня;
он — клетка мне и вечная оправа.
Я слышу пульс его — прибой времен;
диктует мне закон беспрекословный
себя за хвост кусающий дракон,
боа-констриктор, гад холоднокровный.
Я мню себя свободным иногда,
завидя утром мотылька и птицу,—
у речки валят лес, и поезда
спешат за горизонт и за границу;
но ночью вижу: космос — взаперти
в тугих извивах Млечного Пути.

Гадание

Мы словно взяты в корабельный трюм;
родной Капстад из памяти изглажен,—
но все же долетает слабый шум
как бы сквозь толщу вод, за много сажен;
там, снизу,— город, сущий под водой,
мир суеты и скудного уюта —
ржут лошади, малаец молодой
поет, и слышен зов сорокопута...
Но даже той, что видит чрез года
и расстоянья — не унять тревогу:
встает из бездны мертвая вода
сквозь город призрачный — почти к порогу;
искусству, знаньям — здесь лежит рубеж.
Веревку эту, Господи, разрежь.

Галлюцинации

Камин в харчевне вновь зовет меня.
Пройдя искус горения и тленья,
я взор не отрываю от огня,
куда забросил книгу под поленья.
Там, в пламени, мелькают, что ни миг,
дракон вослед за водяным уродом
и черной головой — и мой двойник
проскальзывает под каминным сводом.
Нет, истину не опалить огнем,
она хранится, вечно наготове,
там, в сердце очага,— дымится в нем
и тлеет, чтобы возродиться в Слове,
чтоб с ним из сердца моего исчез
тревожный строй чудовищ и чудес.

ЖАН РЭЙ

Черное зеркало

РАССКАЗ

Перевод с французского С. ЗЕНКИНА

ЖАН РЭЙ (настоящее имя Раймон-Жан-Мари Де Кремер; 1887—1964) — бельгийский прозаик. Писал под разными псевдонимами, в основном приключенческие, детективные романы, а также книги в духе готической фантастики: «Великий обитатель ночи» (1942), «Книга призраков» (1947) и др.
Рассказ «Черное зеркало» взят из сборника «Круги страха» (1943).

Уже в который раз мистер Торндайк, хозяин публичной библиотеки в квартале Степл-инн, поглядывал со своего места на причудливые дома с деревянным фасадом, стоящие напротив его окна.

В читальном зале, где на столах из черного дерева громоздились книги, не было ни души, и он не мог уже в который раз кому-нибудь рассказать, что чрезвычайно ценит тюдоровский стиль этих построек, что только они одни и сохранились при пожарах и потрясениях, пережитых Сити начиная с XV века.

Ни души...

Вообще-то это было не совсем так, но единственный посетитель, лениво перелистывавший засаленные и лоснящиеся тома, для библиотекаря в счет не шел.

Доктор Бакстер-Браун был простым квартальным лекарем; он жил на Черч-стрит, занимая две комнаты в одном из высоких тусклых домов в окрестностях Клиссолд-парка, не имел у себя ни библиотеки, ни лаборатории, а немногочисленных пациентов принимал в убогой гостиной с черными креслами, набитыми конским волосом. Два раза в неделю он тащился через всю столицу до Холборна, в пыльную читальню Торндайка; там он просиживал час или два и в итоге уходил с какой-нибудь книжкой под шестипенсовый залог.

На улице моросило, а стол его находился в самом темном углу библиотеки. Но мистер Торндайк и не думал зажечь одну из ламп с зеленым абажуром ради такого небогатого посетителя.

Бакстер-Браун, не читая, шелестел толстыми страницами «Истории Англии», а под этот том исподволь подсунул какую-то тоненькую книжицу, усыпанную ржавыми пятнышками и источенную бумажным жучком.

Тут вошла мисс Боуз, и мистер Торндайк почтительно поклонился ей. Мало того что она брала в библиотеке дорогие и редкие издания, она еще и любила поболтать с хозяином, что всякий раз давало ему случай выказать свои познания в истории.

— Прошлый раз, когда я имел честь и удовольствие видеть вас в моем скромном доме, мисс Боуз, мы с вами говорили о Рене, о том, как он отстроил после пожара 1666 года Гилдхолл [1]...

Бакстер-Браун встал; тонкую брошюрку он незаметно сунул в карман пальто, а в руке держал какой-то роман недавнего издания.

— Благодарю вас, сударь, до свидания, сударь,— сухо произнес библиотекарь, держа двумя пальцами протянутую лекарем монету.

[1] Гилдхолл — здание ратуши лондонского Сити. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Приземистый силуэт доктора растаял в повисшей над Холборном измороси.

— Если так работать, не больно-то будешь сыт,— проворчал ему вслед мистер Торндайк.

После чего, вновь заулыбавшись, он продолжил свою лекцию для постоянной клиентки:

— Следует, впрочем, признать, что башни, пристроенные Реном к Вестминстерскому аббатству, плохо гармонируют с его величием...

На углу Холборна, ожидая автобуса среди терпеливо-угрюмой, до нитки промокшей толпы, Бакстер-Браун придерживал рукой оттопыренный карман своего пальто, как будто в нем заключался бумажник, полный денег. Между тем лежал там всего-навсего старый альманах Уоррена за 1857 год, до сих пор лишь чудом не угодивший в кухонную печь мистера Торндайка или же в руки еврея-старьевщика Паанса, который дважды в год скупал у него на вес книги, непригодные более для выдачи.

Когда Бакстер-Браун вернулся домой, было уже поздно; в подъезде он столкнулся со своей хозяйкой миссис Скиннер; та недовольно фыркнула и не ответила на его приветствие.

— Надо бы как-нибудь внести ей хотя бы часть платы,— уныло пробормотал лекарь, поднимаясь к себе на четвертый этаж по лестнице, застланной протертым до самой основы ковриком.

Огонь в камине не горел, а из газового рожка с истрепанным асбестовым экраном шел лишь скудный свет.

Бакстер-Браун положил альманах Уоррена на свой скверно навощенный круглый стол, рядом с сильно початой бутылью виски и липкой от слюны курительной трубкой; затем тщательно проверил, хорошо ли заперта дверь, заткнул скважину замка бумажным катышком и аккуратно прикрыл окно зеленой хлопчатой шторой.

— Ну-с...— вздохнул он.— Только сперва позовем-ка на помощь Полли.

Схватив трубку, он набил ее грубым комковатым табаком из серого бумажного кулька и с наслаждением закурил.

— Полли, добрая моя старая Полли,— произнес он с грубоватой нежностью.

Полли хоть как-то скрашивала его жизнь холостяка, стесненного в деньгах и упорно преследуемого неудачами; подражая герою прочитанного как-то детективного романа, он присвоил ей женское имя и даже вырезал на ее головке три крестика — просто так, чтобы обозначить свою собственность и особую привязанность.

«Превосходная штучка»,— говорил он иной раз сам себе, вспоминая тот день, когда, оказавшись случайно при деньгах, приобрел по довольно высокой цене эту трубку в стиле «честерфилд» из толстого английского вереска.

— Ну-с...

Бакстер-Браун читал, обхватив руками голову и прикусив губу от напряжения:

«В 1842 году коллекция редкостей, собранная Хорасом Уолполом в Строберри-хилл, была пущена по свету с молотка. В числе прочих необыкновенных предметов находилось и знаменитое черное зеркало доктора Джона Ди — врача, хирурга и звездочета королевы Елизаветы Английской. То был кусок каменного угля великолепного черного цвета, прекрасно отполированный и обтесанный в форме овала, с ручкой из темной слоновой кости.

Некогда зеркало хранилось в коллекции графов Питерборо со следующей надписью: «Черный камень, посредством которого доктор Ди вызывал духов».

При распродаже коллекции Уолпола его купило неизвестное лицо за двенадцать фунтов, и с тех пор, несмотря на все предпринятые розыски, его так и не удалось найти.

Известно, что ни в роду Питерборо, ни в роду Уолполов никогда не пытались воспользоваться этим магическим предметом и ревниво берегли его, опасаясь больших бед, которые могло бы вызвать чье-либо неуместное любопытство.

Элайас Ашмол, автор диковинной и жуткой книги «Theatrum Chemicum» [1], рассказывает о черном зеркале в следующих выражениях: «При помощи сего магического камня можно увидеть всякое лицо, какое пожелаешь, в какой бы части света оно ни находилось, пусть даже скрывалось бы в самых отдаленных покоях или в пещерах, что помещаются в недрах земных».

Надо полагать, что и позднейшие владельцы зеркала, страшась такой власти, остереглись испытывать...»

Бакстер-Браун не стал читать окончание статьи, посвященное плачевной судьбе загадочного Джона Ди, зато вооружился увеличительным стеклом, чтобы разобрать надпись мелким почерком на полях:

«Да, но мрачный разбойник Эдвард Келли, тенью следовавший за злосчастным Ди, пользовался зеркалом для отыскания кладов и для совершения своих таинственных преступлений.

В руках бесчестного человека этот достопримечательный предмет, несомненно... (*здесь бумагу прогрыз жучок, и часть текста отсутствовала)* ...то, что ТАИТСЯ в зеркале».

Слово «таится» было не подчеркнуто, а написано крупными буквами.

Заметки на полях заканчивались несколькими строчками другого, торопливого почерка:

«Зеркало похитили Куэйтерфейджи. Они воспользовались им, чтобы отыскать сокровища... *(здесь опять поработал жучок)* ...да будут прокляты до последнего своего колена».

Глубоко и протяжно по своему обыкновению вздохнув, Бакстер-Браун нажал на пружинку потайного ящика небольшой уродливой конторки в стиле Дедлоу и положил туда альманах Уоррена рядом с кожаным футляром. В футляре хранились дорогие, тонкой работы инструменты из полированной стали. Они были очень добротные и некогда принадлежали Стентону Миллеру по кличке Козел, которого мартовским утром повесили в Ньюгейтской тюрьме, в то время как от проливного дождя, смешанного с крупным градом, разбивались стекла в домах на Патерностер-роу.

Лекарь покачал головой; он оказывал помощь Стентону Миллеру, когда его, полумертвого от побоев расправившейся с ним толпы, доставили в полицейский участок в Ротерхайте.

— Возьмите-ка это вместо гонорара, док,— шепнул ему несчастный, когда полицейский на миг отвернулся.— Всегда может пригодиться... Да и неохота, чтобы у меня это нашли.

На исход дела самого Стентона Миллера «это» никак не повлияло, а вот Бакстер-Брауну и впрямь кое в чем пригодилось — ведь ему, бывало, не удавалось заработать и фунта в неделю.

— Ну-с, Полли...— промолвил он, пуская струю дыма в потолок.

Три дня спустя он уже знал, что последний маркиз Куэйтерфейдж живет на Эстиз-роу, в старом ветхом доме с запыленными окнами, которые зато были занавешены тяжелыми и дорогими парчовыми шторами.

— А, этот чертов скряга Куэйтерфейдж — да покарают его Господь и все святые угодники! — выкрикнула торговка-зеленщица как раз тогда, когда Бакстер-Браун с беспечным видом прогуливался по Эстиз-роу.

И он увидел, как старичок с крошечной головкой, расфранченный на манер Брэммела [2], мелкими шажками поднимается на крыльцо.

Эстиз-роу — захолустная улочка в Кэнонбери, на ней и днем-то мало народу, а глубокой ночью и вовсе безлюдно.

Вход в особняк Куэйтерфейджей преграждала крепкая дверь, вся в за-

[1] «Химический театр» (*средневек. лат.*)

[2] Джордж Брайан Брэммел (1778—1840) — знаменитый английский денди.

порах и с двойной цепочкой; зато дворовая калитка, выходившая на неглубокий канал Олвин, без долгих колебаний поддалась первому же нажиму полуторафутового стального прута. Бакстер-Браун прошел через дворик, затопленный дождями, словно речная старица, открыл задвижку на окне домашней прачечной и без труда отыскал дорогу в комнаты верхнего этажа.

Да, Стентон Миллер говорил правду, его инструменты и впрямь кое для чего годились! Бакстер-Браун убедился в этом, разрезая стальную обшивку затейливого домашнего сейфа, украшенного золоченой нитью и изящными коваными узорами.

Он уже заканчивал свою работу, когда вошел маркиз Куэйтерфейдж, держа перед собой кочергу.

Доктор вырвал у него из рук это смехотворное оружие и стукнул им по маленькому грушевидному черепу.

Старик пискнул по-птичьи и упал; профессиональный опыт подсказал Бакстер-Брауну, что второго удара не требуется.

Без спешки и волнения обследовав внутренность шкафа, он обнаружил там двенадцать фунтов ассигнациями, кучку новеньких шиллингов и, в красном шелковом чехле, зеркало доктора Ди.

* * *

Вернувшись домой, Бакстер-Браун на три четверти опорожнил бутыль виски и извлек зеркало из чехла.

Огорченно вздохнув, он отложил на стол Полли, потому что в кульке больше не оставалось табаку. После чего со всей внимательностью принялся изучать диковинный магический предмет.

Узкий темный овал сиял словно клочок безлунного и беззвездного ночного неба; лекарь заметил, что он блестит, не отражая никакого света; тем не менее в сумрачных глубинах зеркала он не обнаружил ничего необыкновенного.

Чтобы собраться с мыслями и с духом, он начал твердить имя таинственного создателя зеркала, иногда присовокупляя к нему и имя Эдварда Келли.

Через час у него по спине уже струился пот, а руки лихорадочно тряслись от неизвестно откуда взявшегося жара.

Ближе к рассвету газовый свет стал бледнеть, так как Бакстер-Браун забыл опустить монету в прорезь счетчика.

Освещение погасло совсем, и тут лекарь увидел, как из глубины зеркала исходит красивое голубое сияние.

Его первым движением был жест испуга — он выбежал и заперся в другой комнате.

Однако почти сразу же он обругал себя за трусость и, несмотря на мерзкую дрожь во всем теле, вернулся к столу.

Свечение продолжалось, хотя и не так сильно.

— Следует... изучить это явление... в научных целях,— пролепетал лекарь.— Этот голубой свет как бы поляризуется... Итак, смещаясь влево от зеркала, я вижу...

О да! он видел — хотя, без сомнения, предпочел бы, чтобы на странной черной поверхности не появлялось никакого видения, как ни желал он сам воспользоваться тайным могуществом зеркала.

Впрочем, видение было довольно смутным, и Бакстер-Браун лишь ценой напряженных умственных усилий сумел различить в нем более или менее определенные формы.

— Что-то вроде... гм, не очень-то ясно, но что-то вроде платья... пожалуй, даже халат. Гм... ага, вот голова... а вот и ноги.

Очертания становились все четче.

Голова в рыцарском шлеме выступала над широким бесформенным подбородным щитком. Ступни были непомерно длинные и узкие, заключенные в уродливые ножные доспехи, в каких изображаются на старинных гравюрах последние рыцари войны Алой и Белой роз.

— Невелика красота, и смысла никакого,— заключил, на миг расхрабрившись, Бакстер-Браун.

Больше, однако, он уже не пытался хорохориться перед лицом неведомого; он понял, что непонятная и нескладная картинка создает вокруг себя атмосферу отвратительного ужаса. Голубое свечение было достаточно сильно, чтобы озарить близлежащие предметы, и он видел, как бутыль виски и Полли окутываются фосфорно-опаловым маревом.

То были привычные, даже милые ему вещи, обыкновенные предметы обихода; но теперь он глядел на них со страхом, как будто они тоже составляли часть опасной тайны, возникшей рядом с ним.

Между тем бесформенное видение, сгустившись всего на несколько секунд, снова быстро расплывалось; первым исчез подбородный щиток, туманно-зыбким сделалось одеяние, потом и змееобразные ступни растаяли в колышущейся мгле. И вдруг, словно по щелчку выключателя, все разом померкло, и комната погрузилась в темноту.

— Скорее счетчик! — вскрикнул Бакстер-Браун, бешено шаря по карманам в поисках монет.

Он уже опускал их в прорезь счетчика, когда услыхал за спиной звон бьющегося стекла, а затем быстрое бульканье жидкости.

Минуту спустя обломок ауэровского газового рожка ярко засветился.

Бутыль была разбита вдребезги, и содержимое в два ручья растекалось по столу. Черное зеркало вновь казалось простой гагатовой пластиной.

— А может, все было лишь болезненной игрой моего воображения? — простонал доктор.

Но тут же сокрушенно покачал головой:

— Как же тогда разбилась бутылка, да и...

Выпучив глаза, он остолбенело и озадаченно уставился на свой стол: Полли исчезла.

* * *

Миновала неделя, прежде чем Бакстер-Браун вновь набрался мужества испытать в ночной тиши и темноте тайну магического зеркала.

Ничего не произошло.

Осмелев, он стал продолжать опыты каждую ночь; причуды ради он даже стал призывать тени Ди и Келли, более того — потусторонних существ, найдя их имена в старинном трактате по магии Поджерса.

Его охватило разочарование; он больше не мечтал о волшебных поисках сокровищ и даже сказал сам себе, что по-настоящему никогда в это и не верил.

— Стоило ли труда... стоило ли труда...— то и дело бормотал он. Однако мысль свою не договаривал и сам не мог бы сказать, относилось ли его сожаление к убийству на Эстиз-роу.

Как бы то ни было, преступление принесло ему двенадцать фунтов и несколько шиллингов; но все эти деньги растаяли, как снег на солнце.

В день, когда последний звонкий шиллинг был истрачен, чтобы купить немного сахара и чая, лекаря уведомила о своем визите миссис Скиннер.

Уведомила о визите — слишком громко сказано; на самом деле она велела домашней прислуге Дайне Пабси, выполнявшей всю черную и грязную работу, передать доктору, чтобы он «не уходил из дому, не поговорив с миссис Скиннер, если не хочет, вернувшись домой, увидеть у себя на двери большие красные печати».

Миссис Скиннер была достаточно терпеливой хозяйкой и не объявляла жильцу беспощадную войну из-за просроченного платежа; но Бакстер-Браун задолжал ей уже за восемь кварталов, не считая мелких сумм, которые она давала взаймы в минуты хорошего настроения.

Явилась она ровно в одиннадцать, то есть через два часа после Дайны Пабси, нацепив на нос роговые очки и держа перед собой обширную ведомость.

— Доктор Браун,— начала она,— так больше продолжаться не может.

Терпение мое велико, я могла бы терпеть и еще, если бы сама не имела серьезной нужды в деньгах. Соблаговолите взглянуть на этот счет — вы увидите, что задолжали мне...

Внезапно она умолкла, с отвращением принюхалась и воскликнула:

— Господи, какая гадость... Что за дрянь такая у вас в трубке, доктор! Не могу здесь больше оставаться. Какой смрад... Убирайтесь вон, съезжайте из моего дома... О! как же тут воняет!

И она выбежала, причем ведомость (случай неслыханный в летописи дома) выскользнула у нее из рук и, порхнув в воздухе, опустилась на пол.

Бакстер-Браун рад был избавиться от ее криков и угроз, однако, нахмурив лоб, так и остался неподвижно сидеть за круглым столом в мрачном оцепенении: с тех пор как пропала Полли, он из экономии так и не купил себе новую трубку, а потому перестал курить!

С другой стороны, сколько он сам ни принюхивался, он так и не почуял никакого табачного запаха; только тяжелым духом несло от кухонной раковины да пахли кое-какие флаконы с лекарствами.

Пожав плечами, он заглянул в потайной ящик задвинутой в угол конторки.

Черное зеркало было на месте, темное и блестящее, но без всяких чар и откровений; рядом покоились в своем кожаном футляре стальные инструменты.

Вздохнув, Бакстер-Браун взял их в руки.

В этот миг с нижнего этажа раздался вопль о помощи:

— Доктор! Доктор! Она умирает!

Лекарь узнал пронзительный голос Дайны Пабси.

Он застал прислугу у открытых дверей кухни; она орала во все горло и проливала потоки слез.

— Она вошла и говорит: «Что за табак... О, как он воняет!..» А потом упала. И больше не шевелится! Ой! Ой!

Бакстер-Браун увидел, что миссис Скиннер распростерта на бело-красном кафельном полу; ее очки отлетели далеко в сторону и разбились.

Лицо хозяйки дома было отвратительно перекошено.

— Она больше не шевелится — вы же видите! — рыдала служанка.

«Ей больше и не пошевелиться»,— тихонько сказал себе лекарь, ибо он определил, что несчастная умерла.

Составив краткое заключение для медицинских экспертов столичной полиции, он поднялся обратно к себе и убрал на место кожаный футляр. Поскольку он первым констатировал смерть миссис Скиннер, то по праву примет участие и в расследовании, а в этих двух качествах немедленно получит гонорар в три фунта шесть шиллингов.

А с этим уже можно будет спокойно протянуть несколько дней.

* * *

Почему с тех самых пор он так неотвязно думал о пропаже Полли?

Трубка эта мало-помалу стала для него чем-то вроде подруги, которой он не имел в своей нищей холостой жизни, и теперь ему ее так недоставало, что не хотелось искать замену; у него даже пропала охота курить.

Но эту мелкую заботу вскоре заслонили неприятности более серьезные: мало того что он сидел совершенно без денег, но был еще и весь в долгах, отнимавших у него всякую надежду прокормить себя.

Пациентов, которые и раньше-то бывали у него редко, теперь не стало вовсе; какие-то ночные гуляки сорвали с дверей подъезда цинковую табличку, на которой были написаны его фамилия и приемные часы.

Он и не думал прикреплять ее снова, будучи убежден, что это бесполезно.

— Ах, Стентон Миллер,— бормотал он,— придется мне опять вспомнить о тебе, бедный мой брат во злодействе.

Он снова достал из ящика футляр с инструментами из полированной стали.

Рядом, в своем чехле из алого шелка, лежало зеркало доктора Джона Ди.

Он бросил на него раздраженный и презрительный взгляд.

— А ты,— проворчал он,— не сегодня-завтра будешь творить свои чары на дне реки!

До сих пор во время своих убогих ночных краж он почти всецело полагался на какую-то неведомую счастливую звезду. Исключением было разве что кровавое дело на Эстиз-роу, когда он заполучил в свои руки черное зеркало.

Нынешнюю свою вылазку, призванную не дать ему окончательно впасть в нищету, он подготовил более тщательно.

В доме, который он присмотрел в Блумсфилде, никто не жил. Его хозяйка леди Аберлоу лечилась в клинике на Косуэлл-роуд и взяла с собой всех слуг.

Все это он выведал из разговора двух своих коллег-врачей, не замечавших или не обращавших внимания на то, как внимательно он к ним прислушивается.

На одном из окон первого этажа ставни были опущены не до конца, а Бакстер-Браун уже имел достаточно опыта и знал, что они не составят серьезной преграды для ночного вторжения.

Было холодно и темно, когда он сошел с автобуса на улице Корнхилл; когда же он пешком дошел до Лондон-уолл, хмурой и угрюмой словно сам дух дурного настроения, на улицы уже постепенно наползал fog [1]. В этот туман, полный призраков, кое-где роняли свою рыжую слезу уличные фонари; даже звуки делались глуше, и сирены на набережной Виктории, словно кляпом придушенные туманом, еле слышно ныли в отдалении.

Бакстер-Браун удовлетворенно вздохнул. Он-то даже с черной повязкой на глазах отыскал бы дорогу в Блумсфилд, к дому леди Аберлоу, к окну с неплотно закрытыми ставнями.

Он забрался внутрь без особых усилий; белый луч его карманного фонарика заскользил по мертвенно-белым чехлам на мебели и по свернутым коврам в строгой гостиной викторианской эпохи.

Он поднялся по широкой винтовой лестнице, уходившей куда-то вверх, в темноту, и нашел на втором этаже дверь, которая, судя по всему, вела в спальню леди Аберлоу. Распахнув ее, он застыл, пораженный внезапным ужасом, как будто перед ним выросло какое-то чудовище.

На самом деле комната могла испугать его лишь одним — тем, что была ярко освещена.

Горели все двенадцать ламп большой люстры с подвесками, а за желтой бархатной козеткой стоял торшер с розовым абажуром. Незваный гость не мог предположить, чтобы обитатели дома при отъезде и впрямь забыли потушить весь этот свет, ведь комната стояла пустой и, несмотря на праздничное освещение, совершенно нежилой.

У Бакстер-Брауна заходили ходуном плечи, будто тяжкий груз стеснял ему дыхание в груди.

— Ну давай же, давай...— пробормотал он,— нужно ведь это сделать... иначе я пропал.

Взгляд его был прикован к зеленовато-прозрачному венецианскому зеркалу, висевшему на задней стене. Он подошел и приподнял его: словно две пары глаз, вспыхнули четыре медные кнопки на дверце вмурованного в стену сейфа.

Стальные инструменты резво принялись за дело и без большого труда одолели преграду.

— Наконец-то... наконец-то...— всхлипнул Бакстер-Браун; и действительно, по щекам его потекли слезы неизъяснимой радости, когда он увидел перед собой толстые пачки банкнот и три желтые кучки соверенов.

Набив себе карманы, он торжествующе взмахнул полуторафутовым стальным прутом, который послужил ему для последнего напора на дверцу сейфа.

---

[1] Туман (*англ.*)

Внезапно все тело его свела судорога: на этаже хлопнула одна из дверей, по ступенькам лестницы застучали торопливые шаги; он даже услышал сухой щелчок взведенного курка.

Бакстер-Браун весь окаменел. Он не двинулся с места ни тогда, когда в проеме раскрытой двери возник тяжелый, мощный силуэт мужчины, ни тогда, когда в лоб ему уставилось маленькое, круглое и злое дуло автоматического пистолета.

Однако роковой выстрел так и не раздался, а мужчина не успел ни окрикнуть грабителя, ни позвать на помощь.

Стальной прут выскользнул из рук Бакстер-Брауна, с тонким звуком ракеты просвистел в воздухе и врезался во что-то в темноте. Бакстер-Браун так и не шелохнулся, а тело уже опустилось на пол лицом вниз, и из головы ключом заструилась кровь.

Лишь со страшным напряжением оторвал он от пола ноги, которые словно увязли в невидимом болоте. Но тут силы к нему вернулись, и он одним прыжком перемахнул через труп.

На лестничной площадке он оглянулся.

Двенадцать ламп озаряли слепящим светом взрезанный сейф и размозженный череп убитого сторожа, меж тем как в мягком сиянии торшера...

Ай! Бакстер-Браун, которого почти не волновало отвратительное зрелище насильственной смерти, в этот миг едва не закричал от гадкого страха: между абажуром торшера и диванными подушками висела в воздухе, словно зажатая в зубах невидимого курильщика, его Полли.

Он прекрасно узнал ее по сильно обожженной головке, по трем крестикам на ней.

Его охватило шальное желание вернуться, перешагнув обратно через окровавленный труп, и забрать с собой свою любимую трубку, столь загадочно пропавшую,— как вдруг из нее вырвалось колечко дыма, за ним второе, третье, и вот уже Полли раскурилась вовсю, наполняя воздух густым синим туманом; она курилась сама по себе... в пустоте... в ужасной пустоте.

И тогда Бакстер-Браун стремглав бросился прочь, в темноту и туман; заблудившись в непрерывно сгущавшейся мгле, он целых три часа добирался до Клиссолд-парка, до своей выстуженной комнаты.

Ибо в его отсутствие порывом ветра распахнуло окно, и теперь серые пелены тумана вились вокруг лампы в зыбком призрачном хороводе.

* * *

Кто бы мог подумать, познакомившись с доктором Бакстер-Брауном спустя десять лет, что в ящике, набитом всякой ненужной всячиной, он хранит самое мощное и грозное орудие магии, некогда оставленное людям существами из незримого мира,— черное зеркало доктора Джона Ди?

Что бы нам ни говорили о кольце Тота, о колдовских книгах Салома, о колбах с гомункулами Карпентера, одно только черное зеркало позволило людям вырваться из грубой оболочки плоти и, не сбиваясь с пути, странствовать среди жгучих облаков ненависти, любви или знания, из которых Высший Разум соткал призраков и вечных духов.

Бакстер-Браун выкупил себе в Камден-тауне кабинет для приема больных у пожилого квартального лекаря, на склоне лет мечтавшего обзавестись сельским домом у речки с форелью, где-нибудь в своем родном Девоншире. Он стал теперь вполне счастлив и покоен.

Он пополнел, отпустил усы на галльский манер, и лицо у него лоснилось, так как он приохотился к обильной еде.

Он носил костюмы в клетку от братьев Керзон и обедал в ресторане Бакки, где особенно ценил рагу из дикого кролика с крепким портером и угрей, жаренных на открытом огне.

Он состоял в клубе любителей виста в таверне «Кингфишер» и играл не так уж плохо.

За все эти годы он только три-четыре раза вынимал темное волшебное зеркало из его красного чехла.

Без любопытства и без страха склонялся он вновь над этой немой загадкой, и ни разу не появлялось у него желания опять воззвать к той силе, что заключалась в сумрачной глубине черного камня.

И все же при всем своем равнодушии он ни о чём не позабыл, и изредка перед невидимыми глазами его памяти мелькала быстрой тенью странная фигура в подбородном щитке и ножных доспехах.

Что же касается Полли, то ему не давали о ней забыть некоторые чрезвычайно тревожные происшествия.

Сначала приключилась прискорбная история со Сламбером.

В Камден-тауне Бакстер-Браун снял себе один из тех живописных домиков, которыми так кичились мелкие рантье году примерно в 1820-м и которые сохранили в своих старых добрых камнях достаточно хитрости и лукавства и всякий раз умудрялись не даваться в руки алчным дельцам, что разрушают старые и громоздят на их месте новые высотные дома.

На первом этаже, образуя анфилады комнат с низким потолком, размещались передняя для ожидания приема, приемный кабинет и крошечная лаборатория, где Бакстер-Браун собственноручно приготовлял около дюжины лечебных мазей и сиропов, пользовавшихся недурной репутацией и приличным спросом.

На втором этаже была гостиная, сиявшая новенькой мебелью и поддельным литьем в динанской манере; в ней лекарь проводил свой досуг в безупречном, на его вкус, интерьере.

Он редко принимал там гостей, так как, несмотря на свое солидное состояние и неизменную удачливость, остался, как и прежде, нелюдимым холостяком.

Среди немногих приятелей, кому он охотно отворял врата своего грошового земного рая, был и милейший мистер Сламбер, с которым он познакомился в «Кингфишере».

Мистер Сламбер раньше был педелем в колледже, жил очень бедно и кое-как зарабатывал на пропитание, держа корректуру для третьеразрядных издательств. В таверне он никогда не позволял себе за вечер больше двух пинт эля, а если и выпивал третью, то лишь когда за нее платил Бакстер-Браун.

Говорили, что и дома за ужином он редко отступал от обычного рациона: одно-единственное крутое яйцо или же kipper [1]. Поэтому лекарь частенько приглашал его разделить с ним обильное угощение — крепко посоленное холодное мясо или птицу, которые он заказывал себе на дом из ближайшего трактира.

В беседе мистер Сламбер мало чем блистал, если только разговор не сворачивал на один особенный предмет — старинные способы освещения. Бесхитростный и добродушный мистер Сламбер становился несравненным лириком, говоря о свечах, коптилках и лампах Карселя. Вот почему в тусклых глазах отставного педеля Бакстер-Браун стал чуть ли не богом в тот день, когда приобрел у мелочного торговца с Чипсайда длинную высокую лампу из толстого синего стекла, снабженную водяной линзой на медной консоли и излучавшую влажно-зеленый свет.

— Клянусь вам, что это Кантерпрук! — воскликнул Сламбер, вне себя от восторга.

— Кантерпрук?

— Так звали знаменитого мастера-жестянщика,— гордо отвечал мистер Сламбер,— он жил в Боро [2] около 1790 года и завоевал громкую и заслуженную славу изготовлением таких вот ламп.

Бакстер-Брауну нечего было на это сказать, и с тех пор при каждом визите бывшего педеля лампа Кантерпрука радовала его бесхитростное и мягкое сердце своим нежно-опаловым лунным светом.

[1] Копченая селедка (*англ.*)

[2] Боро — разговорное название лондонского района Саутуорк.

Как-то ночью Бакстер-Брауна разбудили некие таинственные волны, предупреждающие нас об опасности.

Уже много лет он не решался спать в полной темноте и оставлял гореть у изголовья маленький ночник с поплавком; его невзрачный желтый огонек тщетно сражался с безмолвными полчищами теней.

Этот крошечный язычок пламени и высветил перед глазами проснувшегося Бакстер-Брауна чью-то фигуру, угрожающе притаившуюся в темноте и готовую напасть; в его лучах бледно сверкнуло длинное лезвие ножа.

Бакстер-Браун увидел, как поднялся зловеще озаренный нож и из мрака, предвкушая его скорую агонию, выступило чье-то лицо, закрытое черной повязкой.

Он почувствовал, что погиб, но тут случилось нечто непонятное.

Нож выпал и, трепеща, вонзился в деревянный пол; из-под маски раздался короткий хрип, а вслед за ним — икающий стон боли и отчаяния, и грозная фигура осела на пол.

Одним прыжком лекарь подскочил к ночному налетчику, сорвал с него черную маску, и вдруг раздался жалобный голос умирающего:

— Простите меня... Я хотел взять Кантерпрука...

Грабитель, умерший сразу вслед за своим жалким признанием, был не кто иной, как злополучный мистер Сламбер.

Лекарь уже стал было гадать, каким чудом приключился этот сердечный приступ, сваливший замертво его бывшего приятеля и спасший жизнь ему самому, как вдруг он увидел Полли.

Она висела в воздухе в футе над ночником, испуская вровень со своей головкой, помеченной тремя крестиками, дымные колечки. Колечки были красивые, толстые и пухленькие, словно сами довольные своей безупречно округлой формой.

Бакстер-Браун сдавленно крикнул и протянул руку к трубке; движение оказалось неловким, он загасил слабый огонек в ночной лампе. Когда он вновь ее зажег, трубки больше не было, зато вся комната пропахла скверным табачным зельем.

Ему не составило труда спасти репутацию мистера Сламбера: спрятав его маску и нож, он оттащил труп за сто шагов от своего дома, на скамейку в сквере.

* * *

Эдди Бронкс была бы хороша собой, даже очень хороша, если бы базедова болезнь не придавала ее бледно-голубым глазам несколько пугающее выражение.

Бакстер-Браун познакомился с нею у корнхиллского аптекаря Литлвуда, которому обещал передать свою лабораторию и рецепты мазей.

Эдди любила поболтать с ними обоими, будучи сама, как она говорила не без гордости, «профессионалом».

Действительно, она служила младшей медицинской сестрой в больнице «Нью-чарити».

Бакстер-Браун никогда не обращал особого внимания на женщин, но образ Эдди Бронкс вскоре начал его неотвязно преследовать.

«При следующей встрече попрошу ее стать моей женой»,— не раз говорил он себе.

Следующая встреча, а за ней и многие другие, проходила, а предложение все никак не могло сорваться с уст доктора, и вся беседа сводилась к обсуждению пилюль Литлвуда, способов лечения базедовой болезни и необычных случаев заболеваний, которые встречались доктору в его практике.

Однажды осенним вечером Бакстер-Браун застал Литлвуда бессильно опершимся на прилавок; губа у него дрожала, руки были ледяные.

— Вы знаете,— простонал он,— здесь только что была бедняжка Бронкс в ужасном состоянии. Ее уволили из больницы после ссоры

с начальницей. Говорит, что хочет наложить на себя руки... Нет-нет, Браун, я разбираюсь в таких вещах... Не забывайте, что ее болезнь предрасполагает к неврастении. Она направилась в сторону водозабора.

Литлвуд сильно хромал на одну ногу и не мог пуститься вслед за отчаявшейся девушкой.

Бакстер-Браун как сумасшедший помчался по длинной темной улице; задыхаясь, с неистово колотящимся сердцем, он остановился лишь тогда, когда перед ним заблестела под луной широкая гладь водопроводных резервуаров.

— Эдди! Эдди! — отчаянно кричал он.

Он увидел, как она перегнулась через хлипкое ограждение, клоня голову к притягательно темной воде.

— Дорогая моя... я как раз хотел...

Так в столь необычном месте и в еще более необычных обстоятельствах он признался в своей любви и сделал предложение руки и сердца.

Эдди Бронкс побрела за ним, вся обессиленная и в слезах.

Он развел гудящий огонь в камине своей гостиной, зажег все лампы, даже лунообразную лампу Кантерпрука, и дрожащими руками приготовил две порции грога.

— Завтра же, дорогая, я займусь разрешением на брак.

Она не слушала, запрокинув лицо к потолку, и базедова болезнь внезапно подчеркнула выражение острой тоски в ее глазах.

— Что у вас здесь такое, доктор Браун? — спросила она, вздыхая.

— У меня? А что...

Она упала в одно из глубоких кресел, стоявших по бокам камина.

— Простите... голова кружится... тошнит... О, пожалуйста, доктор, не надо курить!

Бакстер-Браун уронил на пол только что приготовленный стакан грога.

— Но я же и не курю, дорогая!

Эдди Бронкс вскочила на ноги.

— Там, в углу... там человек в шлеме... он прячется... я вижу под столом его ноги... о, они словно змеи.

Вдруг она завопила:

— Он идет сюда... зажигает трубку от лампы! Господи Иисусе!

Она так и рванулась к двери; Бакстер-Браун хотел ее удержать, но она оттолкнула его со страшной силой.

Он пошатнулся, потерял равновесие и врезался головой в то самое кресло, где она только что сидела.

Поднявшись, он услышал, как хлопнула входная дверь, и успел только метнуться к окну.

В ясном лунном свете он увидел, как девушка бежит по безлюдной улице; он было высунулся, стал окликать ее, умолять вернуться, как вдруг различил чью-то зловещую, устрашающе грозную тень, которая беззвучно двигалась за ней следом по блестящему под луной тротуару.

На следующий день труп Эдди Бронкс извлекли из резервуара № 2 Камдентаунского водозабора.

* * *

На следующий год после этой трагической кончины Бакстер-Браун умер.

Он уже некоторое время страдал астмой и как следует не лечился.

Литлвуд часто навещал его; ему мы и обязаны рассказом о последних минутах доктора.

«Он поступил крайне неблагоразумно, и это его погубило,— поведал аптекарь.— Его коллега доктор Рессендил предписал ему домашний и даже постельный режим, а ему вздумалось куда-то пойти.

Дождь лил как из ведра, и вернулся он домой промокшим до костей.

Я сурово отчитал его и заставил немедленно лечь в постель.

— Что за безумие ходить сейчас по улицам! — ругал я его.— Не пойму, зачем вы в такую погоду решились выйти из дому.

— Я избавился от очень тяжкого груза,— ответил он.

Я измерил ему температуру: чуть ли не сорок градусов,— и понял, что он бредит.

Он начал говорить что-то невразумительное, в частности, о каком-то зеркале.

— Мне следовало это понять за столько лет... В нем таилась *Она... Она...*

Он все громче выкрикивал это слово *Она,* и мне пришлось несколько раз повторить, чтобы он замолчал и лежал спокойно.

К утру он немного притих, и я решил, что он засыпает, тем более что и температура снизилась.

Сочтя, что тоже могу передохнуть, я устроился в кресле и вскоре задремал.

Внезапно меня разбудили его крики.

Сидя на кровати, он тяжело дышал, грудь вздымалась, как кузнечный мех, и — вот что странно — никогда я не замечал, чтобы он употреблял табак, а тут он весь был окутан плотным облаком трубочного дыма.

— А! так вот оно что... вот оно что... теперь я знаю... и я знаю, какая она... Ах, тварь, она украла у меня трубку!

Он рухнул и остался лежать неподвижно; его больше не было в живых.

Но, падая, он сделал странное движение рукой, словно ловил что-то в воздухе. А когда рука вновь опустилась, он держал в ней толстую вересковую трубку с тремя крестиками на головке.

Трубку так и не сумели вынуть из окоченевшей руки, и его, кажется, прямо с ней и похоронили».

ГОВАРД Ф. ЛАВКРАФТ

Болото Луны

РАССКАЗ

Перевод с английского В. БЕРНАЦКОЙ

ГОВАРД ФИЛИПС ЛАВКРАФТ (1890—1937) — американский писатель, создатель «мифологии ужаса». При жизни публиковался в журналах, и только после смерти сборники его рассказов и повести «Тень над Инсмутом», «Ужас в Данвиче», «Шепоты во мраке» и др. стали выходить отдельными изданиями.
Рассказ «Болото Луны» взят из сборника «Дагон и другие рассказы» (1967).

Где, в каких запредельных и мрачных краях пребывает сейча Деннис Бэрри? Не знаю. В ту ночь, когда он последний раз находился среди людей, я был неподалеку от него и слышал, как за ним пришли, слышал его душераздирающие крики. Крестьяне и полиция графства Мет не нашли ни Бэрри, ни остальных, хотя искали долго и упорно. Я же после всего случившегося содрогаюсь от ужаса всякий раз при кваканье болотных лягушек или если в безлюдном месте на меня вдруг хлынут потоки лунного света.

Хорошо зная Денниса Бэрри еще по Америке, где он разбогател, я радовался, когда он выкупил свой родовой замок у болот в сонном местечке Килдерри. Там были его корни, и ему хотелось пожинать плоды своего богатства среди родных стен. В давние времена его предки владели Килдерри, построили там замок и счастливо жили в нем, но все это было и быльем поросло. Много воды утекло с тех пор, замок пришел в полное запустение. Вернувшись в Ирландию, Бэрри часто писал мне, рассказывая, как постепенно — башня за башней — возрождается древняя постройка, по ее стенам снова, спустя много веков, побежал плющ, а крестьяне не устают благодарить его за то, что он вкладывает капиталы в процветание родных мест. Но потом все изменилось, крестьяне перестали благословлять моего друга, а, напротив, бежали от него прочь, как от зачумленного. Тогда-то Деннис и послал мне письмо с просьбой навестить его: он очень одинок в своем замке, даже поговорить не с кем, разве что с новыми слугами и рабочими, выписанными им с севера страны.

Когда я приехал, Бэрри сказал мне, что всему виной близлежащие болота. В Килдерри я прибыл на закате, заходящее летнее солнце еще золотило зелень холмов и рощ, а также синеву болота, освещая диковинные древние руины на отдаленном островке. Закат был прекрасен, но крестьяне в Баллилоу уже успели отчасти обратить меня в свою веру, заверив, что Килдерри проклят, и я с опаской взирал на пылающие в вечернем золоте башенки замка. Я приехал из Баллилоу на посланной за мною машине, поскольку Килдерри находится в стороне от железной дороги. Крестьяне старавшиеся держаться подальше и от автомобиля, и от его водителя-северянина, видя, что я еду в Килдерри, все же не удержались и предупредили меня об опасности. А вечером, уже в замке, Бэрри рассказал мне, в чем дело.

Крестьяне покинули Килдерри из-за того, что Деннис Бэрри решил осушить большое болото. Несмотря на всю любовь к Ирландии, амери-

канские уроки не прошли для него даром, и ему претила мысль, что прекрасная земля пропадает под водой зря — ведь и торфяник, и саму землю можно использовать с умом. Связанные с болотом легенды и поверья он не принимал всерьез, его лишь позабавило, когда крестьяне сначала отказались участвовать в работах, а потом, увидев его упорство, прокляли своего хозяина и ушли в Баллилоу, захватив только самое необходимое. Тогда Бэрри пригласил работников с севера, а когда замок покинули и слуги, ему опять пришлось выписывать новых людей. Теперь его окружают одни чужаки, оттого-то, почувствовав себя одиноко, он и вызвал меня.

Услышав в подробностях, чего испугались жители Килдерри, я от души посмеялся вместе с моим другом: очень уж нелепыми казались их страхи, связанные с поверьем о болоте и его угрюмом страже, дух которого якобы жил в тех самых древних развалинах, которые я видел на закате. Ходили также толки о пляшущих в темноте огоньках, о ледяных порывах ветра в теплую ночь, о призраках в белом, парящих над водой, и каменном городе, сокрытом под зеленой ряской болота. Крестьяне были убеждены: человека, который осмелится нарушить покой этих мест или осушить бескрайнюю топь, ждет возмездие. Некоторых тайн, говорили крестьяне, касаться нельзя. Эти тайны существуют с незапамятных, легендарных времен, когда детей Партолана постигло несчастье. В «Книге завоевателей» говорится, что эти сыны Греции погибли в Толлате, но старики из Килдерри утверждали, что один город был все же спасен покровительствующей ему богиней Луны, которая укрыла его в лесной чаще на холмах и тем спасла от немедских завоевателей, прибывших на тридцати кораблях из земель скифов.

И такие вот басни заставили крестьян покинуть Килдерри! Теперь меня более не удивляло намерение Денниса Бэрри не считаться с этими бреднями. Сам он, кстати, испытывал глубокий интерес к древности и после осушения болота собирался тщательно исследовать эту местность. Он часто посещал руины на острове: возраст их был, очевидно, солиден, архитектурой они отличались от других древних сооружений, но из-за нынешнего ужасающего их состояния трудно было понять, что представляли они собой в период расцвета. Работы по осушению должны были вот-вот начаться, и приезжие с севера готовились очистить таинственное болото от мха и красноватого вереска, уничтожить крошечные, полные ракушек ручейки и спокойные голубые глади, заросшие камышом.

После всех перипетий дня я устал и хотел спать. Была уже глубокая ночь, и я с трудом дождался, когда Бэрри закончит наконец рассказ. Слуга проводил меня в отведенную мне комнату в одной из отдаленных башенок. Из ее окон просматривались деревня, поляна на краю болота, а дальше и само болото. В лунном свете я видел спящие дома, в которых коренных жителей сменили наемные рабочие с севера, церквушку со старинным шпилем, а вдали, за сонной топью, таинственно поблескивали древние руины на островке. Погружаясь в сон, я услышал — или мне почудилось? — слабые, отдаленные звуки свирели, диковатую, какую-то первобытную мелодию. Эта музыка странно растревожила меня, войдя в мои сны. Однако, проснувшись утром, я понял, что музыка была порождена самими снами, столь удивительными, что в сравнении с ними потускнели даже эти таинственные звуки свирели. Видимо, под влиянием рассказанных Бэрри легенд мне приснилось, что дух мой витал над величественным, утопающим в зелени городом, где вымощенные мрамором улицы, виллы и храмы, статуи, резные орнаменты и надписи — все говорило о былом величии Греции. Мы посмеялись с Бэрри над этим сном, но мой смех звучал громче: друг был обеспокоен поведением рабочих с севера. Они уже шестой день подряд вставали очень поздно, двигались вяло, как в полусне, вот и сегодня выглядели совсем неотдохнувшими, хотя накануне легли рано спать.

Все утро я бродил по залитой солнцем деревне, заговаривая с рабочими. Никаких особых дел у них не было — Бэрри заканчивал последние приготовления перед началом работы, — но на душе у всех

было неспокойно из-за неясных, тревожных снов, которые наутро забывались. Я тоже рассказал им о своем ночном видении, однако оно оставило их равнодушными. Оживились они, только когда я упомянул о диковатой музыке: им, помнится, тоже что-то такое слышалось.

Вечером за обедом Бэрри объявил, что работы начнутся через два дня. Меня обрадовало это сообщение, хотя стало мучительно жаль всех этих мхов и вереска, ручейков и озер. Но очень уж хотелось проникнуть в вековые тайны, которые могли скрываться в толще торфяников. Этой ночью мне снова снился сон о поющих свирелях и мраморном городе, но он оборвался резко и пугающе. Я увидел, как на город в зеленой долине надвигается беда — чудовищный оползень обрушился на него и похоронил под собой все живое. Не пострадал от жестокой стихии только стоявший на высоком холме храм Артемиды, где престарелая жрица Луны, Клеис, лежала холодная и безмолвная, с короной из слоновой кости на убеленной сединами голове.

Как я уже говорил, мой сон резко оборвался. Непонятное беспокойство не отпускало меня. Некоторое время я не понимал, сплю или бодрствую: звуки свирели продолжали звучать в ушах. Однако, увидев на полу холодные блики Луны, изрешеченные тенью готического окна, я понял, что все-таки нахожусь в замке Килдерри. Когда же где-то вдали часы пробили раз и другой, мне стало окончательно ясно, что я не сплю. Но монотонное звучание свирели все же продолжалось — странная, древняя музыка, вызывающая в воображении танцы сатиров на далеком Меналусе. Она не давала спать, и я, поднявшись с кровати, стал в беспокойстве бродить по комнате. По чистой случайности я подошел к северному окну и бросил взгляд на спящую деревню и на поляну у края болота. Я вовсе не собирался глазеть в окно, смертельно хотелось спать, но звуки свирели так измучили меня, что надо было как-то отвлечься. Однако увиденное как громом поразило мое воображение.

На освещенной луной просторной поляне разыгрывался спектакль, который, раз увидев, не позабыл бы ни один из смертных. Под громкие звуки свирелей, эхом разносящиеся над болотом, по поляне безмолвно и плавно двигались странные фигуры. Поначалу мерно раскачиваясь, они постепенно достигали такого экстаза, какой охватывал в давние времена сицилийцев, исполнявших посвященный Деметре танец в ночь полнолуния перед осенним равноденствием неподалеку от Киана. Открытая поляна, сверкающий лунный свет, танцующие призраки, резкий, однообразный звук свирели — все это вместе произвело на меня почти парализующее действие, и все же я отметил, что половину этих неутомимых танцоров составляли наемные рабочие, которые, по моим представлениям, давно должны бы уже спать, другую же — странные призрачные существа в белом, при некотором воображении их легко можно было принять за наяд, живущих в озерцах, питающих болота. Не знаю, сколько времени простоял я у окна, глядя на это зрелище, только в какой-то момент вдруг погрузился в глубокий, полуобморочный сон без сновидений, из которого меня вывел только яркий свет солнца.

Моим первым порывом при пробуждении было пойти и поделиться потрясшим меня сновидением с Деннисом Бэрри, но при свете солнца все выглядело иначе, и мне удалось внушить себе, что это был лишь сон. Возможно, я стал подвержен галлюцинациям, но ведь не настолько же, чтобы потерять контроль над собой и полагать, что видел все это наяву. Я ограничился тем, что расспросил рабочих, но, как и следовало ожидать, они, хоть и проспали опять дольше обычного, ничего особенного не припоминали, кроме разве звуков музыки. Я долго размышлял об этих странных звуках, гадая, не сверчки ли это завели свою осеннюю песню раньше положенного срока, смущая по ночам честных людей. Днем я видел, как Бэрри еще раз просматривает свои чертежи перед началом работ. Итак, утром рабочие примутся за дело... Впервые у меня от страха ёкнуло сердце, и я понял, почему крестьяне бежали отсюда. По непонятной причине мне тоже была невыносима мысль, что кто-то потревожит это старое болото

с его сокрытыми от солнечного света тайнами; под многовековым слоем торфа мне представлялись поразительные картины. Не следует так вот необдуманно выставлять на всеобщее обозрение то, что таилось там столько веков... Мне хотелось найти удобный повод, чтобы покинуть замок и саму деревню. Я даже попытался заговорить на эту тему с Бэрри, но быстро осекся, смущенный его издевательским смешком. В молчании наблюдал я, как заходящее солнце раскрашивает яркими красками дальние холмы и заливает Килдерри таким ослепительным кроваво-золотым светом, что это казалось дурным предзнаменованием.

Во сне или наяву происходили события наступившей ночи, не знаю. Во всяком случае, самая изощренная фантазия не смогла бы породить большего. Я, например, не в силах представить каких-либо разумных объяснений тому, куда после этой ночи исчезли люди из замка и деревни. Я рано отправился в свою комнату, но, полный тяжелых предчувствий, никак не мог заснуть. Меня томила и зловещая тишина, царящая в этой отдаленной башне. Хотя небо очистилось, ночь все же стояла темная: луна в те дни шла на убыль и всходила совсем поздно. Я лежал и думал о Деннисе Бэрри и о том, что случится с болотом, когда придет утро, и, наконец, довел себя до такого состояния, что был готов сорваться с места, взять машину хозяина и помчаться в Баллилоу, прочь из этого проклятого места. Но, не успев прийти к определенному решению, я уснул, а во сне снова увидел город в долине — мрачный и оцепенелый от нависшей над ним смертельной угрозы.

Возможно, меня снова разбудили громкие звуки свирели, однако после пробуждения не музыка занимала мои мысли. Я лежал спиной к окну, выходящему на восток, где должна была взойти луна, и поэтому ожидал увидеть на противоположной стене ее отсвет. Но увидел я совсем другое. На стене были блики, но не те, что дает луна. Я со страхом понял, что ярко-красный свет льется сквозь готическое окно. Он заполнял всю комнату мощным невиданным сиянием. Мое поведение было странным, и это неудивительно — только в книгах герой ведет себя в такой ситуации расчетливо и разумно. Вместо того, чтобы взглянуть на болото и понять наконец, откуда взялся новый источник света, я, даже не обернувшись к окну, стал торопливо натягивать на себя одежду, смутно надеясь поскорее отсюда удрать. Помню, захватил с собой револьвер и шляпу, но они мне не пригодились: я потерял то и другое, так и не выстрелив из револьвера и не надев шляпу. И все же любопытство мое пересилило страх, я подкрался к окну, чтобы взглянуть на непонятное алое сияние, высунулся наружу, и в эту минуту оглушительно запели свирели, наполняя своими звуками замок и деревню.

Поток яркого, зловеще-алого света струился над болотом, исходил он из загадочных руин на островке. Руины, однако, странно изменились. Мне трудно описать, в чем было дело, может, я сошел с ума, однако мне показалось, что храм снова стоит во всем своем великолепии — не тронутый временем, в окружении колонн, на мраморе его антаблемента, взметнувшегося ввысь, горели отсветы пламени. Запели флейты, застучали барабаны, и, пока я как зачарованный взирал на это зрелище, на освещенных мраморных стенах появились темные силуэты танцующих. Выглядело все это невероятно, эффект был поразительный. Я застыл на месте, не в силах отвести глаз от удивительной картины, а тем временем слева от меня громко зазвучали свирели. В непонятном возбуждении, охваченный тягостными предчувствиями, я пересек круглую свою комнату и подошел к северному окну, из которого просматривались деревня и поляна. Уже то, что я видел прежде, мой разум отказывался постичь, но теперь у меня просто глаза на лоб полезли: по залитой кроваво-красным светом поляне двигалась процессия, которая могла привидеться разве что в кошмарном сне.

То скользя по земле, то плывя в воздухе, медленно двигались по направлению к тихой заводи и дальше, к руинам, болотные призраки, укутанные в белое,— двигались, образуя сложные фигуры.

словно исполняли древний ритуальный танец. Их бесплотные руки покачивались в такт режущей слух мелодии невидимых флейт, увлекая за собой наемных рабочих, которые тянулись чередой, слепо и покорно, как собаки, словно повинуясь какой-то дьявольской силе. Когда наяды достигли болота, из замка, пошатываясь, нетвердой походкой вышли новые жертвы. Они появились из двери, расположенной под моим окном, прошли как во сне через двор, затем по деревенской улочке и присоединились на поляне к колышущейся веренице рабочих. Несмотря на разделяющее нас расстояние, я тотчас понял, что это прибывшие с севера слуги, и даже признал в одной из самых уродливых и неуклюжих фигур кухарку, ее обычные неловкие движения казались мне теперь почти трагическими. Флейты по-прежнему издавали какие-то немыслимые звуки, а со стороны острова снова послышался зов барабанов. И тут наяды медленно и грациозно вступили в воды древнего болота, а идущие за ними люди, не замедляя хода, тоже стали погружаться и вскоре скрылись под водой. В красном зареве на поверхности болота с трудом различались расходящиеся по воде пузырьки воздуха. Последней пучина поглотила вызвавшую во мне жалость толстуху кухарку. Когда скрылась и она, флейты и барабаны умолкли, померк и слепящий глаза свет, излучаемый руинами; деревня снова замерла в мирном свете только что взошедшей луны.

Я был в полном смятении. Схожу ли я с ума? Сплю? Наяву ли все это произошло? Думаю, спасло меня от общей участи то оцепенение, в которое я неожиданно погрузился. Кажется, я молился — Артемиде, Латоне, Персефоне и Плутону. Словом, всем, кого вспомнил из классической литературы,— пережитый ужас сделал меня суеверным. Я понимал, что стал свидетелем гибели всей деревни,— сомневаться не приходилось: в замке остались только мы с Деннисом Бэрри, чье безрассудство и привело к беде. При мысли о нем меня снова обуял такой страх, что ноги мои подкосились и я упал на пол, хотя сознания не потерял. Внезапно я почувствовал ледяной порыв ветра с востока, где взошла луна, и услышал в нижнем этаже замка отчаянные крики. Вскоре они перешли в такой истошный вопль, что мне и сейчас становится страшно при одном лишь воспоминании о нем. Могу сказать только, что это был вопль моего друга.

Видимо, ледяной ветер и страшные крики заставили меня подняться, потому что, насколько помню, я долго бежал по темным комнатам и коридорам, пока не выбрался наружу. Меня нашли на рассвете недалеко от Баллилоу. Я брел как потерянный, что-то бормоча, в полном беспамятстве. Последнее, что я увидел в Килдерри, доконало меня. Картина была столь чудовищна, что мне не забыть ее до конца дней своих. Она всегда встает у меня перед глазами, если я оказываюсь лунной ночью неподалеку от болота.

Итак, покинув проклятый замок, я мчался вдоль берега, как вдруг услышал какие-то новые звуки — ничего примечательного, но здесь, в Килдерри, я их прежде не слышал. Стоячие воды, в которых не водилась никакая живность, ожили, кишмя закишели множеством крупных лягушек, которые громко и непрерывно квакали. Лунный свет поблескивал на их раздувающихся зеленых боках, но свет струился еще из одного источника, в его-то сторону они, казалось, с интересом глазели. Я проследил за взглядом одной особенно жирной и уродливой лягушки и увидел такое, от чего окончательно потерял голову.

От загадочного сооружения на островке протянулся к молодой луне слабо мерцающий луч, не отражавшийся в водах болота. А на этой мертвенно-бледной тропе я с замиранием сердца разглядел извивающуюся фигуру — неясную тень, сопротивлявшуюся невидимым демонам, которые тащили ее за собой. Возможно, я сумасшедший, но этот силуэт — дикая, чудовищная карикатура — до странности напомнил мне того, кто был Деннисом Бэрри.

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

There Are More Things... [1]

РАССКАЗ

Перевод с испанского В. ЛЕВИНА

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС (1899—1986) — аргентинский поэт, прозаик, переводчик. Автор тридцати поэтических сборников, сборников рассказов и эссе. «Иностранная литература» в разные годы печатала подборки его стихов. В Библиотеке «ИЛ» вышел сборник рассказов «Юг» (М., 1984).
Рассказ «There Are More things...» взят из сборника «Книга песка», (1975).

Памяти Говарда Ф. Лавкрафта

Перед самой сдачей последнего экзамена в Техасском университете в Остине я узнал, что мой дядя Эдвин Арнетт умер от аневризма в дальнем конце континента. Когда кто-то умирает, нас мучает уже бесполезная совесть — ведь ничего не стоило быть добрее к нему. Человек забывает, что он мертвец, беседующий с мертвецами. Я учился на философском факультете и вспомнил, как дядя, не взывая к именам, открыл мне чудесные недоумения этой науки там, в Пестром доме, близ Ломаса. Апельсин с обеденного стола помог ему ввести меня в идеалистический мир Беркли; с помощью шахматной доски он объяснял парадоксы Элеатской школы. Позже он дал мне почитать трактаты Хинтона [2], который доказывает реальность четвертого измерения и, чтобы вообразить его, предлагает читателю сложные упражнения с разноцветными кубами. Никогда не забыть, как мы воздвигали призмы и пирамиды на полу дядиного кабинета.

Мой дядя был инженер. Еще до ухода на пенсию из железнодорожной компании он решил обосноваться в Турдере, достоинство которой видел в почти деревенском одиночестве и близости Буэнос-Айреса. Кем иным, как не архитектором, мог быть его ближайший друг Александер Мьюир? Этот суровый человек исповедовал суровое учение Нокса [3]; дядя же, подобно большинству мужчин его поколения, был вольнодумцем, а точнее говоря, агностиком, но увлекался теологией в той же мере, что обманчивыми кубами Хинтона или точно взвешенными кошмарами молодого Уэллса. Он любил собак; его большую овчарку звали Сэмюэл Джонсон [4]— в память о Личфильде, далеком родном селении дяди.

Пестрый дом стоял на холме, окруженном с запада заливными лугами. Выглядывавшие из-за решетки араукарии не смягчали его мрачного вида. Вместо обычной плоской крыши дом венчали двускатная шиферная кровля и квадратная башня с часами, из-за чего стены и скупые окна казались придавленными. В детстве я не удивлялся этим несуразностям, как не удивляешься нелепостям, которые только в силу их совпадения во времени называются мирозданием.

---

[1] Есть многое на свете... (*англ.*)

[2] Чарльз Говард Хинтон (1791—1873) — английский мыслитель, в своих романах и эссе рассматривал проблемы множественности миров и четвертого измерения.

[3] Джон Нокс (1505 или ок. 1514—1572) — пропагандист кальвинизма и основатель шотландской пресвитерианской церкви.

[4] Сэмюэл Джонсон (1709—1784) — английский поэт, писатель и историк литературы.

На родину я вернулся в 1921 году. Чтобы избежать тяжбы, от дома избавились; его купил некий чужестранец, Макс Преториус, который предложил сумму вдвое большую, чем самый щедрый из остальных покупателей. Подписав акт купли-продажи, он явился затемно с двумя помощниками и выбросил на свалку у Войсковой дороги всю мебель, а также библиотеку и домашнюю утварь. (Я с грустью вспомнил диаграммы из трактатов Хинтона и большой глобус.) На следующий день он отправился к Мьюиру и предложил ему заказ, который тот с возмущением отверг. Позже за эту работу взялась одна столичная фирма. Местные столяры отказались изготовить новую мебель для дома; в конце концов Преториус уговорил некоего Мариани из Глю. Две недели тот работал по ночам, заперев двери. И ночью же новый жилец переехал в Пестрый дом. Окна никогда больше не открывались, и из темноты пробивались только полоски света. Однажды молочник обнаружил на мостовой мертвую овчарку, обезглавленную и изуродованную. Зимой были срублены араукарии. Преториус не появлялся; похоже, он вскоре покинул страну.

Узнав обо всем этом, я, естественно, был заинтригован. Любопытство — главная моя черта; из-за него я как-то раз вступил в союз с женщиной, совершенно чужой мне — просто захотелось понять, кто она и какая; из-за него я пытался (без особого успеха) привыкнуть к опию и проникнуть в тайны трансфинитных чисел; из-за него я пошел на чудовищную авантюру, о которой и хочу рассказать. Мной овладело роковое желание расследовать эту историю.

Начал я с Александера Мьюира. Когда-то это был крепкий смуглый человек, худоба которого не исключала силы; годы согнули его, и иссиня-черная борода стала седой. Мы встретились у него в Темперли; жилище, конечно же, напоминало Пестрый дом: оба были выдержаны в тяжеловесной манере хорошего поэта и плохого строителя Уильяма Морриса [1].

Беседа была лапидарной; недаром символ Шотландии — чертополох. И все же я догадался, что крепкий цейлонский чай и длинное блюдо scones [2] (Мьюир разрезáл и намазывал их маслом, словно для ребенка) означали не что иное, как праздничную пирушку кальвиниста в честь племянника того, кто некогда был его другом. Их теологические диспуты походили на затянувшуюся шахматную партию, каждый участник которой нуждается в партнере.

Время шло, а я не приближался к своей цели. Наступило неловкое молчание, и Мьюир прервал его.

— Молодой человек,— сказал он,— вы явились сюда не для того, чтобы посудачить об Эдвине или о Соединенных Штатах — стране, которая, кстати, меня мало интересует. Вам не дают покоя судьба Пестрого дома и его странный покупатель. Мне тоже. Честно говоря, эта история малоприятна, но я скажу вам, что могу. Впрочем, на многое не рассчитывайте.

Помолчав, он неспешно продолжил:

— Еще при жизни Эдвина мы встретились в его кабинете с интендантом и настоятелем местной церкви. Они предложили мне создать проект католической часовни. Плата была бы очень хорошей. Я сразу же сказал «нет». Негоже мне, слуге Господа, кощунствовать, возводя алтари идолам.

Он умолк.

— Это все? — решился спросить я.

— Нет. Этот выкрест Преториус хотел, чтобы я разрушил свое творение и на его месте соорудил нечто чудовищное. Кощунство многолико.

Многозначительно произнеся эти слова, он встал.

Свернув за угол, я столкнулся с Даниэлем Иберрой. Мы были знакомы, как бывают знакомы все жители в деревнях. Он предложил мне пройтись

[1] Уильям Моррис (1834—1896) — английский художник, писатель, теоретик искусства; автор социальной утопии «Вести ниоткуда».

[2] Пшеничные или ячменные лепешки (*англ.*)

пешком. Меня никогда не влекло к головорезам; я предчувствовал отвратительную череду грязных историй, по большей части небылиц, но делать было нечего, и я согласился. Приближалась ночь. Разглядев за несколько кварталов Пестрый дом на холме, Иберра свернул в сторону. Я спросил почему. Ответ был неожиданным.

— Я правая рука дона Фелипе. Слабаком меня еще никто не называл. Помнишь этого типа — Ургойти? Как он заявился ко мне с дельцем от Мерло и что из этого вышло? Ну вот. Тут как-то ночью еду с одной гулянки и метров эдак за сто до усадьбы кое-что увидел. Кляча испугалась, и не сладь я с ней, не поверни в проулок, рассказывать это, пожалуй, не пришлось бы.

В возбуждении он крепко выругался.

Ночь прошла беспокойно. До рассвета мне снилась гравюра в духе Пиранези, которую я никогда не видел, а если и видел, то забыл. Изображала она Лабиринт. Это был каменный амфитеатр, окруженный кипарисами и возвышавшийся над их верхушками. Ни дверей, ни окон, зато бесконечная вереница узких вертикальных щелей. С помощью увеличительного стекла я пытался разглядеть Минотавра. Наконец мне это удалось. Ничего чудовищней нельзя себе представить. Напоминал он не столько быка, сколько бизона; развалившись на земле своим человеческим телом, монстр, казалось, спал и видел сны. Что снилось ему? Кто являлся ему в сновидениях?

Вечером я оказался перед Пестрым домом. Прутья решетки были погнуты, ворота заперты. То, что некогда было садом, превратилось в заросли бурьяна. Справа виднелась неглубокая канава, края которой были вытоптаны.

Мне оставалось сделать еще один ход; я откладывал его несколько дней, не только предчувствуя неудачу, но и зная, что он неизбежно приведет меня к следующему, последнему.

Без особых надежд я отправился в Глю. Столяр Мариани оказался толстым розовощеким итальянцем, немолодым, очень вульгарным и добродушным. Увидев его, я сразу отбросил стратегию, продуманную накануне. Взяв мою визитную карточку, он громко и напыщенно прочитал ее, причем учтиво споткнулся на слове «доктор». Я сказал, что меня интересует мебель, изготовленная им для дома, который принадлежал моему дяде в Турдере. Мариани говорил и говорил. Воспроизвести его словоизлияния и жестикуляцию не берусь, но он заявил, что считает своим долгом удовлетворить любые, даже самые нелепые требования клиента и что сделал все в точности, как ему было заказано. Порывшись в нескольких ящиках, он показал мне какие-то бумаги, подписанные Протеем-Преториусом. (Очевидно, столяр принял меня за адвоката.) На прощание Мариани сознался, что за все золото мира не покажется больше в Турдере, а особенно в том доме. Клиент священен, добавил итальянец, но, по его скромному мнению, синьор Преториус сошел с ума. Тут же пожалев о сказанном, он замолк. Ничего другого выудить у него не удалось.

Я ожидал этого, но одно дело — предвидеть, а другое — переживать.

Много раз я говорил себе, что существует только одна загадка — время, бесконечная канва, на которую ложатся все наши Когда-то, Ныне и Завтра, Всегда и Никогда. Но все глубокие мысли были бесполезны; просиживая вечерами за Шопенгауэром или Ройсом[1], ночь за ночью я кружил проселками у Пестрого дома. Несколько раз там, наверху, виднелся яркий белый огонь; иногда мне чудился стон. Так шло до девятнадцатого января.

Был один из тех буэнос-айресских дней, когда человек ощущает, что лето не только оскорбляет и унижает его достоинство, но и просто превращает в скотину. Часов в одиннадцать вечера разразилась гроза: южный

[1] Джосайя Ройс (1855—1916) — американский философ-идеалист, предшественник американского персонализма; автор ряда работ по математической логике и основаниям математики.

ветер, затем потоки воды. Я метался в поисках какого-нибудь дерева. Резкая вспышка молнии высветила в нескольких шагах от меня решетку. Не знаю, со страхом или надеждой толкнул я ворота. Неожиданно они поддались. Буря гнала вперед. Небо и земля пугали. Дверь дома оказалась приоткрытой. Дождь хлестнул меня по лицу, и я вошел.

Плиты с пола были убраны, и мои ноги ступили на встрепанную траву. В доме стоял сладкий тошнотворный запах. Слева или справа от себя, точно не знаю, я нащупал каменные ступени. Быстро поднялся вверх. Почти бездумно повернул выключатель.

Столовая и библиотека моих воспоминаний теперь, когда стену между ними разобрали, были одним большим и голым помещением, где стояла какая-то мебель. Описывать эти предметы не стану, ибо не уверен, что видел их, несмотря на безжалостно яркий свет. Объясню. Для того чтобы увидеть вещь, надо ее понять. Кресло предполагает человеческое тело с его частями и сочленениями; ножницы — акт резания. Что говорить о лампе или автомобиле? Дикарь не может воспринять Библию миссионера; пассажир видит не тот такелаж, что видит команда корабля. Если бы мы по-настоящему видели мироздание, может быть, оно было бы нам понятно.

Ни одна из безумных форм, оказавшихся передо мной в эту ночь, не подходила к человеческому телу или мыслимой операции. Подступили отвращение и ужас. В углу обнаружилась отвесная лестница на второй этаж. Между широкими железными ступенями — их было не больше десятка — зияли неравномерные проемы. Вид этой лестницы, говоривший о том, что обитатель дома обладал конечностями, вызвал облегчение. Погасив свет, я замер в темноте. Не раздавалось ни малейшего звука, но наличие непонятных вещей смущало. Наконец я решился.

Очутившись наверху, я снова дрожащей рукой повернул выключатель. Кошмар, увиденный на нижнем этаже, множился и расцветал на верхнем. Тут было обилие всяких вещей, хотя, возможно, это всего несколько предметов так сложно переплетались друг с другом. Теперь мне вспоминается нечто вроде операционного стола, длинного, очень высокого и подковообразного, с круглыми углублениями на концах. Я подумал, что это может быть ложе жильца, чья жуткая анатомия косвенно проявлялась здесь, как формы животного или божества проявляются в их тенях. С одной из страниц Лукана [1], прочитанной и забытой давным-давно, ко мне пришло слово амфисбена; [2] оно предвосхищало, но, конечно, не исчерпывало тот образ, который должны были увидеть вскоре мои глаза. Еще я помню зеркало в виде буквы V, пропадавшее наверху в темноте.

Каким был обитатель дома? Что мог искать он на нашей планете, не менее ужасной для него, чем сам он для нас? Из каких потаенных уголков космоса или времени, из какого древнего и уже неисчислимого мрака прибыл он в этот южноамериканский пригород, в эту ночь?

Я почувствовал себя чужаком, незаконно вторгшимся в Хаос. Дождь на улице перестал. Посмотрев на часы, я с удивлением обнаружил, что уже около двух, оставил свет гореть и начал осторожно спускаться. Спуститься там, где ты поднялся, не так уж сложно. Спуститься до того, как вернется хозяин. Двери, наверное, открыты, ведь я не знаю, как их закрыть.

Ноги мои были уже на предпоследней ступени, когда я услышал, как по каменной лестнице поднимается нечто гнетущее, медленное, множественное. Любопытство пересилило страх, и я не стал закрывать глаза.

---

[1] Лукан (39—65) — самый значительный после Вергилия представитель эпического жанра в римской литературе, племянник философа Сенеки.

[2] Амфисбена (*древнегреч.*) — поэтическое обозначение змеи или змееподобного существа.

Документальная проза

ЭРИКА ДЖОНГ

Ведьмы

Перевод с английского О. ВАРШАВЕР; вольный перевод стихов А. ХАРИТОНОВОЙ

ЭРИКА ДЖОНГ — американская писательница и поэтесса, автор ряда романов, ставших международными бестселлерами, в том числе «Страх полета», «Как спасти собственную жизнь», «Истинная история приключений Фэнни», «Сереннссима» и др. Книга «Ведьмы» впервые вышла в США в 1981 г.

Предрассудки слишком дорого обойдутся человечеству, если ради них сжигать людей заживо.
Монтень

Женщин считали ведьмами и сжигали оттого лишь, что они красивы.
Симона де Бовуар

Предупреждаю честно:
— Не открывайте эту книгу...

Если никогда не мечтали о приворотном зелье;
никогда не грезили о волшебной палочке;
никогда не жаждали стать невидимкой;
никогда не задумывались, как летают ведьмы.

Ибо книга эта — хоть и не приворожит навеки ваших любимых, не научит колдовать, не сделает невидимкой, не даст помела и крыльев — все же поведает о том, как меняют нашу жизнь мечты, как летаем мы с их помощью на тайный шабаш, как знакомимся там с богами и демонами...

Так кто же такие ведьмы? Еретики? Целительницы? Члены психоделической секты, познающие мир через наркотический транс? Почитательницы языческих богов?.. Или просто женщины, не побоявшиеся взлететь?

Мы не намерены преподать вам краткий курс колдовства, не станем описывать в подробностях ужасы инквизиции, не будем забивать головы читателей различными историческими теориями. Мы лишь попытаемся показать — в стихах и живописных полотнах, в прозе и графике [1], — как ведьма помогает нам познать глубины собственной души.

Есть у вас глубины души?

Читайте дальше.

Ведьма

Она ваша старинная знакомая.

Вон, глядите, манит к себе крючковатым пальцем. А в другой руке держит отравленное яблочко... Отовсюду слышен ее голос — из омута ночных кошмаров; из глубины старого шкафа, где слабо вздыхают мешочки с нафталином да пляшет по углам пыль; из-за стены, сквозь которую являлась она к вашей детской кроватке; из пряничного домика, испеченного ею из зелий по собственному рецепту... Она напоминает людям, что совсем

© Erica Mann Jong, 1981. (Журнальный вариант.)

[1] В американском издании книги использованы иллюстрации художника Джозефа А. Смита, одна из которых — на обложке номера.

близко, по соседству, существует иной мир, куда из нашего земного, реального мира ведут тысячи ходов, и наткнуться на них можно в самых немыслимых и неожиданных местах.

Ступите чуть в сторону — и нежданно-негаданно окажетесь в этом волшебном мире.

Она — ведьма.

Она знакома вам и в то же время непостижима. Она сопровождает вас с рождения и — вечно ускользает. Она ваша мать, сестра, ваше внутреннее «я». Вы ее любите и боитесь. Вы ее ненавидите, но она влечет вас неудержимо.

Так что же рассказать вам о ней?

Она куда прекрасней (и ужасней), чем подсказывает разум. Она — химера, но существует воистину. Она любит вас, но любовь ее перезрела, точно гнойник, и вскрылась ворожбой и черной магией. Она ненавидит вас, но с вашей головы не упадет ни волоска, если вы отдались ей, пошли к ней в кабалу навеки.

Ей подвластны любовь и смерть, урожай и непогода, но в награду за помощь она потребует вашу жизнь — не больше, но и не меньше.

Она — ведьма.

До чего же хочется быть ею!

Только чтоб на костре не сожгли.

Откуда у ведьмы столько власти? Неужели она и впрямь отравительница, целительница, приворотница? А может, просто выжившая из ума старуха — вон та, с котом на плече; они беседуют целыми днями о чем-то своем, и кот загадочно мерцает яшмовыми глазами.

Вам тревожно. Но в ведьме ли таится причина тревоги и страха? Или человек сам наделил ее властью, сам облек свой страх в телесную оболочку? Сам создал ведьму?

Чья она наследница?

Ее прапрапрапрапрапрародительница — Иштар-Диана-Деметра. Ее отец — человек, мужчина. Ее повитуха — человеческий страх. Мучитель и гонитель ее — тоже человеческий страх. И палач ее — человеческий страх.

Человеческий страх извлек на свет божий ее черную злую силу. Зато у силы целительной и доброй нет другой матери и повитухи, кроме самой ведьмы.

Давайте высветим ее, вызволим из тьмы — хоть на миг. Пускай побудет с нами. Она, конечно же, сгинет, канет обратно во тьму, мы и оглянуться не успеем. Но пока — вот она, манит крючковатым пальцем, протягивает яблоко.

Возле нее как-то зябко, словно открылась дверца невидимого холодильника. Из-под ее одежд — темно-синих, цвета ночного неба — доносится уханье совы. Из-под полей черного колпака стрелой выносится летучая мышь. Но давайте все же позовем ее. Вдруг даст приворотного зелья, вдруг научит готовить притирание — чтоб мы, бескрылые, научились летать, вдруг одарит парой куколок, чье вечное объятие обеспечит нам вечную любовь? Может, выполнит наши сокровенные желания, может, успеет — прежде чем мы пошлем ее на костер.

А вдруг на сей раз мы одумаемся и не станем ее сжигать?

От Богини-матери до ведьмы

Немногие сознают, насколько наши представления о божестве ограниченны и предопределены мировосприятием эпохи патриархата. Мы заявляем, что Бог не имеет ни расы, ни пола; однако видим его непременно мужчиной и непременно белокожим. Попробуйте заикнуться о чернокожем Боге или тем паче Богине — слова ваши сочтут дерзкой, хотя и порядком надоевшей шуткой, всерьез их наверняка не примут. Мало кто знает, что концепция Бога-мужчины в истории человечества возникла сравнительно недавно и еще не ясно, есть ли это шаг вперед. Пять тысяч лет назад, в древней Вавилонии, наши предки поклонялись высшему божеству в образе Небесной Царицы; тысячелетний путь сквозь войны, тирании, геноцид, резню, ниспровержение идолов, сожжение книг, переиначивание мифов и легенд возвел наконец Бога-отца, Яхве (и Его сына — Иисуса), на трон, существующий в нашем сознании и воображении.

И все же они победили не вполне. В поверьях и снах, в идеалах, которые мы создаем, в вымыслах, которых страшимся, и поныне властвует Богиня-мать. Ее не изгнать, покуда мужчина (да и женщина) выходит из материнского чрева. Если и в самом деле грядет тот печальный день, когда детей будут «делать в пробирках», тогда, возможно, Богиня-мать и лишится своей власти, ибо власть эта основана на благоговении. Но до тех пор, пока люди помнят, что их родила женщина, мифы и легенды о Богине-матери будут питать поэзию, скульптуру, живопись и даже наши гайные верования.

Многое претерпела вавилонская Небесная Царица, прежде чем превратилась в сморщенную, согбенную старуху-ведьму. Но стоит проследить этот постепенный упадок — в нем явственна преемственность религиозных образов и понятий. Видно также, как густо и плотно оседают они в нашем подсознании. И наконец, видно, как утвердившаяся религия изгоняет (или по крайней мере прогоняет с глаз долой, в подполье) бытовавшие ранее представления о Создателе.

Наши знания о религиях, существовавших пять тысяч лет назад, в период, который школьные учителя любовно называют «колыбелью цивилизации» (весьма материнский образ, не правда ли?), грешат неизбежной фрагментарностью. Во-первых, недостаточны археологические данные. Главное же — все они собраны археологами-мужчинами, чей взгляд на мир зашоренно-патриархален; они, к примеру, считают монотеизм шагом вперед по сравнению с политеизмом и язычеством; весь их научный поиск сводится к подтверждению и оправданию постулатов тех священных книг, на которых зиждется их патриархальная цивилизация.

Мэри Дейли, теолог-феминистка, ярко и доказательно объяснила нам, что можно вовсе не быть католиком, чтобы проникнуться католическим мировосприятием. А Мерлин Стоун в своей великолепной книге «Когда Бог был женщиной» убедительно демонстрирует, что ветхозаветный миф

о происхождении человечества, принятый и в иудаизме, и в христианстве, преподносится нам на каждом шагу на тысячи ладов, внедряется в наше сознание, будь мы даже воинствующими атеистами. Адам и Ева, Змей и яблоко, даже Карающий Ангел с мечом в руках — непременные образы нашей культуры: их встретишь и в картинной галерее, и в рекламной телепрограмме, и в изощренных журнальных комиксах, и в текстах расхожих шлягеров.

В результате такого постоянного «промывания мозгов» возник некий набор не подвергаемых сомнению истин о Божестве — исторически весьма неточных и к тому же не очень-то привлекательных и обнадеживающих. Пытаясь добраться до корней благоговейного религиозного почитания, поэты и художники бессознательно обратили взоры к прошлому. И, вольно путешествуя во времени, обнаружили, что в нашей духовно обанкротившейся цивилизации от Богини-матери остались лишь три фигуры: Злая Ведьма, Дева Мария да «Мать-природа» — народное понятие, в котором ярко воплотилось плодоносное женское начало, но и оно опошлено ныне в гнусных картинках. Ведьма — иное воплощение Матери: сморщенная злобная старушонка, претворившая запретную чувственность в заговоры, зелья и ворожбу. Дева Мария — тоже Богиня-мать, но подвергнутая санитарной обработке: образ обескровленный и ущербный. Это женщина, лишенная сексуальности; женщина, дающая жизнь, но не познавшая плотской любви; женщина — непорочная, женщина — девочка, «женщина — евнух» — высокий образец, следовать которому христианство предлагает половине человечества, иначе — страшная кара, иначе — смерть.

Отчего так важно не лишать Женщину сексуальности, отчего нельзя оставить ей лишь две ипостаси: Злой Ведьмы и Бестелесной Девы? Оттого, что это — ложь. Женщина не рожает детей, если мужчина не заронил семени в ее лоно; без женской сексуальности, которую патриархат презирает и считает злом, не было бы на Земле человеческого племени; она — источник жизни. Начни мы отрицать эту очевидную истину, оставь мы Женщину вынашивать зачатых без греха детей, позволь мы богу-мужчине узурпировать все женские функции — вплоть до размножения,— мы сослужили бы плохую службу всем — и женщинам, и мужчинам. Ибо Мужчина обречен тогда на утрату собственных корней (материнского лона), а Женщина обречена на вечную роль либо Ведьмы, либо Девы — хотя ни одна из этих ролей не объемлет женского бытия целиком. Христианство вроде бы почитает в женщине мать, но при этом не признает за нею права зачать жизнь. Выходит, что Женщина связана двойными путами, разом и морального и физического свойства: она проклята именно за то, что благодаря ей существует человечество. Проклят и Мужчина — за соучастие во грехе — и обречен скитаться по свету, превращать дев в шлюх, да еще и жаловаться на судьбу, которая не даровала ему подруги, достойной высокой любви.

Миф о Богине-матери сближает мужчин и женщин. Оттого и волнует он людей искусства обоего пола. Женщине он сулит сексуальность и творчество. Мужчине он тоже обещает все это, а носителем даров явится женщина-муза — женщина-мать, которая не отрекается от своей плоти во имя спасения души.

Образ Богини-матери есть нечто совершенно отдельное от золотого века матриархата, о котором твердили в прошлом столетии многие ученые, включая Энгельса. Традиционно считалось, что человеческое общество поначалу было матриархальным, а патриархат появился много позже. Это устойчивая точка зрения, ее придерживались многие теологи, а ныне на нее опираются феминисты. Однако существование древних матриархий — факт недоказанный. У нас имеются лишь доказательные примеры существования всесильных женских божеств. Более того, недавно Илэйн Пейджелз в книге «Познавательное Евангелие» сообщила, что даже христианство изначально

видело бога разом и мужчиной, и женщиной, и лишь позже на смену двуполому божеству пришел Бог-патриарх. С другой стороны, вполне возможно, что миф о древнем матриархате есть лишь постоянное стремление человеческой души, жажда обрести мирное царство младенчества, где властвуют женщины-деспоты.

ДЫМ

У вечности в гортани — горький дым.
Веками воздух ведьмами кишел.
Они в ночи свои седлали метлы,
над крышами кружили, хохотали
и напевали нежно, как Цирцеи,
благословляя мир и проклиная.

Мы изгоняли, мы сжигали их.
Их плоть мы превращали в черный дым,
горчащий у Всевышнего в гортани.
Себя ж мы называли: «Дети света».
«Прошли года отчаянья и страха»,—
мне мать сказала в пятьдесят втором,
семь лет спустя с тех пор, как наши люди
ушли с земли печальной горьким дымом,
оставив ей костей истлевших груды.

Дым — он как будто машет на прощанье...
Он голубой, а иногда лиловый
или зеленый, словно мир подводный...
Когда-нибудь мы тоже станем дымом.

Ну так уйдем же не безгласным стадом,
стыдливо прикрывая наготу.
Взлетим как ведьмы, втянутые в небо
единым сильным вдохом их Богини,
закружимся в безумном, диком танце
верхом на метлах, легких и нарядных.

Как стать ведьмой

Вздумай кто-нибудь из вас сделаться ведьмой — сегодня, сейчас,— с чего начать? Где искать шабаш? Куда ткнуться? Вы скоро окажетесь в полнейшей растерянности, поскольку ведьмами и ведьмаками считают себя и дьяволопоклонники (сатанисты), и гарднерианцы (последователи Джеральда Гарднера, знаменитейшего английского ведьмака XX века), и континентальные ведьмы: и стринги (итальянские ведьмы), и феминистки (дианистки), и новоязычники всех сортов и мастей (от поклонников Афродиты, или афродианцев, до так называемых ферафарийцев, которые празднуют «Таинства Дикой природы» и посвящают свой досуг лирическому единению экологии с искусством).

Ритуалы и верования этих новоязычников эклектичны: тут и элементы античных религий, и литургии, написанные основателями самих сект, и заклинания, изустно передаваемые от поколения к поколению. Но, несмотря на разноперость, всех новоязычников роднит глубокое и предельно искреннее желание найти религиозный ритуал, который не был бы равнодушен к сегодняшним нашим тревогам.

Так каковы же общие тенденции новоязычников? Их заботит экология, заботит судьба планеты, истерзанной и разграбленной с благословения христианства; они почитают Творца-женщину (под любым именем — Богини-матери, Матери-природы, Персефоны, Иштар, Афродиты, Астарты, Инанны или Марии); они уверены, что религии с доминирующим мужским началом, на которых основана современная культура, зачастую

оправдывают разрушения и войны, вместо того чтобы служить созиданию и миру; поклоняются они самозабвенно и страстно привержены ритуалам — то есть тем религиозным отправлениям, которые облегчают жизнь человеческую (равно как и смерть) и в то же время объединяют людей в некую осмысленную общность.

Новоязычники и иже с ними полагают, что христианство, иудаизм и магометанство помочь людям не способны. Феминисты не желают поддерживать религии, узаконившие подчинение женщины мужчине. Пацифисты негодующе обвиняют церковь в пустозвонстве, поскольку на словах она за мир, а на деле — потакает войнам... Так что основные мировые религии от нынешней жизни, судя по всему, очень далеки. Из этого-то недовольства религиями, похоже, и выросло движение новоязычников.

Глупо притворяться, будто движение это массово, глупо утверждать, будто оно представляет серьезную угрозу канонической церкви. Это вовсе не так. Но само его существование знаменательно. Оно свидетельствует о том, что мышление меняется, что идет непрерывная переоценка прочно утвердившихся религий — как бы ни шумели о нынешнем возрождении христианства. Людям нужны обряды, нужна техника медитации и вознесения молитв, им надо увериться, что в одиночку или сообща они могут воздействовать на все, что их окружает. Люди хотят поминать мертвых и молиться за живых, хотят отмечать смену времен года, хотят умело праздновать рождение и умело совершать погребение. Ритуалы эти поддерживают, они — опора и источник силы в тяжелые времена, они — узы, что связуют воедино семьи и общества. Тяга к новоязычеству, колдовству, оккультизму, к восточным религиям ясно показывает, что религии западного мира не удовлетворяют людских потребностей. Они стали чересчур светскими, их чересчур заботит сохранение собственной иерархической структуры; они превратились в зеркальное отражение той системы власти, которую им назначено было ограничить и облагородить. И теперь ими движет не сугубо духовное начало.

Возрождение интереса к колдовству и ведьмовству идет в русле всего новоязычества. Обращаются к колдовству и по ошибке или из чисто утилитарных соображений: одни желают навести порчу на врага, другие — посетить оргии, третьи — шокировать родителей. Но существуют и причины иного свойства — глубинные и продуманные: люди мечтают вернуться к религии, почитающей природу; мечтают утвердить сексуальность как созидательную для нашей жизни силу; мечтают объяснить себе недееспособность канонических религий; мечтают узнать древние способы медитации и врачевания.

Итак, мы разобрались, что есть действительное ведьмовство, а что ложное, и, надеюсь, стали лучше понимать друг друга. Обратимся же теперь к самой ведьме. Она проживает там, где жила всегда, во все века, даже в эпоху костров инквизиции. Она не уходила никуда, не трогалась с места и была права — иначе этих страданий не вынести, ведь не простаки и не глупцы преследовали и мучили ее столь рьяно. А ведьма все-таки спаслась. Поскольку ее единственная обитель — наше сознание и воображение.

И, скажем честно, книгу эту вы взяли в руки вовсе не за тем, чтоб читать о возрождении язычества. Вы взяли ее, потому что давно, с самого детства, вам не дает покоя образ ведьмы. Вы не одиноки — с вами автор и художник, сотворившие эту книгу. Так обратимся же к ведьме. Она — внутри нас.

Как выглядит ведьма?

Она либо несказанно красива, либо невыразимо страшна; может очаровать своими прелестями, околдовать, опутать по рукам и ногам; может и ужаснуть — до дрожи и оторопи. В любом случае мужчине несдобровать. Какая бы ведьма ни встретилась ему на пути — раскрасавица ли, уродина ли,— он непременно падет ее жертвой, жертвой ее женской силы. Не в этом ли, перефразируя Шекспира, есть «цель нежеланная»?

Мы привычно представляем ведьму безобразной старухой с острым подбородком, огромными бородавками и крючковатым носом.

Мифологическому содержанию образа такая внешность соответствует безусловно. Однако история дает нам множество иных примеров. В ведьмовстве обвиняли не только старых и уродливых, но и молодых и прекрасных. Зачастую именно сексуальная привлекательность приводила женщин на костер в те времена, когда эрекцию или непроизвольное семяизвержение во сне (т. н. «мокрые» сны) считали не естественными явлениями, а кознями ведьмы.

Понятия «ведьма» и «секс» нерасторжимы. Настольная книга охотников за ведьмами — «Malleus Maleficarum», или «Молот против» (1486) — не оставляет никаких сомнений на сей счет: «Колдовство порождено плотским желанием, похотью, которая в женщине ненасытна... Стремясь же насытить свою похоть, они совокупляются даже с дьяволом».

«Malleus Maleficarum» представляется документом необычайно важным. Именно эта книга дала добро на многовековое женоненавистничество, обуявшее христианский мир. Ее авторы, доминиканцы-инквизиторы XV века Якоб Шпренгер и Генрих Крамер, подтвердили и одобрили бредни женоненавистников всех времен. Женщины вызывают импотенцию; женщины слабовольны и слабоумны; женщины искушают и совращают; женщины не способны править людьми и осмысленно трудиться; бабки-повитухи убивают младенцев... Слабонервных просим выйти. Современные антифеминисты самого правого толка найдут в этой книге множество нужных цитат, веками служила она пособием для охотников за ведьмами, да и поныне — это руководство для толпы, всегда готовой к самочинной расправе. Остается лишь сетовать, что печатное слово служит всем без разбору — и добру, и злу.

Впрочем, существовали и ведьмы-мужчины, иначе — ведьмаки. Они не вошли в наше мифологическое сознание, к их образам редко обращались писатели и художники. Однако многие мужчины взошли на костер по обвинению в ведьмовстве или за то, что ведьмой назвали его жену или дочь. Несмотря на эти исторически бесспорные факты, ведьма в нашем представлении не вяжется с образом мужчины. Более того — слово «ведьма» для нас синонимично слову «женщина».

Отчего? Возможно, нам кажется, будто плодоносным, детородным началом в женщине неведомо управляют могучие непознанные силы. Или мы интуитивно осознаем, что долгие века приниженного, полурабского положения женщины в обществе естественно подталкивали ее к колдовству — чтоб отыгралась за свою беспомощность, чтоб обрела власть над миром, который так немилосердно властвует над ней.

Так или иначе ведьма для нас всегда — женщина; а дьявол всегда — мужчина.

Ведьмоведение

Какой бы теорией ни объясняли мы себе феномены «ведьмовства», на помощь нам приходит ведьмоведение, веками копившее знание о ведьмах и их колдовских приемах и методах. Домашние духи — верные спутники ведьм; одежда и принадлежности для ритуальных обрядов; заклинания и заговоры; шабаши, полет ведьм и их излюбленные места — все это, без различия теорий и авторитетов, составляет некую энциклопедию общеизвестных знаний — или, скорее, общеизвестных фантазий — о ведьмах. В ее основе лежит истина о людской природе и человеческом обществе. Сама же фантазия богата вымыслом и юмором, порой — абсурдна и нелепа, а порой и страшна, причем не на шутку.

«Домовым», или «домашним духом», называли какое-нибудь домашнее животное, подаренное ведьме — по мнению инквизиторов — самим Дьяволом, дабы пособлял ей в ее черных делах.

И уж конечно на самом деле это было не животное, а чертенок — низший чин в бесовской иерархии,— призванный служить тем, кто продал

душу Сатане (вроде камердинера, лакея и горничной в операх XVIII века). Размах деятельности у домового был куда меньше, чем у ведьмы: проказил помаленьку, творил мелкие козни и пакости, через заборы перемахивал — чтоб ведьме самой не надрываться, прятался в укромных местах, где ведьме не уместиться. Обвинение в «домовстве» могло пасть на любое домашнее животное — никого не миновала чаша сия. Собаки, кошки, пчелы, кролики, мыши обычные и летучие — вся эта живность фигурировала на судах вместе с хозяйками. Клички у домашних духов были самые причудливые. Вот лишь несколько примеров: согласно протоколам, в Британии жил когда-то серый кот Титти («Шутник»), черная жаба Пайджин («Надувало»), черный ягненок Тиффен («Раздорник»), черный пес Сакин («Вампир») и «Красный лев» по имени Лайерд («Плут»). Имелся также целый сонм Больших и Маленьких Диков («Дик» — традиционный эвфемизм, заменяющий «черта».— *Прим. пер.*), Виллет («Своевольник»), Плак («Рви»), Кэтч («Лови»), Хонт («Хватай»), «Уксусный Том», Пайваккет («Блажной бродяга»), Гризл («Седой») и Гридигат («Обжора»). Считалось, что питаются духи человеческой кровью — сосут ее из тела ведьмы. В XVII веке «ведьмины сосцы» (которые на самом деле были прыщиками, бородавками или жировиками) являлись главным доказательством принадлежности бедной женщины к колдовскому племени. Поскольку такие «сосцы» найдутся почти на любом теле, жертва навета уже не могла доказать, что она невинна. Отчего же домашние духи так любят человечью кровушку? Наука XVII века отвечала на этот вопрос следующим образом: чертенята столь «глубоко порочны», что материя, составляющая их тела, подвержена постоянному распаду — «утеканию частиц»; поэтому они нуждаются в «питании для восстановления утекающих атомов». Вот они и сосали ведьмину кровь! Такую трактовку вампирских замашек дал в «научном» труде, опубликованном в 1681 году, некий Генри Халливелл из Кембриджа, магистр гуманитарных наук. Надо при этом учитывать, что до недавнего времени все университетские программы — в науках, в медицине, в литературе — находились под бдительным надзором церкви и принуждены были соответствовать ее доктрине. Нет, кстати, никаких гарантий, что эпоха эта ушла безвозвратно. Судьба сожженных ведьм остерегает нас от опасностей дня сегодняшнего. Когда общество расслоено под воздействием определенных идеологических доктрин, из любого «чужака» мгновенно сделают козла отпущения. В минувшие века охота на ведьм никогда не была безрезультатна. Обвиненная в ведьмовстве была обречена: против нее вступали в заговор наука, медицина и литература. Ведьму не просто бросали в тюрьму, не просто заковывали в кандалы. Вся система тогдашнего миропонимания оправдывала и поддерживала и тюрьму, и кандалы — ведьма приносилась в жертву во имя науки. Сегодня мы посмеемся над горе-учеными, верившими в «ведьмины сосцы» и «утекающие атомы». Но не забыть бы, не запамятовать исторического контекста, в котором делались эти «открытия»: весь мир тогда ограничивался христианским мифом и христианским женоненавистничеством. Ужас в том, что потомки этого одномерного мира сильны и поныне, это они пытаются ввести в школах Закон Божий и уверить детей в том, что мир был создан так, а не эдак. Они даже вознамерились включить в Конституцию статью об обязательном деторождении! Охота на ведьм не за горами, она подступает вплотную, просто мы отказываемся в это поверить. Разумеется, домашнюю живность мы не уличаем больше в служении дьяволу, зато ближних своих, таких же людей, как и мы сами, уличаем сплошь и рядом. Что до домашнего духа — прообразом его могли быть священные животные, известные в различных древнейших религиях. Кошка, священное животное древних египтян, вполне могла быть прародительницей кота — спутника ведьмы. Как же печально превращение бога в демона!

Колдовские причиндалы

Все пособия по ведьмовству сходятся в одном: колдовские принадлежности должны быть непременно изготовлены вручную — отдельно для каждой практикующей ведьмы. Брать напрокат или пользоваться ими совместно не рекомендуется. Подобно пишущей машинке или любимой авторучке писателя, подобно кистям или мольберту художника, они со временем обретают в глазах их владелицы собственную магическую силу. Зарядившись ее энергией, они, похоже, и впрямь становятся волшебными, как машинка, что сама печатает романы, или кисть, что сама, без вмешательства художника, летает по холсту.

Алтарь

Это священное место (стол, лавка, пень или камень), где хранятся колдовские принадлежности, а также mise en scéne для самого волшебства (или чудодейства). Примерно так соотносятся по смыслу расхожее слово «magic» и «Magick» (как любовно называют свое искусство современные ведьмы). Согласно некоторым ведьмовским традициям, алтарь должен иметь предпочтительно круглую форму и находиться в магическом круге, начертанном на земле.

Другие традиции рекомендуют снабдить алтарь статуей Богини-матери; третьи настаивают на изображении Рогатого бога; четвертые велят поставить и богиню и бога, дабы напомнить, что они владеют миром сообща. На алтаре часто стоят белые свечи и кадильница, источающая благовонный аромат. Кроме того, здесь можно увидеть чаши с солью и водой, ибо из этих веществ состоит природа. И непременно — священный кубок с вином.

Волшебная палочка

Знакома нам из детских сказок. Возможно, связана с языческим древопоклонством, так как во многих мифологиях повествуется о волшебных веточках, сорванных в особых, ритуальных, перчатках со священных деревьев. Наиболее эффективно работают палочки, изготовленные из священной для Богини-матери древесины: из бузины, ивы, рябины, ореха, дуба или белой омелы. Выбрав прямую тонкую ветку, извлеките сердцевину, отшлифуйте поверхность до шелковой гладкости и блеска, набейте в полость вату и, капнув на нее три капли ведьминой крови, вселите в палочку волшебную жизнь. По некоторым традициям, надо изобразить на палочке пентаграмму (пятиконечную звезду), а также обрядовое имя ведьмы — то есть имя, данное ей при вступлении в шабаш. Впрочем, гораздо важнее, чтобы Богиня-мать, освятив палочку, превратила ее в орудие, послушное ведьминой воле. И чем эта воля сильнее, тем больше возможности палочки.

Атам (или атальм)

Обоюдоострый клинок с намагниченным лезвием и черной рукояткой. Он — воплощение колдовской силы и используется во многих ритуалах. Совершенно очевидно, что это фаллический символ, а опущение его в чашу представляет совокупление, единение мужского и женского начала.

Боллайн (или биоллайн)

Нож с белой рукояткой, служащий для изготовления других волшебных предметов, орудий для вырезания букв и символических знаков на дереве или воске. Боллайн и атам являются предметами ритуальными, резать ими мясо строго запрещено.

Шнур

Волшебный шнур, который ведьма носит на поясе и использует как связующую нить в различных ритуалах. Шнур красный, плетенный в косицу, длиной девять футов. Рекомендуемые материалы: хлопок, шелк или шерсть.

Котел

Железный котел или котелок для приготовления пиршественных яств для шабаша, а также волшебных зелий и снадобий. Иногда огонь разводят внутри самого котла. Котел — непременный атрибут любой ведьмы, но, как ни странно, многие весьма могущественные члены колдовского цеха используют обычную кухонную утварь — разумеется, освятив ее надлежащим образом.

Чаша (или кубок)

Емкость для жертвенного вина или воды. Согласно некоторым ведьмовским традициям, священный брак (совокупление молящейся ведьмы с божеством) происходит в момент опускания атама в чашу. Полагаю, в действительности священный брак куда веселее.

Помело (метла)

Используется для полетов на шабаш и подметания пола. Изготовлена метла из прутьев боярышника, ореха, рябины, ивы, ракитника, березы или терновника — тоже отголосок древопоклонства. Почти все деревья, рекомендованные для изготовления колдовских предметов, упоминаются в песнях валлийских менестрелей, посвященных легенде о битве деревьев (как пишет Роберт Грейвз в книге «Белая богиня»). Все эти деревья были наделены волшебной силой еще язычниками. Маргарет Мюррей утверждает, что изначально метла была веткой ракитника с листвой на конце («broom» по-английски и «метла» и «ракитник».— *Прим. пер.*). А ракитник всегда был символом плодородия.

И у европейских цыган, и у негров Америки, живущих вдалеке от больших городов, существует обычай на свадьбе «прыгать через метлу». Возможно, обычай этот тоже связан с плодо- и детородной функцией женщины. Но взглянем на помело через призму поэзии. Разве не мечтают угнетенные превратить орудие своего порабощения в орудие своего освобождения? Именно мечта превращает невзрачную, скромно притулившуюся в уголке метлу — символ мучительного и однообразного труда, что день за днем поглощает женскую жизнь,— в символ свободного полета и безграничного чуда.

Кстати, ведьмы, улетая на шабаш, любили подсунуть метлу под бок доверчивому супругу. Таким образом, метла соединяет в себе множество разных символов: тяжкой и унылой работы, плодородия и бракосочетания и одновременно совсем-совсем иное: вольный полет и полную свободу.

ПОЛЕТ ВЕДЬМЫ

Я розами украсила метлу.
Пускай они
колышутся во мгле.
И терном я украсила ее.
Пускай шипы
пронзают эту темень,
блистающую месяцем растущим.
Пускай метла
пучком павлиньих перьев
клубящуюся полночь подметает,
мерцающую, словно треугольник
серебряного меха дорогого.

Вот я лечу
над кровлями смертей.
Лечу — а он-то думает, что я
с ним рядом возлежу

на брачном ложе.
Он думает, что я сама — метла.
Что бедра у меня
подобны палке,
а орган половой похож на прутья,
повязанные крепкою бечевкой.

О, буду я кружить
по небесам,
оранжевым, как мякоть абрикоса,
местами же исхлестанным, багровым,
в гранатовых, кровоточащих тучах.
А он все будет думать, будто я
с ним рядом возлежу
на брачном ложе.
Он будет думать, что меня пугает
такой ночной
полет неимоверный.

Его постель — вот я чего боюсь!
Я догорю
в кровавых облаках.
Я догорю — с моей метлой волшебной.
Я на язык пылающий поймаю
таинственное семя Персефоны.

О, если бы и вправду
я сгорела,
каким прекрасным был бы пепел мой,
как хороша была бы в этот миг
моя метла —
хвостатая комета!..

Ожерелья

В различных справочниках по ведьмовству упоминаются волшебные предметы, нанизанные на нить,— ведьмины ожерелья. Некоторые — совсем простенькие, из ракушек, желудей, семечек или деревяшек. Другие состоят из голубых стеклянных шариков (на Ближнем Востоке такие носят и по сей день — против сглаза). На третьи нанизаны полумесяцы — символ Дианы, богини Луны (покровительницы ведьм). Многие современные ведьмы называют себя «дианистками», поскольку в Европе — согласно Маргарет Мюррей — ведьмовством занимались именно дианопоклонницы. Мюррей утверждала, что ведьмовство, собственно, и есть сохранившийся с далекой древности культ Дианы. И теория этой дамы владела умами без малого пятьдесят лет.

Книга теней

Сюда ведьма записывает все, чему научилась: заклятия, заговоры, ритуалы, рецепты снадобий. Предпочтительно, чтобы книгу (как и прочие предметы колдовского обихода) ведьма изготовила сама — обложку из кожи или ткани, а страницы из бумаги или пергамента собственного производства. После смерти ведьмы книгу надлежит уничтожить — такова традиция. Именно поэтому так скудны фактические знания о ведьмовстве, письменных свидетельств нет, сведения передаются из уст в уста. Необходимость хранить тайны стала особенно насущной во времена гонений на ведьм, когда повсюду полыхали костры инквизиции; да и теперь — как это ни печально — многие деятели христианского мира продолжают путать ведьм и язычников с сатанистами и дьяволопоклонниками. Сами же ведьмы держатся обособленно и новых сподвижников вербовать не спешат. Оттого-

то в людских умах и складывается столь превратное представление о ведьмовстве — ведь оно покрыто мраком тайны.

Магические мешочки

Чаще использовались шаманами Вест-Индии, европейские ведьмы прежде о них и слыхом не слыхивали. Однако ныне они встречаются в арсенале современных ведьм на всех континентах. Небольшие мешочки типа кисетов, кожаные или из красной фланели, затягиваются шнурком, пропущенным по верхнему краю. Носят их на шее или на поясе, а также развешивают на деревьях — на территории, принадлежащей людям, которым ведьма хочет помочь или, чаще, навредить. Насылая на кого-нибудь порчу, ведьма иногда «подкладывает свинью» — зарывает магический мешочек в землю на том месте, где должна пройти ее жертва. В мешочках лежит обычно 1, 3, 5, 7, 9 или 13 предметов — драгоценные камни, колдовские растения, серный порошок, гвозди для гроба, булавки, иголки, кладбищенская земля, заячьи лапки, магниты, скарабеи, подковы, фотографии, пряди волос, игральные кости и фальшивые монеты. Шаманы используют для чародейства даже медальоны с изображением святых, однако истинные новоязычники не приемлют христианских изображений.

Прежде чем положить магические предметы в мешочек, их обычно смазывают маслами, вызывающими соответственно любовь, чувственное влечение или дающими силу. Масла эти имеются в ассортименте любого магазина, торгующего предметами колдовского быта. На этикетках прямо так и указано: «Масло силодарное», «Масло любви», «Масло соблазна». В Нью-Йорке подобные средства есть во многих магазинах лекарственных трав.

В других магических мешочках хранятся драгоценные камни, обладающие особыми защитными или, напротив, губительными свойствами. Считается, что мрамор бережет от дурного глаза, гелиотроп помогает выиграть судебную тяжбу, оникс дает супружеское счастье. Травы тоже являются магическими символами, совершенно не соответствующими их лечебным свойствам. Пряная гвоздика помогает в дружбе, лаванда повышает половую потенцию, магнолия заведует супружеским счастьем.

Для черных дел незаменимы кладбищенская земля и гробовые гвозди. Иглы и булавки искони являются носителями зла; многоопытные «мастера сглаза» рекомендуют также серу и гуммиарабик.

Одежды ведьмы

Одежда ведьмы имеет долгую и пеструю историю. Знатокам костюма известно, что в нем, как в кривом зеркале, отражается история общества; костюм — это документ, глубоко и точно свидетельствующий о социальных метаморфозах. Его прочитает любой, кто обладает каплей разума и чувством юмора. Костюм ведьмы не исключение. Сложность в том, что он жив лишь в легендах, стихах и на полотнах художников, а в музеях его не сыщешь.

Колпак

На картинах Гойи ведьмы изображены в конических шляпах без полей — то есть в головных уборах еретиков средневековья. Возможно, убор этот достался им от рогатых языческих божеств, мощь которых воплощалась именно в рогах. Иногда шляпы имели два острия, теперь чаще рисуют одно, а примерно в XVII веке появились и поля.

Интересно, что владельца заостренной шляпы всегда стремились уличить в связи с дьяволом. Когда в сороковых годах XV века французские аристократки надели на голову конусообразный геннин и не снимали его почти пятьдесят лет, многие церковники, а среди них и Парижский епископ, хулили и поносили эту моду с пеной у рта, поскольку острие есть рог, а рог есть дьявол.

Так или иначе, высокий колпак водружен на голову ведьмы и держится там чудом, словно приклеенный легендарным волшебным клеем. Гномам колпак понравился, они его позаимствовали, а потом и вовсе присвоили. Перекрасили из черного в красный, ушили до микроскопических размеров. Но историка-ведьмолога не проведешь! Модисткой был не гном, а ведьма! Мы требуем восстановить ее в авторских правах и выплатить нашей обиженной клиентке что причитается!

Плащ ведьмы

Волшебный плащ (или накидка) фигурирует во многих мифах и легендах. Он одинаков и у ведьм, и у чародеев: темно-синий или черный с вышитыми золотой нитью или начертанными золотой краской магическими знаками и символами. Наиболее распространены магические алфавиты, пентаграммы, знаки зодиака. Маргарет Мюррей отмечает, что во всех религиях существуют одеяния, в которых общаются с божеством. Для «светской» жизни они непригодны. Это связано с верой в сакральное место, единственное место, где следует пользоваться предметами культа,— иначе божество непременно отомстит. До сих пор живо суеверие о том, что вещи, украденные с алтаря, приносят несчастье. Согласно многим традициям, в том числе древнеегипетской и древнееврейской, одеяния, носимые в присутствии божества, надлежит стирать и очищать от скверны. Похоже, что к ведьминому плащу это правило не относится. И вообще в легендах о ведьмах бытовые предметы и священная утварь и одежда соседствуют в ладу и согласии. Чудо, свершенное на кухне, оказывается ничуть не хуже, чем сотворенное в освященном месте. И пока женщине отказывают в праве на священнический сан, мы будем совершать собственные обряды у собственных кухонных алтарей и шить себе колдовские накидки на швейной машинке. Плащ (или накидка) воплощает волшебство, служение божеству. Кроме того, он помогает ведьме стать невидимой или превратиться в кого-нибудь — в кого уж она пожелает. Под развевающимися полами плаща нам мерещатся черные кошки, совы, летучие мыши... Кто они? Домашние духи, верные спутники ведьмы? Или сама ведьма?..

Пояс ведьмы (или кушак)

Некоторые свидетели утверждают, что он состоял из нанизанных на веревку грибов-дождевиков, меж которых болтался волшебный кошель. Так что с поясом христианских священнослужителей не спутаешь. Кошель делался из кожи и весьма напоминал магические мешочки, распространенные у шаманов Вест-Индии. В нем ведьма обычно хранила свои талисманы и амулеты. Какие? Глаз тритона? Волшебные притирания, позволяющие летать? Ядовитые грибы, вызывающие галлюцинации? Искусственный фаллос — для совокупления с дьяволом? А может, просто листья мяты — чтоб освежить дыхание, красные ягоды — подкрасить губы, гамомелис — подрумянить щеки? Отличная натуральная косметика!

Перчатки

Если перчатки предназначены специально для ведьмы, то изготовляют их из кошки, мехом внутрь. Знаменательно, что выбор пал именно на кошачий мех. Кошка — самое что ни на есть колдовское животное, а когда-то, в Древнем Египте, оно было священным. Таков путь языческих святынь в христианские времена: теряя богов, мы обретаем демонов.

Обувь ведьмы

На картинах и иллюстрациях ведьма чаще всего изображена в «poulaine» — остроносых, длинноносых башмаках (фаллический символ). Чтобы не споткнуться, носок приходилось плотно набивать и привязывать к щиколотке или под коленом. Обувь эту изобрели во Франции в XI веке. Со временем носок вырос до столь невообразимых размеров, что дамы ставили их в пример неумелым любовникам: «Твой poulaine стоит лучше

и дольше!» Кроме фаллоса, poulaine несомненно олицетворяет и рог. Воистину, нерасторжимо единство ведьмы, секса и языческих богов. Как и рогатый колпак, остроносые башмаки подвергались гонениям и хуле с христианских кафедр. Но люди сильнее церкви. Благодаря поношениям священников всех рангов — вплоть до папы римского — длинноносые башмаки обретали все большую сексуальную притягательность. Ходили слухи, что некоторые используют их для мастурбации и дерзких заигрываний под праздничным столом. Потому-то и обули мы ведьму в такие башмаки — она для нас и секс, и дьявол. Образ ведьмы притягателен, порочен — и потому неотразим. В глазах благопристойного общества ведьма — Сатана в юбке!

Подвязка

У колдунов подвязка издавна символизирует силу — известны наскальные изображения танцоров в чем-то похожем на подвязки. Маргарет Мюррей полагает, что пояс с подвязками у невест, волшебная подвязка у ведьмы и орден Подвязки при всем внешнем несходстве имеют общих предков. В древности они просто помогали колдовать и шаманить, а к эпохе средневековья стали знаками отличия в ведьмовской иерархии. Легенды упоминают подвязку в числе прочих магических атрибутов ведьмы — волшебных поясов, башмаков, кошельков, колпаков и мечей. Короче, подвязку приобрести не помешает. Некоторые знатоки советуют выбрать подвязку из зеленой кожи, с голубой шелковой подкладкой и серебряными пряжками. Зеленый цвет вообще волшебный, он напоминает нам о Робин Гуде (коего тоже считают ведьмаком), о Зеленом человеке и о лесных духах. У некоторых ведьм-королев пряжек было по нескольку (до семи штук). У Фанни Хакэбаут-Джонс, знаменитой распутницы (и ведьмы) XVIII века, подвязка была из красного шелка с длинными красными лентами и розовой розеткой. Эта Фанни клялась, что именно волшебная подвязка не единожды спасала ее от греха!

Корона

Современные ведьмы часто упоминают корону — тонкий серебряный обруч с серебряным месяцем впереди. В некоторых ведьмовских артелях такую корону (равно как и подвязку) носит лишь королева, дабы подчеркнуть свое высокое положение. Королева-ведьма надевает для совершения обрядов все свои украшения (словно английская королева на торжественной церемонии), и называются они «bigghes». К ним относятся корона, подвязка, ожерелье и браслет (широкий наручный браслет из серебра с магическими знаками и колдовской символикой).

Месяц, венчающий корону, несколько напоминает — благодаря лунному мотиву — головной убор Кудесницы (Wonder Woman). Может, эти короны дальние родственницы, выражение высшей силы матриархата?

Судебная тяжба: одежда против наготы

Мы посвятили ведьминому костюму так много слов, что теперь нас, вероятно, обвинят в непоследовательности. Однако приходится признать: многие современные ведьмы молятся «в чем мать родила», то есть нагишом. Привычное объяснение таково: одежда уменьшает силу, излучаемую человеческим телом. И, разумеется, нагота современных ведьм на руку пуританам, по мнению которых ведьмовство — это сплошные оргии и прочие безобразия.

Очевидно, что в Южной Калифорнии (или, допустим, на юге Франции) молиться в голом виде — одно удовольствие. Зато ведьмам-гарднерианкам в холодной Англии не позавидуешь. Они, однако, истово следуют завету богини, который якобы гласит: «обнаженной свершишь ты свои обряды». Перед тем как впасть в обрядовый экстаз, ведьмы, встав в кружок, начинают с весьма энергичных танцевальных движений. Так что, может, им вовсе и не холодно?

Ведьмовские обряды в сознании людей непременно связаны с наготой. Поэтому современные ведьмы отбирают новичков крайне тщательно: новообращенная должна иметь серьезные намерения, а на голых смотреть можно и в бане.

Некоторые ритуалы

Их, разумеется, великое множество, но, описывая главные ритуалы ведьмовства, современные авторы практически не расходятся во мнениях.

Ведьмы обычно объединяются в шабаш (группы приверженцев ведьмовства). Традиционное количество участников — тринадцать, но в принципе в шабаше могут состоять от трех до двадцати человек. В первую очередь «очерчивается круг», отделяющий и очищающий священное место — место для волшебства, где явятся им боги и богини, где исчезнет время, где осуществится и воплотится их вера. Магический круг диаметром девять футов (почти 3 метра) очерчивается в воздухе клинком-атамом. Это место меж двух миров: в одном царят боги, в другом живут люди. А здесь, на их границе, сосредоточена вся мировая энергия.

У каждого из нас есть некий групповой опыт — кто-то медитировал в группе, кто-то танцевал, кто-то молился, кто-то занимался йогой. И потому все мы знаем: человек — существо общественное, он черпает моральную силу у своих братьев и сестер — в едином общем стремлении. На этом принципе зиждется и шабаш.

Приведем здесь некоторые ритуалы ведьмовских шабашей.

Пробуждение Луны

Это ритуал, с помощью которого в главную ведьму, предводительницу шабаша, переливается сила богини. Она, по сути, сама становится богиней — пока длится обряд.

Действие происходит в первую полночь новолуния — «ведьмин час». Ведьма пробуждает в себе богиню, становится земным воплощением богини Луны, тройственной богини, имеющей три лика: прибывающего месяца, полной луны и месяца убывающего. Это и Диана-Артемида, и Астарта, и Афродита, и Богиня-мать, она связана с рождением, смертью, возрождением и фазами луны. Для пробуждения богини годится все — медитация, скандирование, танцы, пение. Главное — достичь, хоть на время, слияния в одном теле божественного и земного.

Возведение конуса силы

Конус силы — метафора. Речь идет о групповой воле шабаша, то есть круга единомышленников, достигших духовного единства в стремлении к единой цели. Некоторые английские ведьмы утверждают, будто именно они во время второй мировой войны предотвратили вторжение фашистов на остров, возведя конус силы против Гитлера (их предшественницы, по преданию, точно так же помогли разгромить испанскую Армаду). Посильное содействие оказали, вероятно, и английские военно-воздушные силы.

Конус возводится танцами, скандированием и медитацией.

Вступление в шабаш

Следующим общепринятым у современных ведьм ритуалом является принятие новообращенных. Инициация символизирует возрождение; во время обряда часто используется ритуальная плеть.

Новообращенную приветствуют, берут с нее клятву, дают новое имя, умащивают водой и вином. Эта инициация в корне отличается от той, которую описывали ведьмы под пытками инквизиторов. Тогда надо было непременно отречься от Спасителя, Пресвятой Девы, всех святых и христианской религии как таковой, кроме того, ведьма отрекалась от отца, матери, неба, земли и так далее. Затем ее окунали в купель, нарекали новым именем и метили ведьмовским знаком (может быть, татуировкой?). Завершал церемонию поцелуй. Этот момент любили посмаковать инквизиторы, оставившие подробные описания «позорного поцелуя» — ведьма «целовала дьявола в задницу».

Все элементы обряда восходят к глубокой древности и поныне присутствуют во многих религиях — католики до сих пор символически целуют

папский перстень. И в купель окунали, и имя новое давали — задолго до рождества Христова. Насколько точны записи инквизиторов, сказать трудно; не исключено, что в описании средневековой инициации много домыслов и преувеличений (особенно в отношении «позорного поцелуя»). Мы читаем дошедшие до нас протоколы допросов с ужасом и недоверием. Но не так же ли читаем мы о нацистских лагерях смертников — не в силах поверить даже уцелевшим свидетелям, людям, которые и по сей день ходят по одной с нами земле.

Само-благословение (или само-посвящение)

Это обряд личный. Ведьма посвящает себя служению Богине-матери и Рогатому богу. Совершается обряд на шабаше или перед собственным алтарем. Используются масло, благовония, свечи и, возможно, вода, вино и соль. Обряд совершается по глубокой личной потребности.

Маргот Адлер описывает обряд само-благословения, придуманный Эдом Фитчем, известным новоязычником Америки. Требуются: нагота, тихое место, соль, вода, вино и свеча для принятия обета. Посвящающий себя божеству становится на колени на рассыпанную соль, зажигает свечу, затем смачивает вином и водой – сперва глаза, затем нос, рот, грудь, бедра и, наконец, ступни, произнося при этом следующее заклинание:

Благослови меня, мать, ибо я дитя твое.
Благословенны будьте мои глаза, дабы я прозрела путь твой.
Благословен будь мой нос, дабы я вкусила твой аромат.
Благословеи будь мой рот, дабы я смогла говорить о тебе.
Благословенна будь моя грудь, дабы билось в ней
преданное тебе сердце.
Благословенны будьте мои бедра, меж которых зарождается
жизнь мужская и женская,
подобно тому как ты породила все
сущее на Земле.
Благословенны будьте мои ноги, дабы я
могла идти по пути, указанному тобой.

Несмотря на кажущуюся простоту, ритуал этот значителен, он заставляет человека задуматься и одновременно врачует его душу.

В основе современной культуры несомненно лежит письменность. Мы не поверим ни единому слову, покуда не увидим его написанным, а еще лучше напечатанным — черным по белому. Но важно помнить, что ведьмовство дано нам в основном изустно, по учебникам им не овладеешь, надо идти в ученики, в подмастерья к знатокам ведьмовского дела. Иначе не узнать секретов ремесла, которые, кстати, разглашению не подлежат,— ведьмы полагают, что тайна способствует накоплению силы духа. Кроме того, колдовских традиций великое множество, в каждой стране и даже в каждом шабаше — свои. Лишь в одном согласятся меж собой все ведьмы: ведьмовство было — и остается — религией веселой и вдохновенной. Богам и богиням не скорбь наша нужна, а радость.

Как посоветовал бы вам истый язычник:
Благословенны будьте.

Совокупление с дьяволом

Совокупление верующих с божеством, принявшим то или иное обличье, известно издревле и упоминается во многих религиях. Соитие ведьмы с дьяволом, о котором твердили инквизиторы, явно имеет те же корни. Из ведьмы под пыткой вытягивали новые и новые, самые интимные подробности — похотливых мучителей интересовало буквально все.

Пенис у дьявола оказался твердый, внутри кость или рог (а то и железо), семенная жидкость леденяще холодная. Пенис раздвоенный, вводился он во влагалище и в задний проход. А некоторым ведьмам достался и растроенный, третий конец — одновременно! — вводился в рот. Так

желаемое принимали за действительное. И все это было бы смешно, если бы тысячи женщин (и даже девочек от восьми до тринадцати лет) не признались в совокуплении с дьяволом, за что и были преданы смерти. Таков основной парадокс в истории ведьмовства. Преступления, якобы совершенные ведьмами, кажутся надуманными — в духе Крафт-Эбинга [1], но потом мы вдруг вспоминаем, что тысячи невинных пали жертвой инквизиторской истерии.

Ведьмы и импотенция

Мужчины уверены, что в их бессилии виноваты женщины. Только прежде они винили в своей беде ведьм, а ныне — жриц свободной любви. Plus ça change, plus c'est la même chose! [2]

Как сейчас — не знаю, а ведьмы добивались своей цели с помощью лигатуры, то есть искусства вязания узлов на нитях или кожаных шнурах — этакое прикладное колдовство.

Обычно ведьмы произносили заклинания и одновременно завязывали на шнуре узлы, после чего шнур прятали; импотенция длилась до тех пор, покуда жертва не найдет шнур. Если же несчастному не удавалось это сделать, он оставался импотентом до конца своих дней.

Так вот мужчины и валят на женщину все грехи — вплоть до первородного!

Разумеется, в распоряжении ведьмы есть и вызывающие импотенцию снадобья, так что деться мужчине попросту некуда. Однако, по некоторым свидетельствам, ведьмы с помощью снадобий делали совершенно обратное — восстанавливали мужскую потенцию. Таким образом, они были первыми сексотерапевтами. Жаль только, пессимизма в людях — во всяком случае в мужчинах — куда больше, чем оптимизма: в связь ведьмы с импотенцией они верят безоговорочно, а вот насчет восстановления потенции сомневаются и поныне.

(Слыхали мы и о заклятьях, от которых мужчина вовсе лишался полового члена. К счастью, ни автору, ни художнику не привелось увидеть результаты подобного колдовства в подлиннике.)

РОГАТОМУ БОГУ
Смотрят вниз
потухшие звезды
на века Рогатого бога.

От темных глубин потаенных
пещеры Трех Братьев в Арьеже
до рогатого Моисея,
создания Буонаротти.
От быка на острове Крите
и прыгающих танцоров,
висящих, как на весах,
на острых рогах дилеммы...

От того, античного, Пана,
бога совокуплений,
предтечи дьяволов светлых,

до самого Сатаны,
человека в черной одежде,
которого сотворила
благочестивая похоть.

[1] Барон Ричард фон Крафт-Эбинг (1840—1902) — известный немецкий психиатр. (*Прим. перев.*)

[2] Все неизменно в нашем изменчивом мире (*франц.*)

От Осириса, бога египтян,
до чудовища Минотавра
с ужасным его лабиринтом...

От Цернунна —
до сатаны,
повелителя темных желаний.
Какая странная склонность,
стремленье к богам рогатым!

С козлом, под рогатой луною,
плясала б ты, сбросив одежду,
в кругу веселых колдуний!
Но что там... Шум за окном.
Охотники гонят оленя,
и гибнет твой бог счастливый.

О боже, рогатый боже,
возвращайся к нам поскорее.
О пленный единорог,
из тьмы приведи нас
к свету.

Приди и пронизай солнце
отточенным острым рогом
и сделай пещеру, и череп,
и наше бренное лоно —
еще раз вместилищем света.

Куколки

Во все времена, во всех культурах ведьма «играет» в куклы: тряпичные, соломенные, глиняные и восковые. Подобно лигатуре, игра эта — разновидность прикладного колдовства; восковые изображения людей, к примеру, протыкают насквозь, чтобы вызвать смерть или болезнь у оригинала. Однако прикладное колдовство не всегда столь кровожадно. К ведьмам обращались и за помощью. И они творили добро, помогали соединиться любящим сердцам: свяжут накрепко двух куколок-любовников, произнесут надлежащие заклинания, зажгут надлежащие свечки — и готово. Но об этом позже...

Всегда ли срабатывает прикладное колдовство? Сомневаться в его эффективности не приходится, хотя объяснить этот феномен довольно сложно. Если жертва знает о произнесенном заклятии и верит в ведьмовство как таковое, то ведьма наверняка трудится недаром. А уж коли в воск заплавили волосы, ногти или кусочек кожи жертвы — пиши пропало, не бывать ему живу. Но допустим, ведьму и жертву разделяет огромное расстояние и никто, кроме ведьмы, о колдовстве не знает? Чем менее развито, чем более замкнуто общество, тем смертоносней оказывается прикладное колдовство. Впрочем, ведьмы пробовали свою власть не только в узком кругу.

В 1324 году в Англии потерял рассудок и затем умер некий Ричард де Сауи — из-за свинцовой булавки, воткнутой в его восковое изображение. Бедняга пострадал совершенно безвинно, колдовство метило куда выше, а де Сауи досталась роль подопытного кролика. История такова. Двадцать семь граждан города Ковентри, устав от верховной власти, обратились к колдуну по имени Джон де Ноттингем (и его помощнику, Роберту де Марешалю) с просьбой изготовить — не бесплатно — восковые фигуры короля Англии, его наместника в Ковентри и еще нескольких лиц, состоявших на службе у короля. Получив всю сумму сполна, да еще воска и ткани, колдуны изобразили шесть заклятых врагов своих клиентов, а седьмую фигуру сделали «проверочной». Выбор пал на Ричарда де Сауи, поскольку жил он неподалеку.

Дальше случилось самое ужасное. Колдуны проткнули лоб «проверочной» фигурки свинцовой булавкой. А придя наутро домой к соседу, обнаружили, что де Сауи спятил. Буйное помешательство длилось три недели. Затем колдуны вытащили булавку из головы куклы и проткнули сердце. Несколько дней спустя де Сауи умер.

Тут-то помощник главного колдуна и не выдержал — отправился к следователю и выдал Джона де Ноттингема и его клиентов, обвинив их в предательстве интересов короны и в занятиях черной магией.

Главный колдун умер в тюрьме (судьба второго неизвестна). Граждане Ковентри остались безнаказанными. Как видно, колдунам всегда приходилось расплачиваться за неблагие намерения своих клиентов. Главный же интерес в этой истории представляет сам результат колдовства. Короля и его приближенных ждала бы неминуемая смерть. Они знали об этом, потому впоследствии и преследовали волшебников и ведьм столь непримиримо — в Англии один за другим принимались жесточайшие законы против колдовства.

Любовные куколки

У каждой ведьмы есть свои тайные рецепты для обретения вечной любви. Поэтому в ведьмовских пособиях любовная ворожба представлена очень широко. Я предлагаю вам познакомиться с моим собственным, достаточно эклектичным методом обретения вечной любви с помощью любовных куколок. Привожу его во всех подробностях в надежде, что читатель мечтает именно о вечной любви, а не о случайных связях, и употребит мои советы по назначению.

Нарисуйте на листе бумаги выкройку — маленького человечка, непрестанно думая при этом о живом человеке, чью любовь вы хотите обрести навечно. (Длина выкройки непременно должна составлять тринадцать дюймов (около 33 см); хорошо бы, вам удалось вычертить ее на листке, до которого дотрагивался или, еще лучше, на котором писал ваш возлюбленный.)

Возьмите два куска старой простыни и, используя бумажную выкройку, вырежьте человечку перед и зад. Если вы единожды переспали с оригиналом и хотите теперь закрепить успех, рекомендуется использовать ту самую простыню, на которой вы лежали,— разумеется, без стирки! Если вы занимались любовью на полу, ковер резать не надо (хорошая куколка из него все равно не получится, слишком толст). Постарайтесь в этом случае найти какую-то другую ткань, которой пользовался ваш любимый,— возьмите салфетку или полотенце, которыми он вытирал руки.

Аккуратно вырезав человечка, сшейте обе половинки, оставив дыру на голове (через нее будем набивать), и выверните наизнанку.

Теперь набейте человечка травами, священными для богини любви Венеры. Хороша смесь сухих розовых бутонов, ежевичного листа и яснеца (неопалимой купины). Можно попробовать плод самбука, пустырник и вербену. (Смело экспериментируйте с любыми растениями, посвященными Венере, пока не найдете оптимальный для себя набор.) Плотно набив человечка, зашейте голову, чтобы ваш любимый не растерял «мозги». (Все это проделывается в неотрывных думах о любимом. Следует все время повторять его имя.)

Затем изготовьте еще одну подобную куколку — на сей раз это будете вы сами. Куколка шьется из ткани, которой вы пользовались. Простыня, на которой вы любили друг друга, годится и в этом случае, но при условии, что кроме вас двоих ею никто не пользовался (при изготовлении любовных куколок, как и в любых других начинаниях, необходим трезвый расчет.)

Набейте себя травами Венеры, соблюдая прежнюю пропорцию, и зашейте голову.

Теперь куколкам надо придать индивидуальность. Некоторые книги требуют наделить их половыми органами. На мой взгляд, это слишком грубо (нас же вечная любовь интересует, а не только секс). Лучше написать на куколках дату его/ее рождения и соответствующий астрологический знак.

Затем снабдите куколку, изображающую вашего любимого, каким-либо предметом-символом. Если он писатель — пришейте к руке крошечный карандашик, если адвокат — крошечный портфельчик, если художник — крошечную кисть и так далее.

Если ваш возлюбленный красиво говорит, если какая-то мысль, им высказанная, врезалась вам в память, напишите ее на спине куколки. (Фраз типа «Жена меня не понимает» или «А моему мужу слабо́» следует избегать. Они настолько затерты, что божества, пожалуй, запутаются и не сообразят, кто есть кто.)

Вот теперь мы готовы связать куколок вечной любовью. Для этого нужна красная лента, предварительно освященная богиней Венерой. Длина ее должна быть кратна семи: в зависимости от того, насколько туго вы желаете скрутить куколок, отрежьте 14, 21, 28 или 35 дюймов (соответственно 35,5; 53,3; 71,1; 88,9 см). (Удачно, если длина ленты совпадет с возрастом вашего возлюбленного, — эффективность колдовства возрастает.)

Обряд совершается либо всем шабашем, либо проситслем-одиночкой. Просят обычно для себя, но можно и для друга/подруги. Не исключается и помощь профессиональной ведьмы (но этот вариант я здесь не рассматриваю, так как у нее наверняка есть собственные рецепты любовной магии).

Куколок помещают на какую-либо поверхность, лучше всего на алтарь, описанный в разделе «Колдовские причиндалы». Если алтаря в наличии нет, подойдет письменный или кухонный стол. Поочередно приподнимая куколок, проситель называет каждую по имени, привлекая внимание божеств к нуждам прототипов. Затем, взяв одну куколку в левую, а другую — в правую руку, проситель медленно сближает их, воображая при этом вечное объятие. Когда куколки оказались лицом к лицу, животом к животу, их прижимают друг к другу и тут же обвязывают красной лентой. (Хихикать строжайше запрещено. Весь ритуал следует совершать серьезно и торжественно.)

Некоторые пособия требуют положить поверх связанных куколок меч. Но мне этот метод представляется сомнительным, так как соединенные мечом в конце концов подерутся.

Заверните куколок в салфетку, носовой платок или простыню (см. выше). Носок или чулок с ноги любимого/любимой — только нестираный! — тоже подходят для этой цели (ибо всем известна связь ступней с высокими чувствами). Затем спрячьте куколок в надежное место. (Например, в комод или платяной шкаф; заодно и одежда с бельем пропитаются благоуханием трав.)

Обряд должно совершать в пятницу — Венерин день (по-итальянски — venerdi). День этот также посвящен Фрейе — скандинавской богине любви (отсюда английское friday — пятница). В две последующие пятницы обряд следует повторить. Если за это время ваш любимый не объявился, вы уж, верно, и сами его забыли. Если же вы по-прежнему сохнете от любви, повторяйте обряд каждую пятницу — и вечная любовь вам обеспечена.

(В настоящее время описанный ритуал проходит тщательные испытания в независимой лаборатории. Читателей, получивших положительные результаты, просим сообщить. Они непременно будут приведены в последующих изданиях этой книги.)

Любовные чары, и зачем они нам нужны

Кто не мечтал о волшебстве, которое свяжет нас вечными узами с любимым? Как страдает наша гордость, как бесит собственная беспомощность! Как невыносимо ждать звонка, письма, поцелуя, признания, а его — черт побери! — все нет.

И ведьмовство-то люди изобрели от этой беспомощности, от мучительного бессилия, от невозможности вмешаться в собственную судьбу. Ах,

вот бы куколка в любви помогла, вот бы свечка любимого вернула, вот бы ворожба опутала его накрепко, сковала сердца неразрывной цепью! Ах, как нужно заклинание, чтоб отвадить его от разлучницы, чтоб исчах и иссох от любви ко мне и только ко мне; чтоб стоял дни и ночи на коленях, чтоб жизнь ему без меня была не мила! А уж я тогда вволю натешусь, измучаю, неверностью ему сердце изведу.

Так вот и рождается, укрепляется, увековечивается вера в любовные чары. Нужда в чуде превращает женщину в ведьму. И заклинания твердит она от собственной беспомощности.

Дорогие читатели! Увы, я не знаю того единственного, самого надежного заклинания — чтоб любимый всегда был рядом. Если б знала, непременно бы с вами поделилась (при условии, что мы любим разных людей).

Советуют всякое: кто — черные свечи; кто — тминное семя и лимонный бальзам; кто — розмарин и руту; некоторые утверждают, что все же самое надежное средство — накрепко связанные меж собой любовные куколки.

Будь наши мечты крепкими путами — навеки привязали бы к себе любимых. Но, увы!.. Одна надежда — на ведьму и ее колдовское ремесло.

ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ

...Одну свечу,
чтоб начертать твой лик.
Или твое подобье восковое
с такими же глазами цвета неба
осеннего, незрячего. И с телом
таким же милым,
дивным и желанным,
сокрытым под неяркою одеждой.
Или траву, волшебную траву,
чтобы она в устах
слегка горчила,
твои к моим притягивая губы.

Быть может, яд —
чтоб я сама пила,
но и тебе как будто ненароком
дала бокал за трапезой угрюмой.

Или хотя б ногтей
твоих обрезки
и волосы, запеченные в тесто.
Я сделала б напиток приворотный.
Поверь, твоя сумела бы невеста
не хуже ведьмы
зелье приготовить,
чтоб слить на миг две плоти воедино.
Мышей летучих я бы в свой котел
бросала как
младенцев христианских.
Лягушек толстобрюхих — как монахов,
чтобы тебя к себе приворожить.
Войти в тебя хочу я лихорадкой,
проникнуть в плоть твою
как малярия,
лучу подобно, пронизать зрачки,
как Дух Святой, стигматами отметить
прекрасные ладони с т р а с т о т е р п ц а.

Любовь моя! С конца, а не с начала,
когда бы то
могло тебя приблизить,
я имя бы твое произносила.

Но в простоте твержу тебе: «Любовь»...
Все жду тебя, а ты не снизошел
ко мне,
печальной,
как я ни просила.

Небольшой перечень приворотных заговоров

Если любовные куколки не сработают, не расстраивайтесь. Существует масса других способов обеспечить «любовь до гроба», главное здесь — как и при достижении более прозаических целей — терпение и настойчивость.

Несметное количество трав возбуждают любовь: от колдун-травы и алоэ до вербены, фиалки, кандыка и тысячелистника. Для приворота и усиления чувства использовали даже кориандр, аконит и укроп.

Бывают очень простые рецепты. Например, нарвать пырей и разбросать под кроватью любимого. Бывают и очень сложные: заполнить половинки скорлупы грецкого ореха корневищем ведьмина зелья, добавить паутину и плотно слепить половинки воском. Завернуть затем в новый носовой платок и украдкой спрятать среди вещей, принадлежащих предмету ваших воздыханий. Покуда он/она не обнаружит амулет, он/она вас не разлюбит. (Из книг неясно, что случится, если он/она все-таки найдет орех.)

Люди сведущие обычно очень нервничают, когда друзья принимаются при них чистить орехи, снимать с углов паутину, перетирать корни растений, набивать травами тряпичных человечков. Так что постарайтесь обойтись без свидетелей (или делайте это на шабаше — среди соратников и единомышленников). Как гласит старая ведьмовская пословица: «Силой поделиться — навек ее лишиться». И, думается, нет нужды напоминать, что главная сила ведьмы — в соблюдении тайны.

Простейший приворотный прием состоит в изготовлении магического мешочка. В него кладут травы — гвоздику, ягоды, лаванду, и розовые бутоны — и вешают на шею. Правда, всегда есть опасность привлечь нежеланного поклонника... Французы утверждают, что мужчина, прикрепивший веточку лаванды на трусы, поближе к половому члену, неотразим в любви.

С полным правом утверждать то же самое о женщине можно лишь, если под мышкой у нее приколот к одежде красный фланелевый мешочек с бутонами розы и сердцем летучей мыши. (Впрочем, если женщина раздобыла сердце летучей мыши и отважилась носить его на теле, она неотразима не только в любви! Она познала уже азы ведьмовства, и ей наше пособие ни к чему.)

Ниже мы приводим другие приворотные рецепты (к сожалению, не проверенные нами лично). Автор и издатель не гарантируют их эффективности, но будут весьма благодарны за ваши отзывы, которые мы непременно учтем при переиздании.

Колдовство с зеркальцем

Тайком от любимого/любимой поймайте его/ ее отражение в маленьком зеркальце. Сразу спрячьте зеркальце в коробку, сверху насыпьте травы, известной под названием горец почечуйный; коробку закройте. Закопайте ее на тропинке, по которой любимый идет к вашему дому. Пройдется по самому себе семь раз — навеки с вами останется.

Ритуал с волосами и анютиными глазками

Украдите у возлюбленного локон. Выберите что-нибудь из его одежды и сожгите дотла. Золу соберите, посыпьте ею волосы, перемешайте с анютиными глазками и заверните в белую ткань. В ближайшее новолуние заройте снадобье у порога собственного дома или положите под половичок у своей квартиры. Ритуал обеспечит вам верность возлюбленного в течение всего лунного цикла. Если же вам попался бродяга, беспокойная душа, повторяйте ритуал каждое новолуние.

Пупковое заклятие

Для укрепления непрочной связи соберите выделения с пупков обоих любовников, срежьте у каждого по локону с головы, перемешайте и закатайте все это в клок ваты. Перевяжите красной ниткой, окуните семь раз в вазу с дождевой водой, из которой торчит камышинка. Дайте шарику высохнуть и положите его в ящик с нижним бельем. (Талантливая ведьма найдет способ соскрести с пупка любовника все что ей нужно — он даже не заметит!)

Вязание любовных узлов с помощью Рогатого бога

Могучее средство для привлечения любимого. Для ритуала требуется бечевка, сплетенная из шерсти козла; несколько волосков с головы любовника и алтарь, украшенный в честь Цернунна — Рогатого бога римлян. На алтарь ставятся осенние цветы, сосновые шишки, листья дуба, ветки бессмертника, красные свечи, ритуальные кубки, а также красное вино и курящиеся благовония, изготовленные из священных для Цернунна трав.

Очертите атамом магический круг диаметром девять футов (2,75 м). Внутри изобразите равносторонний треугольник, чтоб одна из вершин глядела строго на восток. Посвятите все предметы на вашем алтаре Цернунну («Рогатому»). Затем станьте лицом к востоку и призовите Рогатого бога. Звать его можно по-всякому, в том числе на позабытых ныне волшебных языках. Лично мне больше нравится произносить понятные слова, вроде стихотворения «Рогатому богу» (см. выше). Быть может, вы тоже сочините свои стихи или придумаете молитву.

Повторите свой призыв четырежды, на все стороны света, медленно поворачиваясь по часовой стрелке. Когда вы снова обратитесь к востоку, Рогатый бог должен появиться у самой границы магического круга. Вы узнаете его непременно — по удушливому козлиному запаху, по пылающим страстью глазам, и плоть ваша (женская) затрепещет от его близости. Он может явиться вам Паном, козлом или просто неким призрачным воплощением похоти. Не поддавайтесь соблазну! Не выходите за пределы магического круга, не позволяйте Рогатому вас совратить. Он исчезнет, едва закончится ритуал.

Воззвав к Цернунну, окурите благовониями козлиную шерсть и начинайте плести ее в косицу, не забывая о Рогатом,— его имя должно быть все время у вас на устах. Концы косиц закрепите, чтобы не развязались. Этот священный любовный узел следует надеть в новолуние и носить на теле, возле промежности (мужчинам рекомендуется надеть на пенис) в течение двадцати восьми дней — то есть полный лунный цикл. Если за двадцать восемь дней любовь ваша не стала вечной, следует перейти к более сильному ритуалу, также посвященному Цернунну.

Второй ритуал Цернунна

Для этого ритуала пригоден тот же алтарь, такой же магический круг и равносторонний треугольник, как и прежде, но теперь следует наполнить кубок красным вином, оливковым маслом, медом и мочой в равных долях и добавить три капли вашей собственной крови. Достаньте любовный узел из промежности (где он заряжался вашей страстью в течение двадцати восьми дней) и завяжите на косице девять узлов, начиная с любого конца. При этом непрестанно просите Цернунна о вечной, неувядающей любви. По

завершении обряда окуните косицу в кубок с указанной выше жидкостью, а затем бросьте в раскаленный тигель. Если и это не поможет, тогда вашего любимого, должно быть, нет на свете (а если есть, то он и мизинца вашего не стоит).

Ведьмовское сообщество

Так что же такое ведьмовской культ? Высокоразвитая альтернативная религия — как утверждали католические демонологи? Или ни в чем меж собой не схожие, разобщенные горстки язычников?

Воображение инквизиторов, разумеется, рисовало хорошо структурированное сообщество, поскольку всегда легче довести народ до безумия и поднять его на искоренение скверны, если представить эту скверну «организованным злом», заговором. Подобно «охотникам на ведьм» в 1950-х, которые стращали нас «мировым коммунистическим заговором», инквизиторы оправдывали собственную жестокость, утверждая, будто ведьмы вознамерились уничтожить власть Церкви и государства, что они угрожают основам цивилизации.

Маргарет Мюррей тоже считала ведьм сообществом высокоорганизованным. Да это и понятно: ведь ее исследование опиралось в основном на протоколы инквизиторских допросов. Организация, по ее мнению, делилась на шабаши, по тринадцать членов в каждом, из коих двенадцать были просто ведьмами, а тринадцатая — Грандмастером, то есть распорядителем. Ее помощницей была Дева Шабаша, или Дева Мариэн — так прозывалась она в тех местах, где почитали Робин Гуда (согласно многим легендам, Робин Гуд — прославленный ведьмак). Еженедельно шабаши собирались на Малый, местный шабаш. На Большой шабаш слетались ведьмы со всей округи, руководил ими окружной распорядитель, или «Дьявол». Все основные ведьмовские праздники отмечались на Большом шабаше. Скорее всего это было ежемесячное торжество, приходившееся на полнолуние.

Кроме Девы, Грандмастера и Дьявола в судебных протоколах встречается иногда Королева Шабаша, или Королева Элфейма. Мюррей предполагает, что она была главой ведьмовского культа. Последнее имя, по-видимому, является результатом привычной путаницы: для многих что ведьмы, что феи все одно — бесовщина.

Существовала ли столь разветвленная организация? Или это плод фантазии инквизиторов, которые умели задавать вопросы и умели — пыткой — получать желаемые ответы? Мы никогда не узнаем этого наверняка. Вполне возможно, что ведьмы были одиночками — травницами, целительницами и волшебницами, — что порой они собирались, чтобы поделиться тайнами ремесла и почерпнуть силу у близких себе по духу. А может, были они организованными последователями древнего языческого культа Рогатого бога и Богини-прародительницы, чьи религиозные обряды традиционно включали наркотические вещества, экстатические танцы и совокупление.

Лично я считаю, что ведьмы являли собой остаточные очаги язычества в мире, почти целиком завоеванном христианством. Людям же свойственно наделять своих предшественников колдовским обаянием. Европейских христиан средневековья влекли языческие обряды оттого, что запретный плод всегда сладок, а запретное колдовство сильнее разрешенного во сто крат. Так или иначе, христианская традиция соседствует с языческой и по сей день.

Шабаш

Буйные, исступленные обряды необходимы любому сообществу — чтоб высвободилась сексуальная, своевольная энергия, чтоб тело и душа, дойдя до экстаза, смогли наконец расслабиться. В современном мире такой момент катарсиса редок, люди ищут более доступных наслаждений в адюльтере и наркотиках. Вакхическая традиция, увы, почти угасла.

Легендарный Шабаш (тот, потрясающий, который изобразил Гойя

и описали ведьмы, прежде чем взойти на костер) — это встреча, танцы, оргия, вакханалия любви, пиршество Приапа, а также пародия на христианство. В действительности шабаш происходит, скорее всего, от обрядов эпохи палеолита — танцуя вокруг рогатого идола, древние люди выпрашивали у воплощенного божества побольше природных даров. Претерпев за свою многовековую историю множество метаморфоз, обряд позаимствовал отдельные элементы у всех известных религий. Отпечаток христианства наиболее ярок лишь потому, что свеж.

Традиционно ведьмы отправляются на шабаш на помеле. Вылетают через трубу и правят — сквозь облака и тучи — к известным со стародавних времен священным местам. По прибытии снова умащивают себя — уже для ритуального танца. Мазь в этом случае состоит из сильных галлюциногенных веществ, возможно втираемых в стенки влагалища. Ведьмы танцуют и пируют. Чарующая музыка, ароматные яства — все это описано в легендах, равно как и «позорный поцелуй» (osculum infame) и совокупление с воплощенным божеством (которого инквизиторы, да порой и сами ведьмы, называли Дьяволом).

Начинается шабаш с переклички, затем в организацию принимают новых членов, которые дают клятву и творят «поцелуй послушания» (ничем не отличающийся от «позорного» — целуют все того же Дьявола все в ту же задницу. Подобное преступление приписывалось не только ведьмам, но и другим еретикам. Его, вероятно, следует считать образцовым святотатством). Затем ведьмы переходили к танцу. В отличие от современных танцев он лишен социальной роли и потому непривычен и дик. Это танец религиозного экстаза, когда личная воля полностью подчинена воле групповой, когда стирается грань между внутренним и внешним миром и происходит единение с божеством. Потом начиналось пиршество и, возможно, обряд заклания (скорее все-таки не младенцев, а жертвенных животных). И, наконец, совокупление ведьм с воплощенным божеством.

Маргарет Мюррей и многие другие исследователи полагают, что некто, изображавший на шабаше Рогатого бога, производил половой акт с помощью фаллоса-муляжа, отчего ведьмам и представлялось, будто пенис у Дьявола холодный и твердый, а сам акт был, в их памяти, сопряжен с болью. Дьявол, по всей вероятности, являлся в маске. Шабаш длился до первых петухов, и утром ведьмы возвращались к своей тяжкой будничной жизни посвежевшими и отдохнувшими.

Исторические корни шабаша ясны не вполне: не то это порождение обрядовых молитв о плодородии эпохи палеолита, не то потомок античных сатурналий. В той форме, в какой ночные сборища ведьм дошли до наших дней, можно усмотреть элементы обоих культов. Налицо все атрибуты религиозного празднества: священное место (камни или дерево, посвященные языческому божеству); круг или шабаш из двенадцати молящихся плюс один, изображающий бога или богиню (на Большой шабаш стекалось много таких малых групп); ритуальный танец; ритуальное употребление наркотиков (галлюциногенные притирания и, возможно, грибы-галлюциногены); ритуальное пиршество; ритуальное совокупление и, наконец, благословенный (а для христиан — анафемский) катарсис.

Ведьмы похвалялись своими шабашами. На них-де и еда, и музыка, и развлечения. Короче, ночь на шабаше они не променяли бы даже на бесплатное путешествие в Лас-Вегас.

Существуют ли шабаши на самом деле? Некоторые ведьмы утверждали, будто летали на шабаш, в то время как близкие видели их мирно спящими в собственной постели. Так, может, во сне-то они и летали (намазавшись предварительно своими знаменитыми притираниями)? Кто знает...

В реальности или мечтах, но понятие шабаша живо. Произнесите «шабаш», и бледная луна осветит нагих женщин — они извиваются в безумном танце вокруг своего Рогатого бога, раскрывают для него свою плоть, отбрасывают вместе с одеждой стыдливость, усталость и безнадежность,

отвергают — пусть всего на одну ночь — постулаты буржуазной морали и вновь обретают первобытную религиозную мощь (о коей ныне нам напоминает лишь сексуальный экстаз, да и то весьма отдаленно).

Верните Шабаш! Он нужен нам сейчас как никогда!

«Шабаш» — не единственное слово, напоминающее о связи ведьм с евреями. В нашем историческом исследовании часто попадались корни, общие для еврейского и колдовского языков. Возможно, христианские летописцы намеренно употребляли слово «шабаш», чтобы подчеркнуть эту связь и тем самым дискредитировать ведьм вконец. С той же целью употребляли они и слово «синагога» — о месте проведения шабаша. Предпринималось множество попыток отождествить ведьм с евреями, а также с христианскими вероотступниками. Ведьма, подобно еврею и еретику, служила объектом для вековечной ненависти, она тоже была изгоем, на которого ополчалось единое в своей ненависти общество.

Многие преступления, которые предвзятое христианское сознание приписывает евреям, оно относит и к ведьмам: к примеру, похищение младенцев для принесения их в жертву своему божеству. А может, в обществе, поделенном на «своих» и «чужих», на «наших» и «не наших», изгоев всегда обвиняют в самом страшном? А может, и в самом деле существует связь между преследованием ведьм, евреев и еретиков? Ведь церковь вечно ищет козла отпущения, чтобы удержать ускользающую власть...

Полет ведьмы

Легенды о ведьмах существуют в фольклоре многих народов, во всех концах света. Они, конечно, разнятся. Однако все без исключения признают: ведьма умеет летать.

Летают и африканские и европейские ведьмы (помимо этого их роднит способность менять обличье и питаться кровью своих жертв, отчего те сохнут и мрут как мухи). Над Африкой и над Европой летят на шабаш ведьмы: кто на помеле, кто на спине крылатого духа — вороны, летучей мыши или совы.

От полета ведьмы захватывало дух у художников и поэтов. Полет — символ свободы и одновременно сексуальности. Ведьма являет собой эти извечные человеческие стремления во плоти.

Что же самое главное в полете? Притирания, помело или собственно полет — верховая езда в свободном пространстве?

Очевидно, для нас волшебный полет ведьмы родится из сочетания различных символов и образов. Мы знаем, что, во-первых, в тело втирается некое вещество, позволяющее — пусть лишь мысленно — оторваться от земли (вопрос о реальности полета остается открытым). Во-вторых, зная нужные заклинания, можно сколдовать себе транспорт из самого простого предмета — метлы, ветки, ковра — или сесть на спину крылатого зверя. В-третьих, можно спать в собственной постели и одновременно встречаться с ведьмами, демонами, феями, испытывая при этом самые разнообразные ощущения. В-четвертых, женщина преуспела во всех этих таинствах куда больше, чем мужчина, который похрапывает, обнимая метлу вместо верной женушки. Эгей! Женщина всегда обманет мужчину, даже во сне!

Итак, ведьмы — это женщины, которые не боятся летать. Те из нас, кому дано летать во сне, сочтут полет ведьм вполне допустимым. Да и чего им, собственно, бояться? Ведь ведьмы, помимо всего прочего, еще и первые женщины Земли, познавшие свободу от мужского ига.

Однако трезвый историк, антрополог или еще какой-нибудь рационалист всегда хочет доискаться до материальных причин полета. Оттого-то его и интересует состав колдовских притираний.

Из самых достоверных источников известно, что на больших и малых шабашах ведьмы употребляли мази, которые смещали пространственно-временные ощущения и давали иллюзию полета. Такие ингредиенты, как

аконит, белладонна и болиголов, галлюциногенны только в малых дозах, в больших же — чреваты летальным исходом. Ходили слухи, что мази эти втираются в стенки влагалища с помощью древка помела (так вот и «доходят до ручки»). Слизистая оболочка влагалища чрезвычайно быстро впитывает галлюциногены. Самой трезвой исследовательнице хватило бы малой толики такой мази, чтоб улететь к черту на рога и поверить в полет безоговорочно.

Дорогой читатель! Я привожу нижеследующие рецепты с серьезной оговоркой. Травы, входящие в состав притираний, очень опасны. Многие запрещены к сбору, а значит, использование их противозаконно. Кроме того, дошедшие до нас прописи весьма неточны, и ошибка может оказаться роковой. Слагаю с себя всякую ответственность.

Традиционный английский рецепт:

3 грамма аннамтола
30 граммов бетеля
50 — « — экстракта опия
6 — « — лапчатки ползучей
15 — « — белены
15 — « — белладонны
15 — « — болиголова крапчатого
250 — « — конопли
5 — « — кантаридина

Масло подберите по вкусу, годится жир младенцев и вазелин, а также сафлорное или сливочное масло.

Современный американский рецепт:

1 баночка крема для рук
1 ч. л. растительного масла
1/2 ч. л. белладонны
3 капли жидкого мыла
1/3 ч. л. сока волчьей ягоды

Перемешать, духи добавить по вкусу.

Три французских рецепта:

I. Петрушка, экстракт аконита, листья тополя и сажа.

II. Пастернак, аир, лапчатка ползучая, кровь летучей мыши, сонная одурь и масло.

III. Жир младенца, сок пастернака, аконит, лапчатка ползучая, сонная одурь и сажа.

Заключение

С древних времен и до наших дней ведьмовство нерасторжимо связано со страхом мужчины перед женщиной. Мужское подсознание стремится отождествить женщину со злом (или с чем-то неведомым, в котором заранее предполагается зло!).

У древних шумеров, минойцев, египтян и в некоторых других цивилизациях все же встречаются могучие женские божества, несущие (наряду со злом) и добро. Однако классическая литература подарила нам в основном злых волшебниц. Темное начало в Цирцее, Медее, Фенотии несомненно: эти женщины обольстительно хороши и главная их цель — лишить мужчину силы и независимости. Страх перед женщиной заложен в мужчине от природы. Даже если мир перевернется вдруг с ног на голову и все, в том числе мужчины, примутся молиться древним богиням и проклянут мужские божества греков, иудеев и христиан, мужчинам все равно не избыть сексуального страха, на котором взросло человечество, и женщина — существо, устроенное по-иному,— остается для мужчины воплощением этого страха.

И все же, разобравшись, что такое ведьма, мы многое поймем в глубочайшем женоненавистничестве, объявшем нашу культуру. Важно только воспринимать религиозный миф не как непререкаемую, изреченную богом или богиней истину, а как размышление о человеческом обществе и страхах,

которые движут людьми. Религия всегда укрепляет социальные структуры, а они, в свою очередь, укрепляют религию. Если в обществе почитают деревья, посевы и женщин, описанное общество заведомо аграрное. Если краеугольные камни — мужчина и мученичество, перед нами милитаристское общество. Если же людям надоело и это и они начали снова поклоняться природе (как это происходит в наши дни), значит, они разочарованы, и засилье мужчин, знаменующее технологический век, близится к концу.

Религия — одновременно подтверждение и тоска. Она подтверждает, укрепляет нас в том, во что верим, и тоскует по утраченному. Отсюда и нынешнее увлечение женскими божествами древности. Впрочем, в свое время языческий культ имел не меньше издержек, чем любая организованная религия. Сегодня же нас влечет его причудливость и непривычность, а женщины-бунтарки сделали его своим знаменем. Не столь важно, чему именно мы поклоняемся – дереву, женщине, мужчине или зверю. Важно само почитание и поклонение. В то же время следует признавать за каждым право на атеизм и агностицизм, ибо религия без душевной потребности, религия навязанная и вынужденная — хуже фашизма.

Во все времена во имя Божье творилось насилие и лилась кровь. Любая эпоха чревата охотой на ведьм, ибо такая охота угодна и удобна многим: с ее помощью политики преследуют врагов и перекладывают вину с неумелых правителей на чужие плечи; с ее помощью один класс держит другой (женщин, бедняков) в покорности и страхе; с ее помощью церковники укрепляют свой пошатнувшийся авторитет.

В современной цивилизации охота на ведьм служит орудием для подавления женского движения за независимость. Во времена инквизиции женщины всходили на костер за умение врачевать, а вовсе не за черную магию. Искусство целительниц ставило под угрозу их же собственную жизнь. В женщине мужчина видел лишь губительницу, преступницу, поэтому целительные снадобья церковники считали ядом, а стремление женщин стать священнослужителями — сущим кощунством.

Было бы ошибкой считать, что подобное отношение к женщине кануло в Лету. Оно лишь изменило обличье. И если кое-кто спешит приравнять аборт к убийству, значит, грядет новая охота на ведьм. Покуда в нашей системе моральных ценностей женщине уготованы лишь две роли — шлюхи или святой, покуда ее будут карать за сексуальность, покуда ответственность за ее тело несут по преимуществу государственные мужи, охота на ведьм в той или иной форме грозит нам каждую минуту.

Во все века на ведьмовство списывали необъяснимые психофизические явления. Ведьма — это претворенный в миф страх мужчины перед женщиной и сомнение женщины в собственных силах. Образ ведьмы соединил все: тут и женская свобода, могущество, сексуальность и женские страдания, муки, корчи в языках костра; ведь женщины чувствуют, что стоит им познать свободу, использовать могущество и проявить сексуальность — их ждет жестокое возмездие. Ведьма — это мечты о необузданных женских ласках, ведьма — это мгновенная и неминуемая кара за любовь и свободу. Образ ведьмы всеобъемлющ, потому ее могущество столь велико. Она — символ желанного преступления и неизбежного наказания, равно значимый и для мужчин, и для женщин в нашем патриархальном мире, где оба пола с младых ногтей приучены бояться и презирать свободную, независимую женщину.

Не надо смеяться над ведьмой, ибо мы смеемся тогда не только над собственными предками, веривших в ее злые чары,— мы смеемся над прорицателями, которые тщатся уберечь нас от новой инквизиции. Но мы их не слышим, мы того и гляди снова накличем охоту на ведьм уже на ином историческом витке.

Ведьма взывает к нам — из тарахтящей повозки, что везет ее в камеру пыток, на костер, на виселицу,— взывает, стянутая веревками, с завязанными глазами, с кляпом во рту. Она пытается что-то сказать, о чем-то предупредить... Вслушайтесь! Вдруг завтра на ее месте окажетесь вы?..

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА

За всех молюсь,
чья смерть была страшна,
кто умирал истерзанный, избитый,
кто безнадежно причитал и плакал,
кому палач язык отсек под корень.

За всех, за всех, кто погибал на дыбе,
чьи кости изломали в колесе,
смывая кровью жертвы грех убийцы.

За всех, кого сгубила красота,
за всех, кого уродство погубило.

За всех не безобразных, не прекрасных,
но духом вольных, непокорных женщин.
За всех, чьи пальцы нежные в тисках
безжалостно мучители ломали.

За всех, за всех,
чьи трепетные руки
в застенках вырывали из суставов.

А как забуду я девичьи груди,
терзаемые жгучими клещами?

Как позабуду
бабок повивальных,
виновных только в том, что помогали
явиться человеку в мир безбожный?..

За всех колдуний,
за моих сестер
теперь молюсь, кто с облегченьем неким
скользил в объятья жаркого костра,

за всех, чья плоть, как перезрелый плод,
в бушующее пламя упадала.

За всех, кого лишь смерть могла очистить
от тяжкого, великого греха
быть женщиной, а это значит — большим,
чем просто совокупность
хрупких членов.

ДЖОН ХЕЙГ

Моя исповедь

Перевод с французского О. РОТЕНБЕРГ

Этот уникальный документ ярко и убедительно показывает, что вампиры и вурдалаки — не только мифическое порождение фольклора и литературы, нв просто персонажи древних поверий и легенд. Жил в нашем двадцатом столетии, в добропорядочной и цивилизованной Англии человек по имени Джон Хейг, оставшийся в истории под прозвищем Лондонский Вампир. Этот неприметный субъект совершил серию чудовищных убийств с единственной целью — напиться человечвской крови. Когда Хейг в конце концов попался, суд признал его вменяемым и отправил на эшафот. Перед самой смертью чудовище пожелало написать последнёе послание к людям. Мы много читали сказок и историй *о вампирах;* здесь же с нами говорит *сама* нежить, мы можем заглянуть в ее жуткий и причудливый внутренний мир, как бы сами почувствовать себя в шкуре вурдалака.

За несколько дней до казни /и своего последующего переселения в Музей восковых фигур мадам Тюссо/ Лондонский Вампир потребовал провести генеральную репетицию казни — он был существом дотошным и любил аккуратность. А напоследок, перед повешением, Хейг сказал: «Мне не жаль покидать Англию, тут слишком много предрассудков».

Право на публикацию «Исповеди» купили несколько журналов, в том числе «Франс-диманш», откуда и переведен этот документ.

Завтра меня повесят. В первый и последний раз я войду в ту из дверей моей камеры, которая никогда при мне не открывалась. Через одну дверь заходят ко мне надзиратели. Но я знаю, что через другую дверь, которая всегда заперта, выводят на казнь. Это воистину порог мира иного.

Я перешагну его без страха и угрызений совести. Люди осудили меня, потому что меня боялись. Я угрожал их жалкому обществу, их порядку. Но я выше их, я живу более возвышенной жизнью, и все, что я сделал, все, что называют преступлениями, я совершил, движимый божественной силой. Вот почему мне безразлично, что меня называют негодяем или сумасшедшим, безразлично и то, что глупые женщины рвутся посмотреть на меня. Надзиратель сказал мне, что в тюрьму на мое имя приходит много писем от этих легкомысленных созданий. Я спрашиваю себя, есть ли на земле кто-нибудь, способный меня понять. Мне и самому иногда это трудно и, записывая сегодня все, что я испытал, я не надеюсь найти достойного читателя.

Первый, кого я убил,— Уильям Дональд Мак-Сван. Позднее мне пришлось убить его отца и мать. В том, как я познакомился со Сваном, ничего загадочного нет. Он был владельцем игорного зала в Тутинге (пригороде Лондона). Это было в 1936 году. Я вышел из тюрьмы, где сидел за мошенничество. Это был мой первый срок. Я прочел в газете объявление Свана, которому был нужен управляющий для его игорного зала. Я жил в Уэйкфилде, в Йоркшире. Я телеграфировал ему, и он меня взял на работу. Я проработал на Свана год, а затем уволился. Мне было проще зарабатывать деньги в одиночку посредством нескольких ловких подлогов. К несчастью, я попался, и по нескольким приговорам мне пришлось пробыть в тюрьме до сентября 1943 года.

Выйдя из тюрьмы, я возобновил знакомство с молодым Сваном. Дела его шли неплохо. Он вложил деньги в недвижимость и занялся легкой промышленностью. Совершенно случайно я нашел работу в той же сфере и скоро открыл свое дело.

Осенним вечером 1944 года я встретил Свана в кафе в Кенсингтоне. Он

был встревожен — боялся мобилизации и признался мне, что хочет скрыться от призыва. С тех пор я часто с ним виделся, он даже познакомил меня со своими родителями. Как-то ночью я предложил ему зайти ко мне, посмотреть мою квартиру в подвале и мастерскую на Глостер-роуд, 79. Молодой Сван отправился со мной. Мы вошли вместе...

Чтобы объяснить то, что я сделал потом, нужно вернуться в далекое прошлое, в мое детство. Следует сказать о моих тогдашних снах.

Моя мать очень любила толковать сны, она верила, что они предсказывают будущее. Она покупала все книги на эту тему, и я тоже их читал. Мать иногда предугадывала болезнь или смерть близких. Ее предчувствия всегда подтверждались. Позднее я тоже обрел этот дар.

Первый сон, который я помню в точности, относится ко времени, когда я пел в хоре кафедрального собора Уэйкфилда. Ночью, засыпая, я видел мучения распятого Христа. В церкви я созерцал распятие и, улегшись в постель, видел голову в терновом венце и все тело Христа, кровь, текущую из ран. Меня охватывал страх.

В другом сне я строил огромную выдвижную лестницу, по которой забирался на Луну. Оттуда я смотрел на Землю, лежащую у моих ног, маленькую, как мяч. Что означал этот сон? Я думаю, он означал, что я совершу в жизни нечто грандиозное, такое, чего не сможет никто.

Чаще всего мне снилась кровь. Сны играли ужасную и таинственную роль в моем существовании. Однако вкуса крови я еще не знал. Я попробовал ее случайно и навсегда запомнил этот вкус.

Мне было лет десять. Я поранил руку металлической массажной щеткой. Когда я лизнул выступившую кровь, все во мне перевернулось. Липкая, горячая и соленая жидкость, которую я отсасывал из ранки,— это была сама жизнь. Это открытие годами не давало мне покоя.

Вскоре я стал нарочно резать себе палец или руку, чтобы приложить губы к свежей ране и снова почувствовать этот невыразимый вкус.

Так случай, отбросив века цивилизации, возвратил меня к тем легендарным временам, когда в человеческой крови черпали силу. Я понял, что принадлежу к *роду вампиров*. Почему? Почему именно я? Не могу объяснить. Я лишь описываю то, что испытал.

Вспоминаю о других случаях из моей юности, где кровь играла важную роль.

Подростком во время любовного свидания я, целуясь, укусил девушку в губы. Это случилось помимо моей воли и желания. Я сделал это бессознательно, когда ее горячий рот прильнул к моему. Затем наступило просветление и я убежал, не попробовав крови по-настоящему. Иначе не знаю, что могло бы случиться.

Но ни одно из этих происшествий не пробудило во мне ту безумную, нестерпимую жажду, тот великий зов крови, который мне пришлось услышать позднее.

На Пасху 1944 года я путешествовал в автомобиле по Сассексу. Проезжая местечко Три Моста, я слишком поздно увидел выскочивший навстречу грузовик. Удар был страшный. Моя машина опрокинулась. Я не потерял сознания, но глубоко рассек голову и истекал кровью. Мне удалось выбраться из перевернутого автомобиля. Кровь текла по моему лицу и попадала в рот. Этот вкус окончательно пробудил мою натуру. Ночью я увидел ужасный сон.

Я видел лес распятий, постепенно превращавшихся в деревья. Сначала мне показалось, что с ветвей стекали капли росы или дождя. Но, приблизившись, я понял, что это кровь. Вдруг весь лес начал извиваться, и кровь заструилась из деревьев. Она сочилась из стволов. Красная, лилась она с ветвей. Я чувствовал, что слабею, что силы оставляют меня. Я увидел человека, который шел от дерева к дереву и собирал кровь. Когда чаша наполнилась, он приблизился ко мне. «Пей!» — сказал он. Но я не мог пошевелиться. Видение исчезло. Однако я по-прежнему чувствовал, что

очень ослаб, и всем своим существом стремился к чаше. Я проснулся в полубессознательном состоянии. Я все время видел руку, подающую мне чашу, до которой я не мог дотянуться, и страшная жажда, в наши дни не знакомая никому из людей, навсегда вошла в меня.

Три или четыре ночи подряд я видел тот же сон, и с каждым пробуждением ужасное желание все больше переполняло меня.

Теперь вы поймете, что могло случиться с молодым Сваном в тот осенний вечер, когда он оказался у меня один. Я убил его ножкой от стола или обрезком трубы, уже не помню точно.

А потом я перерезал ему горло перочинным ножом. Сначала я попытался пить кровь, но это было очень неудобно. Я не знал, как за это взяться. Я держал тело над раковиной и пытался собрать красную жидкость в стакан. В конце концов я, кажется, стал медленно сосать прямо из раны, чувствуя глубокое удовлетворение.

Когда я поднялся, присутствие мертвого тела меня ужаснуло. Угрызений совести я не испытывал. Я спросил себя, как мне отделаться от трупа. Потом пошел спать.

В ту ночь мне приснились лес и чаша. Но на этот раз мне удалось схватить ее, и я напился крови с не меньшим удовлетворением, чем наяву. Проснувшись, я вспомнил о содеянном и спросил себя, как я смог дойти до такого.

Я вернулся в подвал. Наконец до меня дошло: необходимо решать, как поступить с телом. Я не подумал об этом заранее, но теперь я ясно увидел хороший способ.

В моей мастерской было много серной и соляной кислоты для обработки металла. Моих познаний в химии хватало, чтобы понимать, что человеческое тело состоит большей частью из воды, которая легко соединяется с серной кислотой.

К несчастью, у меня ничего не было подготовлено. Только на шестой или на седьмой раз я стал заранее готовиться к уничтожению трупов.

Следовало найти емкость. Я отыскал на кладбище нечто вроде металлического бочонка. Чтобы перевезти его в погреб, я одолжил у подрядчика на стройке тачку. Я поместил тело Мак-Свана в бочонок.

Теперь следовало налить туда кислоту. Пришлось воспользоваться ведром. Я не подумал о парах, которые мне сильно мешали,— пришлось выйти на свежий воздух, чтобы немного отдышаться.

Закончив эту работу, я вышел из подвала и закрыл за собой дверь. Вернувшись туда через некоторое время, убедился, что операция удалась. Тело растворилось. Я приподнял люк, сообщающийся с канализацией, и вылил в него эту бурду. Если бы от Мак-Свана и осталось что-то, все оказалось в море, вместе с лондонскими нечистотами.

Теперь следовало объяснить исчезновение молодого человека. Я вернулся туда, где жил Мак-Сван, чтобы встретиться с его родителями. Я объяснил, что их сын в бегах и скрывается от воинской повинности. Написав несколько писем его почерком, я отправил их из Шотландии.

Старики поверили письмам и не заявили в полицию. Я никогда особенно не боялся разоблачения, а угрызения совести были мне незнакомы. Меня вело высшее существо, оно было вне меня и проверяло каждый мой шаг.

Через два месяца после молодого Мак-Свана настал черед другой жертвы, на этот раз — женщины. Ей было лет тридцать пять. Это была брюнетка среднего роста. Я никогда прежде ее не встречал.

Мы встретились на улице в квартале Хаммерсмит. Я столкнулся с ней на мосту и сразу же понял, что она должна умереть. У меня был в разгаре период снов, и очень хотелось испить из чаши. Женщина согласилась пойти со мной. Я ударил ее по голове и напился крови.

И на этот раз я не продумал, как избавиться от тела, но у меня еще оставались кислота и бочонок. Я поместил в него молодую женщину,

додумался, что удобнее накачивать кислоту насосом. И отправился его покупать.

Лишь после второго Мак-Свана, отца Уильяма, я догадался использовать нечто вроде маски, чтобы не вдыхать пары. Затем я раздобыл резиновый фартук, сапоги и перчатки. В этом облачении, вооружившись деревянным колом, я перемешивал раствор.

Обоих стариков Мак-Сванов я убил в один день. Полиция так и не заметила исчезновения семьи Мак-Сванов. А ведь это было в разгар войны, когда каждый гражданин многократно проверялся из-за продовольственных карточек и всяческих документов, которые постоянно требовались от всех.

Я никого не убивал ради наживы. Если деньги были, я брал их и считал это новым доказательством заботы высшего существа обо мне. Но деньги для меня были чем-то второстепенным.

Что касается дела Мак-Сванов, то я явился к адвокату в Глазго и предъявил якобы заверенный нотариусом контракт, представившись Уильямом Дональдом Мак-Сваном. Я с легкостью подделал его подпись – у меня имелся богатый опыт подделки документов. Благодаря этому предлогу, я смог устроить распродажу собственности семьи Мак-Сванов. Эта серия сложных операций продолжалась два года и принесла примерно 4000 фунтов.

Но, повторяю, это было не столь важно. Я мог бы с не меньшим успехом зарабатывать на жизнь обычным мошенничеством. Скажем, я выгодно спекулировал автомобилями. Я даже мог превращать армейский бензин, окрашенный в красный цвет, чтобы им не торговали налево, в обычный, которым могли безнаказанно пользоваться гражданские лица. На одном этом можно было бы заработать состояние.

В ходе судебного разбирательства они спрашивали меня, каким ножом я перерезал горло жертвам. Мне трудно ответить, у меня было три ножа. И я хотел бы подчеркнуть в связи с этим, что не способен вспомнить какие-либо подробности происходившего в те минуты. Когда я был под влиянием моих снов, я, можно сказать, не видел ничего, кроме протянутой ко мне чаши; я кричал от жажды, а влага не достигала моей иссушенной гортани до тех пор, пока я не затаскивал в свой подвал человека и не принимался с несказанным облегчением высасывать жизнь из его рассеченного горла.

Моей пятой жертвой был незнакомый молодой человек, Макс, но прежде я расскажу о номерах шесть и семь, молодой чете Хендерсонов.

Арчибальд Хендерсон был лондонским врачом. У него была очаровательная молодая жена, Роза. Они исчезли в феврале 1948 года. Полиция никогда бы не раскрыла эту тайну, если бы не мое признание.

Я познакомился с ними очень просто. Они напечатали объявление о продаже дома на Лэдброук-сквер. Я отозвался, потому что это хороший способ входить в контакт с людьми, я им пользовался неоднократно.

Хендерсоны просили за свой дом 8750 фунтов. Я, к их большому удивлению, ответил: «Это слишком дешево. Если вы согласитесь на 10 500, я покупаю».

Позднее я узнал, что Роза Хендерсон сказала тогда обо мне своему брату: «Я встретила величайшего из дураков».

Но брат ответил ей: «Если человек так говорит, его надо остерегаться».

Как видно, чутье у него было.

Впрочем, скоро я сказал Хендерсонам, что не смог собрать нужную сумму, и больше об этой покупке не вспоминали. Однако знакомство состоялось, и я сблизился с Хендерсонами. Эти люди были мне интересны и забавляли меня.

В то время они жили в Фулхэме. Мы провели вместе много вечеров. Я играл им Брамса на пианино, они слушали часами.

У них был пес, великолепный ирландский сеттер рыжеватого окраса, по имени Пат, с которым мы подружились. Он напоминал мне щенка, которого в детстве подарил мне отец. Впрочем, я всегда любил собак и помню, как возмутил какого-то идиота, заявив, что, если мне за рулем

машины придется выбирать, кого задавить — собаку или человека, я в любом случае выберу человека.

Когда Хендерсоны погибли, я взял Пата к себе, а когда он ослеп, поместил его в один из лучших собачьих пансионов.

Хендерсоны много рассказывали о себе, и скоро я узнал все, что их касалось. Это очень пригодилось мне в дальнейшем.

Мистер Хендерсон был вторым мужем Розы, а Роза — его второй женой. Он был вдовцом, она — разведенной. Ее первый муж, немецкий инженер Рудольф Эррен, в годы первой мировой войны служил в знаменитой эскадрилье «Цирк Рихтгофена» под командованием Геринга. После войны он поселился в Англии, а теперь опять живет в Германии.

Удивительное совпадение: Эррен с женой одно время жили в «Онслоу-Корт», гостинице в Кенсингтоне, где я собирался поселиться. Роза была обречена на встречу со мной, и я узнаю в этом перст высшей силы, что правит мною.

После развода в 1938 году Роза вышла замуж за Арчибальда Хендерсона, блестящего врача с богатой практикой. Они жили роскошно, и Роза появлялась на светских приемах в великолепных туалетах, увешанная драгоценностями. Это была очень красивая и живая брюнетка. В 1926 году она участвовала в конкурсе красоты и ее фото напечатали в газетах.

Чтобы закончить о Розе, добавлю, что она была дочерью врача из Манчестера и что у нее имелся брат, Арнольд Барлин, осмотрительный делец, который еще сыграет важную роль в этой истории. Примечательно, что он заподозрил неладное еще тогда, когда я предложил Хендерсонам слишком большую сумму за их дом.

Во времена моего сближения с Хендерсонами мне приснился особенно мучительный сон. О! На этот раз то были уже не окровавленные деревья и не протянутые ко мне чаши крови!

В новом сне я вгрызался в горло маленькой дочери моих друзей и жадно пил ее кровь.

При мысли о том, что я мог, пусть даже во сне, причинить зло тем, кого уважаю и люблю, я пришел в ужас.

Что до Хендерсонов, они не были моими друзьями. Занятное знакомство, не более того. А когда я знаю, что человек может стать моей жертвой, это странным образом мешает мне испытывать к нему дружеские чувства.

Роза призналась мне, что при внешнем блеске они с мужем испытывают финансовые затруднения. Так что я убил их не ради выгоды. У Арчи были долги, и они с женой часто ссорились из-за денег.

В 1948 году Хендерсоны отправились в Брайтон и поселились в гостинице «Метрополь». Период моих снов в это время достиг кульминации. Я от них совсем заболел. Арчи жаловался на мою рассеянность: я совсем не обращал внимания на то, что он говорит. Я уже был всецело охвачен моей ужасной жаждой. Мне снова снились леса из распятий, превращавшихся в деревья, с которых стекала кровь. И я просыпался, одержимый звериным, нестерпимым желанием.

Моей новой жертвой должен был стать Арчи.

Под каким-то предлогом я привез его из Брайтона в Кроули и в моей мастерской на Леопольд-роуд всадил ему в голову пулю из его собственного револьвера, который украл у него на одной вечеринке.

Вернувшись в Брайтон, я сказал Розе: «Арчи у меня стало плохо. Это не опасно, но он хотел, чтобы вы приехали. Я отвезу вас».

Она поехала со мной, ни о чем не подозревая. В мастерской я сразу же убил ее, уже не помню как.

Я высосал большую часть крови Арчи и Розы. Меня защищала незримая рука. Я был настолько уверен в себе, что оставил трупы в мастерской, когда выходил купить респиратор и новую емкость для кислоты. Респиратор, как я уже объяснял, защищал меня от испарений серной кислоты, покуда я мешал свою бурду. Новая емкость требовалась для второго трупа.

Я оставил Арчибальда и Розу в подвале, ни о чем не тревожась. Первого я собирался растворить в пятницу, во второй половине дня. А в субботу после полудня красивое, еще недавно полное такого очарования тело Розы Хендерсон растаяло в кислоте, как тает от жары восковая куколка. Его форма и цвет исчезали медленно, как гигантский кусок сахара, который я помешивал большой палкой, долго, терпеливо, спокойно...

Я вернулся в Брайтон, тоскливый общедоступный курорт, оплатил в отеле счет Хендерсонов, забрал их вещи и Пата, славного пса, и вернулся к себе.

Следовало отвести подозрения тех, кого могло бы встревожить исчезновение супругов. Я написал домовладельцу Хендерсонов в Фулхэм и брату Розы в Манчестер, безупречно подделав почерк и подпись молодой женщины. Остроумная находка — я воспользовался фирменной бумагой отеля «Метрополь». Я объяснил, что по причине неких трудностей семья Хендерсонов решила эмигрировать в Южную Африку и что их другу (мне) поручено заняться их делами.

Хендерсоны умерли 13 февраля. 17-го числа мне позвонил брат Розы, Арнольд Барлин. Впрочем, он и раньше звонил мне по вопросу недвижимого имущества его сестры. «Что происходит?» — спросил он. «Не беспокойтесь,— ответил я.— Я заключил с Арчибальдом соглашение. Я передал ему до отъезда 2500 фунтов. Если он не вернет их через два месяца, его машина и его дом по договору перейдут ко мне. Впрочем, я могу показать вам письмо от Арчибальда с просьбой оплатить его счет в гостинице в Брайтоне и забрать Пата — помните, его пса? У меня есть и договор, который мы оба подписали». (Я заранее предусмотрительно приготовил обе фальшивки.)

Недоверчивый Барлин приехал в Брайтон. Хозяин гостиницы сказал ему, что я действительно приезжал за собакой и оплатил счет. Через несколько дней Барлин приехал ко мне вместе с женой. Я подготовился к этому посещению. Я объяснил им, что причиной отъезда была семейная ссора Хендерсонов. Они решили уехать, чтобы не впутывать родственников в свои проблемы.

Я повез Барлинов в моей машине на вокзал, к манчестерскому поезду. Вдруг миссис Барлин наклонилась и подняла с пола маленький блокнотик. Она воскликнула:

— Но это же записная книжка Розы!

Мне хватило присутствия духа, чтобы сразу ответить:

— Ах да, она, наверное, выпала, когда я вез их вещи из Брайтона.

Однако после этого наступило неловкое молчание. Перед тем как выйти на перрон, Арнольд Барлин сказал мне:

— Если моя сестра и деверь не объявятся до понедельника, я сообщу в полицию.

В этот миг я мысленно внес Барлина, его жену и их сына в список моих ближайших жертв.

Итак, они собирались заявить в полицию в понедельник; однако в субботу им пришло письмо следующего содержания:

«Мой дорогой Арнольд, вы так давно не получали от нас известий, что, наверное, волнуетесь. К несчастью, Арчи как-то догадался, что я собираюсь его оставить после нашего возвращения в Лондон. Мы поссорились из-за этого в Кингсгейте. Он обвинял меня в том, что у него неприятности, что я трачу много денег. Даже пригрозил покончить с собой, если я от него уйду. Оставалось одно — действовать быстро. Он занял денег у Джона Хейга (вы, может быть, помните его по Беркли), а я осуществила план, составленный мной на этот случай. Все идет очень хорошо, хотя нам и пришлось некоторое время постыдно лгать.

Я думала, что мы сможем приехать к вам в конце этой недели, но следует проявлять осторожность по крайней мере недели три. Мы избегаем тех мест, где Арчи обычно бывал. Он очень мил и почти не пьет. В следующий вторник мы поедем в Ньюкасл. Это все, что я хотела вам сказать в этом письме. Вы все поймете, когда мы снова увидимся. Надеюсь, что

у Джона Хейга все в порядке. Сильно похолодало, и мне бы нужно одеться потеплее, но я не поеду за вещами на Дейвз-роуд до нашего возвращения.

Надеюсь, что у вас все хорошо. Не беспокойтесь. Мой привет Мамси».

Под этим стояла торопливая подпись: «Роза».

Подпись полностью успокоила Арнольда Барлина. В ходе следствия он вспомнил, что Роза назвала мать «Мамси», хотя обычно она говорила «Мамми». Были также описки и орфографические ошибки, но понимая, в каком состоянии была его сестра, он в тот момент не обратил на них внимания.

Признаться, я иногда делаю ошибки в правописании. Наполеон их тоже делал. Из-за ошибки меня один раз поймала на подделке полиция, когда я забыл одно «д» в слове «Гилдфорд».

Позднее Барлин позвонил мне, чтобы узнать, нет ли новостей от его родственников. Через несколько дней я отправил ему почтовую открытку за подписью Розы. Потом ему взбрело в голову нанять частного детектива. Я посоветовал ему быть осторожным, сказав, что, возможно, у Хендерсонов были сложности такого рода, о которых полиции лучше не знать.

Чтобы покончить с этим, я решил играть по крупной. Я написал Барлину письмо на четырнадцати страницах за подписью Розы. Я так хорошо знал частную жизнь Хендерсонов и так хорошо подражал стилю и почерку миссис Хендерсон, что все полицейские и эксперты Скотланд-Ярда восхищались позднее моим письмом как шедевром подделки. Я горжусь им, как Рембрандт мог бы гордиться своим лучшим полотном. Подделка для меня — искусство. С детства у меня было к ней призвание. Еще в школе я подделывал подписи учителей.

Этим письмом на четырнадцати страницах мне удалось убедить Барлина, что Хендерсоны готовятся уехать из Англии в Южную Африку. В письме объяснялось, что Хендерсоны оставили мне свой дом в покрытие предоставленной ссуды. Там был указан их новый адрес: Дурбан, Южная Африка, до востребования.

Арнольд Барлин приехал в Лондон, чтобы уладить дела сестры. Я встретил его любезно и сказал: «Не очень-то красиво поступила Роза, уехала, не попрощавшись со старушкой матерью».

Впрочем, из-за этой старухи вскоре вышли ужасные осложнения. В феврале 1949 года она серьезно заболела. Барлин известил Розу. Ответа не было. Он позвонил мне и сказал:

— Я беспокоюсь. Вообще, в следующий мой приезд в Лондон я иду в Скотланд-Ярд.

— Согласен,— сказал я.— Но прежде загляните ко мне.

— Конечно,— ответил он.

Я не смог сдержать улыбку, услышав это.

— Да,— сказал Барлин,— я хотел бы взять вас с собой, потому что вы располагаете всеми документами и бумагами по этому делу.

— Разумеется,— ответил я.— А скажите, вы привезете с собой мадам Барлин и вашего ребенка? Я был бы рад их видеть.

— Я вам это обещаю.

— Прекрасно,— сказал я в заключение,— я подготовлюсь, чтобы принять вас.

— Вы очень любезны,— ответил болван.

Три или четыре дня спустя умерла старая мадам Барлин, и это задержало поездку ее сына в Лондон. На следующий день, просматривая газету, Арнольд Барлин в разделе происшествий прочел об исчезновении богатой леди, миссис Дюран-Дикон.

Озабоченный трауром и семейными делами, он читал рассеянно, но последний абзац заметки заставил его вздрогнуть. В газете говорилось: «В день своего исчезновения миссис Дюран-Дикон встречалась в универсальном магазине с неким Джоном Джорджем Хейгом, который явился в полицию, дал подробные свидетельские показания и предложил принять участие в розыске».

Арнольд Барлин был близок к обмороку. В один миг он понял все: исчезновение родных и то, что произошло бы с ним, его женой и ребенком, явись они ко мне. Ему едва хватило сил набрать по телефону «999», чтобы вызвать полицию. Я был обречен.

В разгар истории с Барлином произошел эпизод с Мэри, жертвой номер семь. Это было в Истбурне: Я встретил эту женщину, не то проводившую там отпуск, не то приехавшую на заработки, уже не помню. Во всяком случае, она была не из этих мест. Я знаю лишь ее имя, Мэри. Мы с ней долго болтали, и я пригласил ее поужинать со мной в Хастингсе. Мы пошли в кафе у моря. Был конец лета или начало осени — последние погожие дни. Закатное солнце на миг превратило море в кровь. Я вздрогнул. Перевел взгляд на Мэри, а она сказала, идиотка: «Красиво, правда? Как будто на цветной открытке».

Я был далек от столь вульгарных впечатлений, я чувствовал, что меня охватывает дьявольская жажда. Я без труда завлек Мэри в Кроули. Мы вошли в мою мастерскую на Леопольд-роуд. Тотчас же я схватил за рукоятку какой-то инструмент и яростно ударил ее по голове. Затем надрезал ей шею и жадно припал к ране.

Ночью мне приснился тот умиротворяющий сон, который я видел обычно после убийства. Призрак протянул мне чашу крови, и я пил из нее большими глотками.

Мэри говорила с уэльским акцентом. Помню ее летнее бело-голубое платьице и открытые белые туфли. В сумочке у нее не было ничего особенного, разве что флакончик духов. Я так и не смог узнать ее фамилию. Полиция тоже не сумела это выяснить.

Перехожу к девятому человеку, умерщвленному мной. Предпочитаю употреблять это слово. Я не люблю говорить «убийство» — возникает впечатление жестокости и страдания. Умерщвлять, напротив, означает неукоснительно следовать воле всемогущего Духа, который вел меня и приказывал мне брать кровь мужчин и женщин. Человек — пешка в руках высшего существа.

Та же внешняя сила решила теперь, что настало мое время умереть, и я принимаю ее божественное решение. К тому же я устал. Мои глаза не выдерживают. Я слишком много прочел и написал и спешу закончить эти воспоминания. Чтобы писать дальше, мне приходится надевать очки в золотой оправе, принадлежавшие доктору Хендерсону, моей шестой жертве.

Но обратимся к миссис Оливии Дюран-Дикон, последнему человеку на этой земле, у которого я выпил стакан крови. Когда я ее встретил, это была, как выразился на суде прокурор, «женщина на закате жизни». Надо признать, именно с ней я был особенно небрежен. Вообще-то это мне не свойственно. Я люблю повторять, что лучше несправедливость, чем беспорядок. Но я чувствовал себя настолько защищенным высшей силой, управлявшей мной, что забыл принять элементарные меры предосторожности.

Миссис Дюран-Дикон жила в том же семейном пансионе в Кенсингтоне, что и я. Там я с ней и познакомился. Я понравился этой старой даме, беседовал с ней о музыке, искусстве, литературе. Были у нас также философские и религиозные разговоры. Она написала книгу размышлений под заглавием: «Так говорил Господь». Сам я тоже выступал на религиозных собраниях. Помню, что умел растрогать слушательниц до слез. К тому же я написал несколько статей для религиозных журналов. Благодаря этому я был в милости у миссис Дюран-Дикон, которая, несмотря на мои сорок лет, называла меня «в высшей степени достойным молодым человеком».

На суде публика узнала, по какому смехотворному поводу она пришла ко мне. Старая дама очень страдала оттого, что у нее выпали ногти, и я сказал, что постараюсь сделать ей ногти из пластмассы в моей мастерской.

Так 18 февраля 1949 года она отправилась в свой последний путь.

Я умертвил ее выстрелом в затылок. Затем надрезал ей шею и выпил

стакан крови. Она носила на шее крест. Я ощущал бесконечное наслаждение, когда топтал его ногами.

Мой способ избавиться от тела был отработан до автоматизма. К тому же для миссис Дюран-Дикон *я заранее приготовил бочонок с кислотой.*

Я уже говорил, что небрежно проделал все эти манипуляции. Кислоту я купил на свое имя, не полностью сжег сумочку миссис Дюран-Дикон, и полицейские нашли ее куски. Я не полностью растворил тело, и было найдено достаточно останков, чтобы обвинить меня в убийстве.

В оправдание могу сказать, что с миссис Дюран-Дикон мне пришлось нелегко. Представьте, каково это — втиснуть в бочонок тело весом в девяносто килограммов. Но это недостаточно объясняет мою небрежность. Может быть, я просто устал убивать, и мне не терпелось покончить с миссией, возложенной на меня высшим божеством, и обрести покой хотя бы на том жалком клочке земли, где хоронят казненных.

Измучившись от возни с тяжелым телом старой женщины, я вышел выпить чаю. Вернувшись, я обнаружил, что *оставил дверь открытой.* Кто угодно мог войти и увидеть труп.

Я умертвил миссис Дюран-Дикон в пятницу. В следующее воскресенье я был у друзей. Одна девушка вдруг сказала мне: «Не смотрите на меня так!» Я отвел глаза, но исподтишка все же продолжал ее разглядывать.

Тогда она заявила: «Я чувствую, что вы все еще на меня смотрите».

И вдруг закричала: «Убийца!»

Этот дар прозрения (хоть я и не приемлю слово «убийца», я уже объяснял почему) кажется мне необъяснимым.

Вскоре полицейские, расследовавшие исчезновение миссис Дюран-Дикон, нашли у меня улики — останки ее тела, остатки вещей. Моя судьба свершилась.

Теперь, когда все кончено и я завершаю свой рассказ, я хотел бы еще кое-что добавить. Одна из моих последних мыслей — о Пате, собаке Хендерсонов. Это был мой большой друг, и я очень доволен, что смог что-то для него сделать и позаботиться о хорошем уходе за ним.

Может, это мелкое тщеславие, но оно вполне простительно для человека на пороге смерти: я хочу, чтобы одежду, в которой я был на суде, отправили в музей мадам Тюссо для моей восковой фигуры. Пусть туда передадут также мои зеленые носки и красный галстук в зеленую клетку. Надеюсь, что мой восковой портрет похож. Я желаю, чтобы хранитель музея Тюссо следил за безупречной складкой на моих брюках. В тюрьме я потолстел. Это неприятно. Надеюсь, что у моего изображения будет сохранена более стройная фигура.

Хотел бы сделать еще одно забавное признание. Мои первые опыты с кислотами я провел в тюрьме, когда сидел за подлог. Одно время я работал в жестяной мастерской, там были различные химикаты. Я договорился с заключенными, занятыми на сельскохозяйственных работах, и они приносили мне лесных мышей. Часами я наблюдал за медленным растворением мыши в кислоте. Это мне очень пригодилось позднее, когда мне пришлось заставлять исчезнуть людей. Мыши и люди...— как говорится в Писании.

Во всяком случае, повторяю, что я умерщвлял не ради денег. Для этого мне было бы проще убрать моих родителей и получить наследство.

На суде мне было очень скучно. Казалось, что я во второй раз смотрю один и тот же фильм. Но меня развлекли пикантные подробности, добавленные к моей истории некоторыми свидетелями.

Среди изобретений, работу над которыми я завершал, когда был арестован, есть способ воспрепятствовать утечкам газа в квартирах. Я мог бы спасти тысячи человеческих жизней. Этот труд на благо общества был прерван, чтобы спасти тех трех-четырех малоценных людей, которых я мог бы уничтожить!

Я нисколько не горжусь моими приключениями. Рок слишком тяжко

давит на меня. Я все время думаю об этом стихе, кажется из Екклесиаста: «Свершилось то, что должно было свершиться».

Я знаю, что от двери моей камеры четырнадцать шагов до эшафота. Немногое отделяет меня от перехода в вечность. Сегодня идет дождь. Я вижу, как дождь стучит по верхушкам вязов, возвышающихся над стеной тюрьмы, и меня охватывает желание, которое я чувствовал иногда под сенью великолепного леса, я, совсем один, должен достичь цели, может быть, недостижимой.

Я думаю о строках, написанных великим человеком древности, уже не помню кем. Мне кажется уместным процитировать их сейчас. «Пока не остановятся станки и не перестанут сновать челноки, Бог не развернет свиток и не откроет причину».

Я родился 24 июля 1909 года в Стамфорде, в Линкольншире. Мои родители в то время жили в нищете. Отцу было тридцать восемь лет, матери — сорок. Отец был старшим мастером-электриком, но оказался без работы. Родителям не на что было купить даже пеленки для будущего ребенка. Моя мать убеждена, что месяцы страданий и забот, предшествовавших моему рождению, стали причиной моего, как она это называет, психического заболевания. «Это моя вина,— сказала она.— Почему меня не судили вместе с сыном? Я так же виновата, как и он».

Положение родителей улучшилось лишь несколько месяцев спустя. Они оба были очень религиозны. Отец стал главой религиозной общины Братьев. Они воспитывали меня в бесчеловечной атмосфере, хуже, чем в монастыре. Я не знал ни одной из детских радостей.

У моего отца на лбу синеватый шрам, по форме напоминающий крест. Он объяснял мне, что это печать Сатаны. Он грешил, и Дьявол наказал его.

«Если ты согрешишь,— говорил он мне,— Сатана отметит и тебя так же».

На протяжении нескольких лет я искал на лицах людей эту синюю отметину. Поскольку ни у кого ее не было, я думал, что один мой отец согрешил, а весь остальной мир невинен.

Каждый вечер я вспоминал, какие дурные поступки совершил за день. Если мне было в чем себя упрекнуть, я инстинктивно подходил к зеркалу, чтобы проверить, не появилась ли на лбу отметина.

Я ходил в школу до семнадцати лет и пел в хоре кафедрального собора. В воскресенье я вставал в пять часов, чтобы успеть к заутрене. Весь день я проводил в церкви. После вечерни, когда я возвращался домой, мои родители молились, и я присоединялся к ним.

Из-за этого странного образа жизни мои сверстники не любили меня. Однако я был всегда готов помочь ближнему. Я обожал животных, отдавал свою еду бродячим собакам. Еще я любил кроликов и диких птиц.

В 1927 году, в восемнадцать лет, я почувствовал невыразимую потребность выплеснуть религиозный мистицизм, переполнявший меня. Я отправил в журнал статью «Об упадке человека», и ее опубликовали.

Я верил в то, что послан к людям с великой целью. Я стал проповедовать Братьям. Когда я заговорил впервые, обнаружилась чудесная вещь — у меня есть дар слова. Толпа верующих слушала меня с трепетом, по лицам текли слезы. Мои родители были очень горды мной.

И вот я, юный проповедник чистоты, всего через несколько лет оказался в тюрьме Лидса за подлог.

Что произошло?

Прежде всего виноваты мои руки, белые руки художника. Всю свою жизнь я их лелеял с каким-то мне самому непонятным фетишизмом. В тюрьме не хватает мыла и горячей воды, чтобы мыть руки несколько раз в день. Именно они не дали мне зарабатывать на жизнь честным и тяжелым трудом, который бы их изуродовал. Даже за мрачными манипуляциями, помешивая трупы, тающие в кислоте, я не забывал надеть резиновые перчатки. За рулем машины я надевал перчатки из кожи. У меня их множество пар, в тон цвету костюма и галстука.

Год я проработал на фабрике моторов, год — в конторе, год — в компании «Шелл». После совершеннолетия я решил начать собственное дело. Мы с компаньоном открыли страховую и рекламную контору, затем в 1933 году — фирму, торгующую световой рекламой. Все это принесло мне много хлопот и мало дохода.

Я уже понимал, что быть честным невыгодно.

В 1934 году я сделал решающий шаг. Люди так глупы. Я заметил, что система проката и продажи автомобилей очень плохо организована и позволяет легко мошенничать каждому, кто хоть немного соображает. И вот я поступил на службу в компанию, занимавшуюся прокатом и продажей автомобилей.

В том же году, в июле, я женился на красивой девушке двадцати одного года, Беатрис Хэмер. Я женился на ней, чтобы уйти от родителей. Я не мог жить с ними, с их религиозными принципами, после того как выбрал нечестную жизнь.

Но мое семейное счастье длилось недолго. В ноябре меня посадили в тюрьму. Я торговал несуществующими автомобилями. Моя жена решила, что больше мы не увидимся. Пока я был в тюрьме, она родила девочку. Этого ребенка удочерили неизвестные мне люди. Живет сейчас девушка четырнадцати лет и не знает, что ее настоящий отец — я, Джон Хейг, которого называют Лондонским Вампиром.

Я вышел из тюрьмы и вернулся к родителям, простившим меня.

За мое следующее предприятие я поплатился четырьмя годами тюрьмы. Выбрав в телефонном справочнике наугад фамилию стряпчего, я открыл под этим именем контору в другом городе. Я продавал моим клиентам несуществующие акции.

Когда я вышел на свободу, Великобритания воевала. Я нашел себе работу в Гражданской обороне. После кошмаров больших бомбардировок я отрекся от веры в справедливого и любящего Бога.

Как-то раз я был на дежурстве вместе с медсестрой из Красного Креста. Завыли сирены. Они еще не замолчали, как уже падали бомбы. Мы с медсестрой вышли, чтобы занять свой пост. Вдруг я услышал ужасный свист и бросился в подворотню. Бомба взорвалась с апокалипсическим грохотом. Когда я поднялся, контуженный, к моим ногам подкатилась голова. Это была голова моей недавней спутницы, такой веселой, милой. Как Бог допустил такую мерзость?

Теперь я верю не в Бога, а в высшую Силу, которая заставляет нас действовать и таинственно управляет нашей судьбой, не помышляя о добре и зле. Я рассказал, как она толкала меня на умервщление людей, насылала ужасные сны, породившие жажду крови. Мне, тому, кто любит, обожает самых маленьких и слабых, приказано было убивать и пить человеческую кровь.

Этого не может быть! Девять убийств, совершенных мной, должны найти объяснение где-то за пределами земного мира. Неужели они бессмысленны, неужели они — лишь сон безумца, полный шума и ярости, как сказал великий Шекспир?

Значит, есть вечная жизнь? Скоро я это узнаю.

А пока — прощайте.

РАМОН ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА

ЧУДИЩА, ПРИЗРАКИ, КОЛДУНЬИ

Из книги «Гойя»

Перевод с испанского Н. МАЛИНОВСКОЙ

РАМОН ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА (1888—1963) — испанский писатель, публицист, с 1936 г. жил в Аргентине. Автор романов «Отпечаток» (1914), «Цирк» (1924), сборника новелл «Необыкновенный доктор» (1921; рус. пер. 1927), киноромана «Киноландия» (1924; рус. пер. 1927); в «ИЛ» (1982, № 10) напечатаны его грегерии. Перу Р. Гомеса де ла Серны принадлежат также романизированные биографии испанских художников Эль Греко, Д. Р. Веласкеса, Ф. Х. Гойи. Глава из книги о Гойе (1928) предлагается вниманию читателя в этом номере.

У Гойи колдуют расхристанные старухи со сверлящим взором — те самые, что наводят ужас в нищих предместьях, мелькая в дверных проемах своих грязных лачуг.

Во времена Гойи эти замызганные притоны начинались едва ли не у Пуэрта-дель-Соль, а нищета грозила каждому.

Старухи, глядящие вслед художнику,— ведьмы, властвующие над жизнью.

Визгливые, навязчивые, прожорливые ведьмы в старости всегда безобразны. Вечно они спешат с пузатыми кувшинами к реке клеветы и лжесвидетельствуют, не упуская случая.

Гойя видел их глаза в глаза — это они, снуя вокруг, наводили на него порчу. Он знал их в лицо и потому выволок на всеобщее поношение из смрадной человечьей кучи, из общего могильного рва, куда угрюмое чудище — старость — затащило суеверную юность.

Всегда у Гойи эти старые шептуньи — *ше-по-ту-ньи* — шныряют вблизи молодых.

Эти адские вестницы, жрицы мести, ворожеи и колдуньи неустанно вредят красоте, губят счастье и рушат доверие.

Злое горение жизни, ее ядовитое цветение и черный наговор воплотил в них Гойя.

И душевную низость. У Гойи, как и впоследствии у Ларры [1], всегда ощутимо отвращение к сводням.

Надменные гордецы, недоумки, болваны, юные сумасбродные ветреницы... И как апофеоз всего этого мелкого зла — те, в ком оно сгустилось и закаменело: проваленные жадные рты, грызущие свои же собственные тощие руки, кости, раздирающие сморщенную желтую кожу,— вот они, ведьмы, средоточие земного раздора, губительной женской сущности.

Гойя знает, что это они, ведьмы, жабье отродье, примешивают к жизни и ржу, и ярость, и азарт; это они толкают к самому краю, манят во тьму, склоняют к самой черной неблагодарности, подлым обманам, измене.

Это они на радость завистницам расставляют красавицам ловушки, смущают их дурными советами, стравливают людей, сеют раздор. Главное — взбаламутить, изгрязнить жизнь, заронить семена страха, разбудить бурю и преподать нам очередной горький урок: нет верности на земле! Вот она, беззубая ведьмина радость!

В те времена инквизиция еще свирепствовала и наводивший ужас трибунал, клонясь к упадку, еще выносил приговоры последним своим жертвам — этим жутким старым курицам, продавшим, по слухам, душу дьяволу.

Щербатые рты реликтов, дряхлых врагинь прогресса, все еще мелькали и в больших городах, и в самых жалких городишках, и нигде прогресс не давал им спуску.

В подписях Гойи к своим офортам ирония смешана с ужасом. Вот он рассуждает о нечистой силе: «Известно, что это племя показывается только ночью, во тьме. Никто до сих пор так и не разузнал, где они прячутся днем. Если б кому-нибудь удалось обнаружить их убежище, поймать хоть одну тварь

[1] Марьяно Хосе де Ларра-и-Санчес де Кастро (1809—1837) — испанский писатель-романтик. (*Здесь и далее прим. перев.*)

Многое можно сосать.

Когда рассветет, мы уйдем.

Тебе не уйти!

Поддувает.

и засадить ее в клетку, чтобы показывать по утрам на Пуэрта-дель-Соль, он бы и думать забыл о некогда желанном наследстве».

До Гойи художники не давали такой воли своему воображению, у него же все несусветное, парадоксальное, осененное смертью не просто живет, но трепещет на холсте. Пристрастие к пляскам смерти — вообще отличительная черта испанского духа.

Гойя идет на бой с ведьмами потому, что видит в них воплощение тех пороков, что ужасали его в иных совсем еще не старых женщинах,— о них он не хочет упоминать. Ведьмы представляются ему жрицами неискоренимой низости — не зря же они готовы осмеять и втоптать в грязь все, чем живет душа.

Из века в век гении испанской словесности обрушивают свою ярость на неистребимую Селестину — сводню. Вслед за Протопресвитером Итским [2] и Рохасом [3] ее клеймит Кеведо. И есть в этой страстной ненависти к одному из древнейших ведьмовских занятий у каждого из них свой счет — своя боль и тягостная память о предательстве.

Гойя сроднился с испанскими сумерками, темным часом для художника, и, процарапывая на медных пластинах рисунки своих «Капричос», он, казалось, врезал в них черноту своей ночи, кишащей ведьмами. Ведь ночь, когда их своры застят небо,— их время, глухая пора их силы и разгула.

Есть в этих гойевских ведьмах — всегда себе на уме, закоренелых язычницах, злоязычных ехиднах, разжигающих суету сует, тщеславие и пагубные страсти,— горькая насмешка над человеческой трагикомедией.

Ежевечерне в театре, где Гойя был зрителем, эти ночные призраки играли свой зловещий спектакль, воплощая его тревоги и страхи.

Призраки, тени, чудища — всех их, а не только ведьм Гойя вывел на сцену.

Он жаждал необычайных, неслыханных и невиданных зрелищ — и на его полотнах возникали исчадия ада. Он хотел предостеречь, растревожить сонные людские скопища, разбудить фантазию.

Все сильнее Гойю притягивала драма разлада. Своими трагическими работами он выправлял картину мира, явленную прежде в придворном цикле. Там была одна половина правды — радостный праздник, шум веселья, шелест шелка и блеск огней.

А вот другая: чудища, ведьмы и ринувшиеся вслед им толпы с безумно горящими глазами, черный хор мелкой дряни, ликующей при виде своих кумиров.

Гойя нашел противовес обыденности и веселью — черную тайну, сокрушившую ангельскую мелодию.

С ведьмами низшего пошиба — доносчицами, наушницами, кляузницами — Гойя расправляется жестоко, только перья летят! Вот эти дщери сумрака корчатся под его взглядом, бессильно отступая перед истинной любовью.

Но в страстной гойевской ненависти иногда проскальзывает не просто сочувствие — почти нежность к ведьме. Ведь не летай она на помеле, наводя страх на всю округу, как беспросветно унылы были бы деревенские ночи!

Гойя — последний бытописатель ведьм, когда-то непременных персонажей испанской жизни.

Педро де Валенсиа [4], автор старинного трактата о колдовстве и колдуньях, упоминает о разных снадобьях, потребных ведьмам: «Следует запасти цикуту, паслен, мавританскую траву, белену, корень мандрагоры». Эрнандо Кастрильо подробно говорит о мавританской траве: «По уверениям Лагуны [5], мавританская трава, иначе называемая *основой*, это не что иное, как черный паслен. Отвар его корня (достаточно одной драхмы [6]), погружает в сон, исполненный наиприятнейших видений — мерещатся празднества, цветущие сады, балы. Мануэль Рамирес [7] полагает, что именно из мавританской травы изготовляется мазь, которой натираются ведьмы, чтобы заснуть и унестись на свое сборище. Трава эта на ощупь влажная, словно бы даже мокрая и сильно холодит; если же давать ее три дня подряд в двойной дозе, можно вызвать буйное помешательство, неминуемо влекущее за собой смерть».

Надо бы упомянуть и другие колдовские травы: вороний глаз и болиголов

[2] Протопресвитер Итский Хуан Руис (1283—ок. 1350) — испанский поэт, автор «Книги благой любви» (ок. 1343).

[3] Фернандо де Рохас (ок. 1465—1541) — испанский писатель, автор «Трагикомедии о Калисто и Мелибее» (1499), называемой обычно «Селестина» — по имени сводни, которое сразу же стало нарицательным.

[4] Педро де Валенсиа (1555—1620) — испанский гуманист и философ.

[5] Андрес Лагуна (1494—1560) — испанский писатель, ботаник и придворный врач Карлоса Первого.

[6] Драхма — аптекарская мера, равная 3,58 г.

[7] Мануэль Рамирес де Каррион (1584—1650) — испанский ученый, автор трактата «Чудеса природы».

крапчатый — иначе свистульник, полынь-чернобыльник и дурман вонючий, багульник болотный, дулькамару и волчье лыко, адамову голову и кошачью лапку, бузину, спорынью, мышатник, собачью петрушку, дикий мак, черную чемерицу, белену, могильник, не говоря уж о таких ведьмовских снадобьях, как змеиная кровь и печень неокрещенного младенца.

Все перечисленное надлежит особым образом смешать, ссыпать в горшок и, перекрестившись левой рукой и крикнув: «Гори, очаг! Кипи, котел! Варись, трава!» — тихонько помешивать, приговаривая:

Шатун и пролаза, рыкастый обжора,
отравное зелье болота и бора,
Нахраписты̆й, хваткйй, крысиный, кротовий,
обманчиво тройственный, будь наготове,
Эреб, нестерпимый для смертного взгляда,
кем были зачаты свирепые чада,
предстань предо мной и взойди на порог,
где знак Зороастра кладу как зарок.

Можно также призывать тех, кого упоминает каббала:

«Цебаот! Цебаот! Татагран! Мазагран! Стильметикон! Синдитокон!»

Сервантес устами ведьмы Каньисарес рассказывает о знаменитой андалузской колдунье Камаче [8] из Монтильи: «Захочет она — и черные тучи скроют солнце, а дождь обратится в град; повелит — и в тот же миг стихнет буря. Пальцем шевельнет — и перенесет человека за тридевять земель... Она может обрюхатить честную вдову и тем лишить ее доброго имени; вздумается Камаче — и муж разлюбит жену, бросит дом и детей и с той сойдется, к кому его Камача приворожила. В декабре у нее сад цветет, в январе на полях ее — жатва; весной у ограды палку воткнет — к осени груши уродятся. А еще может она в зеркале или в ноготочке мизинца того тебе показать, кого попросишь, все равно, живого или мертвого. Говорят, умеет она людей в зверей превращать и будто бы обратила однажды ризничего в осла — так он на нее семь лет изо дня в день ишачил! Уж как Камача это делает, не знаю, сама не умею, а вот что попроще... голову заморочить, туману напустить да всучить дрянь какую-нибудь!»

Знает ведьма, как отлить свечу с травным порошком, что «скалы крушит и стены», и владеет искусством энвольтования (а нужны ей для черного обряда две вещицы — иголка без ушка и булавка без головки).

Творится энвольтование насмерть над восковой фигуркой, которой придают сходство с тем, кого хотят погубить.

А уж причинить кому-нибудь с помощью той же фигурки да иглы болезнь, к примеру, каменную — и вовсе плевое дело.

В Германии в ночь Святой Вальпургии ведьмы слетаются на шабаш под Нюрнберг или на берег Рейна близ Майнца — одно из таких сборищ описано в «Фаусте».

У Гёте ведьма — красавица и пляшет она так, что сводит с ума: совсем уж готов влюбиться, да улыбнется она — и посыплются изо рта жабы.

Собираясь на шабаш, ведьмы натираются своей мазью и бормочут заклинания:

«Эмен! Атан! Эмен! Атан! Падуль! Ваалбериит! Астарот! Призовите поскорей! Эй! Ветер, взвей!»

И пока летят, каркают да приговаривают:

«Карр! Карр! Карр! Выше туч клубись, угар! Карр! Карр! Карр! Заклубись да рассейся! Рассейся да заклубись! Карр! Карр! Карр!»

Метла от природы непоседлива,— поди ее удержи! — то под ноги кинется, то хвост распустит, а хвост у нее не простой, особенный. Дело в том, что в дроке, растении из семейства бобовых (иначе — мотыльковых), называемом по-латыни Spartum scorparium (а именно из него мастерят метлы), обнаружен чудодейственный алкалоид аспаргин, или анагирин, выравнивающий сердечный ритм.

Итак, оседлав это великолепное и на редкость резвое средство передвижения и не позабыв о горючем — колдовской мази, ведьма взмывает в небеса и поспешает к месту сбора, чтобы вовремя приземлиться там, где ее ждет Ночной Повелитель Великий Козел (Hyrcus Nocturnus), и вопит что есть мочи:

«Карр! Карр! Эй, славьте Козла! Славьте Козла на Лугу! Славьте! Карр! Карр!»

В такие ночи пропадают целые стада баранов — их угоняют ведьмы.

Любопытное наблюдение есть у Теофиля Готье в «Путешествии в Испанию»: «Кастилия называется Старой.

[8] Упомянутая в новелле «Беседа собак» (1603—1605) Камача действительно жила в середине XVI века в Монтилье и была за колдовство осуждена кордовской инквизицией.

Они вздетели.

Первые опыты.

Вот так наставница.

. Ну-ка, полегче.

должно быть, потому, что населяет ее необыкновенное множество старух — да каких! Ведьмы, явившиеся Макбету на вересковой пустоши близ Дунсинана, в сравнении с ними — воплощение юной чистоты и прелести. Прежде я полагал, что омерзительные фурии тойевских «Капричос» — плоды болезненного воображения художника, но теперь знаю, что ошибался. Эти портреты Гойя писал с натуры — сходство поразительное!»

Да, ведьмы, неотступно преследовавшие Гойю, как две капли воды походили на этих кошмарных старух.

Долина Мансанареса, любимейшее место Гойи, где он в конце концов и поселился, издавна славилась ведьмами не только потому, что в темные ночи они там кишмя кишат, но и потому, что именно там произрастает на сухих речных руслах тот самый дрок (из семейства бобовых, иначе говоря — мотыльковых), в котором содержится аспаргин. Тряся метлами, ведьмы разносят семена дрока, как моль на своих драных юбках,— и скоро, должно быть, места голого не останется во всей округе.

Гойе всюду мерещились ведьмы и призраки, да и не зря он, истинный испанец, питал пристрастие к вареным бобам — ведь боб, если разглядывать его под микроскопом,— это настоящая ведьмина голова!

И все-таки нельзя сказать, что Гойя безоговорочно верил в ведьм — тоже ведь колдовское наваждение! — и потому рисовал их просто старухами, морщинистыми, дряхлыми, костлявыми.

Чаще всего это сводни — злейшие враги искренней, бескорыстной любви.

И Гойя предостерегает, напоминая о ведьмовских кознях, уловках и приманках,— им жизнь не в жизнь, если не случится навредить, передернуть, сбить с пути истинного. А самая большая ведьмовская удача — растлить юное существо.

Поэтому так часто на метле впереди или позади ведьмы оказывается совсем еще молодая девушка, дрожащая от страха.

Она уже поняла, чем грозит ей неминуемый шабаш.

Ведьма же просто обязана затащить на дикое ночное сборище юную девушку или приволочь для жарки младенца — это входит в круг ее злокозненных профессиональных обязанностей.

Старые ведьмы (впрочем, есть на свете и добрые старушки — честь им и хвала!) только и помышляют о том, как бы погубить цвет жизни — их-то жизнь кончена! — и в самое сердце ранить любовь.

Но все же почему ведьмы стали для Гойи навязчивой идеей?

Отчего именно в них Гойя воплотил всю жуть испанского сумеречного часа? Отчего они мерещились ему и в Монклоа, и на холмах Эль Пардо, где Мансанарес так скуден, что и для крестильного ведьмовского обряда воды не наскребешь?

Всю свою тревогу вложил в них Гойя, все свое бессонное горе, все свои ночные страхи и беды.

До умопомрачения доходила в Гойе эта страстная ненависть. Во всякой старухе ему виделась ведьма, а старость казалась обиталищем зла. У этой слепой ярости была своя причина.

Наверное, некая ведьма — не сводня ли с офорта о ревности? — разрушила его союз с герцогиней Альба.

Говорят, одна из прислужниц герцогини, старуха, перепутала — или подложила нарочно — письмо или подарок с запиской и тем приблизила разрыв.

Не с той ли поры в каждой сводне Гойе мерещится ведьма? Не с той ли поры всякая старуха, служанка или родственница, кажется ему злым гением, увлекающим красоту на путь порока? Ведь это по ведьмовскому наущению любимая отвергла его!

Ведьмы — сама смерть в старушечьем обличье, сама ненависть.

Вечно ведьмовская воронья стая кружит над любовью.

И шамкает над доверчивым ушком беззубый рот: «Уж поверь моему опыту: не обманешь — не продашь, а не продашь — не пробьешься! На том мир стоит и стоять будет!»

Немало горя причинили ведьмы художнику, и он расправился с этим адским отродьем в своих офортах: вот старая ведьма наводит красоту — у смертного порога, вот изверги-старухи терзают младенцев, вот они, ликуя, рвут любовные узы, а вот, завидев, что звезды меркнут, в бессильной злобе бормочут: «Когда рассветет, мы уйдем».

Гойя понял, что старушечья низость и подлость — это мерило всеобщего человеческого падения. Чем больше на земле этих тварей, тем тяжелее благородной душе и тем она обреченней.

Горе тому времени, когда женщине отказал разум и опостылела честь! Горе

той, что не способна смириться со старостью и помышляет об этом — как бы в отместку испоганить чужую молодость!

Но, к счастью, у жизни другой закон, а не будь его, мир оказался бы омерзителен — и только. Ты терпишь, смиряешься, отрекаешься от жизни, повинуясь этому мудрому закону, и твоя старость облагораживается и обретает право на уважение.

Искусству старения надо учиться — и учить, раз нет ничего ужаснее искореженной злобой старухи, отравляющей нашу жизнь.

Гойя знал это по себе и пригвоздил к листам своих офортов всех этих старых ведьм, будь то торговки или великосветские дамы.

Гойевские ведьмы и призраки — плоть от плоти древней, восходящей к античности мифологической традиции; они в родстве и с василисками, и с демонами, и с нимфами.

Они из той же когорты — этот болван-соглядатай и эта ведьма с мехами, которые у нее всегда под рукой: чем иначе раздуешь клевету, зависть, ревность?

А вот и всем ведьмам ведьма — меха у нее в позолоте, а вместо метлы — карета. Вот она, Мария-Луиса [9] собственной персоной, искуснейшая мастерица плетения интриг, предводительница дворцового шабаша — страшна как тысяча чертей! Такой, не пощадив и не сжалившись, явил нам ее Гойя.

Испания издревле слыла ведьмовским краем, а Страна басков — в особенности, не зря же из баскского языка в испанский пришло для обозначения шабаша слово «акеларре», что означает «Козлиный луг». Надо сказать, что в Испании слово «шабаш» вообще малоупотребительно, потому что ведьмовские сборища совершаются у нас не только по субботам, но и в ночь на пятницу.

Конечно же, инквизиция преследовала ведьм, но не столь рьяно, как это описал Моратин [10].

Кстати, если вам самой захочется выяснить, можно ли, оседлав метлу, вознестись выше туч и поразвлечься на Козлином лугу, отыщите рецепт колдовской мази — мы перечислили ингредиенты — и упросите старика аптекаря изготовить снадобье. Натритесь — и в путь!

---

[9] Мария-Луиса Тереса Пармская (1751–1819) — с 1788 г. королева Испании, супруга Карлоса IV.

[10] Леандро Фернандес де Моратин (1760–1828) — испанский драматург, друг Гойи, в 1811, а затем в 1812 и 1820 гг. издал и под псевдонимом прокомментировал материалы процесса, состоявшегося в 1610 г. в Логроньо, который завершился актом веры, сожжением обвиненных, признанных ведьмами.

А. ЛУКИН, ВЛ. РЫНКЕВИЧ

В МАГИЧЕСКОМ ЛАБИРИНТЕ СОЗНАНИЯ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИФ XX ВЕКА

ЛУКИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (род. в 1959 г.) — кандидат философских наук. Автор статей по современной зарубежной философии, публиковавшихся в сборниках и журнале «Человек». Переводит с английского и немецкого языков.

РЫНКЕВИЧ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1955 г.) — литературный критик и переводчик с английского и немецкого языков. В его переводе вышли книги Фр. Ницше «Так говорил Заратустра», М. Бубера — отрывки из книг «Я и ты», А. Швейцера «Проповеди», статьи Дж. Оруэлла и др. В «Иностранной литературе» (1991, № 11) напечатана статья А. Лукина и В. Рынкевича. «Авантюрное сердце» и подборка переводов «Из философской прозы Эрнста Юнгера».

«То и дело писатель да и всякий, наверное, другой человек испытывает потребность отвернуться на время от упрощений, систем, абстракций и прочей лжи или полужи и увидеть мир как он есть, то есть не системой понятий, хоть и сложной, но, в общем-то, обозримой и ясной, а дремучим лесом прекрасных и ужасных, все новых, совершенно непонятных тайн, каковым он и в самом деле является».

Г. Гессе. Тайны

Введение

Плутарх в диалоге «Об упадке оракулов» передает такую легенду. Эпитерсис рассказывал, что однажды он отплыл в Италию. Вечером корабль дрейфовал невдалеке от одного из островов, как вдруг все услышали голос, призывавший египтянина Тамуса, кормчего. Дважды было произнесено его имя, и, наконец, Тамус откликнулся. Тогда голос стал громче и сказал следующее: «Когда будешь проплывать мимо Палодэса, возвести, что Великий Пан умер». Через некоторое время, проплывая мимо этого острова, Тамус обратился к нему лицом и возвестил с кормы: «Великий Пан умер». И не успел он произнести эти слова, как до путешественников донеслись громкие вопли и стенания, как если бы одновременно кричали несколько голосов. И, поскольку на корабле плыло множество людей, история эта скоро распространилась по всему Риму.

Эта легенда о Пане — один из поздних литературных отголосков древнего мифа. Во времена Плутарха судьба языческих богов была уже предрешена, коль скоро простой смертный мог возвещать об их гибели. Плач и вопли, которые слышали путешественники, свидетельствуют о том, что боги были еще живы — по крайней мере в душе тех, кто им верно служил. Таким же отголоском божественного в сознании является литературное предание, в котором бог Пан после смерти обрел вечную жизнь. Это сказание особенно ценно для нас тем, что показывает: литература получает абсолютную власть над судьбами мифа. Участь Пана постигла всю древнюю мифологию: она умерла как живое отражение действительности, но осталась жить в бесчисленных литературных репликах.

Пан, олицетворявший силы природы, обладал необычайным даром незримого всеприсутствия. Столь же удивительное свойство присуще архаическим формам сознания, некогда выразившим себя в мифе: утратив господство в сфере духа, он не исчезает бесследно, а как бы растворяется в безграничном пространстве духовной жизни. Подобно языческому Пану, миф способен из безличности природного состояния вновь возвращаться к началу, принимая исходную личную форму. В этом он, пожалуй, сродни уже другому античному божеству — Протею, ибо никогда нельзя с уверенностью предсказать, какой облик примет воскресший миф.

Литература — свидетельствует история, рассказанная Плутархом, — всегда была средством не только сохранения,

но и разрушения мифического. Такова она и в наше время. В XX веке, как прежде, она обращается ко многим мотивам древних мифов. Возникают и новые, авторские, и, что еще важнее, возрождается сам дух литературного мифотворчества, ищущий новых воплощений. Именно о нем, о его месте среди других порождений мифологического сознания и пойдет речь.

Таинственные и ужасные истории о сверхъестественном имеют давнюю литературную традицию. В англоязычной литературе для их обозначения используется термин fantasy [1]. Что касается отечественного литературоведения, то в нем проблема специфики этого жанра еще не разработана, хотя назрела необходимость в его изучении. Бурное развитие книжного рынка привело к тому, что «черная фантастика» издается большими тиражами, причем количество порой идет в ущерб качеству. Термин «черная фантастика» узок по содержанию, не охватывает всего богатства фантастической литературы, оставляя в стороне произведения многих авторов, так или иначе трактующих тему чудесного (укажем хотя бы на Дж. Толкиена, Клайва Льюиса, Урсулу Ле Гуин); поэтому, на наш взгляд, будет уместным ввести термин «волшебная фантастика» — более емкий и позволяющий выделить особенности этого жанра. Чтобы раскрыть природу волшебной фантастики в ее многообразии, необходимо соединить литературоведческий анализ с философским и социально-политическим. И тогда разрозненные представления обретут целостность, становясь образом современного литературного мифа в границах одного жанра. Именно к этому стремились авторы статьи.

Понимание волшебной фантастики как мифа содержит значительную долю условности. В беллетризованном варианте миф существенно снижен и часто приближается к волшебной сказке. Кроме того, следует иметь в виду, что, став жанром массовой литературы, волшебная фантастика испытывает сильное влияние штампов коммерческого искусства. Они затемняют подлинный смысл вечных мифов, порой оставляя читателю слишком мало пищи для размышления.

[1] Фэнтэси (*англ.*) — «литература, в пространстве которой возникает эффект чудесного; она содержит в качестве субстанциального и неустранимого элемента сверхъестественные или невозможные миры, существа или объекты, с которыми персонажи, имеющие смертную природу, или читатель оказываются в более или менее тесных отношениях». (C. H. Manlove. On the Nature of Fantasy. (В кн.: The Aesthetics of Fantasy. Literature and Art. Indiana, 1982, p. 16.)

В произведениях волшебной фантастики вселенная нашего духа предстает изощренной системой магических зеркал, которые, отражаясь друг в друге, изменяют первоначальный образ. Однако обман зрения порой таит в себе истину, а ясное знание оказывается лишенным подлинности. К тайне видимого не приблизиться, не разгадав загадки его отражения. Одним из таких образов-отражений становится литература. Пусть же на пути истолкования ее бесчисленных мифов-лабиринтов читатель встретит самого себя. Быть может, он не узнает своего подлинного Я в новом облике, но повседневность преобразится силой творческого видения...

I
Сверхъестественное в зеркале эпохи

«Мир существует, чтобы войти в книгу».
С. Малларме. *Книга, инструмент духа.*

Эволюция литературы, трактующей тему сверхъестественного, неотделима от изменений в духовной жизни общества, от того, какую роль играют в ней наука и разум. Расцвет волшебной фантастики начинается в первые десятилетия XX века, но корни ее уходят в более отдаленное прошлое. Уже в XVIII столетии в настроениях общества оформилась оппозиция между стремлением к рациональному объяснению сверхъестественного и признанием его непознаваемости, которая стала исходным пунктом долгого пути к современному видению сверхъестественного.

В XVIII веке науке порой удавалось опытным путем приблизиться к тайне сверхъестественного. Загадочные феномены не позволяли широко применить экспериментальные методы, но им пытались дать естественное объяснение: необычайные явления трактовались как галлюцинации, возникающие вследствие обмана восприятия. Аббат бенедектинского ордена Огюстен Кальме (1672—1757) в сочинении «О явлении духов» пишет, к примеру: «Вампиризм был результатом расстроенного воображения суеверных, которые воображали, что известные лица после смерти подымались из своих могил, беспокоили целые деревни, сосали кровь у своих родных и умерщвляли их» [2].

[2] Огюстен Кальме. О явлении духов. Москва, 1867, часть I, с. 3.

Впрочем, наряду с «научными» истолкованиями козней вампиров и злых духов, в русском переводе книги (традиционно «исправленной и дополненной» переводчиком) можно обнаружить немало курьезного.

В одной из глав сочинения Кальме повествуется о том, что «некоторые мертвецы хрюкают во гробах как свиньи и едят все, что им попадет в рот. Немецкий писатель Михаил Рофф написал сочинение под заглавием «De masticatione mortuorum in tumulis» [3]. Принимая за несомненно верный факт, что некоторые мертвецы во гробах едят холст и все прочее и даже собственное тело, он замечает, что в некоторых местах Германии мертвецам во гробах кладут в рот медную монетку и камень или земляные глыбы под бороду, а также завязывают рот, чтобы воспрепятствовать хрюканью» [4].

Недостоверные факты, курьезы и анекдоты не придавали авторитетности рациональным объяснениям. Слабые доводы разума служили доказательством от противного, убеждающим в существовании сверхъестественного. На этом фоне процветает мистический авантюризм Сен-Жермена и Калиостро, стремительно возникает множество оккультных тайных обществ и масонских лож. Сильнее научных аргументов убеждал в существовании сверхъестественного готический роман, возникший в конце XVIII столетия, на закате Века Разума. В романах А. Радклиф, Г. Уолпола, Ч. Р. Мэтьюрина таинственное и чудесное оказываются нерасторжимо связаны друг с другом. Внезапное вмешательство потусторонних сил, как правило, не разъясняется до конца развитием сюжета, и тем самым непознаваемость чудесного как бы утверждается с неоспоримостью научного факта.

Эта тенденция находит продолжение в романтизме, от которого ведут родословную многие характерные черты современной волшебной фантастики. Ощущая трагическую отъединенность от окружающего мира, романтический гений жаждет вернуться к утраченному единству, создавая средствами искусства мифологическую вселенную. Подобно студенту Ансельму из повести Э. Т. А. Гофмана «Золотой горшок», писатель романтической эпохи, вырываясь из мира обыденного, предавался несбыточным грезам о Волшебном Царстве, об утраченном Рае. Но и в этот кристально-чистый мир Идеала вторглись темные стороны реальности. Преломленные в хаотически-сумеречных глубинах художественного сознания, они обрели уродливый облик злых духов и чудовищ.

В конце XIX века в европейском декадентстве пробудился новый, страстный интерес к познанию потустороннего. И это закономерно: в эпоху переоценки ценностей, отказа от прочных верований и убеждений горизонты иных миров сильнее притягивают художника. Литература оказалась более тесно связана с философскими и мистическими поисками. На смену культу разума пришло неверие в его возможности, которое разделяли не только такие философы, как Ницше и Шопенгауэр, свысока смотревшие на науку, но и сторонники научного прогресса, позитивисты. Крах классического типа рациональности, признанный влиятельными философскими направлениями, создал условия для невиданного расцвета оккультизма и мистики. Новые прочтения тайного, эзотерического знания оказались чрезвычайно многообразны по содержанию, включая в себя не только европейские, но и восточные идеи. Крупнейшими фигурами этого ренессанса были Элифас Леви (Альфонс-Луи Констан), Папюс (Жерар Энкосс), Е. П. Блаватская, А. Безант, Р. Штейнер, Г. И. Гурджиев.

Приметой времени становится создание всеобъемлющих мистических систем, которые пытаются ассимилировать последние достижения позитивных наук. Как образец такой попытки симптоматична книга Карла Дюпреля «Философия мистики, или Двойственность человеческого существа». Опираясь на кантианские и неокантианские положения, он объясняет потустороннее двойственностью сознания, которое создает сверхчувственное в процессе своей деятельности. Явления духов связаны с «нашей способностью выносить вовне и олицетворять субъективные наши состояния». Однако Дюпрель не отрицает существования мира иного: «Мы не отделены от потустороннего мира ни пространственно, ни временно; отделенные от него только субъективными границами, порогом нашего сознания, и погруженные в него трансцендентальною частью нашего существа уже при жизни, умирая, мы вступаем в него не впервые» [5].

[3] О мертвецах, которые едят в могилах (*лат.*)

[4] Огюстен Кальме. О явлении духов. Часть III, 72 73.

[5] Карл Дюпрель. Философия мистики. Санкт-Петербург, 1895, с. 312.

Притязая на универсальность их взгляда на мир, виднейшие теоретики мистического ренессанса придают своим системам особый статус, устанавливая иерархию знания.

Папюс утверждает, что «в настоящее время замечается большое стремление смешивать Науку со Знанием. Насколько Знание неизменно в своих основах, настолько же науки изменяются согласно взгляду каждого ученого» [6]. По мнению Папюса, знание не подлежит пересмотру с прогрессом науки, ибо оно предполагает постижение сверхчувственных миров, которые доступны лишь оккультному методу. Реальность как бы удваивается и объяснить ее в своем личном опыте может лишь посвященный в эзотерические учения.

Идеи абсолютной независимости сверхъестественного от позитивной науки в сочетании с признанием особой роли интуиции в познании стали философской основой мистических поисков в литературе начала века. В переводе на язык художественной практики они означали автономию царства воображения и суверенное право художника создавать свой особый мир, который не нуждается в доводах науки.

Исходная идея символизма, устанавливавшего незримую мистическую связь между образом-символом искусства и миром иным с его духами Света и Тьмы, предполагала бесконечное многообразие обликов таинственного: возвышенные легенды Метерлинка, зыбкая архитектоника воздушных замков Малларме, чарующая религиозность Клоделя, дерзкое богоборчество Рембо давали простор самым неожиданным истолкованиям. Хотя порой символическое видение мифа напоминает грандиозные реконструкции средневековья и античности, непосредственная связь между конкретикой художественного образа и полнотой иносказания, таившего философский смысл, не могла не оказать воздействия на судьбы искусства.

Одной из граней модернистских поисков стала эстетическая реабилитация зла, нашедшая отражение в беллетристике ужасов. Умонастроения той поры точно отражает рассказ Ханса Хайнца Эверса «Паук». Неумолимая сила судьбы воплощена в таинственной инфернальной даме, словно сошедшей со страниц иллюстрированного журнала начала века: длинные черные перчатки, лиловое платье с узким воротником под горло, меланхолически-загадочная улыбка, изящные манеры... Стиль и дух эпохи модерна еще более рельефно запечатлен в романе Эверса «Альрауне», ныне основательно и несправедливо забытом. Он не случайно имел когда-то скандальный успех, ибо сама идея инкарнации абсолютного зла была созвучна настроениям времени. Вспомним былого властителя дум Августа Стриндберга, дерзновенного обличителя загадочных изъянов женской души, или близкого друга Эверса, Станислава Пшибышевского, с его эстетским сатанизмом и злыми соблазнами жестокой эротики, или К. Гюисманса и его прельстительную Гиацинту из романа «Там, внизу»!

Альрауне (одно из названий волшебного корня мандрагоры) — существо особого рода. Уже в силу рождения — поистине ужасного и сверхъестественного (ее мать, проститутка Альма Рауне, была искусственно оплодотворена семенем, взятым у убийцы в момент казни), она несет на себе печать рока и всюду сеет смерть, разрушение, порок. Воплощенное в ней зло обладает непреодолимым очарованием; вместе с тем оно действует в мире с чудовищной обыденностью, без видимой поддержки потустороннего мира. Тень изощренной образности витает и на страницах романа Мирчи Элиаде «Девица Кристина», а его героине сопутствует не только фиалковый аромат изысканных духов, но и магнетический флюид невыразимо притягательного демонизма ее голубой крови...

Связь философски значимой идеи с мифологической формой характерна и для экспрессионизма. Великим воплощением мифа в экспрессионизме стало творчество Франца Кафки; совсем иной облик он имеет в произведениях Густава Майринка. В отличие от Кафки, у которого вымышленное пространство свободно от прямых связей с традиционными мифологическими представлениями, у Майринка древние шифры алхимии, каббалы, западного герметизма и восточной мистики обретают новое истолкование. Его творчество — духовные искания современного европейца, которому внятны голоса далекого прошлого. У Майринка проблема бытия не обретает исторической конкретности, но художественная интерпретация бесконечных поисков его сокровенного смысла

[6] Папюс. Первоначальные сведения по оккультизму. Санкт-Петербург, 1911, с. 5.

обладает столь могучей силой и многозначностью магических соотнесений, что она воспринимается как яркое явление литературы.

В XX веке понимание сущности психики радикально меняется. В центре учения Зигмунда Фрейда и других представителей глубинной психологии оказывается бессознательное. Сверхъестественные явления Карл Густав Юнг соотносит с архетипами, составляющими содержание коллективного бессознательного. Однако теория архетипов, ищущая корни психики в доисторическом прошлом, сама становится новым онаученным мифом. Одна загадка объясняется другой, и обе они оказываются принципиально непереводимы на язык разума. Сверхъестественное рассматривается как явление коллективного сознания, а вопрос о существовании необычайного, находящегося вне сознания, остается открытым.

Эпоха начала века стала своего рода эталоном для каждой новой волны возрождения оккультизма. Интерес к нему достиг пика в первые десятилетия, но никогда не уходил на периферию общественной жизни. Мистический авантюризм, так рельефно воплощенный в уникальных личностях XVIII века, в нашем столетии стал уделом толпы. Мнимое «утро магов» обернулось в третьем рейхе профанацией эзотерических принципов из-за абсурдных попыток придать режиму сверхъестественную санкцию.

На Западе волна интереса к оккультной проблематике приходится на 60-е годы. В это яркое и волнующее время студенческих бунтов, движения хиппи, сексуальной революции вновь были предприняты литературные экскурсы в сферу чудесного. Заново открыли таких забытых авторов, как Гюисманс, Майринк, Эверс, Перуц. С ними произошло то же, что и с мистиками и теософами начала века: в эпоху оккультного радикализма их идеи стали своеобразным «золотым фондом» мистически окрашенного художественного сознания. Однако по сравнению с предшественниками нынешние аргонавты магических пространств обладают преимуществом в рискованной игре с неведомым. Сегодня, когда распространились всевозможные мистические культы, колдовские ритуалы и магические действа, создается впечатление, что сверхъестественное вплетено в повседневность.

Документальная «Исповедь Лондонского Вампира» куда более фантастична и ужасна, чем иные литературные кошмары. Некоторые детали в откровениях убийцы говорят о его близком знакомстве не только с христианской символикой, но и с продукцией «черной фантастики». Чудовищные преступления несут на себе печать тех крайностей, которыми чревата атмосфера поисков сверхъестественной власти. Так жизнь служит хорошим уроком литературе.

Эссе Эрики Джонг может шокировать «практической» направленностью — перечислением атрибутов колдовства, описанием рецептов волшебных мазей и снадобий. Но за всей этой «ученостью» скрыта тонкая ирония писательницы, для которой не столь важно, могут ли ведьмы летать. Важнее для нее другое — искренние и вполне серьезные размышления о женском характере.

Объяснение сверхъестественных явлений всегда наталкивается на одну и ту же проблему: сфера непознанного, как ни странно, не сокращается с развитием науки, ибо всякое открытие порождает новые загадки. Давние дискуссии о природе экстрасенсорных явлений позволили объяснить многие феномены, существование которых ранее оспаривалось. В результате традиционные иррациональные верования в глазах большинства людей получили поддержку науки, тогда как в действительности она, очертив границы биоэнергетики, еще ничего не сказала о сущности полтергейста, телекинеза, телепатии и многих других чудес.

В новых областях науки трудно отделить вероятное от невероятного, а когда мы имеем дело со столь тонкой материей, как дух, самые безудержные фантазии обретают видимость правдоподобных гипотез. В последние десятилетия произошло объединение познанных и непознанных явлений в некий рационализированный миф, в котором противоречиво соединились экстрасенсорные явления, традиционное колдовство, осовремененная демонология с предполагаемыми иными мирами, населенными всемогущими инопланетянами, которые постоянно вмешиваются в судьбы человечества. Образовав единый комплекс в массовом сознании, эти представления оказались неуязвимы для научной критики. В силу этого новый миф становится прочной основой художественного вымысла.

Урсула Ле Гуин пишет: «Если в 1890-е годы на «фэнтэси» смотрели как на некий литературный курьез, взявшийся невесть откуда, словно гриб после дождя, если в 20-е годы этот жанр воспринимался все еще как нечто вторичное, если в 80-е годы он деградировал в процессе коммерческой эксплуатации, то складывается впечатление, что небрежение критиков к жанру вполне справедливо». Вряд ли оправдан пессимизм критиков в оценке развития жанра. По словам Урсулы Ле Гуин, «наше общество — глобальное, многоязычное, чудовищно иррациональное, вероятно можно описать лишь глобальным, интуитивным языком «фэнтэси» [7].

Одни и те же темы и сюжеты используются высоким и коммерческим искусством. Подчас серьезные писатели заимствуют мотивы из «черной литературы». Удачным образцом такого заимствования служит рассказ Хорхе Луиса Борхеса «There Are More Things...»

Борхес посвятил рассказ памяти Говарда Филипса Лавкрафта, отношение к которому было у него далеко не однозначным. Посвящение — одна из излюбленных Борхесом мистификаций, которые не только скрывают, но и обнаруживают истину. Мистификации аргентинского писателя можно уподобить мифическим существам, чье право на жизнь он защищает в предисловии к «Книге воображаемых существ»: «Нам непонятно, что́ такое дракон, как неясно, что́ есть вселенная, но в этом образе есть нечто притягательное для нашего воображения... дракон — это, так сказать, необходимое нам чудовище» [8].

Ироническая апология дракона скрывает намек на изначальную загадочность бытия. Между рассказом Борхеса и творчеством Лавкрафта — множество параллелей в построении сюжета, в искусстве нагнетания атмосферы ужаса. Однако у Борхеса тайна чудесного так и остается неразгаданной. Есть многое на свете... Эта скрытая цитата из Шекспира, вынесенная в заголовок, да и само посвящение указывают на то, что Борхесу близка и понятна осуществленная Лавкрафтом мечта о собственном, не зависящем от реальности мифе. Борхесу как коллекционеру парадоксов и аномалий свойственно такое видение мира, в котором странное и чудесное обладает большей художественной значимостью, чем примелькавшаяся повседневность. Именно в силу культурной универсальной восприимчивости Борхес выражает общую тенденцию развития литературы, которая не ограничивается воспроизведением действительности, но мифологизирует ее.

«Идеологический наркоз», под которым находилось наше общество, привел к тому, что многие явления духовной жизни, которые на Западе уже давно существуют, у нас только зарождаются. Начавшийся в конце 80-х годов мистико-оккультный ренессанс — еще одно тому свидетельство. Кризис основ мировоззрения у нас особенно глубок: тотальное господство марксистско-ленинской идеологии ныне породило уникальную историческую ситуацию идейного вакуума. Серен Кьеркегор не случайно видел в истине «отважное предприятие»: именно мужество свободного духа необходимо нам сегодня, когда кризис сознания совпал с экономическим крахом, потрясением самих основ государственности.

Сложились идеальные условия для интервенции мистических и оккультных идей, появления собственных эзотерических доктрин. Новые направления духовного поиска отнюдь не равноценны и по-разному влияют на нравственный климат общества. Время все расставит на свои места, а пока ясно одно: возрождение мистического сознания набирает силу и, видимо, в дальнейшем принесет плоды и на ниве отечественной литературы. Однако не будем увлекаться национальной или, точнее, региональной спецификой оккультно-эзотерических исканий: многие корни возрождения мифа у нас те же, что и везде...

II
Волшебная фантастика как миф

«Использование мифа, проведение постоянной параллели между современностью и древностью... ни больше ни меньше, чем способ контролировать, упорядочивать, придавать форму и значение тому громадному зрелищу тщеты и разброда, которое представляет собой современная история».

Т. С. Элиот. Об «Улиссе» *Дж. Джойса*

Природа фантастического в литературе, словно Протей, ускользает от попыток ее истолкования, если за неисчерпаемым многообразием текучих и постоянно сменяющих друг друга образов не увидеть скрытого единства структурных

[7] The Book of Fantasy. Ed. by J. L. Borges, S. Ocampo and A. B. Casares. New York, 1987, p. 12.

[8] J. L. Borges. El libro de los seres imaginarios. Buenos Aires, 1967, p. 7.

принципов, имеющих уже нелитературную природу. Эти принципы являются новейшим воплощением вечных начал мифа. Ныне литературный миф существует в чуждой ему атмосфере предельно рационализированного общества. Вследствие этого занимаемое им культурное пространство крайне ограничено по сравнению с архаичным обществом, в сознании которого он доминировал.

Впрочем, сознание никогда не было однородным: уже в доисторическую эпоху миф не был единственным способом объяснения мира. Именно благодаря изначально «гетерогенному характеру нашего мышления» [9] миф не только сосуществует с разумом, но и вечно противится ему. Поэтому современное мифотворчество основано не столько на непрерывности культурной традиции, сколько на присущей сознанию склонности описывать мир, не прибегая к абстрактным схемам научного разума.

Возрождение мифа обусловлено причинами, скрытыми в самих основах бытия современного человека. Как и прежде, он остается действенным способом преодоления противоречий. Согласно крупнейшему французскому философу-структуралисту Леви-Строссу путем многочисленных опосредований бинарные оппозиции черного и белого, левого и правого, верха и низа теряют первоначальную остроту, обретая в мифе вожделенное единство. Сколь привлекательно такое видение мира для современного человека, изнемогающего под бременем неразрешимых конфликтов! Литературный миф смягчает трагические противоречия личного бытия, придавая им извечную всеобщую форму. Человек легко отождествляет себя с персонажами вымышленных пространств: они становятся его двойниками и проживают за него самые страшные, мучительные и роковые страницы судьбы.

Распад устойчивых связей, разрушение традиционных ценностей рождает жажду возврата к идеалам Золотого Века. Человека охватывает стремление к ритуализации меняющихся форм жизни. Литература, оживляя таинственное, чудесное, архаичное, создает ощущение причастности к духовной традиции, мистической связи с прошлым, служит некоей ступенью на пути к сакрализации действительности. Западная традиция утверждает тождество человека и мира: движение, направленное вовне, к познанию универсума, вместе с тем оказывается путем самопознания, движения вовнутрь. Точно также скрытый смысл мифологизации социальных связей раскроется лишь тому, кто рискнет спуститься в глубины человеческой психики.

Исходя из той же идеи, Юнг писал: «Миф человека складывается из рождения, взросления, любви, брака, смерти, случая, победы, катастрофы, из тех моментов, в которые нам кажется, что настоящая реальная жизнь только началась» [10]. Однако это — скорее интеллектуальная возможность, чем адекватное истолкование бытия нашего современника. Но это может послужить ключом к пониманию литературного повествования и свидетельствует о безграничных возможностях мифотворчества в современном искусстве.

Литература, независимо от содержания, служит способом приобщения к мифу. Элиаде считает, что с ее помощью становится возможен переход от обычного линейного времени к мифологическому: человек покидает область конечного и преходящего и вступает в царство Вечности. Литература создает воображаемый мир, свободный от требований действительности,— так замыкается еще один цикл Вечного Возвращения мифа к человеку и человека к самому себе.

Зададимся вопросом, что представляет собой литературный миф? Связь между словом и мифом изначальна и неразрывна. Как тонко подметил Поль Валери, «мифом именуется все то, что существует и пребывает не иначе, как будучи функцией слова. Нет столь темного высказывания, нет столь причудливых толков, нет столь бессвязного лепета, которым мы не могли бы придать какого-то смысла. Всегда имеется некая догадка, которая вносит смысл в самые диковинные речи» [11]. Свободным размышлениям поэта созвучны рассуждения известного структуралиста Ролана Барта: «Поскольку миф — это слово, то им может стать все, что достойно рассказа» [12].

Миф — неисчерпаем. Как особое мироощущение, он служит глубинной основой литературного творчества, которое, в свою очередь, выступает одной из его возможных манифестаций. Поскольку

[9] Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский. Миф — имя — культура. Тарту, 1973, с. 293.

[10] Цит. по книге: М. Элиаде. Космос и история. Москва, 1987, с. 274—275.

[11] Поль Валери. Об искусстве. Москва, 1976, с. 358.

[12] Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва, 1989, с. 72.

никакого «мифического» жанра не существует, миф органично входит в творческий процесс и часто рассматривается как одно из средств поэтики.

Однако его влияние на литературу XX века не исчерпывается формальными приемами. И тому свидетельство — расцвет мифологического романа, дань которому отдали Т. Манн, Ф. Кафка, Дж. Джойс, Г. Гарсиа Маркес... А объединяет их столь разноплановые произведения миф, создающий архитектонику повествования. Он выполняет важнейшую роль, являясь языком объяснения современности. Организуя художественное произведение, он выступает формой особого рода, вне связи с которой содержание лишается внутреннего богатства. Утратив связующее начало авторского мифа, такой роман, построенный по законам обычного повествования, безвозвратно потеряет тот дух, который вызвал его к жизни.

В волшебной фантастике воображение завоевывает еще бо́льшую свободу. В ней не только способ организации материала, но и сама тема и герои диктуются мифом: действительность подчиняется сверхъестественному началу, а в центре повествования оказывается конфликт между реальностью и миром иным.

III
Вселенная волшебной фантастики

«Или то, что зримо мне,
Все есть только сон во сне?»
Э. По. *Сон во сне.*

Джованни Папини в рассказе «Последний визит Больного Господина» говорит от лица героя: «Я существую потому, что кто-то видит меня во сне, он спит и во сне видит, что я живу, двигаюсь, действую и в настоящий момент говорю все это... Сон его так продолжителен и глубок, что я стал видимым и тем, кто бодрствует... Моя настоящая жизнь медленно течет в душе моего спящего творца... Сны его столь жизненны и обладают такой силой, что они отбрасывают отражения во внешний мир, и отражения эти кажутся реальными. Быть может, мир есть только вечно меняющееся порождение перекрещивающихся снов, созданий, подобных ему» [13].

Повседневная реальность, описанная Папини, целиком зависима от иной, незримой и могущественной. Герой рассказа в конце концов разрывает путы онтологического рабства: ему удается убедить невидимого тирана в том, что его земная жизнь — всего лишь сон, и Больной Господин исчезает.

Этот рассказ — философская притча, символизирующая многоплановость бытия, которая плодит миражи и химеры. Такой искусно сконструированной иллюзией является и вся фантастическая литература. Ее сущность гораздо раньше критиков увидели сами писатели. Дж. Толкиен пишет: «Любой человек, унаследовавший механизм фантазии... может сказать: *«зеленое солнце»*. Многие могут потом представить или изобразить нечто подобное... Создать вторичный мир, в котором зеленое солнце окажется на своем месте и будет восприниматься с доверием,— для этого необходимо приложить и мысль и труд и еще особое мастерство, подобное мастерству эльфов... Но когда подобная попытка сделана и она в какой-то мере удалась, тогда мы имеем редкостное произведение искусства» [14].

Однако реальность «вторичного мира» можно трактовать гораздо шире: любой созданный писателем мир, в котором элемент чудесного становится осью развития сюжета и задает свои законы повседневной жизни, непременно составляет эту вторичную реальность.

Ее невозможно отделить от мира обыденного, и переходы между ними сложны и многообразны. Поэтому усложненность вторичной реальности является неисчерпаемым источником для творческого воображения.

Фантастичность повседневного образует первый слой вторичной реальности. Этот план бытия привлек внимание Папини: «Вместо того чтобы вести своих героев через ряд фантастических похождений в никогда не виданные миры, я оставил их в обычной, повседневной обстановке и заставил их обнаружить все то, что есть в ней таинственного, грубо-смешного и ужасного... Видеть обыкновеиный мир в необычном свете: вот истинная греза духа» [15].

За фантасмагориями трагической повседневности открывается иное пространство вторичной реальности, призрачный мир сна. В литературе чудесного сон порой служит ключом к сокрытым глубинам вымышленного

[13] Дж. Папини. Трагическая ежедневность. Берлин, 1923, с. 44—45.

[14] Дж. Толкиен. О волшебных сказках. Цит. по сб.: Утопия и утопическое мышление. Москва, 1991, с. 279.

[15] Дж. Папини. Трагическая ежедневность, с. 20.

космоса и знаком того, что человек вскоре вырвется из обычных условий существования. Мотив вещего сна своеобразно преломляется в романе Элиаде «Девица Кристина»: спящий герой сознает, что явившийся ему призрак существует и по ту сторону сновидения. Нельзя не отметить близости между Элиаде и Папини в художественном использовании этого ирреального пространства. Итальянский писатель был одним из любимых авторов молодого Элиаде, который встречался с ним и посвятил его творчеству несколько статей.

В пространство сверхчувственного кроме неясных грез и сновидений ведут догадки, предзнаменования, миражи и галлюцинации. Рассказ Борхеса построен на ожидании чудесного. Пугающая пустота предстает взору героя черным зеркалом тайны в обрамлении чудовищных предметов, которые разрушают само представление о быте. В сущности, «нечеловеческая» обстановка дома представляет собой зримую аналогию юношеским попыткам героя построить модель четвертого измерения из разноцветных кубов и пирамид, а сам рассказ выступает развернутой метафорой пути к необычайному.

И, наконец, вслед за вещими предзнаменованиями возникает самоё чудесное. Порой в повествовании отсутствуют подготовительные ступени, ведущие к чудесному, и читатель сразу оказывается в фантастическом мире, который существует как некая самодостаточная реальность, созданная воображением автора.

Один из родоначальников столь многообещающего подхода в волшебной фантастике XX века — английский писатель и драматург Эдвард Мортон Дрэкс Планкет (1878 — 1957), писавший под псевдонимом Лорд Дансени. Свои рассказы, объединенные в циклы «Боги Пеганы», «Книга чудес», «История сновидца», он называл «таинственными царствами, расположенными там, где кончается география и начинается страна волшебства» со своими вымышленными богами, демонами и героями. Как творец собственной мифологии, Дансени — предтеча Толкиена и Льюиса. В произведениях этих писателей, а также в сериалах их бесчисленных эпигонов мифологический мир, существующий лишь в границах сознания, рассматривается как подлинная реальность, как высший план космологии духовной вселенной.

В фантастической литературе этот уровень играет особую роль, ибо все остальные слои вымышленной реальности подчинены ему. В силу этого в сознании происходит своеобразное «перевертывание»: невообразимое оказывается действительным, а царство повседневности — иллюзией. Однако такое мировосприятие имеет глубокий философский смысл, в значительной степени раскрытый древнеиндийской мыслью. Она рассматривает видимый мир как вселенскую иллюзию (Майя), за которой таится подлинная реальность, открывающаяся лишь просветленному. Философия, как и литература, убеждает нас: всякая реальность относительна, и какой из возможных миров считать действительным, зависит от исходной точки отсчета.

Древняя мудрость доказывает, что иллюзия — не просто обман чувств. Всеобъемлющая мировая иллюзия самодостаточна и обладает колоссальной властью над человеком. Как писал Элиаде, она является, «согласно индийской мысли, неиссякаемым источником космических форм и всеобщего становления» [16]. Мы далеки от того, чтобы внушать читателю, что наш мир является лишь видимостью, хотя сама мысль о бытийной устойчивости иллюзии существенна для понимания фантастической вселенной литературы.

Убеждение в силе незримого мира составляет философскую основу романа «Девица Кристина», над которым Элиаде работал одновременно с книгой о йоге. Вот что он пишет о замысле книги: «Я не хотел повторять одну из фольклорных тем, популярных в Румынии и соседних странах, или романтических мотивов безутешного призрака... Моим вниманием завладела трагедия умершей девушки, которая не может покинуть землю, и продолжает верить в возможность живого общения с людьми, в надежде, что она сможет любить и быть любимой как обычный человек в его земной инкарнации» [17].

...В одном из эссе Борхес как-то заметил, что «литература — это управляемое и предумышленное сновидение». Грезы духа, воплощенные в ней, с легкостью образуют замкнутую вселенную, объединяющую в нерасторжимое целое мыслимое и сущее.

[16] M. Eliade. Techniques du yoga. Paris, 1948, p. 11.
[17] M. Eliade. Autobiography. Vol. I. Chicago London, 1990, p. 315—316.

IV
О природе жанра: литературная магия необычайного

«...всякий великий поэт призван превратить в нечто целое открывшуюся ему часть мира и из его материала создать *собственную* мифологию...»
Ф. В. Шеллинг. *Философия искусства*

Открывая новую, прежде неведомую грань волшебного вымысла, мы неизбежно оказываемся перед вопросом: благодаря каким способностям творческого духа созидается этот мир грез, и как случилось, что восприятие бесконечного разнообразия его призрачных форм подчинено единым законам? Та сфера небывалого, из которой мышление черпает вечные темы, на языке логики именуется *невозможным*. В силу естественных законов природы ему никогда не обрести бытия в мире явного, однако невозможное изначально присутствует в нашем сознании. Постичь и объять его нам позволяет воображение.

Именно в способности продуктивного воображения коренится как волшебная, так и научная фантастика. Поэтому отделить их друг от друга означает провести границу внутри царства фантазии, а этому препятствует его изменчивая природа: еще Кант в своем классическом анализе воображения показал, что в сфере познания оно выражает человеческую свободу. Внутренняя свобода воображения предполагает, что любой образ фантазии не содержит в себе никакой безусловной «нормы» или «правила», препятствующих объединению воедино разнородных чувственных образов. Именно с этим связано появление целого сонма фантастических существ на страницах литературных произведений.

Природа фантазии такова, что основанные на ней жанры характеризуются обилием переходных форм, соединением разнородных стилевых приемов. Поэтому между волшебной и научной фантастикой существует столь очевидное сходство в построении сюжета, в художественных приемах, в преобладании событийного ряда над разработкой характеров. Главное, что сближает все разновидности фантастической литературы,— особое соотношение между реальным и воображаемым миром. Здесь сама действительность подчинена законам вымышленной вселенной. Обыденное либо полностью исчезает из ткани произведения (оно остается исходным пунктом лишь в сознании читателя), либо становится ареной борьбы магических сил, определяющих развитие сюжета. Фантазия освобождается от сковывающей критики сухого рассудка, который вынужден подчиниться ее внутренней логике.

Однако между жанрами фантастической литературы есть и существенное несходство. Научная фантастика обязана своим названием современной науке. Однако назвать всю прочую фантастику ненаучной было бы большим упрощением, поскольку отношения фантазии с рациональным знанием значительно сложнее. Многие темы обеих фантастик имеют общие корни. Робот ведет свою родословную от гомункулуса средневековой алхимии и от Голема каббалы. А у истоков обе разновидности фантастической литературы настолько близки, что их невозможно отделить друг от друга. К какому жанру отнести, например, роман Мэри Шелли «Франкенштейн»? Прежде чем обрести техническое воплощение, великие мечты человечества существуют как архетипы мифологического сознания. Современная литературная традиция в известном смысле является лишь выражением их вечного содержания.

Провести идеальную границу между волшебной и научной фантастикой не удастся и с помощью той оценки, которую литература дает роли научного знания в обществе. Научная фантастика давно отказалась от безудержного оптимизма в понимании прогресса познания, и это сближает ее с волшебной фантастикой. Резкое неприятие науки хорошо выразил Лавкрафт: «Жизнь ужасна: на фоне того, что нам о ней известно, проступают очертания демонических личин, позволяющие догадываться об истинном положении дел, отчего жизнь порой становится в тысячу раз ужаснее. Быть может, наука, уже сейчас угнетающая нас своими шокирующими открытиями, приведет к окончательному уничтожению человеческого рода (хотя вправе ли мы вообще выделять себя среди прочей твари?), ибо сознанию смертного никогда не вынести всех тех кошмаров, которые наука держит про запас, если они когда-нибудь вырвутся на свободу и заполнят пространство нашего мозга» [18].

Тем не менее мир необычайного не чужд особой рациональности, в основе которой — эзотерическая мудрость, тра-

[18] H. Ph. Lovecraft. The Lurking Fear and Other Stories. New York, 1971, p. 49.

диционная магия, алхимия и астрология. С другой стороны, научная фантастика предлагает свое видение науки, которая преодолевает препятствия и прорывается к загадочному и непознанному, в результате чего образ современного ученого становится близок мифическому герою, магу и кудеснику. И все же при множестве параллелей между образами знания в обоих видах фантастики им присущи и определенные различия. В научной фантастике знание ориентировано прежде всего на создание предметной среды, порожденной техникой будущего. Напротив, образ мудрости в мире чудесного связан скорее не со средой, а с самим человеком и его проекциями — существами иной природы.

Волшебная фантастика соотносит свой искусственный мир с человеческой сущностью; ей глубоко чужд технический подход к жизни. В строгом смысле волшебный меч — тоже порождение техники, однако он и магическое оружие духа, наделенное жизненной силой и обладающее душой.

В фантастических метаморфозах человеческая сущность утрачивает прежние черты, приобретая новые, сверхчеловеческие качества, однако ключ к пониманию «сверхъестества» этих фантомов — в их причастности человеческому духу. В силу этого между людьми и фантастическими созданиями возникают отношения господства или подчинения в зависимости от того, кто из них одерживает верх. Соответственно и восприятие этой вымышленной вселенной носит у читателя ярко выраженный эмоциональный характер, отражая «одушевленность» ее архитектоники.

При чтении волшебной фантастики возникает впечатление, что созданная автором реальность абсолютно достоверна, хотя она и противоречит нашим представлениям о границах возможного. Эта реальность нереального — парадокс не только познавательного свойства: он лежит и в основе эстетического восприятия необычайного. Первоначальная реакция читателя — удивление — обретает новые эмоциональные оттенки в зависимости от характера чудесного.

Встречаясь с персонажами волшебной фантастики, обладающими демоническим могуществом, человек невольно испытывает чувство ужаса. Лавкрафт пишет: «Самое древнее и наиболее сильное из всех человеческих чувств — страх, а древнейший и самый сильный вид страха — страх неведомого» [19]. В этом случае мы воспринимаем необычайное как нечто стоящее над личностью, ограничивающее ее свободу.

Не случайно в волшебной фантастике видят «черную» литературу, описывающую ужасное и зловещее. «Черная фантастика» XX века соотносит ужасное с обыденным. На «естественном» плане ее герой — зачастую обычный человек. Даже обнаруживая в себе какую-либо сверхъестественную способность, он, по большей части, не в состоянии совладать с нею. Как тонко подметил Папини, порой «ужасное заключается в странности необычных ситуаций, в которые попадают обыкновенные люди. Изумление рождается в момент внезапного соприкосновения обычных умов с необычным для них миром» [20]. Чрезмерность и надчеловечность сил мифического пространства еще более очевидна на фоне заурядных способностей героя.

Необычайное и загадочное может вызвать не только ужас, но и улыбку читателя, если оно покажется ему ничтожным. Комическое воплощается в веселых историях о призраках и чертях, а порой выступает в обличии тонкой иронии. Так проявляется тенденция к снижению сюжетов мифа, потенциально заложенная в его литературных репликах. Тому пример — рассказ Ричарда Хьюза «Незнакомец». В нем гость из преисподней оказывается в нелепой ситуации: он вынужден пользоваться помощью людей, а затем отвечать им... добром за добро, что вовсе не пристало исчадию ада. Рассказ проникнут своеобразным английским юмором и свидетельствует о еще не исчерпанных возможностях комического осмысления необычайного.

В современной фантастической литературе поиски идеальной гармонии пришли на смену декадентско-модернистскому увлечению силой зла. Появляется героическая волшебная фантастика, у истоков которой стоит Роберт Эрвин Говард, друг Лавкрафта и творец непобедимого Конана. Впоследствии к образу этого супергероя обратился Лин Картер, а не так давно нордический герой ожил на экране благодаря Арнольду Шварценеггеру в бесконечном киносериале. В произведениях «меча и магии»

[19] H. Ph. Lovecraft. Supernatural Horror in Literature. New York, 1945, p. 141.
[20] Дж. Папини. Трагическая ежедневность, с. 20.

литературный персонаж обладает традиционными свойствами мифологического героя. Несмотря на то что героическая тема легко поддается коммерческой эксплуатации, возможны и иные, более серьезные ее прочтения.

Знакомство с различными ипостасями волшебной фантастики убеждает нас в том, что она, не умещаясь в прокрустово ложе какой-либо одной формы, образует единый литературный жанр.

V
В магическом театре литературного мифа

«Легенда — это то, чего никогда не было, но зато всегда есть».

Гай Салюстий Криспа

Для мифа характерно тяготение к устойчивой структуре повествования, повторение одних и тех же сюжетных ходов и персонажей, сходство символики в преданиях, принадлежащих различным культурам. Эти особенности архаического мифосознания присущи и волшебной фантастике, в которой язык древних символов обретает смысл, созвучный современному миросозерцанию.

Сверхъестественные существа — неизменные спутники земных персонажей фантастической литературы — оказываются в конечном счете лишь художественной проекцией сущности обычного человека. В рассказе Эверса женщина-паук, завораживающая внимание героя, воплощает не до конца осознанный им идеал. Кларимонда — его магическое отражение, которое выходит из-под контроля и обретает власть над жизнью героя. Отражение-фантом, осколок его собственной души, провоцирует еще одно внутреннее раздвоение — на сверхчеловека и жертву. Магическим путем к смерти Ришара Бракемона влекут не столько злые чары, сколько изначальная готовность принять свою участь. Смерть как универсальный растворитель враждебных начал, борющихся в его душе, возвращает ему утраченную цельность, избавляя от вампирического двойника. Так завершается эта инфернальная монодрама в магическом театре судьбы.

«Зеркальность» волшебных отражений многолика, и их фантастическая жизнь позволяет проследить духовную эволюцию персонажа. Самое таинственное отражение человеческой сути — портрет, двойник души, застывший образ ее живой текучей субстанции. Эта тема нам хорошо знакома по гоголевской повести, однако она имеет гораздо более давнюю историю. С загадочным портретом мы встречаемся уже в романе Уолпола «Замок Отранто», в котором старинный портрет оживает в один из кульминационных моментов действия, определяя дальнейшее развитие интриги.

Портрет — один из ключевых мотивов и в романе Элиаде «Девица Кристина». Он словно дверь в потустороннее, и войти в нее может лишь тот, кто готов отдать частицу собственной души: живописный образ по сути так же вампиричен, как и модель, с которой написана картина. Его призрачное бытие находится в двоякой зависимости — от зрителей и от модели. Вторая связь целиком мистична, ибо она соединяет воплощенный дух с бесплотным, пребывающим в мире ином. Есть в романе и другая связь: портрет Кристины создан воображением Элиаде не без влияния идей епископа Дж. Беркли. Из биографии писателя известно, что в молодости он увлекался его философией, согласно которой существовать для вещей — означает присутствовать в чьем-либо восприятии, вне которого они не обладают бытием.

Еще одно отражение человека — его тень. В романе Адальберта Шамиссо «Необычайная история Петера Шлемиля» тень, живущая независимо от человека, и призраки, не отбрасывающие тени,— суть два полюса, порожденные отделением духовной природы от телесной. Порой это призрачное бесплотное подобие, неизменно сопровождающее человека, говорит о нем гораздо больше, чем его внешний облик. С этим мотивом мы встречаемся в рассказе Майринка «Майстер Леонгард». Выступая внешним знаком завершения духовной эволюции героя, тень, увенчанная рогами, заключает в себе двойной смысл. С одной стороны, это намек на орден тамплиеров, в который входили все мужчины рода Леонгарда, с другой — на дьявола, ибо одно из его имен в средневековой народной традиции носит герой рассказа. Но если тень отражает его подлинную суть, то земное бытие Леонгарда неподлинно: оно — часть мировой иллюзии, некий двойник истинной духовной сущности, пребывающей в ином мире.

Двойник во плоти и крови — тоже

отражение человека. Во всех традициях кровное родство считается основой мистической связи. Вспомним Осириса и Изиду или Зевса и Геру, которые были братом и сестрой и одновременно составляли чету священного брака. Символизм брака близнецов, тайна сходства и различия характерны и для алхимических представлений. И здесь это служит ключом к пониманию скрытого смысла рассказа Майринка. Уже само пространство, в котором заключено действие, алхимично по своей природе. Старый родовой замок построен неким Якобом де Витриако, в имени которого содержится указание на алхимический девиз: «Visita interiorem terrae rectificando invenies opera lapidem». То есть: «Спустись в недра земли и в процессе очищения обретешь камень Деяния». Первые буквы слов латинской фразы составляют слово vitriol — витриоль, купорос — вещество, используемое в алхимии.

Что же является здесь исходной субстанцией, первоматерией Великого Деяния? Это — кровь, которая роковым образом соединяет брата и сестру и ведет к матереубийству. Алхимический процесс жизни неотвратим, и тяготеющему над родом кровавому проклятью должен быть положен конец. В алхимии трансмутация означает превращение неблагородных металлов в золото. К этой цели ведет ряд метаморфоз, в которых гибель исходных элементов рождает новое качество. С героями Майринка происходит символическая трансмутация: в ней реализуется цель рода — духовное освобождение, лежащее, однако, по ту сторону добра и зла.

При всем художественном своеобразии рассказ Майринка напоминает «Эликсиры Сатаны» Гофмана. В обоих произведениях присутствует мотив инцеста, таинственная связь близнецов-двойников, мистическая трансмутация. Однако дух времени накладывает печать и на повествование Майринка. В нем мистически-инфернальный символизм крови обретает не свойственное гофманиане социальное измерение. Голос крови трансформируется в ее слепую жажду, присущую всепоглощающей стихии обезумевшей толпы. Эта линия получила дальнейшее развитие в романе Майринка «Вальпургиева ночь». Кровь символически связана не только со смертью, но и с жизнью, с ее наиболее ярким проявлением — любовью.

Все эти моменты присутствуют и в романе Элиаде. Его герои также соединены не только кровными, но и кровавыми узами, ибо многие из них — вампиры, принадлежащие к одному роду. Они как бы образуют галерею полных и неполных двойников. Кристина — классический вампир, а в ее племяннице Симине — та же сущность, скрытая под маской ангела. Элиаде пишет в «Автобиографии»: «Я хорошо сознавал «чудовищность» этого характера, но именно ее я и хотел показать: стагнация и пребывание в парадоксальном состоянии, противном природе (когда «духовная» сущность проявляет себя как одушевленная телесность), являются источником порока для всех окружающих. За ангельской внешностью Симины скрывается чудовище, и это происходит отнюдь не из-за какого-то неведомого извращенного инстинкта или импульса, но по причине ложной «духовности», в силу того, что она целиком пребывает в мире Кристины, духа, который отказывается принять тот способ бытия, который ему предназначен» [21].

Это вампир особого рода, избежавший традиционного для этих созданий опыта смерти и потому вдвойне опасный. Другая героиня романа, Санда, внешность и подлинная сущность которой совпадают,— создание светлое, но совершенно лишенное жизненной силы. Госпожа Моску — всего лишь звено, соединяющее женские образы романа в единую цепь рода. Парадокс в том, что наиболее глубоким и страстным стремлением к жизни, выраженным в земном чувстве любви, обладает неживая Кристина. Сила этого чувства, как и жизненная сила, у обычной женщины гораздо слабее. В интерпретации Элиаде вечная тема любви земной и любви небесной получает новое, неожиданное измерение.

В рассказе Эверса «Паук» ужас и роковая страсть нераздельны. В таинственную ткань, которую плетет Кларимонда, вплетена нить судьбы. Древнегреческий миф судьбы сливается здесь с переосмысленным мифом об Арахне — ткачихе, которую Афина превратила в паука. Темный вампирический аспект женского начала, тяготеющего над героем, являет обратную сторону безудержной любовной страсти — безумие и смерть. Любовь-смерть в литературном мифе Эверса объединяет то, что в мифологеме психоанализа выражено двумя принципами — Эроса и Танатоса.

[21] M. Eliade. Autobiography, p. 316.

В мистической фантазии любовь и смерть — лишь этапы эволюции духа. В литературе таинственного и ужасного пути его неисповедимы, полны опасностей, двойственны, а порой и гибельны. Движение вперед легко может увести в сторону. Испытания важнее цели, да и сама цель отнюдь не ясна и не несомненна.

В творчестве Майринка тема Пути — одна из центральных. В романе «Голем», недавно возвращенном нашему читателю [22], она представлена с исчерпывающей полнотой: итог Пути — окончательное примирение и внутреннее просветление. Иное дело — рассказ «Майстер Леонгард», в котором гибель героя — закономерный финал его духовных исканий. Вместе с ним уходит в небытие и его древний род, чья история — бесконечная цепь преступлений. Духовное просветление дается лишь ценой крови, а значит, таит в себе новые опасности... Поэтому особый смысл обретает здесь тема лжеучителя и неподлинного посвящения, которое получает Леонгард. Его мистические ви́дения — лишь мнимое движечие к истине, и в этом смысле его судьба служит повторением судьбы лейб-медика Флугбайля из романа «Вальпургиева ночь», который также растворяется в кровавой стихии бунта. Правда, в отличие от Флугбайля, Леонгард преодолевает соблазны, ведущие в тупик. Он приходит к той же мысли, которая близка самому писателю. Рассуждая о тайных орденах, в предисловии к книге Р. Лаарса «Великий каббалист Элифас Леви» Майринк пишет: «Существуют ли они на самом деле или же все это вымысел и фальсификация? В какой-то мере я могу опираться на личный опыт. Да, такие ордена существуют, но тот, кто полагает, что члены их обладают какими-либо исключительными знаниями или способностями, жестоко заблуждается. Едва ли вы что-нибудь там найдете, кроме внешней оболочки. В их архивах хранятся древние, таинственные и, безусловно, весьма интересные манускрипты, но, тщательно изучив их, вы придете к убеждению: никогда еще «посвящение» не исходило из уст человеческих; подлинное Посвящение приходит лишь из незримого источника, и не существует никаких его «рецептов», которые можно выведать или выкрасть» [23].

[22] Опубликован в Библиотеке «ИЛ», 1991 г.

[23] R. H. Laarss. Eliphas Levi. Der große Kabbalist und seine magische Werke. Wien, 1922; S. 12.

Чтобы достигнуть цели духовного развития, человек должен сам себе стать учителем и учеником. Не случайно имя таинственного учителя Якоба де Витриако, которого ищет Леонгард, он обнаружит в капелле своего родового замка. Впрочем, символика рассказа не столь однозначна, как это может показаться. За мифами европейского эзотеризма просматриваются идеи восточной мистики. Исходя из них, итог жизни майстера Леонгарда можно истолковать позитивно: все познав и завершив собой эволюцию рода, которая была лишь цепью перевоплощений одной и той же пары душ, он приблизился к заветной цели — освобождению, то есть выходу из Колеса Сансары, бесконечного ряда рождений и смертей, из того «сатанинского шабаша жизни», где царит Сатана-Леонгард. Духовные искания героя в чем-то созвучны и мистическим поискам автора: из биографии писателя известно, что впоследствии он принял буддизм.

Если такие опасности подстерегают человека, стремящегося к совершенству, то какие страшные бездны таятся до поры в душе того, кто случайно обретает свое подлинное Я, ощутив глубинную связь с родом... Герой рассказа Лавкрафта «Крысы в стенах», спускаясь в бесконечное подземелье, погружается во все более архаичные слои своего сознания. Образы, встающие со дна его души, сопровождают мучительный анамнез кровавого опыта рода, а подземелье становится бесконечным лабиринтом, уводящим в глубины не только пространства, но и времени. Подобно платоновой пещере, этот инфернальный лабиринт ведет не к истине, а прочь от нее, не к совершенному человеку, а к изначальному зверю.

VI
Вместо заключения: миф в Искаженном Мире

«Помни, что в Искаженном Мире все правила ложны, в том числе и правило, перечисляющее исключения, в том числе и наше определение, подтверждающее правило...
В Искаженном Мире время не соответствует твоим представлениям о нем. События могут сменять друг друга быстро (это удобно), медленно (это приятно) или вообще не меняться (это противно). Вполне возможно, что в Искаженном Мире с тобой совершенно ничего не случится. Рассчитывать на это неразумно, но столь же неразумно не быть готовым к этому...
Некий мудрец однажды спросил: «Что будет, если я войду в Искаженный Мир, не имея предвзятых идей?» Дать точный ответ на такой вопрос невозможно, однако мы полагаем, что к тому времени, как мудрец оттуда выйдет, предвзятые идеи у него появятся. Отсутствие убеждений — не самая надежная защита.

...Не надейся перехитрить Искаженный Мир. Он больше, меньше, длиннее и короче, чем ты. Он недоказуем. Он просто есть».

Р. Шекли. *Обмен Разумов*

Не правда ли, модель Искаженного Мира, предложенная Шекли, легко узнаваема и понятна не только ученому, ибо она имеет явный социальный аналог — то общество, в котором мы совсем недавно жили. Этот единственный в своем роде социальный строй опирался на полное отсутствие каких бы то ни было устойчивых правил: единственно незыблемым оставалось его абсурдное существование. Он настолько противоречил здравому смыслу, что и вправду никакой иноземный мудрец не мог покинуть его без «предвзятых идей». А сама социальная реальность превращалась в несовершенное отражение идеальной модели. В трудах многочисленных исследователей наше общество представало неким отблеском потустороннего совершенства, являясь по сути воплощением тоталитарной идеологии. Миф творил социум, который, в свою очередь, вновь созидал миф. Круг ирреального замыкался, сознание и бытие образовывали единое мифологизированное пространство. В стране «победившего социализма» социальный миф самодержавно господствовал в духовной жизни, и в ней не оставалось места традиционным представлениям о сверхъестественном.

В 30-е годы в советском литературоведении прочно утвердилось не имеющее аналогов в истории классовое понимание природы фантазии. Оказалось, что она бывает прогрессивной и реакционной, материалистической и идеалистической. В литературной энциклопедии 1939 года читаем: «существенно... куда ведет данная фантастика, какова ее направленность, почему или зачем вводится невероятное в произведение, т. е. какова функция образа фантастики — раскрывает ли он как художественное средство, как «арсенал искусства» подлинную реальность или уводит в сферу идеалистических представлений». Далее сей тезис, беспощадный в абсурдной логике удвоения мира, обрастает конкретикой: «Свободную от идеализма материалистическую фантастику мы прежде всего находим в наиболее характерных жанрах народной поэзии... Если религиозно понимаемый миф или, скажем, искусство символистов, немецких романтиков утверждает некую «иную жизнь» как нечто наличное «по ту сторону» нашей действительности, то в народной сказке фантастика отражает стремление трудового человека к победе над враждебными силами природы и общества, его мечту о лучшей жизни» [24].

В скобках заметим, что автор приведенной цитаты не слишком оригинален в своем преклонении перед «материалистическим духом» фольклора. Гимн его героям мы находим уже в докладе М. Горького на Первом съезде советских писателей, в котором рядом с Геркулесом, Прометеем и доктором Фаустом оказался... «Петрушка, побеждающий доктора, попа, полицейского, черта и даже смерть». Подобно традиционным мифологическим героям, Петрушка гармонически сочетает в себе «рацио и интуицио, мысль и чувство». После чего следует вывод: «Значение фольклора особенно ярко освещается сравнением его фантастики, основанной на успехах труда, с тяжелой, бездарной фантастикой церковной, «житийной» литературы и жалкой фантастикой рыцарских романов» [25].

Борьба за чистоту литературной фантазии выступает реальным аналогом «Великой Операции» по хирургическому удалению воображения в романе Е. Замятина «Мы». И в жизни, и в мире вымысла тирания нуждается в абсолютном контроле над социальным поведением. А он невозможен без подчинения эмоций и сужения сферы творческого воображения. Поэтому, когда вспоминался ленинский призыв: «Надо мечтать!», всегда подразумевались лишь грезы о «счастливом будущем человечества». Иные мечты не обладали социальной респектабельностью.

Под запретом оказалась и фантастика, которой была отведена более чем скромная роль детской сказки. В официальной литературе социалистического реализма фантастическое влачило жалкое существование, выродившись в формальный прием. В золотую эпоху сталинского социализма чудесное — за исключением «чудес трудового героизма» — автоматически попадало в область суеверий, с которыми надлежало непримиримо бороться. Эта борьба опиралась не только на догмы воинствующей религии атеизма: она вдохновлялась скрытыми мифологическими основами официального, «научного» мировоззрения. Традиционные фантастические пред-

[24] Литературная энциклопедия. Т. 11, 1939, с. 657–659.

[25] Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. Москва, 1934, с. 8.

ставления конкурировали в сознании людей с новыми: оба мифа существовали по одним и тем же потаенным законам психики.

Так чем же опасен для власть имущих миф о сверхъестественном? Наблюдая за сменой литературных мифологем в истории, мы невольно приходим к мысли о том, что любому фантастическому представлению отмерен свой срок жизни. И подобный вывод легко распространить на официальный государственный миф. Именно этого боятся его жрецы, которые стремятся утвердить уникальность «вечно живого учения».

Изначальная близость таинственного нашей человеческой сути враждебна тоталитарному мифу, предполагающему массовое идолопоклонство. Питательный бульон официальной идеологии должен усваиваться легко и без усилий, тогда как жажда чего-то необычного рассматривается как попытка бунта против торжествующего единомыслия. Образцы фантазии рождаются наедине с миром: миф необычайного — достояние немногих. Отношение к нему носит глубоко личный, сокровенный характер.

В социалистическом мировоззрении утопия возобладала над традиционным мифом. Сверхъестественное, переставая быть высшей санкцией существования социума, не исчезало бесследно: его черты искусственно переносились на социальную реальность. Место магии заняла всесильная наука, которая «естественным» путем способна породить живое из неживого, а один вид живой материи превратить в другой (вспомним опыты Лепешинской и биологию Лысенко). Неоязыческий пантеон нового мифа составили Вождь-Демиург и его ближайшие сподвижники, а «культурными героями» стали Честный Труженик, Передовой Рабочий, Знатная Доярка. В сознании советского человека мир сверхъестественного оказался полностью замещен искаженными образами действительности — социальными фантомами и миражами.

Официальная доктрина может ассимилировать традиционные мифологические представления и включить их в помпезные построения тоталитарного сознания. По этому пути пошел фашизм. Его идеологическая программа предполагала сознательное оживление мифа как основы мировоззрения. С точки зрения Альфреда Розенберга, автора нашумевшей в свое время книги «Миф XX века», наступит время, когда «народы будут почитать своих великих мечтателей как величайших практиков». Древнее мировоззрение «народа и расы» представляется ему вечным идеалом: «...история — это не развитие некоего Ничто в некое Нечто, и не движение от незначительного к великому, и не преображение одной сущности в совершенно другую; но уже самое первое пробуждение народа и расы, дарованное героями, богами и поэтами, — всегда будет непревзойденной вершиной».

Поэтому, как утверждает Розенберг, необходимо вновь обрести магическое видение мира; для этого потребуется разрушить современную культуру и заново воссоздать ее на основе фашистских мифологем: «Мировоззрение лишь тогда станет истинным, когда Сказка, Сага, Мистика, Искусство и Философия станут взаимозаменяемы и различным образом будут выражать одно и то же, имея в качестве предпосылки одни и те же внутренние ценности» [26].

Фашизм, имеющий оккультно-магические корни, став господствующей идеологией, сделал мистические искания уделом правящей элиты. Массовые представления фашизма, сохраняя некий мистический флёр, были приспособлены для облегченного восприятия, устранялась сама возможность личного поиска трансцендентной истины.

Советская мифология, помимо темы сверхъестественного, не использовала и многие другие мотивы, воплотившиеся в фашизме, в том числе пресловутую мифологему «крови и почвы». Однако у социального мифа остался реальный шанс на выживание, ибо сознание советского человека десятилетиями насыщалось идеологическими клише. И поэтому, чтобы избежать политического ренессанса мифа, стоит вспомнить о его изначально «несерьезной» разновидности, рожденной искусством. Будем оптимистами: погружение в реальность «вторичного мира» поможет исподволь избавиться хотя бы от части опасных иллюзий, витающих в духовной атмосфере посттоталитарной эпохи.

Возвращение к мировой традиции фантастики чудес — не только результат снятия запретов, но и примета времени, еще одна возможность реализовать свою внутреннюю свободу. Вот почему даже тот, кто не верит в реальность сверхчувственного, приветствует возрождение интереса к нему как свидетельство свободы духовных исканий.

[26] A. Rosenberg. Der Mythus des XX Jahrhunderts Berlin, 1936, S. 678, 688, 684.

Интервью

ЗНАКОМЬТЕСЬ: «ЗЕМЛЯ НЕВЕДОМАЯ»

Продолжая информировать читателей о планах издательств, мы обратились в «Terra incognita» — оно специализируется на выпуске эзотерической литературы. Наш собеседник — переводчик, член редколлегии «Terra incognita» Юрий Николаевич Стефанов.

— О вашем издательстве мы узнали совсем недавно. Когда и как оно появилось на свет?

— «Terra incognita» основано более года назад на средства, выделенные петербургским промышленником Владимиром Ивановичем Третьяковым. Меценатство у наших предпринимателей в крови — вспомните Полякова, владельца издательства «Скорпион» и журнала «Весы», вспомните Рябушинского, который «носился» со своим «Золотым руном», словом, ничего удивительного. А может быть, у этих миллионеров просто хобби такое — заводить себе печатни, просвещать по мере сил российскую публику. А уж Третьякову-то, с его фамилией, сам Бог велел.

Я сотрудничал с «Terra incognita» в качестве переводчика, а прошлым летом, как раз после путча, вышла в журнале «Вопросы философии» моя статья о Рене Геноне — известном французском эзотерике — вкупе с переводами его нескольких работ, и я сразу стал знаменит. Генона у нас раньше не только не печатали, даже на имя его был наложен запрет. Впрочем, вру: ведь я сам когда-то, лет двадцать назад, узнал о нем из вашего журнала. Тогда он и его единомышленник Юлиус Эвола именовались, помнится, «зловещими тенями прошлого». Не буду отрицать, Юлиус Эвола — видный представитель «философии жизни» — придерживался правых, даже крайне правых взглядов. Но пора однозначных оценок, кажется, миновала. Однако тема эта для отдельного разговора.

И вот, позвонили мне из «Terra incognita», сказали, что заинтересовались моей статейкой и предложили войти в состав редколлегии, поскольку издательство это как раз специализируется на выпуске книг по эзотерике и прочим «реакционнейшим» выкрутасам. Я, разумеется, согласился.

— Уже само название издательства говорит о его целях, — разумеется, в самом общем виде. Ну, а если рассказать подробнее?..

— Все очень просто. Как известно, «terra incognita» означает «земля неведомая», «неизвестная область», — так раньше на картах писалось, где имелись «белые пятна». Ведь бывало, что какую-то землю открывали, а потом, в силу тех или иных обстоятельств, она застилалась туманом забвения. То же самое с книгами. Многих авторов мы за последние годы пооткрывали заново, кое-кого, правда очень робко, издавали еще в 20-е годы. Взять хотя бы Густава Майринка, австрийского писателя: на мой взгляд, он никак не менее значителен, чем Кафка, но куда более ярок, пластичен.

Да, вот еще что хотел добавить. «Terra incognita» — она ведь не только для человека с улицы «земля неведомая». Даже среди моих знакомых, переводчиков, людей образованнейших, почти никто не слыхал о таких именах, как Генон, Эвола или Гурджиев. Что касается последнего, к примеру, то можно поразному относиться к личности и деяниям этого оккультиста, но его идеи и сейчас, спустя почти полвека после его смерти, весьма популярны на Западе. Родом он из Грузии, в юности путешествовал по Тибету, затем жил в Москве, где создал группу, пообещав ее членам бессмертие. Впрочем, бессмертия никто так и не обрел. В 1917-м Гурджиев эмигрировал. Основал Институт гармонического развития человека, филиалы которого существуют в Америке и во многих странах Европы. Это часть нашего культурного наследия, примечательная страница отечественной философии.

У нас сейчас на подходе две дополняющие друг друга работы о Георгии Гурджиеве: «Мсье Гурджиев» Луи Повеля и «Фрагменты неизвестного учения» нашего соотечественника Петра Успенского.

— А что уже удалось издать?

— Я принес вам показать несколько книг. Вот «По ту сторону сна» — сборник рассказов Говарда Филипса Лавкрафта. Мне бы очень хотелось, чтобы этого изрядного сновидца, столь живописно перелагавшего свои сны в романную форму, прочли и полюбили в России. Только не надо думать, что он на самом деле такой безысходно мрачный, как пишет о нем в послесловии к книге мой давний друг Евгений Головин.

Переводчица этих сказок для взрослых Валерия Бернацкая — наш главный редактор. Сейчас она готовит к печати еще одну книгу Лавкрафта под устрашающим названием «Хребты безумия». Но пугаться не надо — название скорее всего рекламное.

Вторая книга — это уже упоминаемый мною Майринк. В наш том вошел роман «Вальпургиева ночь» плюс дюжина рассказов в переводе Владимира Крюкова. Сейчас я пишу предисловие к его новой работе — Володя только что закончил переводить самый крупный роман Майринка «Ангел западного окна». Роман по-

разительно сложный, действие его происходит одновременно в XX и XVI веках, одни и те же герои являются в разных ипостасях, как в «Мастере и Маргарите» Булгакова, только нужно учесть, что «Ангел» вышел в 1927-м году.

Еще у нас подготовлена книга рассказов польского фантаста Стефана Грабиньского в переводах Ирины Колташевой и Людмилы Ермиловой, с предисловием того же Головина. Там он, кстати, получил возможность блеснуть эрудицией в области демонологии. Это новеллы ужасов с сильно выраженными фольклорными штрихами, но и психологизма в них тоже немало.

В конце года уходит в печать документальная повесть «Люди, боги, звери» еще одного поляка, Фердинанда Оссендовского. Это рассказ о его странствиях по Центральной Азии после разгрома белого движения в Сибири. Книга чем-то перекликается с путевыми дневниками Николая Рериха конца 20-х годов, фон тот же самый — описания природы и местных племен, но главное — по-разному преломленные легенды о таинственном духовном центре нашей планеты, который у Рериха называется Шамбалой.

Кроме того, мы планируем издать книги бельгийцев — Жана Рэя и Томаса Оуэна. Хочу я назвать еще два имени: Кэтрин Мур — одна из ярких звезд на небе американской «черной фантастики» 20—30-х годов и Филип Дик — популярный американский романист. У нас опубликован — в журнале «Юность» — всего один роман Дика, совершенно для него не типичный, что-то такое про наркотики. Наш роман «Хозяин высокого замка» описывает парадоксальную ситуацию: что было бы, если бы во второй мировой войне победили Германия и Япония. Сюжет почти авантюрный, но не в нем дело, а в том, что даже при такой кардинальной перемене исторических векторов все, в сущности, остается таким же, каким было в нашей реальной, не беллетризированной действительности. То есть, по Филипу Дику, история инвариантна, люди не в силах воздействовать на ее ход, плыть против течения.

Что касается Кэтрин Мур, то ее новеллы, наряду с произведениями Лавкрафта — классическая «черная фантастика» 20—30-х годов, очень красочная и, я бы даже сказал, возвышенно романтическая.

— Принято считать, что расцвет «черной фантастики» падает на 20—30-е годы. Как вы считаете, что сейчас происходит с литературой этого жанра? Переживает ли она второе рождение, появилось ли в ней нечто качественно новое?

— Сам термин «черная фантастика» достаточно условен. По некоторым параметрам и Гофман — типичный «черный фантаст», и Гоголь, и, уж разумеется, Чаянов. А в узком смысле — как течение англо-американской литературы в период между двумя мировыми войнами — это достаточно уникальное явление. По-моему, теперь преобладают некие гибридные формы: у того же Дика в космических ракетах появляются невесть откуда ангелы и демоны. Впрочем, я тут не специалист. Серию «черной фантастики» у нас ведет Евгений Головин, она называется «Гарфанг», по-английски — полярная сова.

— Какие еще серии есть у вас в издательстве?

— Пока серий или, как мы выражаемся, коллекций, всего три. Помимо «черной фантастики», о которой я уже говорил, есть серия, условно называемая «авантюрной», где мы собираемся издавать вещи занимательных жанров, но с «мистическим душком». Первой книгой в этой коллекции должна выйти повесть Конан Дойла «Туманная земля» — нечто приключенческое, однако со спиритическим оттенком: известно, что Конан Дойл, особенно под конец жизни, был убежденным спиритом.

Мне же предложили основать и курировать серию, которая соответствовала бы профилю издательства, но в то же время отражала мои интересы. Коллекция носит название «Стеклянный паук» (был у позднего Метерлинка одноименный мистический трактат). Я подготовил список из десятка названий. Первая книга уже в работе. Это дилогия французского эзотерика Дени Сора «Атлантида и царство гигантов. Религия гигантов и цивилизация насекомых». В ней рассказывается о том, что ночное светило, которое мы видим на небе, не первая Луна в истории Земли, и о всех вытекающих отсюда последствиях.

Кроме нее у нас должны выйти книги Вильяма Сибрука «Волшебный остров», Жерара де Седа «Тамплиеры среди нас», «Тантрическая Йога» Юлиуса Эволы и, наконец, капитальный труд Рене Генона о волнующих нас всех теперь проблемах «конца света» — «Царство количества и знамения времени».

Интервью подготовила А. СОКОЛИНСКАЯ

У книжной витрины

КРИСТОФЕР ФРЕЙЛИНГ
Вампиры. От лорда Байрона до графа Дракулы

Christopher Frayling. Vampires. Lord Byron to Count Dracula. «Faber and Faber»

Литература о вампирах на редкость разнообразна. Здесь можно встретить и дешевые «ужасы», и виртуозные произведения, замешенные на мистике и эротизме. Она обладает собственной мифологией и подчиняется своим законам.

Профессор британского Королевского колледжа искусств историк и критик Кристофер Фрейлинг составил обширную антологию этого жанра, включив в нее произведения Джона Полидори, лорда Байрона, А. Дюма, Э. Т. А. Гофмана, А. Толстого. В ней впервые опубликованы материалы, которые Брэм Стокер собирал для своей книги «Дракула» — одной из вершин «вампирской» литературы. В предисловии К. Фрейлинг исследует исторические и фантастические корни «вампиризма» в искусстве, начиная с эпохи средневекового князя Влада до времен правления президента Чаушеску.

ЧЕТ УИЛЬЯМСОН
Царствование

Chet Williamson. Reign. «Dark Harvest»

При чтении любого романа ужасов нередко задаешься вопросом: если все эти потусторонние чудовища действительно существуют, то почему же они не встречались нам раньше? Американец Чет Уильямсон отвечает на этот вопрос убедительно и изящно, избрав для действия в «Царствовании» обычный, «нормальный» мир. Повествование разворачивается вокруг театра «Венецианец» в штате Пенсильвания; по структуре роман напоминает пьесу из трех актов с прологом-увертюрой и эпилогом — вызовом актеров на аплодисменты. Напряжение возрастает по ходу первого акта, когда читатель пытается определить, что перед ним: история таинственных убийств, психодрама, роман ужасов или наваждение, причем автор подбрасывает намеки в пользу каждой из версий. Во многих театрах существуют предания о несчастных случаях и привидениях, однако в «Венецианце» смерти следуют одна за другой, и в полиции все меньше верят в их «случайность». На первый взгляд, Деннис Хэмилтон — владелец театра и актер — ничего не выигрывает от этих убийств и никоим образом не способствует им, но странности в его поведении наводят окружающих на мысль о том, нет ли у него раздвоения личности или какого-то иного воплощения, которое и жаждет крови. Разгадка тайны, предложенная Четом Уильямсоном, оригинальна и весьма занимательна.

МОАСИР СКЛИАР
Сцены крошечной жизни

Moacyr Scliar. Cenas da vida minúscula. «L/PM»

Уроженец Южной Бразилии, врач и писатель Моасир Склиар опубликовал свою предыдущую большую книгу «Тайна рождения Рафаэла Мендеша» в 1985 году. И вот теперь он вновь выпустил в свет крупное произведение — роман «Сцены крошечной жизни», который соединяет в себе исторические и оккультные темы. Действие начинается в античные времена и, проходя через века, заканчивается в наши дни. На страницах романа появляются самые удивительные персонажи: колдуны и чародеи, алхимики и астрологи, предсказатели и созданные магической силой гомункулусы. И все это уживается с новейшими достижениями научного прогресса. Многие критики задаются вопросом: не нарисовал ли автор прекрасную аллегорическую картину прошлого и настоящего самой Бразилии?

РОБЕРТСОН ДЕЙВИС
Душегуб и бродячие духи

Robertson Davies. Murther and Walking Spirits. «Sinclair-Stevenson»

В новом романе английского писателя Робертсона Дейвиса повествование ведется от лица Коннора Гилмартина, точнее, от его духа, поскольку сам герой уже мертв. Его убийца, критик из «Колониэл эдвокит» по прозвищу «Нюхалка» (при жизни Гилмартин был его редактором), отправляется на кинофестиваль в сопровождении духа своей жертвы. Согласно одному из древнеиндийских учений, в умерших сохраняется то состояние, в котором

они находились в момент перехода в мир иной. По метафизической случайности, перед самой смертью редактор думал о Нюхалке и потому, утратив физическую оболочку, вынужден сопровождать его всюду.

Восприятие двух главных персонажей соответствует их среде обитания. Когда критик смотрит «Тени забытых предков» Параджанова, Гилмартин встречается со своими настоящими предками и, пользуясь положением духа, исследует историю своего рода вплоть до XVIII века. Побывав в прошлом, привидение делится впечатлениями с читателями, отмечая попутно, что теперь его эмоциональная жизнь стала намного богаче.

По мнению литературоведов, в этом романе автор нередко находит для описаний весьма своеобразные краски. Так, один из второстепенных персонажей — незадачливый медиум госпожа Салениус — на спиритическом сеансе говорит «тихо, заунывно и таким голосом, каким могла бы говорить Грета Гарбо, набей она полный рот шоколадом».

КРИСТИАН АРРЕЛЬ-КУРТЕС
Нимфоманка

Christian Harrel-Courtès. La nymphomane. «Denoël»

Две характерные сцены обрамляют этот роман. Он начинается с венецианского карнавала в духе Феллини: погребальная процессия направляется на «большой похоронный бал», где покойники пляшут в неистовом ритме рока. В финале романа его главный герой Ален, проведя год в настоящем аду, снимает маску печали и обнаруживает в ней свое отражение. А между этими двумя сценами безумный, бесовский бал продолжается в Риме и Париже, во Флоренции и Нью-Йорке; правит его жалкий Мефистофель — Сульфино, финансист-махинатор, прибравший к рукам денежные дела влиятельных лиц из римского высшего света.

Деньги и иллюзия власти создают атмосферу, в которой выплескиваются наружу самые низменные страсти, и эта мозаика складывается в своего рода фреску Страшного суда: наемные любовники для кокетливой старой графини; епископ, изгнанный из Ватикана за слишком частые оргии; подозрительные дельцы, наводнившие Америку грубо сделанными фальшивками; видный промышленник, замешанный в мошенничестве и шпионаже, и, разумеется, сама нимфоманка — прекрасная владелица антикварного магазина, одержимая похотью чудовищной силы. В эту трясину и попадает ангел — Ален, чья возвышенная любовь так и не преодолела вожделения нимфоманки... Весь этот мир живет в своем земном аду, где смешались богатство и тоска, порок и истина. Согласно христианской морали, для него еще есть возможность искупления, но она остается неиспользованной, и форма справедливости в этом дьявольском, по определению критиков, романе вполне соответствует развитию сюжета — самоубийство, арест, выдворение за пределы страны.

ЖАН ДЕ НИНО
О ликантропии, превращениях и чарах колдунов

Jean de Nynauld. De la lycanthropie, transformations et extases des sorciers. «Frénésie»

Современники Монтеня всерьез полагали, что любой из них в одно прекрасное утро может проснуться волком и начать охотиться на людей. Однако объясняли это по-разному: некоторые считали, что чудовищное превращение происходит на самом деле; другие же были уверены, что это всего лишь козни дьявола, иллюзия, возникшая под действием какого-то зелья. И хотя клыки и шкура могли быть как фальшивыми, так и настоящими, ни у кого не вызывали сомнений вредоносность и вина волков...

Французская исследовательница Николь Шакен переиздала научный трактат на эту тему, написанный в 1615 году неким Жаном де Нино, богато снабдив книгу аналитическими комментариями. Жан де Нино, представившийся доктором медицины, в своем сочинении придерживается скептической точки зрения, которую разделяют нынешние специалисты, и объявляет существование оборотней плодом фантазии и суеверий перепуганных крестьян. При этом он полемизирует с теологом Жаном Боденом, который в своей «Деонтологии» (1587) защищал право Создателя нарушать им же установленный порядок и допускать кровавые дьявольские проделки. Вообще количество трактатов на тему ликантропии (т. е. помешательства, при котором человек считает себя волком) заметно возросло на стыке XVI и XVII веков, когда европейцев волновала проблема границы между человеческим и животным началом. В тот же период участились суды над людьми за убийства, явно совершенные настоящими волками. С другой стороны, некоторые жертвы «оборотней», в основном молодые девушки, оказывались довольно умело раздетыми на удивление ловкими «волчьими» лапами... Что же касается живучести ликантропии, то Николь Шакен напоминает о более близком к нам по времени случае: об одном из знаменитых пациентов Зигмунда Фрейда — «человеке-волке».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРИЗРАК: ЛУЧШИЕ СОВРЕМЕННЫЕ РАССКАЗЫ О ПРИВИДЕНИЯХ

The Literary Ghost: Great Contemporary Ghost Stories. «Atlantic Monthly»

Мертвые появляются среди живых... Они шагают по улицам тысяч городов и занимают свои места на полках американских книжных

магазинов. Замки и монастыри, дома с призраками, таинственные портреты, потайные двери, ожившие скелеты, реки крови... И, конечно, привидения, наводящие ужас на скептиков, которые не желают верить в них. Читатели-интеллектуалы обычно не обращают внимания на литературу такого рода. Но если бы они заглянули под обложки современных антологий, то с удивлением обнаружили бы здесь имена серьезных писателей. Например, в книге «Литературный призрак», которую составил Ларри Дарк, есть немало сюрпризов. Рядом с Джойс Кэрол Оутс и Исааком Башевисом Зингером стоят Дональд Бартельм, Тим О'Брайен и новый нобелевский лауреат Надин Гордимер. Что же делают такие писатели в этой компании? Да то же самое, что всегда делали другие, например, Фланнери О'Коннор или даже Джеймс Джойс: используют жанр для собственных художественных целей. Придирчивый критик вряд ли оставил бы в сборнике под названием «Литературный призрак» рассказ Дональда Бартельма «Смерть Эдварда Лира», поскольку никакого призрака там нет, а «Письмо его отца» Надин Гордимер, где Кафка-отец ругает своего неблагодарного сына, больше напоминает эссе. Но зато «Другие» Джойс Кэрол Оутс — классическая миниатюра, от которой волосы встают дыбом. В рассказе Энн Секстон «Призрак» злобный дух вызывает галлюцинации у женщины, которая им одержима.

НОВАЯ ГОТИКА: СБОРНИК СОВРЕМЕННОЙ ГОТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ

The New Gothic: A Collection of Contemporary Gothic Fiction. «Random House»

В книге, составленной американскими писателями Брэдфордом Морроу и Патриком Макгратом, корифеи литературы ужасов — скажем, Энн Райс, которая ежегодно выпускает свои романы 31 октября,— соседствуют с высоколобыми постмодернистами Мартином Эмисом, Джоном Эдгаром Уайдменом, Кэти Экер, Джаннетт Уинтерсон. В предисловии составители замечают, что готическая проза «открывает мрачные стороны человеческой души» — определение, которое можно приложить к кому угодно, от Беккета до Бирса. В рассказе «Овандо» Джамайки Кинкэд оживает скелет конкистадора. Кэти Экер помещает Бодлера и его любовницу Жану Дюваль в Нью-Йорк 1991 года и награждает их СПИДом вместо старомодного сифилиса. В рассказе Энн Теннант «Ригор-Бич» женщина превращает труп своего любовника в игрушку. Рассудительный человек скажет, что в литературе такого рода все заранее известно: кто-то всегда остается на ночь в доме с привидениями, дверь в запретную комнату всегда оказывается открытой, а скептик бывает посрамлен. Так почему же она не исчезает, почему даже серьезные писатели продолжают обращаться к этому жанру? Конечно, именно из-за этой предопределенности: мы предвидим ритуальные ужасы и готовимся к ним. Может быть, в этом есть своя прелесть.

УОЛТЕР КЕНДРИК
Трепет страха: 250 лет ужасных развлечений

Walter Kendrick. The Thrill of Fear: 250 Years of Scary Entertainment. «Grove Weidenfeld»

Американские критики называют труд профессора Фордхэмского университета критика Уолтера Кендрика одной из лучших книг осеннего сезона. Это история литературы ужасов, путеводитель по этому жанру. Автор считает рассказ идеальной формой такой литературы. Искусственный страх обладает ограниченным сроком воздействия и потому годится только для новелл, которые можно прочитать в один присест. Кендрик не согласен с традиционной точкой зрения, что литература ужасов ведет начало от описания преисподней в «Одиссее», призраков и черепов в «Гамлете». По его мнению, произведения, специально предназначенные для того, чтобы вызывать холодную дрожь, появились лишь в XVIII веке. Когда похоронный обряд стал скрывать трупы от взглядов, «смерть начала казаться загадочной, а мертвецы — опасными». Литература ужасов началась с «кладбищенской школы» поэтов XVIII века, где черепа, гробы и могильные черви служили напоминанием о бренности этого мира и о вечности мира иного. Рационализм сделал само прошлое ужасным: замки и аббатства стали символами угнетения и религиозных предрассудков. В результате такие романы, как «Замок Отранто» Хораса Уолпола (1764), получили название «готических» всего лишь из-за архитектурных пристрастий их авторов. Сами же названия «новый готический роман» и «литература ужасов» для Кендрика — всего лишь оксюмороны. Иными словами, литература ужасов «рассказывает все те же старые истории, использует те же схемы, затасканные еще 200 лет назад». И хотя Кендрик не отрицает, что среди этих произведений встречаются своего рода шедевры, он все же считает, что содержание их всегда легко свести к какой-нибудь незамысловатой схеме.

По материалам журналов «Лейя» (Бразилия), «Магазин литтерер» (Франция), «Ньюсуик», «Паблишерс уикли» (США), еженедельника «Таймс литерари сапплмент» (Великобритания) и сообщениям наших корреспондентов.

Переводчики:

СТАРОСТИНА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА — переводчик с румынского языка. В ее переводах публиковались новеллы румынских классиков М. Эминеску, И. Агырбичану, Т. Аргези, книга избранного Аны Бландианы «Стихотворения, рассказы, эссе», повесть для детей Мирчи Дьякону «Когда у нас зима». В «Иностранной литературе» в ее переводе печатались рассказы Э. Урикару, Б. Хорасанджана, А. Бландианы (премия «ИЛ» за 1985 год). В 1991 году А. Старостина удостоена премии Союза писателей Румынии за популяризацию румынской литературы.

ВИТКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1950 г.) — поэт, литературовед, переводчик. В его переводе вышли антология немецкой поэзии «Строфы о бессмертии» (М., 1987), книги Э. Криге «Баллада о великом мужестве» (М., 1977), Й. ван де Вондел «Трагедии» (М., 1988) и др. В «ИЛ» печатались его переводы немецких, английских, мальтийских, южноафриканских поэтов.

ВАРШАВЕР ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА — переводчик с английского. Переводила рассказы Б. Маламуда, У. Сарояна, К. Маккаллерс, Ш. Джексон, О'Брайена, роман Ш. Джексон «Мы живем в замке», сказки Э. Фарджон. В «ИЛ» в ее переводе напечатана документальная повесть «Кокаиновые короли» (1991, № 1).

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ИЛ»:

Роман **РОБЕРТА МУЗИЛЯ «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса»** — один из шедевров австрийской литературы XX века. Юный Тёрлес и его сверстники — воспитанники привилегированного интерната, отпрыски аристократических семей, будущий цвет нации. Но за внешней благопристойностью, рафинированностью этого мира скрыто многое, что выходит за рамки «дневного» образа героев. «Душевное приключение», которое пережил Тёрлис, не сломило его личности, но оставило след, преподало незабываемый урок.

Новеллы и эссе **ПЕТЕРА ЭСТЕРХАЗИ.** Этот писатель (кстати, отпрыск знаменитой венгерско-австрийской аристократической семьи Эстерхази) вошел в современную венгерскую литературу как самый блестящий представитель постмодернистской прозы. Искрящийся, легкий (моцартовский, хочется сказать) талант, свободное владение всеми формами иронии, от мягкой, лирической до саркастической и гротескной, огромная эрудиция, бьющая фонтаном прихотливая фантазия — все это ощущается, думается, и в переводах его произведений, несмотря на их зашифрованность, обилие в них скрытых цитат, намеков и аллюзий.

Рассказы **ЧАРЛЬЗА ДЖОНСОНА** «Зверинец» и «Китай» — первая публикация на русском языке произведений современного американского писателя, лауреата Пулицеровской премии 1991 года, вошедшего, по результатам опроса, проведенного университетом Южной Каролины, в десятку лучших новеллистов страны. Рассказы Ч. Джонсона, с которыми познакомится читатель, исполнены юмора, трагизма и поразительно злободневны для нас.

Стихи разных лет **КАЗИМИРЫ ИЛЛАКОВИЧ** — публикуются к 100-летию со дня рождения польской поэтессы; постоянное место в ее творчестве занимает религиозная лирика, обращение к ценностям раннего христианства.

Фрагменты документальной книги **ЭДВАРДА БЭРА «Целуй руку, которую не можешь укусить».** Автор — известный американский журналист и публицист — описывает историю помпезного и абсурдного правления Николае Чаушеску, четвертьвековой фарс, закончившийся кровавой трагедией.

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ, КАРЕН СТЕПАНЯН «Проза конца века: Россия и Запад (попытка прогноза)». Место литературы в свободном и тоталитарном обществе, связь отечественной словесности с новейшими веяниями в культурах других стран — эти и другие вопросы обсуждались известными критиками в ходе беседы, состоявшейся в стенах редакции.

В 1992 году
выйдут следующие спецномера
«Иностранной литературы»

Английская литература наших дней

Современная классика детективного и криминального жанра

Американская литература вчера и сегодня

Цена по подписке 3 р. 75 к.

ИНДЕКС 70394

«Иностранная литература» 1992. № 3. 1—256.